

*У. Стайрон*

ПРИЗНАНИЕ НАТА ТЕРНЕРА

*У. Стайрон*  
**ПРИЗНАНИЯ  
НАТА ТЕРНЕРА**



**ЛИМБУС ПРЕСС**  
Санкт-Петербург · Москва  
2005

*Перевод с английского В. Бошняка*

**У. Стайрон**

Признания Ната Тернера. — СПб.: ООО “Издательство “Лимбус Пресс”, 2005. — с.

ISBN 5-8370-0408-4

© В. Бошняк, перевод, 2005  
© ООО “Издательство “Лимбус Пресс”, 2005  
© А. Веселов, оформление, 2005

От автора

Единственный осуществившийся и сколько-нибудь длительный мятеж, занесенный в хроники волнений американских негров времен рабства, произошел в глуши юго-восточной Виргинии в августе 1831 года. От тех времен до нас дошел только один значимый документ, касающийся этого восстания, — тоненькая двадцатистраничная брошюрка под названием “Признания Ната Тернера”, изданная в Ричмонде спустя примерно полгода; свою книгу я предварил вступлением к той брошюрке, а некоторые отрывки из нее вставил в повествование. В общем-то, я старался как можно реже отклоняться от фактов, *признаваемых известными* — как о самом Нате Тернере, так и о восстании, им возглавлявшемся. Однако, вторгаясь в области, познанные недостаточно — будь то детство Ната, его внутренние мотивировки и тому подобное (что делать, о таких вещах знаний почти всегда не хватает), — я разрешал себе полную свободу воображения, но полагаю, что не вышел за рамки тех скудных сведений, которые об институте рабства дает история. Относительность времени позволяет нам быть гибкими в суждениях: 1831 год был одновременно и очень давно, и чуть не вчера. Возможно, читатель возымеет желание извлечь из повествования мораль, тогда как я пытался лишь воссоздать человека и его эпоху, причем так, чтобы в результате получился не столько “исторический роман” в обычном понимании, сколько раздумья на тему и по поводу истории.

*Уильям Стайрон  
Роксбери, Коннектикут  
Новый год, 1967*

## ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Недавняя смута в Саутгемптоне весьма взволновала общественное мнение и вызвала тысячи праздных, превеличенных и превратных измышлений. Впервые в нашей истории произошло открытое смятение рабов, сопровождавшееся к тому же столь мерзостными проявлениями жестокости и бесчинства, что оные не могли не произвести глубокого потрясения умов не только в общине, испытавшей сию прискорбнейшую трагедию, но и во всех уголках нашей страны, где можно встретить представителей упомянутой категории населения. Повсюду граждане пытаются уразуметь причину появления и развития сего возмутительного заговора, понять, чем руководствовались его жестокосердные исполнители. Мятежные рабы были поголовно уничтожены, либо схвачены, подвергнуты суду и казнены, однако никто, за исключением их предводителя, не сообщил положительно ничего разумного ни о двигавших ими помышлениях, ни о тех средствах, коими они полагали достичь желаемой цели. Все, так или иначе связанное с этою печальной и загадочной историей, оставалось неведомым, пока не захватили предводителя разбойной шайки, Ната Тернера, чье имя отозвалось во всех пределах обширной на-

шей державы. В воскресенье, тридцатого октября, некий человек, действуя в одиночку, поймал сего “лихого разбойника” в земляной норе неподалеку от усадьбы его убиенного владельца и на следующий день водворил в окружную тюрьму, причем тот нимало не оказывал сопротивления. Поимщиком был Бенджамин Фиппс, вооруженный заряженным, якоже подобает, дробовиком. Единственным оружием Ната оказалась небольшая легкая шпага, которую он незамедлительно отдал и умолял пощадить его жизнь. С разрешения тюремщика, я имел к нему свободный доступ от начала его заточения и, коль скоро он проявил желание по доброй воле сделать полный признательный отчет о замысле, развитии и превращении мятежного смущения рабов, коего он был вдохновителем и главой, я вознамерился, с его собственных слов, перенести его признания на бумагу, а за сим, к вящему удовлетворению любознательности общества, опубликовать их, ничего или почти ничего в них не меняя. Правильность записи его откровений удостоверяется свидетельством членов Суда округа Саутгемптон, к сему прилагаемым. Касаясь самих признаний, оные, несомненно, отмечены печатью правды и искренности. В отличие от всех прочих подвергнутых розыску злоумышленников, их главарь не только не пытался обелить себя, но честно признавал всю ответственность за содеянное. Так, он признал, что не только подстрекал к мятежу, но и нанес первый удар, положивший начало кровавым бесчинствам.

Из этого с очевидностью явствует, что в то время как на поверхности течение общественной жизни представлялось спокойным и умиротворенным, в то время как никто не слышал даже отзвука зловещей подготовки, шороха, который предупредил бы обреченных поруганию и смерти обывателей, — угрюмый фанатик, таясь,

аки в средоточии тенет, в своих несообразных, изуверских умышлениях, задумывал огульное и всеобщее избивание белых. Да, умышлениях, и не только злокозненных, но бестрепетно и страшно воплощенных на всем опустошительном пути безжалостных душегубов. Мольбы о пощаде не трогали их каменных сердец. Вспоминание прошлых к ним снисхождений нимало не умягчало наглости произволения бесноватой ватаги. Мужчины, женщины и дети, стар и млад — все подверглись единой жестокой пагубе. Ни одна орда дикарей в кровавом набеге не была столь щедра на расправу. В умножении же злодеяний их сдерживала, по-видимому, лишь боязнь собственной уязвимости. Также далеко не самое малоприметное в сей ужасающей истории — это вопрос о том, как случилось, что шайка, побуждаемая столь дьявольскими намерениями, оказала весьма слабое сопротивление, едва на ее пути встали белые с оружием в руках. Казалось бы, одно отчаяние и то способно было вызвать большее упорство. Но нет, каждый искал спасения поодиночке: пытаясь скрыться, либо воротясь домой в надежде, что его участие в смуте останется незамеченным, и по прошествии нескольких дней все были либо застрелены, либо пойманы, подвергнуты суду и казнены. Нат пережил всех своих соковников, но и его хождения вскоре прервет виселица. Обществу же для исследования предлагается его собственный отчет о заговоре в первоначальном изложении и без каких-либо сторонних толкований. Прочтение оно дает пугающий и, есть надежда, полезный урок касательно действия умов такого сорта, что силятся вступать в обращение с вещами, их постижению недоступными. Как поначалу ум его смущен был, сбит с толку, затем же растлился, и в окончательном помрачении злодей измыслил и совершил гнуснейшие, поистине душераздирающие деяния. Нелишне также,

что сие, с одной стороны, показывает, сколь разумны и благоустроительны в обуздании упомянутой категории населения наши законы, с другой же, убеждает тех, кто казнь душегубов обнадежен, да и всех граждан купно, что исполняются законы неукоснительно и сурово. Поколику свидетельствам Нате можно верить, то планы и поползновения зачинщика были ведомы лишь нескольким ближайшим его подручным, а смута в округе — событие исключительно местное. И была таковая не сведением чьих-то счетов, не порывом внезапного гневного озлобления, но результатом заранее обдуманых и целенаправленных усилий закосневшего в лукавоухищрениях ума. Порождение угрюмоэмоционального фанатизма, смута сия затронула материи слишком истончившиеся, изначально слишком к такому попранию готовые, и теперь надолго запечатлеется в анналах народной памяти; еще многие матери, прижимая к груди ненаглядное чадо, содрогнутся, вспомнив о Нате Тернере и его ватаге кровавых вырождающихся.

С верою, что нижеследующее описание, призванное осветить вопросы, каковые в ином случае неминуемо порождали бы догадки и сомнения, будет принято благосклонно, оное вниманию общественности почтительно преподносится. Ваш покорный слуга,

*Т. Р. Грей  
Иерусалим, округ Саутгемптон, Виргиния;  
5 ноября 1831 года.*

Мы, нижеподписавшиеся, члены Суда, собравшегося в Иерусалиме в субботу пятого ноября 1831 года для слушаний по делу негра, раба по имени Нат, он же Нат Тернер, ранее находившегося в собственности покойного Патнема Мура, настоящим удостоверяем, что запи-

санные Томасом Р. Греем признания Ната прочтены в нашем присутствии подсудимому; за сим, когда председательствующий в суде спросил его, может ли он назвать какую-либо причину, по которой его не следует приговаривать к смерти, подсудимый ответил, что более сказать ему нечего сверх того, что он сообщил уже мистеру Грею. Собственноручно подписи и печати приложили в Иерусалиме, того же 1831 года, ноября, 5-го дня:

*Джеремия Кобб* <печат>  
*Томас Претлов,* <печат>  
*Джеймс У. Паркер,* <печат>  
*Кэр Боуэрз,* <печат>  
*Сэмюэл Б. Хайнз,* <печат>  
*Орис А. Браун,* <печат>

## Часть первая

### СУДНЫЙ ДЕНЬ

\* \* \*

И отрет Бог всякую слезу с очей их,  
и смерти не будет уже;  
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет;  
ибо прежнее прошло.

Над пустынной песчаной косой, что вытянулась у впадения реки в море, на сотни футов вверх вознесся холм или, скорей, утес — последняя, самая дальняя окончность суши. Попробуйте представить себе этот утес, а под ним устье реки — широко разлившейся, мутной и неглубокой, подернутой складчатой рябью в том месте, где река сливается с морем и течение сталкивается с океанским приливом. Близится вечер. Погода ясная, все сверкает, и кажется, что всюду солнце, тени нет вовсе. Может быть, это начало весны; или конец лета; какое время года, не так важно, важнее то, что воздух мягок и благорастворен, нет ветра, нет жары, нет холода; будто и времени года никакого нет. Как всегда, я один и словно плыву на чем-то вроде лодки (маленькой-маленькой, то ли это каноэ, то ли каяк, я в ней полулежу, приятно откинувшись, — во всяком случае, у меня нет ни чувства неудобства, ни даже напряжения, и я не утруждаюсь греблей; лодка движется, вяло влекомая током вод), я тихо плыву в сторону мыса, за которым вширь и вдаль без конца и края раскинулось темно-синее море. На берегах реки безлюдье и тишь; ни зверь не прошуршит в подлеске, ни чайка не взмост с нетронутого ничьей ногою песка.

И так действует это полное молчание и совершеннейшее одиночество, что кажется, будто жизнь здесь не погибла даже, а исчезла, просто остановилась, и все это — берега, речное устье и морской прибой — навсегда останется неизменным под недвижным оком послеполюденного солнца.

Подплыв ближе к мысу, я поднимаю взгляд на утес, нависающий над морем. Там вижу опять-таки наперед известную мне картину. Залитое солнцем дивно-белое строение величаво проступает на фоне синего безоблачного неба. Прямоугольное, оно сложено из мрамора подобно храму; архитектура его проста: никаких колоннад и даже никаких окон, вместо них ниши, назначение которых загадочно, — вверху скругленные арками, они вереницей обегают две видимые стены. Здание не имеет двери — по крайней мере, мне дверь не видна. Без дверей, без окон, оно как бы лишено смысла, напоминая, как я сказал уже, храм, но храм, где никто не молится, или склеп, где никто не похоронен, или памятник чему-то загадочному, невыразимому, не имеющему названия. Но, как всегда, когда я вижу этот сон или видение, я не задумываюсь над назначением странного сооружения, одиноко стоящего на дальнем океанском мысу, поскольку в самой его бессмысленности чудится какая-то всеохватная тайна, взявшись разгадывать которую ощутишь только полнейшую и, быть может, еще более мучительную растерянность, будто попал в лабиринт.

Значит, опять это видение, которое навязчиво, вновь и вновь, повторяется который год. Опять я в утлой лодчонке, и опять течение тихой реки несет ее к морю. И снова в той дали, куда я плыву, тяжело, но без угрозы, вздыхает солнечный океан. И вот коса, и вот высокий утес, и, наконец, ввысь невозмутимо возносится дивно-белый храм, но я не чувствую ни страха, ни благогове-

ния, ни смирения, одно лишь осознание великой тайны, и я плыву себе дальше, дальше, в морскую ширь...

Ни в детстве, ни теперь, когда мне перевалило за тридцать, так и не смог я разгадать смысла этого сна (или *видения*, ибо, хотя обычно оно посещало меня в моменты пробуждений, бывали случаи, что, работая в поле, обходя в лесу силки на кроликов или выполняя какое-нибудь разовое поручение, я вдруг совершенно въяве видел, как передо мною вспыхивает эта сцена со всею глубиной, четкостью и устойчивостью материальности, словно картинка из Библии; этот мгновенный сон наяву вдруг *пресотворял* перед моими глазами и реку, и храм на океанском мысу, но так же быстро все пропадало); ускользало от меня и чувство, которое этот сон вызывал во мне: чувство тайны, успокоительной в своей неразрешимости. У меня нет сомнений, впрочем, что все это исходит из детства, когда белые частенько говорили при мне о городе Норфолке и о том, чтобы “поехать к морю”. Ведь Норфолк всего в тридцати милях к востоку от Саутгемптона, а океан в нескольких милях за Норфолком, куда белые наезжали, бывало, по торговым надобностям. Не только белые — знал я даже и негров, которые ездили из Саутгемптона со своими хозяевами в Норфолк и видели океан. Их рассказы о тамошнем пейзаже — о бесконечной синеве, о водной шире, простирающейся куда хватает глаз и даже дальше, словно до самого дальнего края света — так распалили мое воображение, что желание лицезреть это собственными глазами превратилось в подобие острого, чуть не телесного голода, и случались дни, когда у меня будто и в голове ничего не оставалось, кроме воображаемых волн, далекого горизонта и стонущего над морем ветра, кроме вольных голубых небес, царственным куполом нисходящих к востоку, к Африке — такое было чувство, словно, еди-



ножды увидев это, я разом постигну все древнее, океаническое, хаотическое великолепие мира. Но поскольку удача мне в этом отношении не споспешествовала и я так и не удостоился поездки в Норфолк к океану, приходилось удовлетворяться одним лишь внутриюмственным, воображаемым видением; вот откуда этот фантом, эта уже описанная мною постоянно повторяющаяся иллюзия, хотя, отчего вдруг на утесе храм, по сей день загадка — загадка в нынешнее утро еще и большая, нежели когда-либо за все те годы, что я себя помню.

Исчезая, видение чуть помедлило — полусон, полувоспоминание о нем в рассветном сумраке, что забрезжил у меня перед глазами, едва я их открыл, — и я вновь смежил веки, наблюдая, как белый храм истончается в безмятежно-тайном свете и пропадает, удаляется, забывается.

Приподнявшись с кипарисовой скамьи, на которой спал, я безотчетным сонным движением резко сел, повторив ошибку, которую совершал уже четыре раза за такое же число утренних пробуждений: сбросил ноги со скамьи вбок, но вместо того, чтобы достичь ими пола, только того и достиг, что натянул цепь ножных кандалов, металл впился в щиколотки, и ноги косо повисли в воздухе. Я вновь поднял их на скамью, потом сел и, дотянувшись рукою, стал растирать под кандалами кожу на лодыжках, чувствуя пальцами, как с током крови возвращается тепло. Впервые в этом году утро дохнуло зимой — стало сыро и холодно, я заметил даже бледную полоску изморози на стыке пола из твердой глины с нижней доской тюремной стены. Несколько минут я так сидел, растирая лодыжки и поеживаясь. Вдруг я очень проголодался, желудок прямо скрутило. Пока все тихо. Позавчера в соседнюю камеру посадили Харка, и теперь из-за дощатой перегородки доносится его тяжелое дыхание — kloчочущие, придушенные всхлипы, как будто воз-

дух проходит у него прямо сквозь рану. Мгновение я был близок к тому, чтобы шепотом позвать его, разбудить, ведь до этого нам поговорить не удавалось, но он дышал так медленно, так изможденно. Я подумал: ладно, пусть спит, и слова, уже готовые сорваться у меня с губ, остались произнесенными. Неподвижно сидя на скамье, я наблюдал, как рассветные сумерки рассеиваются, свет мало-помалу украдкой вливается в камеру, наполняет ее, словно чашу, жемчужным сиянием. Где-то прокукарекал петух, и крик его был далек и тих, как очень дальнее боевое “ура”, он отозвался еле слышным эхом, замер, и опять тишина. Потом еще один петух, уже ближе. Я долго сидел так, слушал и ждал. Минута шла за минутой, но, помимо дыхания Харка, не раздавалось ни звука, пока, наконец, откуда-то не донесся сигнал рожка — такой грустный и такой знакомый звук, мягкий и какой-то полый, словно затихающий стон с полей за Иерусалимом: это где-то на ферме будили негров.

Повозившись с цепью, я ухитрился спустить со скамьи ноги и встать. Цепь давала ногам ходу около ярда; прошаркав, сколько возможно, и вытянув шею, я смог выглянуть из неостекленного зарешеченного окошка на рассветную улицу. Иерусалим просыпался. С того места, где я стоял, видны были два дома, притулившиеся на краешке речного откоса у съезда на деревянный мост. В одном кто-то ходил со свечой: мерцающий свет переместился из спальни в горницу, в сени, потом на кухню, где, в конце концов, и остался — желтоватый, дрожащий. На двор другого дома, что ближе к мосту, вышла старуха в пальто и с ночным горшком в руках; держа дымящийся сосуд перед собой, как алхимик свой плавленный тигель, она, прихрамывая, двинулась через замерзший двор к побеленной дощатой уборной; дыхание исходило у нее изо рта тоже на манер клубов дыма. Открыла



дверь уборной, вошла, в морозном воздухе раздался краткий вскрик поржавелых петель, и ружейным выстрелом бахнула закрывшаяся за нею дверь. Внезапно я ощутил такую дурноту, что и чувство голода, и вообще все чувства исчезли. Перед глазами заплясали пятнышки света; казалось, вот-вот я упаду, но, схватившись за подоконник, я удержался; прикрыл глаза. Когда я вновь их открыл, свеча в первом доме уже погасла, а из его трубы сероватой струйкой курился дым.

Тотчас издалека донесся дробный стук — глухой, сбивчивый ритм торопливых копыт; он становился громче и громче, приближаясь с запада, с противоположной стороны реки. Я поднял взгляд на тот берег, он был всего в пятидесяти ярдах; там маячила, постепенно прорисовываясь, стена леса: спутанные кипарисово-эвкалиптовые заросли над холодными, мутными и медленными водами в рассветной мгле. В стене леса прореха (там проселок), в прорехе тут же возникает лошадь, легким галопом несущая кавалериста, за ним едет еще один, потом еще, всего трое военных; гулко, как раскатившиеся по двору бочки, они гроыхнули по кипарисовому мосту копытами, прогремели, проскрипели досками и умчались в Иерусалим, напоследок тускло блеснув стволами ружей. Я смотрел, пока они не скрылись из виду и пока стук копыт не стал тихим, глухим рокотом где-то в городе у меня за спиной. Снова стало тихо. Закрыв глаза, я склонился лбом на подоконник. В темноте глаза отдыхали. Много лет у меня была привычка в этот утренний час молиться или читать Библию, но уже пятый день я сидел в заточении, Библию мне не давали, а насчет молитвы — странное дело, меня больше даже и не удивляло, что теперь я совершенно неспособен выдавить из себя что-либо на нее похожее. Нужда в молитве сохранилась — страстное желание исполнить то, что за годы взрослой

жизни стало обычным и естественным, как телесное отправление, но теперь я сделался лишен способности молиться в такой же мере, как если бы для этого сперва требовалось решить задачу по геометрии или иной столь же неведомой науке. Когда молитвенный дар покинул меня? — месяц назад, два месяца, может, раньше? — не припомню. Было бы как-то легче, если бы я понимал причину, по которой сила сия изменила мне, но теперь я отвержен и от этого разумения, так что, похоже, способ перекинуть мост через бездну между мной и Богом утрачен напрочь. Я постоял, прижавшись лбом к холодному деревянному подоконнику, и вдруг почувствовал жуткую пустоту. Вновь попытался молиться, но в голове царил черная бездна, и единственное, что звучало в мозгу, — это до сих пор еще не затихшие отзвуки торопливых копыт да петушиные крики где-то далеко в полях за Иерусалимом.

Вдруг сзади стук по решетке. Я открыл глаза и, повернувшись, увидел подсвеченное фонарем лицо Кухаря. Парню лет восемнадцать-девятнадцать, и, судя по лицу — по детски глуповатому, в прыщах и оспинках и с безвольным подбородком, — он так меня боится, что мне стало жаль беднягу: уж не наложит ли мое присутствие какой-нибудь неизгладимый отпечаток на его душевное здравие! Опаска, с которой он смотрел на меня пять дней назад, превратилась в неотступный страх, а страх — это видно сразу — разросся до слепящей, разлагающей жути: как так — день за днем я сплю, ем, дышу, и смерть никак не приберет меня! Из-за решетки донесся его голос, дрожащий от боязни.

— Нат, — проговорил он. Потом снова: — Нат, эй, старина! — И опять робко, неуверенно: — Нат, просыпайся.

Какой-то краткий миг хотелось заорать, крикнуть “Пошел ты!”, и посмотреть, как он из штанов выпрыгнет, но я сказал только:

— Я не сплю.

Его явно это ошарашило — что я не сплю, стою у окна.

— Нат, — торопливо забормотал он. — Сейчас адвокат придет. Помнишь? Тебя видеть хочет. Ты готов?

Бормоча, он слегка заикался; тусклый фонарь освещал белое напряженное мальчишеское лицо, выпученные глаза и бескровный ободок страха вокруг губ. В тот миг я вновь почувствовал сосущую пустоту и боль в желудке.

— Маса Кухарь, — сказал я, — кушать хочется. Пожалуйста. Прошу вас, не могли бы вы добыть мне что-нибудь поесть, хоть немножко. Очень прошу вас, добрый молодой маса.

— До восьми завтрака не положено, — севшим голосом отозвался он.

На какое-то время я смолк, только глядел на него. Не знаю, может, это от голода, но в душе у меня вдруг пробудились остатки той запредельной злобы, того яростного удушья, которое я, казалось бы, похоронил в себе полтора месяца назад. Я вглядывался в безвольный абрис его ребяческого лица и думал: “Мункалф, детка, да как же тебе повезло-то! Такого бы, как ты, да Биллу на зубок!..” И тут безо всякой причины передо мной возник образ бешеного Билла, и я подумал, вроде и сам того не желая, все еще во власти мгновенной ярости: “Ах, Билл, Билл... Как наслаждался бы бешеный негр мяконькой плотью этого дурня!” Ярость увяла, улетучилась, оставив после себя мимолетное чувство тщеты, стыда и опустошенности.

— Ну, может, принесете мне хоть малю-юсенький кусочек хлебца! — умоляюще произнес я, про себя думая: “Станешь умничать — ничего не добьешься, а будешь лепетать, как нормальный ниггер, глядишь, и сработает.

Терять-то мне ровным счетом нечего, тут уж не до гордыни”. — Ну, такой ма-аленький кусочек хлебца, — продолжал я пресмыкаться, улещивать его. — Пожалуйста, добрый молодой маса. Очень уж ку-ушать хочется!

— До восьми нету завтрака, нету! — слишком громким голосом выпалил он, даже выкрикнул, и от выкрика пламя фонаря дрогнуло и заколебалось. С этими словами он выбежал вон, а я стоял в рассветных сумерках, дрожал и слушал, как бурчит у меня в кишках. Немного погодя я прошаркал обратно к скамье, сел и, обхватив голову руками, закрыл глаза. Молитва опять маячила где-то рядом, на задворках сознания, беспокойно скреблась, как большой серый кот, и никак не могла ко мне пробиться. Так она и осталась там, ввне, в который раз уже отлученная, не допущенная, недостижимая, отъединенная от меня столь явно, будто между мной и Богом воздвиглись стены высотой до солнца. Тогда вместо молитвы я начал вслух шептать: *“Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи...”* Но даже и эти безобиднейшие слова выходили как-то не так, и, не успев начать, я прекратил попытку; знакомый псалом “на день субботний” отзывал во рту плесенью и тленом и звучал так же бессмысленно и порожне, как все мои бесплодные попытки молиться. Никогда я и представить себе не мог, что бывает такое чувство удаленности от Бога, разобщенности с Ним, не имеющее ничего общего ни с маловерием, ни с недостатком богоустремленности, ибо и верой, и устремлением к Нему я обладал поныне, но при этом чувствовал такое сиротливое, одинокое обособление, столь полную безнадежность, что, будь я брошен, подобно извивающейся гадине, живьем под самый тяжкий в мире камень, чтобы пребывать в ужасающей, вековечной тьме, я бы не мог быть страшнее разлучен с духом Божиим.

Утренняя сырость начала пронимать меня, охватывала ознобом, пробирала до костей. Харк хрипел за стеной, как издыхающий старый пес — с бульканьем, содроганиями, тошнотными повякиваниями, на живую нитку сшитыми воедино болезненной нуждой в глотке воздуха.

Если кто проживет, как я, много лет, что называется, на земле — в лесах и болотах, где ни один животный инстинкт не главней другого, то постепенно обретет в высшей степени чуткий нюх; так и я унюхал Грея чуть ли не прежде, чем увидел его. Собственно, запах, который распространял Грей, и не требовал тонкого чутья: зимний рассвет стал вдруг майским утром, напитанным ароматом цветущих яблонь, и пока Грей подходил к камере, это сладчайшее благоухание бежало впереди него. На сей раз Кухарь нес сразу два фонаря. Поставил один на пол и отпер дверь. Потом вошел, высоко подняв оба; за ним Грей. Внутри у двери стояла параша, Кухарь, поколебавшись, нервно пихнул ее ногой, отчего ее содержимое захлюпало, заплескалось. Грей, видимо, уловил исходящие от Кухаря эманации страха, потому что в тот же миг попенял ему:

— Ради Бога, парень, ты бы успокоился! В конце-то концов, ну что он может тебе *сделать*? — Голос у него оказался мягким и глубоким, а тон — дружеским и даже веселым, и в нем звучала этакая всеобъемлющая благо-расположенность. Определить, что раздражает меня больше — этот его рыцарственный тон или шибяющий в нос приторный запах, в столь неурочный час я затруднялся. — Боже правый, ты что думаешь, он тебя тут живьем съест?

Кухарь не ответил, молча поставил фонарь на вторую скамью, которая, подобно той, на которой сидел я, была приделана к стене напротив, потом подхватил парашу и с ней сбежал, хлопнув напоследок дверью и с чавкающим шмяком задвинув засов. Какое-то время после ухо-

да Кухаря Грей стоял у двери, молчал, шурился и куда-то мимо меня испытующе посматривал (то, что он близорук, я уже заметил прежде), затем опустился на скамью рядом с фонарем. Фонарь нам нужен будет ненадолго: даже за время, что адвокат усаживался, утро заметно прибавило льющегося в окошко бледного холодного сияния, а за стенами тюрьмы все громче ворочался просыпающийся городок — доносилось неспешное шарканье башмаков, хлопанье ставень, колодезные стуки и скрипы, собачий брех. Грей был осанистым, краснолицым мужчиной лет, наверное, пятидесяти с гаком, а глаза у него казались запавшими и красноватыми, словно он недосыпал. Он поерзал, удобнее устраиваясь на скамье, и рывком распахнул сюртук, обнаружив щегольской парчовый жилет, на котором жирных пятен нынче оказалось еще больше, чем в прошлый раз, а нижняя пуговка теперь была расстегнута, чтобы влез животик. Снова адвокат устремил взгляд в мою сторону, шурясь и глядя чуть-чуть мимо, будто ему никак не поймать меня в фокус; затем он зевнул и один за другим высвободил пухлые изнеженные пальцы из перчаток, которые когда-то были желтыми, но засалились и истрепались.

— Доброе утро, Проповедник, — наконец произнес он. Когда я не ответил, он полез во внутренний карман жилета, извлек оттуда какие-то бумаги, развернул их и принялся разглаживать на колене. Примолкший, он держал бумаги под фонарем, так и сяк перекалывал, что-то себе под нос хмыкая и временами прерываясь, чтобы потрогать усы, седые и жиденькие, как тень под носом. На его щеках проступала щетина. От голода меня и так мутило, а тут еще его приторный запах... в общем, я сидел, глядел на него, молчал и еле держался, чтобы не сблевать. Мне уже надоело говорить с ним, видеть его, и впервые (может, голод тому виной, может, холод или то

и другое вместе, а может, досада из-за неспособности молиться) я почувствовал, что неприязнь к нему начинает превозмогать лучшее, что во мне есть — мое самообладание. Конечно же, я с самого начала, еще пять дней назад, невзлюбил его — невзлюбил его манеру держаться, лицемерие самого его хождения ко мне, да и лично его с этой медоточивой карамельной вонью я ни во что не ставил, но вскоре осознал, сколь глупо было бы упорствовать, запираяться и молчать теперь, когда все кончено, а посулы его и угрозы тут ни при чем, ведь в любом случае что еще я могу потерять? Так что, едва мы начали, я решил, что враждебностью ничего не достигну, и сумел если не полностью подавить неприязнь (именно неприязнь, вряд ли ненависть — ее я испытывал лишь однажды к одному-единственному человеку), то скрыть ее, залить елеем вежливой уступчивости, естественной в моем положении.

Потому что в первый раз, когда он передо мной появился, я не говорил ничего, а он горбился в осеннем желтоватом свете (вечернем, замутненном стелющемся дымком; помню, как сквозь прутья оконной решетки залетали скрученные, хрусткие листья платана), он сидел вялый, со слипающимися глазами, нарочито устало цедил слова и скреб пах пальцами в желтой перчатке:

— Ну, ты-то сам-то рассуди, Преподобный, ведь ничего же не добьешься, что будешь молчать, какдохлая камбала. — Он помедлил, но я опять ничего не сказал. — Разве что, может... — слегка запнулся он, — разве что, может, кроме кучи страданий. Твоих и того второго ниггера.

Я хранил молчание. За день до этого, когда меня гнали пешком из Кроскизов, по дороге попались две женщины, старые ведьмы в шляпах от солнца, так они булавками искололи мне всю спину, раз десять ткнули,

может, больше, причем подбивали их на это мужчины; потом ранки на лопатках стали чесаться дико, нестерпимо, меня корежило так, что на глаза наворачивались слезы, но из-за наручников я ничего не мог поделать. Я думал, если снять наручники да почесаться, я бы обрел ясность мыслей, избавился бы от великой муки, и в какой-то миг я был готов сдаться Грею, пойдил бы на эту единственную уступку, но тем не менее я удержал рот на замке, не сказал ни слова. И сразу понял, что вел себя мудро.

— Знаешь, что я разумею под кучей страданий? — продолжал он терпеливо, нарочито по-доброму, словно я вполне разумный собеседник, а не избитый продранный мешок. Снаружи доносился кавалерийский топот и бряцанье, вдалеке глухо гомонили сотни голосов: я под стражей, это только что подтвердилось, и по Иерусалиму громом прокатилась истерия. — А разумею я под кучей страданий вот что, Нат. Два пункта. Вот, слушай. Это, во-первых: *затя-а-агивание* тех страданий, что ты уже претерпеваешь. Взять, к примеру, ненужный железный хлам, которым увешал тебя шериф — все эти цепи, хомут на шее, эти счетверенные ножные с ручными кандалы и чугунный шар, что подвесили к твоей лодыжке. Боже ты мой Всемогуший, похоже, они решили, что ты Самсон собственной персоной — рванешься и снесешь всю эту хибару. Полнейшая чепуховина, как я это называю. В такой оснастке человек помрет, сидя в собственном, г-хм, навозе, причем, понимаешь ли, задолго до того, как ему соберутся, наконец, растянуть выю.

Наклонившись, он приблизился ко мне; выступивший у него на лбу пот казался маленькими белесыми волдыриками. Вопреки его нарочитой расслабленности, я не мог не почувствовать, что от него за версту шибает служебным рвением.

— Вот такие вот вещи я и называю, как я говорил уже, *затя-а-гиванием* страданий, которые ты уже терпишь. Теперь дальше. Из двух пунктов, пункт следующий, второй, стало быть. А именно промульгация, то бишь распространение, умножение страданий сверх и превыше, и в *добавление* к тем, что ты уже испытал...

— Извините... — впервые я заговорил, и он сразу осекся. Конечно же, он вплотную подошел к тому, что, если я не расскажу ему все, как было, он до меня доберется, учинив какое-нибудь подлое зверство над Харком. Но он грубейшим образом просчитался. С одной стороны, он неверно истолковал мое молчание, с другой, нечаянно угадал самую мою неотступную, мучительную нужду — почесать спину. Если меня, паче чаяния, все равно должны повесить, что толку не давать показаний, тем более что, “признавшись”, я смогу хотя бы чуточку облегчить физические муки. Я почувствовал, что одержал маленькую личную победу. Расколись я с самого начала, пришлось бы самому просить о побрячках, и получил бы я их или нет — кто знает. А молчанием я подвел его к мысли, что мелкие побрячки — единственное, чем он может понудить меня заговорить. Какова будет природа этих побрячек, он теперь уже сам высказал, и каждый из нас сделал свой первый шаг к тому, чтобы снять с меня сбрую из чугуна и меди. В этом никакого сомнения. Белых частенько подводит такое вот недержание речи, и только Бог знает, сколько негритянских побед одержано посредством упрямого молчания.

— Извините, — вновь начал я. И сообщил, что он может более не утруждать себя. Надо было видеть, как его лицо вспыхнуло, округлилось от удивления и вылезли из орбит глаза, в которых, впрочем, я заметил и некий промельк разочарования, как будто моя столь быстрая капитуляция испортила ему возможность всласть поуп-

ражаться в построениях из уговоров, улещиваний и шантажа, которые он прилежно возводил, надоев мне своим витийством. А я вдруг возьми да и рубани сплеча — хочу, мол, сделать чистосердечное признание.

— Да ну? — изумился он. — Ты хочешь сказать, что...

— Помимо меня, Харк один остался. Говорят, у него тяжелые раны. Мы с ним росли вместе. Я не хочу, чтобы его мучили. Вы должны понять, сэр. Но это еще не...

— Вот и чудненько, — перебил меня Грей, — вот это правильное решение, Нат, умное! Я знал, что рано или поздно ты к этому придешь.

— Еще кое-что, мистер Грей, — заговорил я медленно, взвешивая каждое слово. — Вчера вечером, когда меня еще только-только перевели сюда из Кроскизов, сижу это я в темноте — цепи на мне все эти... — и пытаюсь уснуть. Уснуть все не получалось, и мне вроде как явился в видении Господь. Сначала я не понимал, что это Господь, потому что давно уже думал, будто Господь оставил меня, что он меня бросил. Но потом я так сижу со своими цепями — в ошейнике железном, в кандалах и наручниках, въевшихся в запястья, — сижу, и такая боль, безнадежность такая, как подумаешь, что мне уготовано, — нет, ну правда, мистер Грей, клянусь, это был Господь, он приходил ко мне в видении. И вот что Господь мне сказал. Господь сказал мне: *“Дай показания, признайся без утайки, в назидание народам. Поведай, чтобы знал всякий сын человеческий о деяниях твоих”*. — Я смолк, вглядываясь в Грея, залитого пыльным, нечистым осенним светом. На краткий миг я смутился, подумал, он почувствует фальшь, но Грей наживку заглотал и весь стал внимание: я еще закончить не успел, а он уже лез в карман за бумагой, раскладывал на коленях ларец с письменными принадлежностями, озабоченно суетился, словно игрок, боящийся, что не успеет отыгаться.



— Когда Господь сказал мне таковы слова, — продолжил я, — я сразу, мистер Грей, сразу понял, что другого пути нет. Нет-нет, сэр, я уж устал от этого всего, и я готов рассказать все как есть, потому что Нату было видение, Господь дал нашему ниггеру знак!

Гусиное перо наготове, бумага разглажена и уложена на крышку писчего ларца, и Грей уже что-то вовсю выцарапывает на скрижалях своего ремесла.

— Так что, ты говоришь, Господь сказал тебе, Нат? Признайся во грехах твоих, которые — что?

— Нет, сэр, не “признайся во грехах”, — отвечал я. — Он сказал “признайся без утайки”. Просто “признайся без утайки”. Это важно отметить. Никаких *грехов твоих* вовсе не было. *Признайся без утайки, в назидание народам...*

— *Признайся без утайки, в назидание народам*, — пробубнил он себе под нос, скрипя пером по бумаге. — Ну, дальше — и быстрый взгляд на меня.

— Дальше Господь сказал так: *Поведай, чтобы знал всякий сын человеческий о деяниях твоих*.

Грей замер с пером в воздухе: лоб потный, а на лице такое удовольствие, такое ликование, что я уже готов был увидеть слезы у него на глазах. Медленно он опустил на ларец руку с пером.

— Не могу выразить тебе, Нат, — сказал он проникновенно, — нет, правда, не могу выразить, до чего чудное, замечательное решение ты принял. Выбор чести — я бы так это назвал.

— Не пойму, сэр, в чем тут честь? — удивился я.

— В покаянии, а как же.

— Сие есть повеление Господне, — ответил я. — Кроме того, мне ведь нечего больше скрывать. Что я потеряю, если все расскажу? — Секунду я поколебался. Желание почесать спину приводило меня на грань тихого, мелко-травчатого помешательства. — Но я чувствую, что смогу

вам рассказать куда больше, мистер Грей, если вы добьетесь, чтобы с меня сняли эти вот наручники. У меня ужасно чешется между лопатками.

— Думаю, это можно без особых трудов устроить, — сказал он дружелюбно. — Как я довольно пространно объяснял уже, суд уполномочил меня способствовать — в разумных пределах — облегчению любых подобного рода необоснованных страданий при условии, что и ты станешь сотрудничать настолько усердно, чтобы упомянутое облегчение страданий стало — г-м — взаимно полезным. И я рад — на самом деле, можно сказать, я даже *вне себя* от радости, — что ты находишь такое сотрудничество желательным. — Он весь подался вперед, ко мне, так что нас обоих накрыло ароматами весны и цветения. — Стало быть, Господь сказал тебе: *Поведай, чтобы знал всякий сын человеческий?* Проповедник, я думаю, ты даже не представляешь, сколько божественной справедливости заключено в этой фразе. Скоро уж два с половиной месяца, как все только одного и хотят — *знать*, и не только в Виргинии и сопредельных ей штатах, но по всей Америке. Десять недель, пока ты бегал в лесах по всему округу Саутгемптон и прятался, словно лис, народ Америки жаждал знать, как ухитрился ты натворить столько бед. По всей Америке — на Севере тоже, не только на Юге, — люди спрашивают себя: как сумели черномазые так организовать, чтобы измыслить, да и чего уж там — осуществить, довести до конца такой план? И никто не может людям ответить, истина от них сокрыта. Все бродят впотьмах. А другие черномазые сами не знают. То ли не знают, то ли не умеют рассказать. Болваны пустоголовые! Болваны! *Болваны!* Ничего сказать не могут — даже тот, второй, еще не повешенный. Тот, у которого кличка Харк. — Он помолчал. — Кстати, давно хотел спросить: что это за имя такое?

— Наверное, родители его называли Херкюлес, — отозвался я. — Думаю, Харк это сокращение. Но я не уверен. Никто не знает. Его всегда так называли.

— Вот, даже он. А ведь поумней, чем большинство других будет. Но уж упрям! Более упертого нигтера я в жизни не видывал. — Грей склонился ко мне еще ближе. — Даже он молчит. Получил в заплечье заряд дробы, от которого бык загнулся бы! Мы подлечили его... Скажу тебе честно, Нат, честно и откровенно. Мы надеялись, он скажет, где ты прячешься. Ну подлечили его, стало быть. Но его ничем не проймешь, это надо отдать ему должное. Даже тут, в тюрьме, задашь ему вопрос, а он сидит себе, зубами цыплячьи кости хрумкает и только скалится в ответ да хохочет, ухает, как филин какой. А из других негров ни один ничего и не знал толком. — Грей снова выпрямился, помолчал, вытер пот со лба, а я сидел и слушал шумы и голоса людей снаружи: вот что-то крикнул мальчишка, вот кто-то свистнул, вдруг простучали копыта, а фоном всему этому — многоголосый гомон, вздымающийся и опадающий, как отдаленный прибой. — Нет, дудки, — заключил он медленнее и тише, — Нат, только Нат ключ ко всему этому кошмару. — Он снова помолчал, потом сказал тихо, почти шепотом: — Ты-то понимаешь, Проповедник, что один ты — ключ ко всему?

Я смотрел, как за окном падают скрученные золотистые листья платана. От неподвижности, в которой я просидел много часов, у меня перед глазами замерцали какие-то фигуры и тени, словно я мало-помалу, исподволь начинаю бредить. Они уже путались у меня в сознании с падающими листьями. На вопрос я не ответил, только сказал в конце концов:

— Так, говорите, над остальными тоже суд был?

— Суд? — переспросил он. — Суды, ты хочешь сказать. У нас тут их было до чертовой матери. Чуть не каждый

день новый суд. И в сентябре, и потом, прошлый месяц у нас суды эти из ушей лезли.

— Да ну? Стало быть, вы... — В сознании молнией вспыхнула картина, как меня за день до этого гнали к Иерусалиму по дороге из Кроскизов: чьи-то сапоги, пинающие в зад и в спину, жалящие уколы булавок в лопатки, вокруг чьи-то расплывчатые яростные лица, лезущая в глаза пыль и плевки, виснувшие на носу, на щеках, на шее (даже и теперь я чувствую их у себя на лице вроде чудовищной коросты, высохшей и накрепко приставшей), а над всем этим поверх угрожающего гомона толпы неизвестно чей одинокий крик — тонкий, истерический: “Сжечь его! Сжечь! Сжечь! Сжечь черномазого черта прямо здесь!” И во весь шестичасовой полуобморочный путь моя собственная вялая надежда, странно смешанная с недоумением: хоть бы они поскорей со своим делом покончили — сожгли бы меня, повесили, выкололи глаза, что там еще они собираются со мной сделать, — почему бы им не исполнить это сейчас? Но они так ничего и не сделали. Оплевыванье длилось бесконечно, кислый привкус слюны меня теперь преследует. Однако, кроме этого, кроме пинков и булавочных уколов, мне никакого зла не причинили — удивительно! — и даже когда заковали в цепи и бросили в камеру, я думал: нет, Господь готовит мне какое-то особое спасение. А может, наоборот, мне измышляют особо изощренную кару, которую я не в силах себе даже представить. Что же до остальных — других негров и судов над *ними*, — внезапно при взгляде на Грея мне это стало более или менее ясно: —...Вы, стало быть, отделяли зерна от плевел, — догадался я.

— Как говорят французы, *exactement*. Ты совершенно прав. Можно также сказать, защищали права собственности.

---

\* Точно (*фр.*)



— Права собственности? — Я несколько опешил.

— А что, это тоже важно, — усмехнулся он. — Еще бы. Преследовались обе, можно сказать, равнодостоинные цели. — Покопавшись в кармане жилета, он вытащил оттуда свежий темно-коричневый ломоть прессованного табака, пощупал его, помял в пальцах и отгрыз от него кусок, который сунул за щеку. — Предложил бы и тебе, — спустя секунду спохватился Грей, — только ведь я так понимаю, что человек твоего звания вряд ли позарится на девку по имени Никотин. И это очень правильно, не то язык сгниет и отвалится. Знаешь, я тебе расскажу кое-что, Нат, и это кое-что состоит в следующем. В качестве адвоката — и, между прочим, *твоего адвоката* в какой-то мере, — я должен указать на некоторые юридические тонкости, которые тебе было бы весьма полезно зарубить у себя на носу. По сути, тут всего два пункта, и первый насчет имущества. А именно — права собственности.

В изумлении я молча на него уставился.

— Позволь, я обойдусь без экивоков. Возьмем собаку, которая есть движимое имущество. Нет, сперва возьмем телегу: хочу выстроить уподобление логично, шаг за шагом. А теперь представим себе фермера, владельца телеги, обыкновенной грузовой подводы; он взял да и поехал на ней куда-нибудь в поля. Далее: этот фермер нагрузил телегу кукурузными початками, или сеном, или хворостом, или еще чем-нибудь и оставил на дороге, которая идет под уклон. А телега старая такая, раздолбанная, и вдруг у ней тормоз возьми да и сломайся. Глядь, старая телега уже несется под горку вниз, вот через канаву перескочила, и не успеешь “мама” сказать, она — *ба-бах!* — влетает на крыльцо чужого дома, а там девочка, сидела себе тихо-мирно, никого не трогала, а телега — *хрясь!* — и уже тут как тут. Несчастный ребенок гибнет под колесами на глазах убитой горем мамыши.

Между прочим, не так давно произошел в точности такой случай — где-то в окрестностях Динвиди. Ну, дальше *что?* — поплакали, похоронили, все в таком духе, но рано или поздно мысли непременно возвращаются к той повозке. Как так произошло? Почему? Почему бедную Кларинду задавило колесами старой телеги? Ну кто, по твоему, отвечать должен?

Этот последний вопрос адресован мне, но я не откликаюсь. То ли от скуки мне невольно стало, то ли злоба душила или просто изнемог, а может, все сразу. В общем, я не ответил, молча смотрел, как он перекачивает во рту жвачку, потом выстреливает красноватой струей табачного сока в пол под ноги.

— Ладно, объясняю, — не дождавшись, продолжил он. — Скажу, на ком вина будет. Вина целиком и полностью ляжет на того фермера. Потому что телега — имущество *неодушевленное*. На телегу за содеянное ею нельзя возложить ответственность. Нельзя эту старую повозку наказать — наброситься, разломать в куски и, кинув в огонь, сказать: “Вот, это будет тебе уроком, окаянная деревяшка!” Нет, вину возложат на непутевого ее владельца. Это *с него* за все спросится, это *ему* придется возмещать убытки в размере, который определяют в судебном порядке — и за разрушенное крыльцо, и за похороны погибшего ребенка, плюс, возможно, еще и какие-нибудь штрафные санкции суд на него наложит. А уж после этого — иди, раздолбай несчастный, чини на своей телеге тормоз, если у тебя какие деньги еще остались, и следи за своим имуществом — попенял на себя, впредь, может, поумнеешь! Да ты слушаешь меня?

— Да, — отозвался я, — это понятно.

— Ну вот, подошли, наконец, к сути дела. Рассмотрим *одушевленное* имущество. Когда речь заходит о взыскании по суду компенсации за причиненный вред в виде утраты жизни или собственности, одушевленное имуще-

ство ставит перед нами особенно запутанные и тонкие правовые проблемы. Не нужно пояснять, что эти проблемы становятся *предельно* запутанными и тонкими, когда возникает казус, подобный тому, который мы имеем в результате действий твоих и твоей шайки, чьим преступлениям нет прецедентов в анналах всей страны, причем судебный розыск, в силу вышеупомянутого обстоятельства, приходится чинить в атмосфере, я бы сказал, жгучего общественного внимания — это по меньшей мере. Что ты там все ерзаешь?

— Спина, — отозвался я. — Я был бы вам ужасно благодарен, если б вы велели им снять с меня цепи. Лопатки жжет — это жуткое что-то.

— Я же сказал тебе: приму меры. — В его голосе промелькнуло раздражение. — Преподобный, ты имеешь дело с человеком слова. Но вернемся к юриспруденции. Между одушевленным имуществом и телегой есть элементы как сходства, так и различия. Главное и очевидное *сходство* это, конечно, то, что одушевленное имущество есть такая же, как и телега, частная собственность, а посему как таковая и пребывает в глазах закона. Подобным же образом... Я не чересчур сложно изъясняюсь?

— Нет, сэр.

— Подобным же образом, главное и очевидное различие — то, что одушевленное имущество в отличие от неодушевленного, такого, как телега, *способно* совершить преступное деяние и может за него подвергнуться уголовному преследованию, тогда как его владелец, наоборот, упомянутому преследованию по закону не подлежит. Не знаю, может, тебе в этом почудится некое противоречие, нет?

— Что почудится?

— Противоречие. — Он помедлил. — Наверное, не знаешь, что это.

— Да, да. — На самом деле я просто не расслышал слово.

— Противоречие — это когда две разные вещи в то же самое время влекут одни и те же последствия. Видимо, не стоило мне лезть в такие дебри.

Я вновь ничего не ответил. Уже само звучание его голоса, который от табачной жвачки за щекой стал глуше, сделался каким-то слюнявым и шлепогубым, начинало действовать мне на нервы.

— Ладно, плюнем на это, — продолжал он. — Не собираюсь я тебе все объяснять. Подробности услышишь в суде. Смысл в том, что ты как раз *одушевленное* имущество, и в качестве такового способен ко лжи, коварству и воровству. Ты не телега, Преподобный, ты имущество, которое наделено свободой воли и возможностью нравственного выбора. Запомни это хорошенько. Именно поэтому закон предписывает, чтобы одушевленное имущество, вроде тебя, за преступления судили, и именно поэтому в следующую субботу над тобой состоится суд.

Он помолчал, потом тихим голосом равнодушно закончил:

— После чего тебя ждет казнь через повешение за шею.

Через миг, как будто временно иссякнув, Грей глубоко вздохнул и отстранился, расслабленно откинувшись спиной к стене. Он шумно дышал и сочно чавкал жвачкой, дружелюбно глядя на меня из-под тяжелых, набрякших век. В тот момент я впервые заметил на его красном лице обесцвеченные пятна — желтоватые, не очень заметные, точно такие же, как я когда-то видел у одного сильно пьющего белого в Кроскизах; тот вскоре умер, оттого что его распухшая печенка стала, как средних размеров арбуз. Я подумал, уж не страдает ли мой странный адвокат тем же недугом. В камере полно было жирных осенних мух; тихо жужжа, они простегивали воздух бес-

порядочными зигзагами, иногда вспыхивая золотистым светом, заинтересованно кружили над парашей, нервно ползали по засаленным желтым перчаткам адвоката, по его жилету, по рукам, лежащим неподвижно у него на коленях. Я смотрел, как перед глазами колышутся и мерцают фигуры и тени, путаясь в сознании с падающими листьями платанов. Желание почесаться, поскрести лопатки превратилось во что-то вроде безнадежного плотского вожделения, во всепоглощающую страстную алчбу, так что последние слова Грея оставили в моем сознании впечатление слабенькое, неясное и бесформенное — этакий всегдашний абсурд, свойственный всякому измышлению белых на всем протяжении моей жизни и сравнимый разве что с той несусаицей, что привиделась мне когда-то в кошмарном сне, совершенно неправдоподобном, но исполненном пугающей реальности: там филин в лесу зачитывал перечень цен, как заправский лавочник, а дикий кабанчик, приплясывая на задних ножках, выходил на край кукурузного поля и нараспев читал из “Второзакония”. Я неотрывно смотрел на Грея и думал о том, что он не лучше и не хуже других белых — язык длинный и без костей, как у них у всех, — и у меня в мозгу знаменем развернулись строки Писания: *“Отверз легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова; кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою”*. В конце концов я сказал:

— Отделяли, значит, зерна от плевел.

— Или, если перевернуть речение, отделяли плевелы от зерен, — тут же откликнулся он. — Но в принципе ты совершенно прав, Нат. Смысл вот в чем: некоторые из твоих негров были вроде тебя — замазаны этой катавасией по самые уши, грязнее грязи, и виновны так, что не найти им было никакого снисхождения. Целый ряд других, однако, — и я думаю, не обязательно сейчас тебе

этот грустный факт доказывать, — были либо по молодости и простодушию, либо просто силком втянуты в твой безумный заговор и *препятствовали* ему всеми правдами и неправдами. Так вот, как раз владельцев *этих* негров суды и призваны были защитить...

Он говорил и говорил, вынул еще какой-то лист бумаги из кармана, но я уже не вникал, слушал лишь, как заныла в сердце нота печали, едкой горечи, ничего общего не имеющая ни с тюрьмой, ни с цепями, ни со сводящим с ума зудом, ни с загадочной, сиротливой богооставленностью, которая не переставала мучить меня почти непереносимо. В тот момент мне главное было перебороть *эту* боль, *эту* горькую мысль, которую десять недель я упорно не допускал до себя, загоняя на самые дальние задворки сознания, а Грей невзначай вдруг взял да и выволок на свет Божий во всей ее наготе и неприглядных корчах: *другие негры... силком втянуты... препятствовали*. Наверное, у меня вырвался какой-то стон, горестный звук, сдавленный и застрявший костью в горле, или Грей просто угадал мою новую муку, поскольку он, снова сощурившись, глянул на меня и говорит:

— Вот *те другие негры* и закопали тебя, Проповедник. Вот где была твоя фатальная ошибка. *Те другие*. Ты и понятия не имел, что у них на уме.

Казалось, он сейчас продолжит, раскроет и разовьет свою мысль, но нет, он разложил бумагу на скамье и, склонившись над ней, поглаживая и расправляя, заговорил в своей обычной равнодушно-непринужденной манере:

— Так что вот. Из этого перечня ты получишь некоторое представление о том, как немного плевел было в добром мешке зерна. Вот, слушай: Джек, собственность Натаниэля Симмонса, оправдан. — Он искоса взглянул на меня, этак вопросительно, но я никак не отозвался. —

Стивен, — читал он дальше, — собственность Джеймса Белла, оправдан. Шадрач, собственность Натаниэля Симмонса, оправдан. Джим, собственность Уильяма Вогана, оправдан. Дэниэл, собственность Соломона Д. Паркера, отпущен без суда. Ферри и Ачер, собственность Дж. У. Паркера, то же самое. Арнольд и Артист, свободные негры, тоже. Мэт, собственность Томаса Ридли, оправдан. Джим, собственность Ричарда Портера, туда же. Нельсон, собственность Бенджамина Бланта, туда же. Сэм, собственность Дж. У. Паркера, то же самое. Хаббард, собственность Кэтрин Уайтхед, отпущен без суда... Черт, я мог бы продолжать и продолжать, но я не буду. — Он вновь уставился на меня с умудренным и значительным видом. — Если уж этого недостаточно, чтобы доказать, что суды были с начала и до конца честными и непредвзятыми, хотел бы я знать, что еще нужно.

— Единственное, в чем это убеждает меня, — колебавшись, отвечал я, — всего лишь во внимании и заботе. О праве собственности. Да вы и сами недвусмысленно на это намекали.

— Нет-нет, погоди-ка, Преподобный, — беспокоился он. — Минуточку! Ты, это, не очень-то наглей тут у меня. Я продолжаю утверждать, что мы провели серию справедливых судебных разбирательств, и не хочу выслушивать твоих инсинуаций в пользу противного. Сейчас ты у меня пошлепаешь своими черными губищами — гляди, как бы не меньше, а еще больше тебе железа таскать не пришлось.

Мысль об ужесточении режима мне не понравилась, я сразу пожалел, что разговорился. Впервые Грей проявил ко мне враждебность, и это оказалось ему не очень к лицу: нижняя губа у него отвисла, из уголка рта побежала струйка коричневого сока. Почти тотчас, впрочем, он совладал с собой, вытер рот, и его тон вновь стал спокойным, непринужденным, чуть не приятельским. Откуда-то снару-

жи, из-за дальних, уже ставших прозрачными ноябрьских деревьев, до меня долетел истошный вопль какой-то женщины, которая долго выкрикивала что-то неразборчиво-ликующее, из чего я сумел разобрать только одно — свое имя: *На-ам*; этот единственный слог, бесконечно растянутый, будто рев мула, несся над гомоном, гвалтом и приливающими наплывами множества голосов.

— Шестьдесят с лишним подозреваемых, — бубнил свое Грей. — Из этих шестидесяти десятка три оправданы или отпущены вообще без суда, человек пятнадцать или около того приговорены, но всего лишь к высылке. И только пятнадцать к повешенью — плюс ты да тот второй ниггер, Харк, вас приговорят еще — итого семнадцать. Другими словами, вся эта кровавая каша привела на виселицу только четверть ее участников. Аболиционисты, эти сладкоречивые лицемеры, говорят, у нас нет правосудия. Еще как есть! Правосудие. С его-то помощью рабовладение и будет стоять тысячу лет.

Грей стал копаться в своих документах и списках. А я и говорю:

— Мистер Грей, сэр, я понимаю, я не в том положении, чтобы просить о пощадах. Но я боюсь, что мне потребуется какое-то время, чтобы собраться с мыслями для чистосердечного признания. Не будете ли вы так добры, я бы хотел немножечко побыть один. Мне надо время, сэр, собраться с мыслями. Кое-какие вещи уладить с Господом.

— Ну отчего ж, конечно, Нат, — ответил он. — Времени у нас сколько влезет. Мне, кстати говоря, тоже перебивчик не помешает. И знаешь зачем? Повидаю-ка я мистера Тревезанта, прокурора штата, насчет всех этих кандалов и цепей, которые на тебя навесили. Потом я вернусь, и мы приступим к работе. Тебе как — получаса, трех четвертей часа хватит?

— Я весьма вам признателен. Да, еще кое-что, мистер Грей. Не хочу показаться настырным, но со вчерашнего вечера я ужас как проголодался. Быть может, вы замолвите словечко, чтобы мне дали хоть какой-нибудь еды. Я бы лучше справился с этим признанием, если бы мне сперва дали чуточку чего-нибудь пожевать.

Он встал, постучал по решетке, вызывая тюремщика, потом обернулся ко мне и сказал:

— Смотри, Преподобный, это ведь ты сказал, твое было слово. А поесть тебе дадут, не сомневайся. Не может человек дать настоящего признания без бутерброда с беконом в брюхе.

Когда он ушел и дверь меня опять от всех отъединила, я неподвижно сел среди своих цепей. Солнце на пути к закату стало как раз против окна, и камера наполнилась светом. Мухи жужжали, носились от стены к стене путаными упругими петлями, садились мне на лоб, щеки и губы. В лучах света вниз и вверх сновали мириады пылинки, и я подумал: интересно, эти частички, которые кажутся глазу такими весомыми и большими, не мешают ли они в полете мухам? А может быть, думал я, для мух пылинки что-то вроде осенних листьев, и препятствуют им не больше, чем палая листва человеку, когда он гуляет в октябрьском лесу, а внезапный порыв ветра срывает с тополя или платана и взметывает вокруг него неистовым, но безвредным вихрем рыжие и золотые листья. Надолго задумавшись, я размышлял о превратностях жизни мухи и почти не слушал доносящийся снаружи рев, который то накатывал, то утихал, как летний гром, близкий и угрожающий, но при этом далекий-далекий. Во многих отношениях, думал я, муха, наверное, из самых счастливых тварей Божьих. Рожденная безмозглой, она бездумно обращается за пропитанием ко всему влажному и теплomu, находит себе безмозглую пару,

размножается и, все такая же безмозглая, умирает, не познав ни невзгод, ни горестей. Но затем я спросил себя: так ли уж я в этом уверен? Кто знает, а может, мухи, наоборот, самые отверженные Божьи твари, вечно жужжащие меж небом и забвением в вечной агонии бессмысленной, конвульсивной дерготни, понуждаемые инстинктом жрать всякий пот, слизь, отбросы, а в их безмозглости как раз и кроется непрерывная мука? Так что, если кто-то, пускай из лучших, но ошибочных побуждений возжелает бегства из человеческой юдоли скорби в мушиный мир, он обнаружит себя в куда как более чудовищном аду, нежели ему представлялось: он получит существование, которое не знает свободы воли, выбора, а только лишь слепое повиновение инстинктам, заставляющим ненасытно и отвратительно поедать хоть кишки разлагающейся лисы, хоть содержимое тюремной параша. Конечно же, такое было бы проклятием запредельным: существовать в мушином мире, пиршествуя на гноище, причем безо всякой радости и совершенно вопреки желанию.

Помню, один из моих прежних владельцев, мистер Томас Мур, сказал однажды, что негры не совершают самоубийств. Я даже в точности припоминаю, как это было сказано: осень, время колоть свиней, жуткий холод (а может, теперь мне так кажется из-за наложения мыслей о смерти на тот холодный сезон смертей), морщинистое, рябое лицо Мура, на холоде покрасневшее от долгой работы над окровавленной тушей, и его собственные слова, при мне сказанные двум соседям: “Это кто же слышал такое, чтобы ниггер убил себя? Нет, я вам так скажу: черномазый, может, когда и захочет себя уколошить, но как почнет думать об этом, как примется думать, думать и думать — глядь, а он, болезный, и спит уже. Верно, Нат?” Хохот соседей, да и мой соб-



ственный — ожидаемый, почти обязательный, и повторение вопроса: “Нет, ну ты скажи, верно, Нат?” — уже с некоторым нажимом, и мой ответ с приличествующим случаю смешком: “Да, маса Том, сэр, что верно, то верно, ясное дело”. И, по правде говоря, стоило мне поглубже вдуматься, как пришлось признать, что никогда я не слышал о негре, который бы убил себя. В стремлении сей факт осмыслить я склонялся (причем, чем больше изучал Библию и учения Пророков, тем более склонялся) к тому, что понимание праведности, присущей страданию, готовность к терпению и выдержке перед лицом вечной жизни, то есть, собственно, христианская вера — вот что отвращает негра от этой пагубы. *Людей угнетенных Ты спасаешь, ...ибо Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою.* Однако теперь, сидя в солнечном луче, где вздрагивают тени падающих листьев, слушая неумолчное гуденье мух, я уже не могу сказать, что ощущаю это как непреложную истину. Скорее кажется, что мои черные соплеменники, эти засранцы и говноеды, и впрямь подобны мухам, безмозглым париям Господним, не имеющим воли даже на то, чтобы своею собственной рукой прекратить нескончаемую му́ку...

Долго я так сидел в лучах солнца, не двигаясь, ждал, когда возвратится Грей. Интересно, сумеет ли он заставить их принести мне поесть после того, как с меня снимут цепи и наручники. Еще я думал о том, как бы мне убедить его принести Библию, по которой где-то там, в глубине своего существа, я уже затосковал нестерпимо. Ропот толпы я не впускал в сознание, и в тишине вокруг меня жужжали мухи, пели энергичную торжественную песнь, будто песнь самой вечности. Через какое-то время я попробовал молиться, но опять тщетно. И ничего я не чувствовал, кроме отчаяния, да такого

тошнотного, что испугался, как бы не сойти с ума; хотя нет, *это* отчаяние — оно каким-то образом лежало глубже безумия.

И вот опять первое утро, новое первое утро; рассвело, и когда бледный холодный свет стал наполнять камеру, Грей задул фонарь.

— Эк ведь похолодало-то! — поежившись, сказал он и застегнул сюртук. — В общем, так... — он помедлил, глядя в мое лицо. — Значит, сегодня, когда суд кончится, я первым делом постараюсь затребовать для тебя зимнюю одежду. Неправильно, чтоб человек, сидя в такой вот будке, мерз как цуцик. Раньше я как-то не обращал на это внимания — одежда там, то, се, — потому что до сегодняшнего дня тепло стояло. Но то, что на тебе надето — или что от всего этого осталось — это ж ведь легче старое тряпье. Что это было? Рядно какое-то? Мешковина? Жалкие, жалкие тряпки, да по такой погоде! Так, теперь насчет твоего признания, Нат. Все, что имеет значение, я переписал, всю ночь, черт возьми, просидел. Н-да, как намекал я и раньше, боюсь, это признание только послужит обвинению лишней уликой, и противопоставить ему будет нечего. По всей видимости, я или мистер У. Ч. Паркер — это твой адвокат защиты — встанем и сделаем какое-то формальное заявление, но в сложившихся обстоятельствах оно вряд ли может быть чем-то иным, нежели просьбой к суду внимательно ознакомиться с материалами, находящимися в его распоряжении — в данном случае с твоим добровольным, полным и чистосердечным признанием. Теперь, как я объяснял уже, прежде чем ты сегодня мне его подпишешь, я хочу зачитать его тебе, чтобы...

— То есть как, мистер Паркер, — вклинился я. — Значит, не вы мой адвокат?

— Ну конечно, нет. Но все равно ж мы с ним коллеги и, что называется, напарники.

— А я его даже и в глаза не видел? И вы об этом мне сообщаете только сегодня? — я даже задохнулся. — И все, что вы записываете — это *для обвинения*?

По его лицу пробежала гримаса нетерпения, помешавшая ему от души зевнуть.

— Ий-ых! Обвинитель тоже мой коллега и напарник. Какая разница, Преподобный? Обвинение, защита — все это ни на йоту не меняет дела. Мне казалось, я растолковал тебе совершенно отчетливо — что я, так сказать, делегирован, что ли, судом, уполномочен им получить от тебя признание. Вот я, наконец, это и сделал. Но твоего-то гуся не я жарил! — Он внимательно глянул на меня, потом заговорил добродушным, увещающим тоном: — Ладно тебе, Проповедник. Давай глядеть на вещи реально. Ну, то есть называть своими именами. — Он замаялся. — В том смысле... Ч-черт, ну ты знаешь, в каком смысле.

— Да, — сказал я. — Я знаю, что меня повесят.

— Ну, а если это решено априори, какой же смысл выполнять все предписанные поклоны и приседания, как ты считаешь?

— Да, сэр, — сказал я. — Думаю, смысла нет.

Да и впрямь! Я даже испытал своего рода облегчение оттого, что логику, наконец, окончательно выкинули в окошко.

— Ладно, тогда, стало быть, к делу. Потому что к десяти часам мне надо это должным образом окончательно оформить. А теперь, как я говорил уже, я зачитаю вслух все целиком. Ты подпишешь, и в суде твое признание огласят как свидетельство обвинения. Но пока я все это читаю, хочется, чтобы по ходу дела ты мне растолковал, если сможешь, некоторые частности, которые я для себя как-то не уяснил еще. Так что в процессе чтения, воз-

можно, мне придется временами прерываться, чтобы внести поправочку-другую. Готов?

Я кивнул, весь сжавшись от пронизывающего холода.

— “Сэр, вы просили дать полный отчет причинам, побудившим меня поднять мятеж, как вы это называете. Чтобы сделать это, мне нужно вернуться к дням моего детства, даже к тем дням, когда я еще не родился...” — Читать Грей начал медленно и раздумчиво, как будто наслаждаясь звучанием каждого слова, но вот уже он прервал себя, бросил на меня взгляд и сказал: — Ну, ты, конечно, понимаешь, Нат, здесь не обязательно каждое слово именно то, что ты мне говорил. Признание как юридический документ должно быть выдержано в определенном стиле — таком, я бы сказал, весомом, значительном, так что здесь я скорее воссоздаю и переизлагаю то, что в несколько сыром и грубом виде высказывалось, начиная с прошлого четверга, во время наших собеседований. Существо дела — то есть вся совокупность частных и деталей — сохраняется или, по крайней мере, я надеюсь, что сохраняется. — Вернувшись к документу, он продолжал: — “Чтобы сделать это... и т.д., и т.п., ага...еще не родился”. Гм. “Истекшего октября второго дня мне исполнился тридцать один год, а рожден я был в собственности Бенджамена Тернера, в этом округе. В детстве произошло событие, оставившее в моем сознании неизгладимый след и послужившее основанием тому исступлению, которое привело к гибели многих людей, белых и черных, за что мне предстоит держать ответ на виселице. В этой связи необходимо...” — Тут он снова прервался, чтобы спросить: — Ты как — следишь еще?

Я закоченел, тело, казалось, покинули последние силы. Все, что я смог, это поднять глаза и пробормотать:

— Да-да.



— Хорошо, тогда продолжаем: “В этой связи необходимо остановиться на упомянутом событии подробно; при всей кажущейся его незначительности оно вызвало к жизни убеждение, которое со временем укреплялось и от которого даже сейчас, сэр, в этой темнице, где я, беспомощный и никчемный, прозябаю, я не могу вполне отрешиться. Когда мне было три или четыре года от роду, я как-то раз играл с другими детьми и рассказал им о некоем происшествии, которое моя мать, краем уха услышав, отнесла ко времени, бывшем прежде моего рождения. Я, однако, на своем настаивал и присовокупил некоторые детали и обстоятельства, каковые, по ее мнению, мой рассказ подтверждали. Призваны были третьи лица, и то, что я поведал о вещах действительных, заставило их с удивлением сказать в моем присутствии: он обязательно станет пророком, ибо Господь открыл ему вещи, которые были прежде его рождения. И мать лишь укрепила меня в этой столь рано подсказанной мне надежде, настойчиво заявляя, что мне предуготовано великое служение...” — Он вновь запнулся. — Все правильно пока?

— Да, — сказал я. И впрямь, во всяком случае по существу дела, как он выразился, то есть в главном то, что я ему рассказывал, похоже, искажено не было. — Да, — повторил я, — все правильно.

— Ну хорошо, продолжим. Я рад, что ты оценил, насколько честно я отнесся к твоему повествованию, Нат. “И мать, с которой я был очень тесно связан, и хозяин (человек воцерковленный), и другие религиозные люди (как те, кто посещал усадьбу, так и те, кого я постоянно видел на молитве), отмечая своеобразие моего поведения и, по-видимому, необычные в столь нежном возрасте умственные задатки, говорили, что я чересчур смышлен, чтобы меня учить и воспитывать, поскольку ученый раб никому не будет нужен...”

Он продолжал читать, а я слушал приглушенный лязг и звяканье цепей и кандалов по ту сторону стенки; потом донесся голос, тоже приглушенный, булькающий от заливающей рот мокроты — голос Харка: “Холодно мне! Начальник! Ведь холодно же! Холодно! Помоги бедному ниггеру, эй, начальник! Помоги бедному замерзшему ниггеру! Начальник, принеси бедному замерзшему ниггеру чем прикрыть его кости!” Грей, нимало не смущаясь шумом, читал дальше. Харк вопил не переставая, а я медленно поднялся со скамьи, потопал ногами, чтобы не мерзли.

— Я слушаю, — сказал я Грею. — Не обращайтесь внимания, я слушаю.

Стреноженно прошаркал кандалами к окну, слушая не столько Грея, сколько Харковы стенания и вопли за стенкой; конечно, я знал, что он ранен, что в камерах холодно, но я также знал Харка: Харк явно *придуривался*, а на это он мастак. Единственный негр в Виргинии, кто мог хитроумной лестью заставить белого отдать последнюю рубаху. Я стоял у окна и слушал не Грея, а Харка. Голос его стал слабым, жалостным, дрожащим от жесточайшего страдания — вот-вот, казалось, Харк испустит дух; таким голосом можно было растопить самое ледяное сердце.

— Ой-ой, кто-нибудь, помогите бедному, больному, замерзающему негру! Ой, масса начальник, ну хоть что-нибудь, ну хоть тряпочку, прикрыть ему кости! — И тут же я услышал, как за спиной у меня Грей встает и идет к двери вызывать Кухаря.

— Найди там какое-нибудь одеяло для второго негра, — приказал Грей. Потом он опять сел и принялся читать, а из-за стенки я совершенно явственно услышал, как в затихающем стане Харка прозвучало что-то вроде сдавленного смешка, этакое удовлетворенное хрюканье.

— “У меня никогда не было привычки воровать, ни в детстве, ни в юности. Правда, даже в этот ранний период моей жизни соседские негры настолько верили в превосходство моих суждений, что, замыслив какую-нибудь проказу, частенько брали меня с собой, чтобы я руководил ими. Я рос в их окружении под постоянным влиянием их веры в превосходство моих суждений, каковое, по их мнению, довершалось еще и божественным вдохновением, проявившимся в упомянутом случае из моего детства; впоследствии же их веру подкрепляла строгость моей жизни и поведения, строгость, которая стала притчей во языцех среди белых и негров. Скоро осознав свое величие, я должен был ему соответствовать, поэтому тщательно избегал неподобающего общения и, окутавшись тайной, посвящал все время молитве и посту...”

Грей продолжал бубнить. Я его давно уже не слушал. Пошел снег. Мельчайшие, неземной хрупкости снежинки летели мимо, как июньский пух и, коснувшись земли, мгновенно таяли. Задувал ледяной ветер. Над рекой и заливым лугом за ней нависла непроницаемая серая туча, заслонила собой все небо, с ее брюха лохмотьями разодранных покровов свисали почти черные полосы тумана. Иерусалим бурлил. Еще четверо кавалеристов легким галопом промчались по кипарисовому мосту, грохнув над городом громкою дробью копыт. Поодиночке, парами, группками — мужчины, женщины — закутанный по случаю холода народ торопливо стекается к зданию суда. Дорога в затвердевших на морозе колдобинах, люди спотыкаются, что-то бормочут, звук шагов твердый, хрусткий. Сначала я удивился: вроде рановато собираются, но тут же до меня дошло — не хотят остаться без места, не хотят сегодня ничего упустить. Я оглядел пространство за неширокой ленивой рекой: сперва на добрую милю тянется заливной дуг, потом ровные поля и, наконец, стена обще-

ственного леса. Самый сезон сейчас по дрова отправляться... — тут мысли разбежались, и, погрузившись в полудрему, я словно перенесся через все холодные просторы в густую чащу бука и орешника, где уже в этот зябкий ранний час пара рабов, должно быть, всю орудует топором и клином; я будто слышу сочные удары топора, музыкальное звяканье клина и вижу в морозном воздухе пар, выдыхаемый неграми; а вот их пикировка за работой — гулкие голоса, по простодушью привыкшие всегда орать так, что слышно за милю: “А старая хозяйка-то — прикинь? — все ищет ту жирненькую индюшку — ты понял?” А другой: “А я чего? Чего я-то? Чего на меня-то вылупился — да?” И опять первый: “А на кого ишшо-то лупиться? Старая хозяйка — она те башку-то вылупит! Кудряшки-то повывергива-ат на черной на твоей башке, прикинь?” Затем, довольные, оба по-детски беззаботно во всю глотку хохочут, смех в утренней тиши эхом отдается от темной стены леса, разносится над болотами, лощинами, лугами, и настает, наконец, тишина, нарушаемая лишь ударами топора да звяканьем клина, да еще, может быть, граем ворон, крутами опускающихся на кукурузное поле, видеть которое мешают крапинки падающего снежка. На миг, как ни силился я сдержаться, что-то болезненно вдруг провернулось в сердце, и кратчайшей вспышкой меня ослепило воспоминание и тоска. Но лишь на миг, потому что тут же я услышал голос Грея:

— Это пункт первый, Проповедник. Тут мне не совсем понятно. Может, разъяснишь чуток?

— Насчет чего? — переспросил я, вернувшись.

— Ну вот же здесь это место, что я сейчас прочитал. Пойми, мы тут как раз выходим из стадии подготовительной работы и подбираемся к мятежу как таковому, а значит, в этой части хотелось бы особенной ясности. Я повторю: “Намерением нашим было, чтобы жатва смер-

ти началась четвертого июля сего года. Много было замыслов относительно...” и так далее, и так далее...Ага, вот оно: “Шло время, но никак мы не могли договориться о том, как начать. Одни планы сменялись другими, но тут вновь явлено было знамение, которое заставило меня решиться и не ждать более....” и т. д. и т. д. Теперь вот здесь: “От начала 1830 года я жил у мистера Джозефа Тревиса, который был добрым хозяином и испытывал ко мне величайшее доверие; иными словами, я не имел причины жаловаться на его обращение со мной...”

Тут я заметил, что Грей, неловко поерзав, чуть приподнял одну ляжку, чтобы выпустить ветры; он попытался сделать это прилично, исподволь, но не рассчитал, и получилась серия тихих выхлопов, словно где-то вдали подожгли фейерверк. Вдруг пришел в замешательство, засуетился, что весьма меня позабавило: чего бы ему стесняться негритянского проповедника, которому читают смертный приговор? Принялся говорить слишком громко, маскируя смущение под горячность:

— “...я жил у мистера Джозефа Тревиса, который был добрым хозяином и испытывал ко мне величайшее доверие; иными словами, я не имел причины жаловаться на его обращение со мной!” Вот вопрос! Вот в чем весь вопрос-то, Преподобный! — Он воззрился на меня. — Как ты объяснишь это? Вот что хочу знать я и захочет узнать любой. Ты признаешь, что человек был добрым и хорошим, и ты же его безжалостно режешь!

От удивления у меня на пару секунд пропал дар речи. Я медленно сел. Потом удивление сменилось растерянностью, и я долго молчал, но даже после паузы сказал лишь:

— Это... На это я не могу вам ничего ответить, мистер Грей.

Я и правда не мог. Не потому, что на этот вопрос нет ответа, а потому, что есть вещи, разглашать которые не

следует даже на исповеди, и, уж конечно, Грею знать о них не следовало.

— Послушай-ка, Преподобный, это ж опять ерунда получается. Если бы тебя мучили и тиранили — да. Дурно бы обращались, били, не кормили, не одевали, заставляли ночевать под забором — да. Если вот таким образом — да, тогда понятно! Ну, пусть хотя бы ты влачил существование вроде того, что на Британских островах или в Ирландии, где средний крестьянин экономически стоит сейчас на уровне собаки или даже ниже — пусть хотя бы так, глядишь, люди поняли бы. Н-да. Но здесь-то даже не Миссисипи, не Арканзас! Это Виргиния в году одна тысяча восемьсот тридцать первом анно Domini\*, а трудился ты на богобоязненных, добродетельных хозяев. И Джозефа Тревиса, в числе прочих, ты хладнокровно зарезал! Такое... — Он поднял раскрытые ладони ко лбу жестом неподдельного недоумения. — *Такое* люди понять не смогут!

Вновь у меня подспудно, мимолетно промелькнуло ощущение бреда, разговора с персонажем сна. Я долго пристально смотрел на Грея. Пусть мало чем отличный от других, но ведь он все-таки последний белый в моей жизни (не считая того — с веревкой), и разгадать бы мне, понять, откуда они такие берутся. В результате, как бывало уже много раз, у меня появилось чувство, что я его придумал. А со своим творением беседовать — зачем? — и я еще решительнее замкнулся в молчании.

Прищурившись, Грей бросил на меня взгляд.

— Хорошо, коли не хочешь открываться в этом, перескочим к следующему пункту. А потом вернемся и перечтем все сызнова.

Он зашелестел страницами. Понаблюдав за ним, я вновь почувствовал голодную дурноту. Далеко в центре города

---

\* От Рождества Христова.

часы на здании суда с дребезгом уронили восемь утренних ударов — и сразу суета и движение, голоса и цокот копыт сделались явственнее и громче. Откуда-то донесся голос женщины, негритянки, пронзительный от шутилой ярости: “А вот ща-а-ас уши-то повыдергаю с корнями!” И следом девчоночий смех с повизгиваниями столь же шутиливо наигранного ужаса. Потом секундное затишье, и опять цокот копыт и голоса. Чтобы унять, утихомирить боль голодных схваток, я прижал обе руки к животу, будто часового на страже его пустоты поставил.

— Вот здесь, — гнул свое тем временем Грей. — Послушай-ка, Преподобный. Это сразу после того, как вы покинули дом Брайантов — помнишь, ты сам тогда еще никого не убил, — и отправились к миссис Уайтхед. Цитирую: “Я вернулся, чтобы возобновить работу смерти, но мои люди и без меня даром времени не теряли: все члены семьи были уже убиты, кроме миссис Уайтхед и ее дочери Маргарет. Подходя к двери, я увидел, что Билл выволок миссис Уайтхед из дома и на крыльце чуть не начисто отсек ей топором голову от тела. Когда я обнаружил мисс Маргарет, та пряталась в уголке, образованном выступающим за фундамент входом в погреб и стеной дома; при моем приближении она бросилась бежать, но я поймал ее, сперва несколько раз пырнул шпагой, а потом добил, стукнув по голове колом от забора”. Конец цитаты. Я ничего не спутал?

Я слушал молча. Кожу на голове покалывало.

— Очень хорошо, а теперь, перескочив через... ну, десять-пятнадцать предложений, обнаруживаем там ниже следующее. А ты слушай внимательно, потому что здесь все более-менее точно, как ты рассказывал. Цитирую: “Я занял место в тылу и, поскольку моей целью было повсюду нести ужас и истребление, в авангарде я поставил пятнадцать или двадцать лучше всего вооруженных

и наиболее надежных людей, которые к очередному дому обычно мчались на конях во весь опор; цель этим преследовалась двойная — не дать обитателям убежать и захватить их врасплох”. Теперь вот, внимание: “*По этой причине с тех пор, как мы ушли от миссис Уайтхед, я каждый раз добирался до дома уже тогда, когда там всех убили.* Иногда я поспевал лишь к тому, чтобы увидеть результаты смертельной жатвы, молча окидывал довольным взглядом изуродованные тела и сразу пускался на поиски новых жертв. Убив миссис Уоллер и десять детей, мы направились к мистеру Уильямсу; убив его и двоих малолетних мальчиков, которые при нем оказались...” и так далее, и так далее. Ну, конечно же, Нат, все это только грубый парафраз твоих собственных слов, и ты что хочешь, можешь тут поправить. Но главный во всем этом пуант... хоть ты и не говорил такого специально, но я его сейчас тебе продемонстрирую посредством дедуктивного рассуждения... Так вот, главный пуант, это что во всей дьявольской бойне, где были навалены десятки и десятки трупов, ты, Нат Тернер, оказался персонально ответственным *лишь за одну единственную смерть*. Я не прав? Прав, верно же? А ежели я прав, то выглядит это довольно странно. — Он помолчал, потом говорит: — Как так вышло, что ты совершил всего одно убийство? И почему из стольких ваших жертв — именно эта девушка? Преподобный, мы плодотворно поработали, нет слов, но именно этот плод покупать как-то не хочется. Не верится мне, что ты убил всего однажды.

Раздались шаги, громыхание решеток, и вошел Кухарь с тарелкой холодной кукурузной каши и кружкой воды. Дрожащими руками он поставил тарелку и чашку на скамью рядом со мной, но по какой-то странной причине я больше не испытывал особого голода. Сильно заколотилось сердце, и я весь покрылся потом.



— Потому что непохоже, чтобы ты всю дорогу стоял в сторонке — этакий фельдмаршал, руководящий битвой издали, вроде Маленького Капрала, что стоял в эффектной горделивой позе на холме, наблюдая за битвой при Аустерлице. — Грей помедлил, искоса глядя на Кухаря. — А что, бекон не нашлось для Проповедника?

— Это черные из заведения миссис Блант прислали, — ответил малый. — А который принес, сказал, что бекон у них кончился.

— Такого знатного пленника и таким дерьмом кормите, это ж надо — холодная каша! — Юноша поспешно удалился, а Грей опять обратился ко мне: — Ведь поначалу ты в сторонке не стоял. Н-да, вот на что надо обратить внимание! Ты прямо будто из-под палки... ну-ка, ну-ка... Зашелестели страницы. Я сидел неподвижно, весь в поту, с колотящимся сердцем. Его слова (мои? наши?) гремели у меня в мозгу, как какой-нибудь жестокий и скорбный стих Писания: *...подходя к двери, я увидел, что Билл выволок миссис Уайтхед из дома и на крыльце чуть не начисто отсек ей топором голову от тела*. Рассказывать было так просто, но почему же теперь, произнесенные Греем, эти слова вызвали у меня такую тревогу и тоску? Вдруг в память будто сами вломились мрачные строки: *“После сего видел я в ночных видениях, и вот — зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него — большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами... Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню”*. На миг воочию предстала тощая фигура Билла, его черное как ночь, резко очерченное лошадиное лицо с выпученными глазами, проломленным носом, отвисающими тонкими розовыми губами и белозубой, накрепко приставшей кровожадной ухмылкой — лицо приращенного убийцы, тупого и жестокого; меня даже

передернуло, и не просто от холода, а будто лихорадка пробрала до мозга костей.

— Как из-под палки. *Horribile dictu...*\* Теперь двинемся от конца к началу, где волей-неволей все время мысленно возвращаешься к убийству твоего последнего хозяина — приснопамятного и, добавлю еще от себя, благотельного мистера Джозефа Тревиса. “У нас было такое общее мнение, что первую кровь должен пролить именно я. С этим намерением я, вооруженный топором, вошел вместе с Биллом в хозяйскую спальню, но из-за темноты смертельный удар у меня не получился, топор только слегка задел голову хозяина, тот спрыгнул с кровати и стал звать жену. То были его последние слова, *Билл* прикончил его тесаком”... и так далее, и так далее. — Грей вновь смолк, мрачно обратив ко мне покрасневшее лицо с этими его пятнами и выступившими красными паучками сосудов. — Что ж такое? — проговорил он. — Биллу там было ничуть не светлее, чем тебе, если он, конечно, не из кошачьего рода-племени. Я ведь к чему все это, Преподобный. К тому, что... ну, ты впрямую этого не говоришь, но спрашивается: дескать, непосредственно твоей можно считать только одну жертву. Более того, выходит, если я правильно понимаю, что сам акт убийства или попытки убийства потряс тебя, и пришлось Биллу выполнять за тебя всю грязную работу. Далее: как это ни странно, но Билл чуть ли не единственный из твоих негров, кого в ходе всех этих беспорядков убили. Выходит, предлагается верить тебе на слово. Убил только раз, в дальнейшем убивать не хотел — звучит приятно, только верится с трудом. Пойми, Преподобный, все ж таки ты был их предводитель...

Спрятав лицо в ладонях, я думал: *да, ныне познаю истину об этом звере, который был отличен от всех и очень*

---

\* Страшно сказать (лат.).

*страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал...* Я почти уже не слушал Грея, который продолжал рассудительно:

— Или вот, Преподобный: та же ночь, но чуть позже, после Тревисов, Ризов и старика Салатиэля Френсиса. Вы прошли полями и затем "...не успели мы подобраться, как в семье нас заметили и заперли дверь. Зря надеялись! Билл топором сразу вышиб ее, мы ворвались и нашли миссис Тернер и миссис Ньюсом полумертвыми от страха. Билл без промедления убил миссис Тернер одним ударом топора. Я схватил миссис Ньюсом за руку и той шпагой, с которой меня застигли при поимке, нанес ей несколько ударов по голове" — теперь слушай внимательно! — "но убить ее у меня не получилось. Обернувшись и заметив это, Билл разделался и с ней тоже..."

Вдруг я оказался на ногах перед Греем, натянув свою цепь до предела.

— Хватит! Хватит! — закричал я. Мы сделали это! Да, да, мы это сделали! Мы сделали то, что надо было сделать! И хватит перечитывать тут про меня и Билла! Хватит во всем этом рыться! Что должны были, то и сделали! И хватит уже!

Грей в испуге отпрянул, но когда я расслабился и с трясущимися от холода коленями обмяк, глядя на него с таким видом, словно сожалел о вспышке внезапной ярости, он тоже успокоился, опять удобно расположился на скамье и, в конце концов, говорит:

— Что ж, если ты так считаешь, ладно. Тогда это твои похороны. Пускай я кровь от свекольного сока не отличу. Но я должен прочитать, а ты должен подписать это. Таково распоряжение суда.

— Простите, мистер Грей, — пробормотал я. — Я правда не хотел дерзить. Просто, я думаю, вы не понимаете, и я думаю, наверное, уже поздно что-либо объяснять.

Я медленно перешел снова к окну и стал глядеть на проливной утренний свет. Выдержав паузу, Грей опять принялся тихо и монотонно читать; потом зашелестел страницами — видимо, в замешательстве.

— Гм. "...Молча окидывал *довольным взглядом* изуродованные тела". Это я специально выделяю. Впрочем, это уже излишество, правда?

Я не ответил. Слышно было, как в соседней камере Харк хихикает, отпуская себе под нос какие-то шутки. На улице продолжала лететь мелкая снежная пыль; она начала уже укрывать землю тончайшим белым слоем, словно инеем, бестелесным, как если на морозе дохнуть на стеклышко.

— Епсге, как говорят французы, то есть опять двадцать пять: "... и сразу пускались на поиски новых жертв". Но это — ладно. Поехали дальше... — И опять он завел свое монотонное бормотанье.

Я устремил взгляд на реку. На том берегу, под деревьями, что растут на откосе, показалась процессия, которую я вижу каждое утро, хотя нынче что-то для них поздновато — обычно эти ребяташки появляются на рассвете. Как всегда, их четверо, четыре черных ребенка; старшему вряд ли больше восьми, младшему меньше трех. В бесформенных одежонках, которые замученная мамаша надела для них из мешковины или еще какого-нибудь убогого тряпья, они брели под деревьями на дальнем берегу, собирая ветки и упавшие сучья для очага в их жалкой лачуге. Останавливались, наклонялись, вдруг устремлялись вперед — в неуклюжих и бесформенных своих размахаях они двигались легко и быстро, крепко прижимая к себе огромные охапки веток, палок и хворостин. Я слышал, как они перекликаются. Слов было не разобрать, но голоса в морозном воздухе раздавались явственно и звонко. Черные ручки, ножки, рожицы ска-

кали вверх и вниз, шустрыми птичьими силуэтами проглядывали на чистой сельской утренней белизне. Я долго наблюдал, как они, не зная безнадежной своей участи, движутся там по нетронутым заснеженным просторам и, наконец, исчезают со своею ношей; по-прежнему весело щебеча, уходят куда-то выше по реке за пределы поля зрения.

Внезапно я изо всех сил сжал лицо ладонями — вновь я был с пророком Даниилом, разделял его горячечные ночные видения, думал о его звере и криком кричал вместе с пророком: *“Господин мой! что же после этого будет?”*

Но ответ был не от Господа. Был он всего лишь от Грея. В темницу моего сознания он, казалось, вернулся в журчаньи и ропоте текучих вод, в грохоте морских валов и завывании ветра.

— *Правосудие! Правосудие. С его-то помощью рабовладение и простоят тысячу лет!*

Харк всегда утверждал, что различать хороших белых и плохих белых — и даже тех белых, которые между плохими и хорошими посередке — он может по одному лишь запаху. С важным видом он на этом настаивал; с годами внес в первоначальную методику множество уточнений и усовершенствований и мог бесконечно рассуждать о ней; когда мы с ним работали бок о бок, он громогласно поучал меня, наделяя белых вроде Моисея, принесшего людям закон, благоуханиями чудесными и точно их описывая. Он способен был с серьезной миной пространно рассуждать об этом, и, пока он нес всю эту чушь, его широкая нахальная рожа хмурилась нешуточною заботой; но в основе своей Харк был веселым, открытым, добродушным и спокойным; он не мог долго пребывать в суровости и беспокойстве несмотря на то, что в прошлом попадал во множество ужасных передраг.

В конце концов некая мысль, связанная с белым человеком и определенным запахом, производила в нем что-то вроде внутренней щекотки — как он ни крепился, хихиканье распирало его, переполняло, и наступал момент, когда он сдавался, хватал себя за живот и сгибался пополам, хохоча неудержимо, взхлеб, во всю глотку.

— Слышь, Нат, может, я какой ненормальный, — бывало, начинал он со всей серьезностью, — но это вот мое нюхало делается день ото дня все лучше. Вчера, скажем: иду это я вечером мимо сарая, а там мисс Мария кур кормит. Я было — нырк за угол, да уж куда там, углядела, старая. “Харк! — говорит, — ну-ка подь сюда”. Подхожу, а у меня нос, чувствую, так и задергался, как у выхухоли, когда она его этак из воды хоботком выставит. “Харк! — говорит, — а зерно-то?” “Дык, — говорю, — како-то зерно-то еще, мисс Мария?” — а запах все сильнее, сильнее становится. “Да под куриный навес зерно! — разъяряется сука старая. — Ведь сказано было тебе: мешок початков вылущить да курьям задать, а, я гляжу, там зерна с гульки-нос! И это за месяц четвертый раз уже! Ленивый ты негодяй, бестолочь ты черномазая, сплю и вижу, когда мой братец тебя с рук сбудет, продаст в Миссисипи! Ну-ка давай лущи початки, тупой балбес!” И, Господи Иисусе, такой тут запах пошел от старухи, что, будь это вода, я бы утоп и шляпа б моя уплыла. На что был запах похож? А будто кто в июле шуку на колоду положил да и забыл дня на три. — И он принимался хихикать, сперва этак исподволь, но уже, глядь — хватается за бока. — О, вонючка-то! Такая здюлина сдохни — воронье клевать не захочет! — И тут уж смех до упаду.

Однако, согласно теории Харка, не от всех белых пахло скверно. Например, от мистера Джозефа Тревиса, нашего хозяина, несло, по его словам, “нормальной честной скотиной, как от коня, когда он поработает до



пота”. Джозл Вестбрук, подросток, которого Тревис нанял в подручные, оказался парнишкой капризным и неотесанным, иногда закатывал истерики, но в хорошем настроении бывал дружелюбен и даже щедр, а потому и запах у него, согласно Харку, тоже был неустойчивым и капризным: “Вот парень, то он прям благоухает, что твое сено, а то вдруг как завонят, хоть святых выноси!” А злобная мисс Мария, если послушать Харка, всегда своему запаху соответствовала. Она приходилась Тревису сводной сестрой и, когда умерла ее мать, приехала из Питерсберга жить у него в доме. Костистая, угловатая тетка, она страдала от полипов и могла дышать только ртом; из-за этого у нее губы трескались, облезали до мяса и кровоточили, и она лечила их мазью из топленого свиного жира, отчего ее всегда полуоткрытый рот делался белесым и придавал ей вид, ну точь-в-точь как у привидения. В глаза она никогда не смотрела, а еще у нее была привычка потирать запястья. К нам, неграм, которые были у нее на побегушках, она испытывала глубокую и бессмысленную ненависть, которую тем тяжелее было выносить, что мисс Мария не была в полном смысле членом семьи, но от этого в ее отношении к нам сквозила еще большая грубость, отчужденность и произвол. Летними ночами из окон второго этажа, где была ее спальня, доносились всхлипы; иногда я слышал, как она плачет навзрыд и зовет навсегда ушедшую мать. Примерно сорокалетняя и, как я подозреваю, старая дева, она непрестанно с какой-то истомленной, лунатической истовостью читала вслух Библию — чаще всего из Иоанна, главу 13, где речь идет о смирении и сострадании, а еще ей нравилось цитировать шестую главу Первого послания к Тимофею, которая начинается так: *Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение.*

Так она это место любила, что, если верить Харку, однажды прижала его к стене веранды и заставляла повторять сие поучение до тех пор, пока тот не выучил его наизусть. У меня нет сомнений, что она была более чем слегка с приветом, что вовсе не уменьшало моей острой неприязни к мисс Марии Поуп, хоть иногда я и ловил себя на некотором, вряд ли осмысленном и разумном, чувстве жалости к ней.

Однако мисс Мария — это, что называется, мелочь пузатая по сравнению с тем, к кому я таким кружным путем подбираюсь: его зовут мистер Джеремия Кобб, тот самый судья, который скоро будет приговаривать меня к смерти, а ведь и с ним судьба уже устраивала мне встречу, подведя к ней посредством сложной серии имущественных сделок, о чем я и попробую сейчас коротко рассказать.

Как я сообщал уже мистеру Грею, родился я в имении Бенджамена Тернера, о коем едва помню. Он погиб внезапно (мне было тогда лет восемь или девять, а он, будучи лесоторговцем и владельцем лесопилки, погиб, когда не в добрый час повернулся спиной к подрубленному кипарису), а я по наследству перешел к его брату, Сэмюэлю Тернеру, чьей собственностью оставался лет десять или одиннадцать. К этому периоду, как и к предшествовавшему, я в надлежащий момент еще вернусь. Потом состояние Сэмюэля Тернера мало-помалу расстроилось, подступали и другие проблемы; в итоге, он не мог больше управляться с лесопилкой, которую, как и меня, унаследовал от брата, и в результате меня впервые продали — мистеру Томасу Муру, причем (не удержусь, подчеркну иронию происшедшего!) упомянутая сделка вступила в силу в самый момент моего вступления в совершеннолетие: мне как раз стукнуло двадцать один год. В собственности мистера Мура, который был

мелким фермером, я пребывал девять лет до его смерти — кстати, опять несчастный случай: Мур раскроил себе череп, помогая отелу. Корова никак не могла разродиться, он обвязал торчащие телячьи копытца веревкой, чтобы вытащить; потел, тянул, теленок томно взирал на него сквозь мокрую оболочку последа, но тут веревка лопнула, и Мура роковым образом швырнуло назад, затылком о столб забора. Проку мне от Мура было мало, так же мало я и горевал по нем, однако в тот раз я уже не мог не призадуматься: не навлекая ли я на своих владельцев какую-то порчу, вызывающую упадок в хозяйстве, как это, я слышал, бывает в Индии, когда купишь определенной породы слона. После безвременной кончины мистера Мура я перешел в собственность его сына Патнэма, которому тогда было пятнадцать. На следующий год вдова мистера Мура мисс Сара вышла замуж за Джозефа Тревиса, мечтавшего о наследнике пятидесятипятилетнего бездетного вдовца, мастера-колесника по профессии, который жил в тех же местах близ Кроскизов и оказался последним в благодушной череде моих злосчастных обладателей. Ибо, несмотря на то, что титульным моим владельцем был Патнэм, я принадлежал также и Тревису, который имел на меня все права, пока Патнэм не достиг зрелости. Таким образом, когда мисс Сара вышла замуж за Джозефа Тревиса и поселилась под его крышей, я стал рабом как бы “в квадрате” — состояние нельзя сказать, чтоб совсем уж неслыханное, но добавочно неприятное для раба, полупомешанного от осознания даже и первой степени рабства.

Дела у Тревиса шли средне; иначе говоря, подобно другим обитателям этих не очень густо населенных сонных болот, он зарабатывал чуть больше, чем на еду. В отличие от злополучного Мура, дело, к которому Господь его приставил, он знал назубок, и я от души радо-

вался своей способности помогать ему в ремесле, тем паче после стольких лет прозябания у Мура, где была не работа, а тягомотина: то натаскай ему воды, то месива задай его болезненным, чахлым свиньям, да еще попеременно то жарься, то мерзни на кукурузном поле и хлопковом наделе. Более того, условия новой моей работы в колесной мастерской, где приходилось быть мастером на все руки, оказались таковы, что у меня появилось ощущение благополучия — по крайней мере физического, — чего я не испытывал с тех пор, как покинул имение Сэмюэля Тернера больше десяти лет назад. Подобно большинству других хозяев по соседству, Тревис не гнушался и земледелия — у него было что-нибудь около пятнадцати акров полей под кукурузой, хлопком и покосами плюс яблоневый сад, главное назначение которого состояло в производстве сидра и яблочного виски. Впрочем, с тех пор как колесная мастерская стала давать маломальский прибыток, Тревис свернул полевые работы и стал сдавать землю внаем, оставив себе только яблоневый сад, маленький огородик да полоску хлопчатника для собственных нужд. Кроме меня, у Тревиса было всего два негра, каковое количество, при всей его малости, не столь уж необычно, поскольку немногие из хозяев в здешних местах могут в наше время прокормить больше пяти-шести рабов, а уж найти настолько преуспевающего господина, чтобы у него их было с десятков, так это вообще редкость. Еще недавно Тревис сам имел семь или восемь рабов, не считая нескольких неспособных к труду малолеток, но его земельные владения уменьшились, а прибыль от ремесленного промысла возросла, и вся эта буйная ватага стала ему в тягость — и впрямь, это какой капитал надо иметь, чтобы кормить столько прожорливых ртов! Поэтому года три назад после мучительных сомнений морального порядка (так, по крайней мере,

говорилось) он всю рабочую силу продал — всех, кроме одного — торговцу, который крепко подмял под себя поставки живого товара в дельту Миссисипи. Единственным оставшимся был Харк, парень младше меня на год. Он родился на огромной табачной плантации в округе Сассекс и в пятнадцатилетнем возрасте был продан Тревису, когда табак настолько истощил землю, что плантация пришла в упадок и запустение. Я знал его не один год и полюбил как брата. Другого негра, приобретенного уже после распродажи и отправки всех и вся в Миссисипи, звали Мозес — довольно рослый малый лет двенадцати, черный как смоль и с бегаящими, всегда испуганными глазами; запоздало обнаружив нехватку рабочих рук, Тревис купил его на рынке в Ричмонде за несколько месяцев до моего появления. Для своего возраста хорошо развитый физически, сильный и, я думаю, неглупый, он рано лишился матери, и от этого так до конца и не оправился — ходил будто сам не свой, все время в каком-то оцепенении, часто плакал и мочился в штаны, причем иногда прямо во время работы; в конечном счете, он оказался обузой, особенно Харку, в бычьем теле которого жила душа заботливой мамыши, по-нуждавшая его утешать и нянчить всякого найденыша.

В тот день, когда мне впервые встретился судья Джереми Кобб (то есть почти за год до вынесения мне смертного приговора), население фермы было таково: трое негров — Харк, Мозес и я — и шестеро белых — мистер и миссис Тревис, Патнэм, мисс Мария Поуп и еще двое. Из этих двоих первый — уже упоминавшийся пятнадцатилетний Джоэл Вестбрук, подающий надежды колесник, подмастерье, которого Тревис готовил себе в напарники, а второй — двухмесячный сын Тревиса и мисс Сары, родившийся с лиловым пятном посередине крошечного личика, будто там оттиснулся сморщенный подсохший

лепесток увядающей горечавки. Белые, естественно, жили в господском доме — скромном, простом, но удобном двухэтажном строении о шести комнатах, которое Тревис возвел лет двадцать назад. Сам нарубил бревен, обтесал их, сложил дом так, что комар носа не подточит, проконопатил со смолой от непогоды, а поверх еще и оштукатурил, к тому же дальновидно оставил нетронутыми несколько стоящих вокруг огромных буков, и они теперь со всех сторон давали тень от летнего солнца. Рядом с домом, в двух шагах по дорожке через огород и мимо свинарника, была колесная мастерская, оборудованная в бывшем коровнике. Вокруг нее вращалась вся жизнь обитателей фермы: здесь хранились запасы дубовых, ясеневых и железных заготовок, стоял кузнечный горн с наковальнями и оправками, поковочными молотками и клещами; над верстаком с тисками висели рядами зубила и долота, коловороты и пробойники и множество прочего инструмента, которым Тревис пользовался в непростом своем ремесле. Без сомнения, во многом благодаря моей репутации (вполне приличной, хотя и несколько двусмысленной, даже кое в чем подозрительной, а в чем, это я скоро объясню) — репутации безобидного, пусть несколько не от мира сего, но забавного негра-проповедника, неразлучного с Евангелием, — впоследствии меня сделали зрителем мастерской, более того, по ходатайству мисс Сары, поручившейся за мою честность, Тревис дал мне дубликаты ключей. Работы у меня было предостаточно, но, положив руку на сердце, нельзя сказать, чтобы я переутомлялся: в отличие от Мура, Тревис не был прирожденным надсмотрщиком, ну не любил он бессмысленно гонять слуг в хвост и в гриву, ему и так помощников хватало, причем даже добровольных — в лице приемного сына, да и того же юного Вестбрука, такого преданного подмастерья, каких еще поискать.

Так что, в сравнении с тем, к чему я привык, мои обязанности были легки и необременительны: я содержал помещение в чистоте и подставлял плечо в тех случаях, когда требовалась добавочная сила — например, когда гнули обод колеса; иногда я подменял Харка, устававшего непрерывно качать мехи горна, но вообще-то впервые за все последние годы задачи, с которыми я сталкивался, бросали вызов не мускулатуре, а выдумке и изобретательности. (Вот характерный пример. Еще с тех пор, когда мастерская была коровником, на чердаке оставались колонии летучих мышей, что представлялось допустимым в обиталище рогатого скота, но для людей, день-деньской работающих внизу, дождем сыплющийся повсюду мышинный помет стал напастью нестерпимой. Тревис испробовал с поддюжины разных способов избавиться от постояльцев — все напрасно: он пробовал дым, пробовал даже огонь и чуть не спалил все строение, тогда как я с той же целью просто пошел в лес, где было известное мне гнездо полоза, взял вялую, свернувшуюся в спячке змею за хвост, принес и положил под застреху. Когда спустя неделю пришла весна, летучие мыши скоренько испарились, а сытый полоз продолжал дружелюбно с нами соседствовать, благодушно ползая по углам и по пути подъедая крыс и полевок, так что само его присутствие заставляло Тревиса молча восхищаться моей сметливостью). Так или иначе, но можно сказать, что с самого момента перехода к Тревису я зажил приятной и благостной жизнью, лучше которой у меня не было уже и не помню сколько лет. Мисс Мария со своими придирками досаждала, конечно, но это сущие пустяки. Вместо негритянской кормежки, к которой я привык у Мура (солонины с кукурузной лепешкой), здесь давали домашнюю еду — постного бекона и вареного мяса от пуза, иногда даже остатки жареной говядины и частень-

ко белый пшеничный хлеб; односкатная пристройка к мастерской, где Харка и меня поселили вместе, оказалась достаточно просторной, и там я впервые со времен достопамятного Сэмюэля Тернера спал в кровати, а не прямо на земле; с благословения хозяина я соорудил еще и замысловатый деревянный воздуховод, сквозь стену ведущий в пристройку прямо от горна, всегда полного горячих угольев, причем летом воздуховод можно было перекрыть, зато зимой из него веяло ровным теплом, и мы с Харком пребывали в уюте, как те два таракана за трубою. (Тогда как бедняга Мозес спал в доме, в сыром кухонном чуланчике, чтобы быть у хозяев под рукой в любое время дня и ночи). Но главное, у меня появилось какое-никакое свободное время! Появилась возможность рыбачить, ставить силки и вплотную заняться Священным Писанием. С тех пор, как я взлелеял мысль о том, что надо поголовно истребить белых хотя бы в округе Саутгемптон (дальше уж там — как Бог даст), прошел уже не один год, так что очень кстати у меня теперь появилось время, которого прежде не было, чтобы размышлять над Библией, ее примерами и наставлениями, обдумывая сложности кровавой миссии, которую мне предстояло исполнить.

Ноябрьский день, когда я увидел Джеремию Кобба, помнится мне совершенно ясно: вечерело, порывистый ветер гнал к востоку низкие серые облака, под ними до самого леса лежали желто-коричневые пустые поля, и надо всем витал какой-то особый дух осенней скуки; исчезли насекомые с их жужжанием и гуденьем, певчие птицы улетели на юг, оставив над полями и лесами лишь огромный серый колпак тишины; ничто не шелохнется, минута идет за минутой в полном безмолвии, чу! — сквозь туман вдруг долетит вороний грай с дальнего поля, слабый невнятный отголосок, вновь быстро затихающий



где-то в заречье, и опять молчание, прерываемое только царапаньем и шуршаньем гонимых ветром мертвых листьев. В тот вечер сперва я услышал на севере таяканье собак, словно они бегут к нам по дороге. День был субботний, Тревис с Джоэлом утром уехали по какой-то надобности в Иерусалим, и Патнэм возился в мастерской один. Я сидел в уголке пристройки, высвобождал из тенет попавшихся кроликов, и тут среди глубокого, давящего молчания с дороги вновь донесся собачий лай. То были виргинские паратые гончие, лисогоны, хотя для настоящей охоты их было маловато; я, помнится, удивился, но удивление тотчас прошло, когда я выглянул и на дороге увидел взвихренную пыль, из которой явился высокий белый мужчина в неопределенного цвета касторовой шляпе и сером плаще, высоко вознесенный на сиденьице охотничьей двуколки, запряженной резвою вороной кобылой. Позади сиденья, пониже, было отделение, где сидели три собаки — широкомордые и вислоухие, они облаивали одну из хозяйских рыжих дворняжек, а она пыталась до них добраться, прыгала и совалась носом между колесных спиц. Я тогда, кажется, первый раз увидел специальную повозку для охоты с собаками. С того места, где я стоял, было видно, как экипаж остановился перед домом и как слез с него приехавший господин; я отметил, что спустился он как-то неловко, на мгновение вроде бы покачнувшись или запнулся — будто колени подогнулись, но тут же выправился, что-то себе под нос буркнул и попытался пнуть дворняжку, но не попал даже близко, с громом угодив сапогом в борт коляски.

Зрелище было забавным — вообще для негра первейшее удовольствие подсмотреть за белым, когда тот в глупом положении, — смешок уже чуть было не вырвался из моей груди, но тут приехавший обернулся, и я

прикусил язык. Впервые я мог вблизи рассмотреть незнакомца: это надо же, лицо-то какое несчастное! Опрокинутое, раздавленное тоскою, как будто горе физически наложило на него печать, исказило и заострило черты, придав ему выражение неизбывной боли. Помимо этого, теперь стало ясно видно, что человек изрядно пьян. Сперва он хмуро уставился на собачонку, с лаем крутящуюся вокруг в дорожной пыли, потом поднял ввалившиеся глаза к серым тучам, стремительно бегущим по небу. Кажется, он проворчал что-то и сразу закашлялся. Потом резким неловким движением запахнул на своей долговязой костлявой фигуре плащ и принялся одетыми в перчатки трясущимися руками привязывать кобылу к столбу коновязи. Мисс Сара с веранды позвала его:

— Судья Кобб! Вот те на! Что вы там такое делаете?

Он что-то прокричал ей в ответ, но слова спутало, снесло порывом ветра. Вокруг него взметнулся вихрь опавших листьев, собаки заходились лаем, ладненькая кобылка горячилась, встряхивала гривой и била копытами. Или нет, я все же разобрал тогда его слова: какая-то там охота в Дрюрисвиле, он спешит туда с собаками, а в колесной буксе как заскрежещет! Не иначе, ось треснула, расщепилась или еще что; а случилось это тут, недалеко, вот он починиться и заехал. Как там Джо? Дома ли? И снова с веранды мисс Сара — голосистая, грудастая, жизнерадостная:

— Джо дома нет! Они уехавши! С утра в Иерусалиме! А вот мальчишка мой, Патнэм — он тут как тут, в кузне! Починит вам колесо в лучшем виде, судья Кобб, не извольте беспокоиться! Зайдите, посидите чуток!

— Спасибо, нет, мадам, — проорал в ответ Кобб. Нет, он спешит, ему бы только ось бы починили, и он уехал бы.

— Ну, тогда — что ж, тогда небось сами знаете, где у нас винокурня. — (Мисс Сара — само радушие.) — Вон там,

за мастерской сразу. Там у нас и виски имеется! Сами наливайте да пейте вволю!

Я вернулся в свой уголок пристройки, к своим кроликам, и на время забыл про Кобба. Тревис разрешал мне ставить силки, то есть он даже сам меня и надоумил, с условием, что из каждых трех пойманных мною кроликов два отходят ему. Такая договоренность меня устраивала, поскольку этой живностью округа кишмя кишела, и остававшихся на нашу с Харком долю еженедельно двух-трех кроликов хватало нам на пропитание за глаза и за уши, а то, что Тревис большую часть кроликов продавал в Иерусалиме и денежки придерживал, меня не касалось, надо же и ему свою выгоду получать: если я весь — как мышцей, так и умыслением — его капитал и он стрижет с капитала проценты, то я только рад, что эти проценты я способен добывать столь приятным для себя способом. Потому что после того как я тупо гнул спину у Мура, для меня величайшим удовольствием было иметь возможность пользоваться присущими именно мне талантами и навыками: самому придумывать ловушки — например, коробчатые, которые я делал из обрезков сосновых досочек, взятых из мастерской; своими руками я выпиливал и выстругивал стенки, вырезал штифтики и храповые колесики, изобретая механизмы подвески дверей, потом один за другим собирал аккуратные маленькие гробики в единую, четко и безмолвно работающую смертоносную машинерию. Но это еще не все. Не менее, чем изготавливать ловушки, любил я проверять свои засады и секреты, бродить в рассветной тиши по лесу, когда под ногами потрескивает ледок, а в низинах молоком стоит утренний туман. За утро проходил мили три по знакомой лесной тропке, усталенной хвоею; я даже сделал себе специальную матерчатую сумку, в которой носил с собой Библию и завтрак — пару яблочек и полоса-

тенький, в прожилках жира и мяса, шмат свинины, приготовленный накануне вечером. На обратном пути Библия в сумке соседствовала с парой длинноухих, которых я бескровно умерщвлял при помощи ореховой дубинки. По пути передо мною во множестве разбегались белки: перебежит и встанет, перебежит и встанет, так что с некоторыми я даже познакомился, наделил их именами — ветхозаветными, святопророческими вроде Ездры и Амоса — народец беличий я причислял к блаженным, поскольку, в отличие от кроликов, в ловушки они не очень-то лезут по самой своей природе, а стрелять их нельзя по закону (по крайней мере мне, ибо неграм вообще запрещено пользоваться огнестрельным оружием). То было тихое, кроткое, чистое время суток: мягко светило солнце, бледное от росы и туманов, лес обступал, укрывал своей сенью и предзимним безмолвием — все как наутро Творения, когда свежо было дыхание духа жизни в ноздрях каждой твари Божией.

На самый конец обхода я оставлял небольшой пригорок, с трех сторон окруженный чащей дубового мелколесья; здесь я располагался завтракать. С этого пригорка (он, будучи вряд ли выше среднего дерева, оставался высшей точкой местности на многие мили вокруг) я мог тайно и беспрепятственно озирать окрестности, в том числе несколько фермерских хозяйств, когда-нибудь захватить и опустошить которые я поставил уже своей задачей. В результате, обходя по утрам капканы, я заодно проводил разведку и строил планы великих событий, а события эти — я чувствовал — назревали. Потому что в такие моменты надо мною, казалось, парил дух Божий, осенял меня и напутствовал: *Сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: скажи: меч, меч наострен и вычищен; наострен для того, чтобы больше закалать; вычищен, чтобы сверкал как молния... уже наострен*

*этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. О, Иезекииль! О, Иезекииль с его священной яростью! — из всех пророков с ним одним ощущал я родственную близость и над его словами каждый раз подолгу размышлял, сидя утром на своем холме с полной сумкой битых котонтейлов сильвилагусов и с полной утробой свинины и яблок, потому что через его слова (куда более, чем через слова других пророков) направляющая мою судьбу воля Божия открывалась явственно и зримо: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак... Старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на коем знак...* Частенько, обдумывая эти строки, я недоумевал, зачем Господь велит обереечь лицемеров и поразить беспомощных, но тут уж ничего не поделаешь — это Его слово!

Что за мгновения порою выпадали в эти утра — намеки, предвестия, знаки близости чуда! Мне трудно описать восторг, который временами охватывал меня, когда среди рассветного торжества сидел я на потаенном взгорке и воочию прозревал грядущее, назначенное мне непременно, как Саулу или Гедеону — мне, черному, как само отмищение, предстояло стать неотразимым, безжалостно карающим орудием Божьего гнева. *Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: “а! а! и вечные высоты ваши достались нам в удел”, то изрек пророчество и скажи: за то, именно за то, что поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов... в огне ревности Моей Я изрек слово на прочие народы, поднял руку Мую с клятвой, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой.* И когда озираю я в эти утра с высоты наши серые, пустые и по-осеннему унылые дали, яснее ясного казались мне и Его воля, и мое призвание: когда-нибудь освобождение

своего народа я должен буду начать именно с этих — да-да, с тех, что лежат там, внизу — сонных, туманом окутанных обиталищ: я обреку их на разор и погибель и двинусь дальше на восток, через поля и болота, туда, где град Иерусалим.

Н-да, как бы этак вновь вернуться к Коббу, что-то я все вокруг да около... и, кстати, чуть-чуть опять про Харка. У Харка был прямо-таки нюх на вещи странные, из ряда вон выходящие: если бы он умел читать и писать, был бы белым, свободным, жил в какие-нибудь идиллические времена, будь он при этом кем угодно, лишь бы не инвентарем, которому цена в базарный день шестьсот долларов — ну да, а что, тогда бы он мог стать адвокатом; но, как это ни прискорбно, даже христианское учение (которое, главным образом, я же и преподавал ему) на его духовном воспитании сказалось весьма слабо, так что, свободный от правил и ограничений, налагаемых набожностью, над дикими нелепостями жизни он просто смеялся от души и пищу для своих насмешек находил себе каждый Божий день. Короче, у него всегда был дар сразу откликаться на всякую дурацкую чушь, что сыплется на тебя каждодневно; должен признаться, я этому даже слегка завидовал. Был такой случай: как-то раз, когда наша пристройка за мастерской не была еще как следует доделана, во время ужасной грозы с проливным дождем хозяин зашел нас проведать, глянул вверх на струи воды с потолка и говорит: “Тм, ну и льет тут у вас”. На что Харк, мгновенно: “Нет, сэр, маса Джо. Льет — это там, снаружи. А у нас тут — так себе, дождичек”. Неудивительно, что именно Харк дал словесное выражение некоему внутреннему, лежащему в основе бытия чувству, которое почти невозможно определить словами и которому тем не менее лет с двенадцати или десяти, или даже раньше обучается каждый негр, едва осознав,



что в глазах белого он всего лишь товар — даже не тварь, скорее утварь, лишенная характера, личностной уникальности и души. Харк назвал это чувством “черножопости”, и это слово, на мой взгляд, как нельзя лучше объединяет в себе и внутреннюю зажатость и подспудный черный ужас, который постоянно гнетет сердце каждого негра. “Не-е, Нат, это ты брось, это неважно — хорошие они, плохие или еще какие, пусть даже сам наш хозяин маса Джо, белые всегда заставят тебя почувствовать *черножопость*. Всегда так, пусть белый даже улыбается мне, я от этого все равно еще в два раза черножопее себя чувствую. А отчего? Вот ты представь, Нат, представь, что белый нормально с тобой, по-доброму, все путем, так ты что, почувствуешь себя *беложопым*? Дудки! Старый маса, молодой маса, о-ё-ёй, маса, а-я-яй, маса, ну сплошная же *черножопость*! Или вот ты говоришь, я на небо попаду — ну, допустим, так ведь там даже перед добрым Боженькой, даже перед ним старый дурень Харк будет чувствовать черножопость: эка ведь стоять там, против трона-то золотого, прикинь? Он-то белый весь, что твой снег, вроде добренький дяденька, а все одно, стоишь весь из себя хоть и ангел, а опять черножопый. Потому что, оглянуться не успеешь, Он как заорет, как ногами затопает: “Харк, — закричит, — где ты там! Опять, что ли, в тронном зале прибраться забыл! Ну-ка давай за метлу, да по-быстрому у меня, негодяй черножопый! Да тряпку-то как следоват намочи!”

Место, занимаемое белым человеком в разговорах негров, невозможно преувеличить, но тут я, пожалуй, даже точно помню, что именно эту речь сидя на корточках, держал передо мною Харк (выйдя из пристройки, он помогал мне свежевать и потрошить кроликов), именно об этом говорил он в тот серый ноябрьский вечер, когда вдруг нависла над нами чья-то едва различимая тень и

мы оба, одновременно почувствовав за спиной чье-то присутствие, встревоженно оглянулись, и — нате вам! — над нами, с этим своим расстроенным, опрокинутым лицом, стоит Джеремиа Кобб. Не знаю, слышал он рассуждения Харка, не слышал, навряд ли это важно. Просто мы оба с Харком не ожидали увидеть над собой начальственную долговязую фигуру судьи, а он уже — глядь — маячит над нами, стоит, слегка покачиваясь, на фоне облачного неба; так тихо и внезапно он, что называется, свалился на нашу голову, что прошли секунды, прежде чем до нас дошло, и мы, повыпустив из рук окровавленных кроликов, начали подыматься, вставая в почтительную и покорную стойку, каковую любой маломальски сообразительный негр принимает, когда поблизости возникает белый незнакомец, бесперечь неизвестно какими настроениями и предубеждениями обуреваемый. Но нынче, не успели мы подняться, он остановил нас:

— Нет-нет, — сказал он, — нет, не надо, продолжайте, — причем голос у него оказался неожиданно грубый и сиплый, а руками он еще этак показал, дескать, сидите, продолжайте работу, что мы и выполнили, вновь опустившись на корточки, но с его кислого, хмурого, искаженного страданием лица пока все же глаз не сводили. Внезапно он оглушительно икнул, и этот звук был столь несообразен, неприличен и даже смешон (особенно в сопоставлении с его суровым ликом), что тишина, за ним наступившая, показалась непомерною; вдруг он опять икнул, и в этот раз я уже точно почувствовал, что Харк всем своим мощным телом стал содрогаться — что это было? смех? страх? замешательство? Но тут Кобб произнес:

— Н-ну, р-ребята, где тут в-вино?

— А вон там, маса, сэр, — ответил Харк и указал на будку, тоже пристроенную прямо к стене мастерской двумя-тремя ярусами дальше — там за распахнутой две-

рю в пахучей и пыльной сырости лежали бочки с сидром. — Красная бочка, сэр. Эт-тая бочка для джентльменов, маса. — Если уж Харк принимался разыгрывать из себя черномазого подлизу, голосок у него становился сладким и масляным, что твой елей. — Маса Джо, сэр, припас эт-тую бочку для знатных джентльменов!

— Да х-хрен с ним, с сидром, — с трудом выговорил Кобб. — Где тут у вас виски?

— Виски-то? В бутылках на полке, — отозвался Харк. Он опять начал подыматься с корточек. — Да я принесу вам, маса. — Но вновь Кобб кратким махом длани усадил его обратно.

— Не над, не над, прол-ажай, — сказал он голосом, который особого добра не сулил, хотя и зла тоже, просто был чужим и безразличным, но при этом в нем звенела струнка боли, как будто судья всеми силами старается подавить в себе какую-то тревогу. Он говорил резко, холодно, но не было в нем ничего, что можно было бы назвать надменностью. Тем не менее что-то в нем задевало меня, наполняло острейшей неприязнью, но лишь когда он умолк и двинулся, пошатываясь и запинаясь, по бурому от ломкого сухого бурьяна проходу к винокурне, я понял, что не в нем самом было дело, но, скорее в том, как вел себя Харк в его присутствии — дядя Том да и только: никакого достоинства, беспрестанное холуйское хихиканье и мерзкие, подобострастные ужимки.

Харк распорол брюшко очередного кролика. Тельце все еще хранило тепло (по субботам я иногда собирал добычу под вечер); Харк приподнял его за уши, чтобы не упустить кровь: прямо в ней мы кроликов тушили. Помню, как я сидел против Харка на корточках и, охваченный внезапной яростью, глядел в его спокойное, лоснящееся благополучием черное лицо с большим лбом и

волевым, красивым очерком широких скул. С идиотической увлеченностью он следил за струйкой густой темно-красной крови, изливающейся в подставленную миску. Лицо у него было такое, что глянешь и скажешь: вот! лицо вождя африканского племени — властное, бесстрашное, решительное и поражающее отчетливой симметрией линий; и все же что-то было не так с его глазами: его глаза или, вернее, выражение, с каким они частенько смотрели — как вот тогда, к примеру, — снижали впечатление от лица, сообщая ему вид безобидной и туповатоподатливой покорности. Глаза ребенка, доверчивого иждивенца, глаза пугливой лани, подернутые чуть заметной поволокой робости, а в тот момент так просто женские глаза на его тяжелом, мужественном лице, туповато обращенном к струйке кроличьей крови, и вот от этого я и взъерился. Слышно было, как Кобб со стуком и бряком ворочается в винокурне. Нас он слышать не мог.

— Засранец ты черномазый! — выпалил я. — Сопли тут перед белым распустил, лизоблюд поганый! Да ты, ты, Харк, вонючка черномазая!

Грустные глаза Харка обратились ко мне, доверчивые и по-прежнему робкие.

— Да ты чо, слышь... — начал он сорвавшимся, встревоженным тоном.

— Заткни хайло, ты! — не унимался я. Я был в ярости. Так и подмывало тылом ладони с разворота вlepить ему леща, да по губам. — Заткнись, понял? — Понизив голос, хриплым полупшепотом я принялся передразнивать: “Красная бочка, сэр! Эт-тая бочка для джентльменов, маса! Я вам и виски принесу!” Чего ты лезешь, чего ты ему задницу лижешь, поганец черномазый? Я тут с тобой чуть прямо не *блеванул* вообще!

Харк удрученно потупился, обиженно глядя в землю; не отвечал, лишь шевелил влажными губами, сосредото-

ченно про себя что-то шептал, словно не мог сдержать жестоких угрызений.

— Ниггер ты несчастный, да как же ты не понимаешь? — продолжал я напирать со всех сил. — Как ты не видишь *разницу*? Разницу между обычной вежливостью и холуйством, а? Он даже не сказал “дайте выпить”. Сказал только “где винокурня?” *Вопрос задал* — всё! Всё! А ты уже тут как тут, ужом подползаешь, аж извертелся весь на брюхе, прямо как гада подколотная — маса то, маса сё! Такое как увидишь, весь обед обратно выскочит!

*Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится в сердце глупых.* Устыдившись, я тут же успокоился. Харк был подавлен до крайности. Я сказал ему уже мягче:

— Надо учиться, дружище. Разницу понимать. Я вовсе не к тому, чтобы ты лез на рожон, а то от них и схлопотать недолго. Хамить, дерзить — это не обязательно. Но есть же мера всему. Когда ты так ведешь себя, ты роняешь себя как мужчина. Уже не мужчина ты, а дурак! И одно и то же всю дорогу, снова и снова, и с Тревисом, и с мисс Марией, и, Господи помилуй, даже с пацанами с ихними. Ты ничему не учишься, дурак ты! *Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою.* Дурень ты, Харк. Как же мне научить-то тебя?

Харк не ответил, сидел на корточках и шевелил губами обиженно и уныло. Нечасто я сердился на него, но, когда это случалось, мой гнев задевал его по-настоящему. Я любил его и, если взрывался, часто потом ругал себя, видя его страдание, однако в каком-то смысле он был как породистый пес — молодой, красивый, бесшабашный, пылкий, но, как и пса, его надо было дрессировать, чтобы держался с достоинством. Хотя я его и не посвятил еще в свои великие планы, но я хотел, чтобы, когда придет время истреблять белых, Харк был моею правой рукой, моим

мечом и щитом: он всем был наделен для этого — умный, находчивый и сильный, как медведь. Но один вид белой кожи повергал его в трепет, смирял и низводил до состояния подобострастной холопской униженности; я понимал, что, прежде чем до конца ему довериться, надлежит с корнем вырвать из его характера этот росток слабости, которую я и прежде наблюдал в неграх, проводших, подобно Харку, детские годы на больших плантациях. А то что ж это получится: мой старший помощник, а в душе всего лишь презренный ниггер, который при виде белого гораздо лишь кланяться, пятиться и забавно шаркать ножкой, тогда как должен не моргнув глазом мгновенно выпустить ему кишки. Короче, на Харке надо было поставить опыт — опыт необходимый и решающий. Прискорбно, но факт: большинство негров отдрессированы и послушны, однако многих из них душит злоба, и тонкий слой лести, еля, под которым они свою злобу прячут, — не более чем притворство. С Харком все ясно: надо сорвать с него этот слой, разрушить позорную внешнюю маску, и при этом всячески способствовать тому, чтобы он взращивал, лелеял в себе смертельную злобу, которая прячется внизу. И почему-то не думал я, чтобы на это понадобилось много времени.

— Не знаю, Нат, — в конце концов заговорил Харк. — Я стараюсь, стараюсь... Но, похоже, никак не могу переступить через ощущение черножопости. Но я стараюсь. — Он помолчал, чуть-чуть покачивая в раздумье головой над окровавленным трупиком, что держал в руках. — Ну и потом тот господин — он такой печальный, такой у него вид горестный. Я вроде как пожалел его. Как ты думаешь, что его так печалит?

Слышно было, как Кобб бредет по сухой траве из винокурни, спотыкается, его пошатывает, с хрустом ломаются ветки, попавшие под сапог.

— Жалей-жалей! Белого жалеть, что пузом на рожон переть, — совсем тихо сказал я.

И тут, пока я говорил, у меня соединились в голове концы с концами; я вспомнил, как несколько месяцев назад подслушал разговор Тревиса и мисс Сары об этом Коббе и жутких несчастьях, навалившихся на него в последний год всем скопом, как на Иова: преуспевающий торговец и банкир, человек обеспеченный и влиятельный, верховный судья округа, президент окружного охотничьего клуба, он в одночасье лишился жены и двух взрослых дочерей, которых на побережье Каролины скопил брюшной тиф, причем ирония судьбы в том, что в Каролину он сам их и отправил поправлять бронхи после зимних простуд, которым все три дамы были подвержены. Вскоре после этого в его конюшне, новехоньком строении на окраине Иерусалима, случился пожар, она сгорела дотла, и в губительном огненном вихре почти мгновенно погибло все, что в ней находилось, в том числе три призовых охотничьих жеребца моргановской породы и много ценных английских седел и упряжи, не считая конюха, юноши-негра. Впоследствии несчастный муж и отец, с горя тяжело пристрастившийся к бутылке, упал с лестницы и сломал ногу; она срослась неправильно, и хотя давала возможность ходить, но вызывала не очень высокую, зато весьма надоедливую “чахоточную” температуру и непрестанную мучительную боль. Когда я впервые услышал об этих свалившихся на него бедствиях, я не мог не ощутить злорадства (только не надо меня считать совсем уж бессердечным — я не таков, и вы вскоре это поймете, однако переоценить удовлетворение, которое охватывает негра, узнавшего о несчастьи, постигшем белого, переоценить это приятнейшее чувство, похожее на вкус лакомства, неожиданно перепавшего при постоянно скудном и постном питании, — нет, вряд

ли такое возможно); в общем, я должен признаться, что и теперь, когда Кобб за моей спиной шатко брел по сухому хрустящему бурьяну, меня вновь обдало волной удовольствия. (*Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье...*) Да-да, явственный холодок удовольствия пробежал у меня по спине.

Я думал, он пройдет мимо нас в мастерскую или, может быть, в дом. Как ни странно, вместо этого Кобб остановился рядом с нами, чуть не наступив сапогом на одну из кроличьих тушек. Вновь мы с Харком начали было вставать, и вновь он замахал на нас, чтобы мы продолжали работу.

— Прол-ажайте, прол-ажайте, — несколько раз повторил он, сделав щедрый глоток из бутылки. Я услышал, как виски с лягушачьим кваканьем пробежало у него по пищеводу, затем последовал долгий судорожный вдох и, наконец, причмокивание губами. — Ам-бы-роо-зия, — подытожил он. Его голос над нами звучал самоуверенно, мощно, зычно; в нем неоспоримо присутствовала решительность и сила, даже притом, что усталый призыв печали никуда не девался, и я почувствовал, как во мне подспудно, едва заметно шевельнулось нечто, чему я могу подыскать лишь одно постыдное название: страх — страх прирожденный и внедренный воспитанием. — Ам-бы-роо-зия, — вновь прорычал он.

Страх отступил. Принюхиваясь, подкатилась рыжая дворняжка, и я швырнул ей горсть скользкой синеватой кроличьей требухи, которую она, порывая от удовольствия, унесла на полосу хлопчатника.

— Греческое, кстати, словцо, — заговорил опять Кобб. — От *амбротос*, что значит бессмертный. Потому что боги, конечно же, наделили нас, бедных людей, некоторым, пусть кратким и иллюзорным, бессмертием, когда



принесли нам сей сладостный дар, полученный из скромных плодов вездесущей яблони. Утешающий одиноких и отверженных, утоляющий боль, укрывающий от холодного дыхания неминуемой, безжалостной смерти, сей эликсир не может не носить на себе отпечатка длани чего-то или кого-то божественного! — И вновь икота — то есть даже какой-то вопль, нечто поистине чудовищное — потрясла все его тело, и снова я услышал, как он присосался к бутылке. Сосредоточившись на кроликах, взгляд я не поднимал, но краем глаза посмотрел на Харка: пораженно, растопырив перемазанные кровью, поблескивающие пальцы, он открыл рот и уставился на Кобба с видом простертого ниц невежды, который с глубочайшим интересом и священным трепетом пытается внимать гласу свыше; силясь хоть что-нибудь понять, он беззвучно шевелил губами вслед за Коббом, прикусывал роскошные слова как яблоки, и капельки пота шариками ртути выступили на его черном лбу; клянусь, он даже дышать на время почти перестал. — А-ах, — протянул Кобб, чмокнув губами, — чистое наслаждение. Ну разве не удивительно, что к своим уже признанным талантам — все-таки он лучший колесник всего юго-запада Виргинии — ваш хозяин, мистер Джозеф Тревис, присовокупил еще один, наиверховнейший, став самым виртуозным дистиллятором этого несказанно сладостного зелья на сотню миль вокруг? Вы не находите это удивительным? Вы не находите. — Он смолк. Потом повторил еще раз, с какой-то новой, двусмысленной интонацией, голосом, в котором, казалось (мне, по крайней мере, показалось), прозвучала угроза: — Вот ты, ты *не находишь*?

Мне стало как-то неуютно, не по себе. Возможно, я, как всегда, с излишней подозрительностью подошел к странной перемене интонации белого человека; тем не менее в этом вопросе мне послышалось что-то ехидное,

тягостное, злобноватое, и я встревожился. Я привык к тому, что если белый незнакомец сперва с тобой фамильярничают, потом начинают говорить вычурным, витиеватым слогом, а ты при этом негр — осторожно! белый наверняка желает на твой счет поразвлечься. А я последние месяцы пребывал в таком всевозрастающем напряжении, что должен был любой ценой избегать малейшего намека на то, чтобы *влипнуть в историю* (ведь предварительное топтанье вокруг да около может на первый взгляд казаться совершенно невинным). И теперь этот мерзкий вопрос белого дядьки мордой об стол ткнул меня в необходимость выбора. Проблема такая: негр, примерно так же, как и собака, должен понимать *интонацию*. Если — что вполне вероятно — вопрос всего-навсего пьяно-риторический, тогда можно скромно и благовоспитанно промолчать, ковыряясь в кролике. Такая возможность (все так просто? или не совсем? мысли в голове крутятся, вертятся, что твоя мельница), по мне, была бы, конечно, предпочтительней: тупой, бессловесный ниггер, с него и взятки гладки; для полноты картины хорошо немного почесать в курчавом черного дерева затылке, и, идиотически отвесив толстую розовую губу, изобразить полное непонимание множества звучных латинизмов. Если же — что более вероятно, судя по нависающей паузе — вопрос, наоборот, был пьяно-грубосаркастическим и на него требуется ответить, придется что-то бормотать, поскольку обычное “да, сэр — нет, сэр” при столь каверзной его постановке неприемлемо. Больше всего я опасался (и не беспочвенно, смею заверить, вполне справедливо опасался), что, скажи я “да, сэр”, он может выдать мне что-нибудь в таком роде: “Ага, находишь. Ты *находишь* это удивительным? Надо ли понимать это так, что ты считаешь своего хозяина болваном? По-твоему, если он может делать колеса, он не может гнать



виски? Не очень-то вы, черномазые, уважаете нынче своих хозяев, я правильно понял? Ну так вот что я тебе скажу, Помпей, или как там твое дурацкое имя, слушай...” и так далее. Вариантов тут масса, и не думайте, что я чересчур осторожен: немотивированное шпыняние негров — спорт распространенный. Но дело тут не в том, что я стремился избежать возможного унижения, а в том, что недавно я сам себе поклялся никогда больше не допускать над собой ничего подобного, а значит, загнанный в угол, я буду вынужден идти до конца и вышибу этому дядьке мозги, тем самым полностью нарушив все великие планы на будущее.

Меня начало трясти, в глазах потемнело, и в животе образовалась какая-то водянистая пустота, но тут, однако, подоспело счастливое избавление: с опушки ближнего леса донесся треск кустов, и обращенным туда нашим взорам предстала выломившаяся из подлеска бурая, забрызганная грязью дикая свинья; она хрюкала, фыркала, вдогонку за ней бежал ее визжащий выводок, но столь же быстро, как возникли, они исчезли, будто растворились в облетевшей, оголившейся чаще, и вновь простор седых и безутешных небес стал безмолвным, оживляясь только движением низких рваных облаков, гонимых ветром подобно грязным комьям хлопка, сквозь которые еле-еле просвечивало слабенькое, желтоватое солнце. В ошеломлении все трое какое-то время продолжали смотреть в сторону леса, и тут совсем рядом — бабах! — дверь мастерской резко распахнулась и, повернувшись под напором ветра на скрипучих петлях, грохнула наружной стороной об стену.

— Харк! — раздался требовательный голос. То был мой младший владелец, Патнэм. — Ты где, Харк?

Мальчишка был не в духе — об этом я мог судить по прыщам на его бледной даже для белого физиономии:

они краснели и набухали всякий раз, когда он волновался или пребывал не в настроении. Стоит добавить, что Патнэм таил зло на Харка еще с прошлого года, когда, отправившись в один действительно прекрасный денек за орехами гикори, Харк, хоть и ненароком, но довольно неуклюже нарвался на Патнэма и Джоэла Вестбрука, находящихся в замысловатом плотском единении у пруда, где они возились и резвились в береговой грязи, бесстыжие и нагие как лягушата.

— Никогда не видал большей глупости, — рассказывал мне потом Харк. — Но мне-то что, не хватало еще внимание обращать. Негра глупости белых мальчишек не касаются. А теперь этот дурень Патнэм возьми да и озлился, как будто это меня они застукали, будто это я петушка там дрочил.

Я сочувствовал Харку, но в конце концов всерьез тут и говорить не о чем, поскольку картина это типичная и никакому исправлению не поддается: когда негр занимается личными делами, белые его в упор не видят, а вот если негр заметит, что там такое делают белые, — а ему подчас приходится на милю уклоняться от своего пути, чтобы не замечать, — да еще не дай Бог по простодушию обнаружит неистребимое свое присутствие, взбучку получит тут же: он якобы шпионит, сует нос не в свое дело, да и вообще выискался тут обалдуй черноухий!

— Харк! — не унимался юнец. — Ну-ка подь сюда быстро! Долго ты там собираешься болтаться, ниггер ничемный! Огонь-то упустили в горне! Давай миглом сюда, черт тебя, лентяя, подери совсем!

На мальчишке был кожаный фартук; сердитое, грубо вытесанное лицо с обиженно надутыми губами обрамляли прямые темные волосы и длинные бакенбарды; слыша, как он орет на Харка, я в мимолетном приливе ярости лишний раз пожелал, чтобы скорей наступил день,

когда я, наконец, доберусь до него. Харк вскочил на ноги и поспешил в мастерскую, а Патнэм заорал снова, на этот раз обращаясь к Коббу:

— Судья, по-моему, у вас там полуось сломалась, сэр! Отчим ее разом починит! Скоро уже он придет!

— Очень хорошо! — в ответ выкрикнул Кобб. И переключившись так внезапно, что я, было, подумал, будто он все еще разговаривает с хозяйским пасынком, он заговорил вновь:

— *Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою.* Цитата ужасно знакомая, конечно, но, разрази меня гром, нипочем не вспомнить, из какого это места Библии. Впрочем, похоже на Книгу Притчей царя Соломона: у него это любимое занятие было — бранить глупцов и бичевать людские пороки.

Он продолжал бубнить, а мне стало тошно: обычный порядок вещей перевернулся, на сей раз белый застиг негра, да при том еще за *обсуждением*! Но откуда ж я знал, что трепливый мой язык подведет меня, что белый подслушает все мои речи дословно? Опозоренный, пристыженный, я даже выпустил липкий кроличий трупик, который держал в руке, и скрепя сердце приготовился к худшему.

— А не Соломон ли сказал также, что глупый будет рабом мудрого? И не он ли говорил, что глупый пренебрегает наставлением отца своего? А слова, сказанные евреем из Тарса Савлом и известные каждому дураку в нашем Старом Доминионе\*, не суть ли они наставление Отца Небесного, а именно: *Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства!*

---

\* Неофициальное название штата Виргиния.

Пока судья Кобб говорил, я потихоньку выпрямился, но даже когда встал во весь рост, он возвышался надо мной — бледный, нездоровый, потный; на холоде у него слегка текло из носа, торчащего, как кривой ятаган; лицо искажала боль и неистовство, бутылку виски он сжимал в огромном, прижатом к груди веснушчатом кулаке; стоял, отставив хроющую ногу, потел и покачивался, и говорил не столько мне, сколько сквозь меня, мимо меня, обращаясь куда-то в гонимую ветром рваную мешанину туч.

— Да, но на это мы получаем ответ, на эту великую и очевидную истину нам отвечают... — он секунду помедлил, икнул и продолжил уже насмешливо, — на этот непреложный и обязывающий эдикт что же в ответ мы слышим? Из такой цитадели разума, как Колледж Вильгельма и Марии\*, мы слышим лишь вяканье фарисеев, да и правительство в Ричмонде, как мухами обсиженное ученым жульем, этими шарлатанами в судейских мантиях, только и отвечает: “Богословие оставьте богословам! Что-что? Свобода, говорите? Иго рабства? А ну-ка ты, сельский судья, ответь-ка вот на что — как насчет Послания к Ефесеянам, шесть-дробь-пять: *Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, аки Христу.* Или вóт тебе, коллега ты мой лубяной и соломенный, что на это скажешь? Первое Петра, два, восемнадцать: *Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.* Что, съел, любезнейший? — вот она, *впрямую*, божественная ратификация рабства, а ты тут нам разводишь детский лепет! Отче наш, Иже еси на небесех, да неужто же такая казуистика пребудет вечно! Не горят ли уже письма на стене? — Впервые, кажется, он посмотрел на меня, остановил на мне взгляд лихорадочно горящих

---

\* Государственный университет в Уильямсбурге (Виргиния).

глаз, прежде чем вновь воткнуть бутылку горлышком в глотку, куда опять устремился, булькая и клопоча, поток виски. — Рыдайте, — вдруг призвал он после этого, — *Рыдайте; ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего*. А ведь ты проповедник, тебя зовут Нат, правильно? Скажи мне тогда, проповедник, я прав или нет? Разве не истину глаголет Исаия, говоря: *рыдайте?* Когда возвещает, что день Господа близок и что грядет он как разрушительная сила от Всемогущего? Скажи честно и по правде, проповедник: не начертаны ли писмена на стенах возлюбленного и до прискорбия дурацкого Старого этого Доминиона?

— Слава Всевышнему, маса, — сказал я, — это истинная правда.

Хотя эти слова я произнес нарочито кротко и смиренно, особым пасторским, набожным тоном, но сказал я их только, чтобы что-то сказать, чтобы прикрыть ими внезапный испуг. Потому что теперь я уже всерьез боялся, уж не насквозь ли он меня видит; предположение, что этот незнакомый пьяный белый дядька знает, кто я есть, ударило меня будто кулаком между глаз. Для негра наидрагоценнейшее достояние — его бесцветный, бесформенный плащ анонимности, запахнув который можно смешаться с серой толпой, остаться безликим и безымянным; дерзость и дурное поведение по очевидным причинам не приветствуются, однако столь же недальновидно выказывать и необычайные добродетели, ибо, если качества низкие караются голодом, кнутом и цепями, то высокие могут привлечь к тебе столь недоброе любопытство и подозрительность, что в прах рассыплются мельчайшие осколки свободы, которой ты обладал дотопе. Хотя, в общем-то, слова слетали с его губ так торопливо и бурно, что я не успевал уследить, куда, собственно, ведут его построения, которые, впрочем, ощущал как весьма стран-

ные для белого господина; при этом я по-прежнему не мог отделаться от чувства, что он пытается подловить меня, заманить в ловушку, закидывает живца. Чтобы скрыть смятение и тревогу, я вновь пробормотал: “Ой, маса, истинная правда, сэр”, идиотически хихикнул и потупился, слегка покачивая головой: стремился показать, мол, бедный негритосик осень-осень мало поймай, если вообще моя-твоя улавливай хотя бы что-то.

Но вот он чуть склонился, его лицо приблизилось к моему, вблизи оказавшись не красным и не опухшим от алкоголя, каким я сперва ожидал его увидеть, а наоборот, совершенно бескровным, белым как сало, причем, когда я заставил себя глянуть странному дядьке в глаза, оно показалось мне еще белее.

— Ты передо мной дурака тут не разыгрывай, — сказал он. Враждебности в его тоне не было, и прозвучало это скорее просьбой, чем приказанием. — Твоя хозяйка мне тебя только что показала. Да я бы тебя и так узнал, различил между вами двоими. А другой-то негр, его как зовут?

— Харк, — сказал я. — Его зовут Харк, маса.

— Да. Я бы тебя и без того узнал. Узнал бы, если б даже не подслушал ненароком. “Белого жалеть, что пузом на рожон переть”. Ты ведь так сказал, верно?

Мурашки страха, давно знакомого, привычного и унижительного, пробежали по телу, и против собственной воли я отвел глаза и буркнул:

— Простите, что я сказал это, маса. Я ужас как извиняюсь. Я это не всерьез, сэр.

— Лабуда! — мгновенно выпалил он. — Ты извиняешься, что сказал, дескать, не надо жалеть белого человека? Да ладно тебе, ладно, проповедник, ты же *сейчас* не всерьез. Ведь не всерьез же, верно? — Он помолчал, подождал, что я отвечу, но к этому моменту я был так подав-

лен ужасом и замешательством, что не смог выдать вовсе ни слова. Хуже того, за глупость и неспособность справиться с ситуацией я уже презирал себя и ненавидел. Стоял, кусал губы и, глядя в сторону опушки леса, видел себя низвергнутым на дно — в толпу презренных дохляк на хлопковой плантации.

— Ты передо мной тут брось дурака разыгрывать, — повторил он тоном почти что ласковым, даже каким-то вкрадчивым, что ли. — Молва-то, она ведь как? Впереди на крыльях летит. Уже несколько лет назад мое внимание привлек удивительный слух о редкостном чернокожем, который, переходя в окрестностях Кроскизов от одного хозяина к другому, настолько превзошел бедственное состояние, в которое повержен судьбою, что — *mirabile dictu*\* — научился бегло читать по заказу любую книгу, даже заумные научные труды, может под диктовку уверенно писать страницу за страницей и так продвинулся в вычислениях, что усвоил даже начала элементарной алгебры, а уж какого он понимания Священного Писания достиг, это вообще чудо: те немногие из ученых теологов, кто экзаменовал его по Закону Божьему, долго потом качали головами в изумлении от его потрясающей эрудиции. — Он помолчал и рыгнул. Переведя взгляд вновь на него, я увидел, что он вытирает рукавом рот. — Ох, слухи, слухи! — сразу же заговорил он снова. Голос его теперь возвысился до взволнованного речитатива, округлившиеся глаза пылали одержимостью. — Поразительный слух дошел до нас из глухих лесов доброй старой Виргинии! Не менее поразительный, чем те слухи, что в древние времена проникали из глубин Азии — будто бы где-то у истоков реки Инд (по-моему, там дело было) обитает популяция гигантских крыс шести футов

---

\* *mirabile dictu* — удивительное дело (*лат.*)

ростом, которые весело танцуют джигу, подыгрывая себе на тамбурине, а если к ним кто приблизится, распускают невидимые крылья и улетают на верхушку ближайшей пальмы. Слух, в который поверить ну никак невозможно! Ибо поверить в то, что сия поверженная, попранная раса, законы бытия которой глубоко и бесповоротно ввергли ее во мрак невежества, что эта раса могла пусть даже и в единственном экземпляре породить грамотея, способного “корова” писать через “о” — все равно что человеку постороннему и непредвзятому пытаться внушить, будто бесноватый король Георг Третий\* был благоуханной розой, а не гнусным тираном, или будто бы луна сделана из козьего сыра! — Витийствуя, он тыкал в меня пальцем, длинным и костлявым, с волосатыми фалангами; палец резкими выпадами чуть не впивался мне в нос, как голова атакующей гадюки. — Но главное-то, слушай, самое-то что... это представить только... этот *вундеркинд*, чудо природы, этот чернокожий *раб* — будь оно проклято, подлое, отвратительное слово! — приобрел основы не просто грамотности, нет, знания; он будто бы научился говорить без негритянского акцента, почти совсем как белый, образованный и воспитанный человек, в общем, короче, будто бы он, по-прежнему пребывая среди гнилых столпов сего града обреченного, превозмог свою незавидную участь и из вещи сделался *личностью*, так что в совокупности все это лежит уже за гранью, вторгается в область, я бы сказал, наидичайших фантазий. Нет! Ум пасует, отказывается принимать столь гротескный образ! Скажи мне, проповедник, как пишется “корова”? Давай же, докажи, что все

---

\* Георг Третий (1738–1820) — король Англии, один из вдохновителей колониальной политики и борьбы с восставшими сев.-амер. колониями.

это не розыгрыш, не шутка! — Он продолжал тыкать в меня пальцем, тоном говорил дружеским, упрасивал, уговаривал, а глаза пылали холодным огнем одержимости. Сладким облаком парил над ним запах яблочного самогона. — Ну давай же — “корова”! — не унимался он, — ну, по буквам, ну давай — “*корова*”! Что, слабó?

Давно уже у меня появилось устойчивое ощущение, что это не издевка, нет, просто он вроде как пытается по-своему выразить дикие, нелепые, не укладывающиеся в голове людские воззрения. Я чувствовал, как кровь стучит у меня в висках, холодный пот страха и возмущения течет из подмышек.

— Не надо, маса, умоляю, не смейтесь надо мной, — шепотом выдохнул я. — Пожалуйста, маса. Не надо смеяться.

Время еле ползло, мы оба молчали, глядя друг на друга; вдалеке, в зараменье, ухал ноябрьский ветер, кружа гигантскими неверными шагами по сереющим пустошам, поросшим кипарисовым, кедровым и сосновым мелколесьем; в какой-то момент уступчивые губы, впустую пошамкав, уже складывались у меня в неуверенное “како”, “он”... и такое тут нахлынуло горестное чувство — и детская в нем беспомощность, и бесполезность, тщетность всего и вся, и пожизненная черномазая отверженность, а вместе — прямо дух захватило от боли. Стоял весь мокрый на порывистом ветру и думал: “Вот, стало быть, как получается. Даже когда они о тебе думают, даже если они вроде бы на твоей стороне, они не могут не дразнить, не мучить”. Ладони у меня сделались липкими, в мозгу ревела и рычала одна лишь мысль: “Я не хочу этого, но если он сейчас будет заставлять меня произносить «корова» по буквам, мне придется убить его”. Я снова опустил глаза и сказал как можно отчетливее:

— Не смейтесь надо мной, маса. Пожалуйста.

Но тут Кобб, в самогонном своем дурмане, похоже, забыв, что сказал мне и повернулся прочь, устремив бешеный взгляд к опушке, к лесу, где ветер по-прежнему гнул и трепал верхушки дальних деревьев. Отчаянно прижатая к его груди бутылка наклонилась, и струйка виски потекла по плащу. Другой рукой он принялся массировать бедро, с такой силой сжимая себе ногу, что побелела кожа на костяшках пальцев.

— Господь всемогущий, — простонал он, — ну и зануда эта непрестанная боль! *Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много.* Боже, Боже, бедная моя Виргиния, выжженная земля! Почва загублена, убита, в бесплодную пыль превратила ее гнусная индейская зараза куда ни глянь. А — всё! уже и табак не вырастишь, разве что здесь, в немногих южных округах, да и то едва на понюшку, не говоря о хлопке, а уж овес, ячмень, пшеницу — какое там! Пустыня! Когда-то девственные, дородные пажити, потом чадолюбивая нива, мать-земля, подобия которой мир не видывал, и — нате вам! — за один век превращена в ссохшуюся, тощую ведьму. И все ради десятка миллионов англичан — чтоб ублажить их трубочкой отборного “*виргинского*”! Теперь и это в прошлом; все, что мы нынче можем вырастить, это лошади. Ха! Лошади! — ораторствовал он словно сам с собой, оглаживая и растирая бедро. — Лошади, а еще что? Ну, еще-то *что*? Лошади и негритята! Негритосики! Младенцы черного цвета выводками, сотнями, тысячами, десятками тысяч! Был штат-блондин, красавец, самый лучший, мирный любезный край — и что теперь? Ясли, питомник для Миссисипи, Алабамы, Арканзаса. Чудовищная ферма по разведению быдла, без устали ублажающего ненасытимое чрево дьявольской маши-



ны Эли Уитни\*, будь проклято имя мерзавца! До чего же изгубили мы в себе все, что было в нас пристойного, если справедливость и благородство свое отдаем на поругание блуднице, идолищу с позорным именем *Капитал*! О, Виргиния, горе постигло тебя! Горе, трижды горе, и черт бы побрал тот недоброй памяти день, когда черные бедолаги в цепях в первый раз ступили на твой священный берег!

Изо всех сил разминая рукой бедро и стеная теперь уже от боли, он другой рукой поднял к губам бутылку и до капли ее осушил, похоже, забыв обо мне, а я, помнится, подумал, что очень было бы умно этак украдкой сбежать от него, смыться, вот только приличный предлог найти бы. Пока он говорил, во мне пронесся буйный вихрь разноречивых, перепутанных эмоций; за многие годы не слышал я, чтобы белый человек вел столь безумные речи, причем я был бы нечестен, кабы не признал, что от сказанного (или от какой-то хмельной подоплеки сказанного, исподволь озарившей мое сознание неким нереально-благодным светом) у меня побежали мурашки благоговения, а может, и чего-то иного, дальнего, смутного, что можно бы назвать и трепетом надежды. Но по причине, которую я не могу объяснить, и благоговение, и надежда разом отступили, потерялись, выродились, и скоро при виде Кобба я обонял уже лишь острый запах опасности — смертельной, неминуемой — и чувствовал к нему подозрение и недоверие — осязаемо, как никогда в жизни. Отчего так? Возможно, объяснить это нельзя ничем, кроме как промыслом Господа, которому все вещи ведомы. Скажу только то, без чего нельзя понять стержень, главное в безумном существовании

---

\* Уитни, Эли (1765–1825), американский изобретатель и промышленник. Изобрел первую хлопкоочистительную машину (1793).

негра: бей его, заставляй голодать, пусть он у тебя барахтается в собственном дерьме, он будет твой по гроб жизни. Подари ему предвкушение нежданного послабления, дай намек на возможность надежды, и ему тут же захочется перегрызть тебе глотку.

И опять, не успев я шевельнуть пальцем, сзади что-то грохнуло — это снова отворилась дверь мастерской, широко распахнулась и, подхваченная силой ветра, саданула об стену. Когда мы обернулись, Харк уже выскочил и с вылезшей из штанов рубахой, очертя голову, со всех ног бросился от мастерской куда-то прочь, в поля, в сторону леса. Панически сверкая белками глаз и мелькая ногами, черный и могучий, он мчался безудержным галопом. В каких-то двух-трех ярдах позади, хлопая по ветру кожаным фартуком, неся Патнэм, потрясал поленом и орал:

— Эй ты, Харк, ну-ка назад! А ну сюда иди, мать-бать, драть-хрять, паршивая скотина! Все равно до тебя доберусь, черномазое ублюдце!

Взбив пыль босыми черными пятками, быстрее лани Харк маханул через двор, и как только успел улизнуть от него амбарный кот! да гусак с подружками, издавая унылые трубные звуки, с тяжким хлопаньем лишних, к полету неприкладных крыльев, заковылял вперевалку прочь с дороги беглеца. А тот неся уже мимо нас, ни вправо, ни влево не глядя, с глазами круглыми и белыми как куриные яйца, и только донеслось было пыхтенье *ах-ах-ах*, ан — глядь — он уже на опушке, одна нога здесь, другая там, быстрый и легкий как сухой лист, сорванный ветром. Далеко позади, отставая с каждой секундой, бежал прыщеватый юнец, продолжая вопить:

— Стой, Харк! Стой, гадина черномазая! Стой, стой!

Но мощные Харковы ноги работали как шатуны паровой машины; оттолкнувшись, он парил в воздухе, ле-

тел гигантскими скачками, будто на крыльях или на лонже, гулко бил пяткой в землю и, не меняя ритма, удалялся все дальше к лесу, при каждом шаге на миг отсвечивая безупречной розовой ступней. И вдруг его как будто пушечным ядром сшибло: голова дернулась назад, все остальное, включая дрыгающие ноги, взлетело вверх и вперед, и он плашмя, с тупым и полым звуком хлопнулся навзничь как мешок, а случилось это прямо под натянутой на уровне горла бельевой веревкой — она-то и прервала его размашистый полет. Мы с Коббом все стояли и смотрели, а он потряхнул башкой и стал с натугой подыматься на локтях, и тут мы увидели, что не один, а сразу два вихря, два равно вредоносных и опасных вектора с разных сторон сходятся к Харку: Патнэм, по-прежнему с поленом в руке, и мисс Мария Поуп, взявшаяся словно из ниоткуда, будто жадный дух вражды и мщения, семенящей побегом старой девы устремилась к нему, путаясь в необъятной похоронно-черной бумазе. Она покрикивала, голос относилось ветром, но даже в отголосках слышны были пронзительные нотки истерической злобы:

— А вот взденем тебя сейчас, ниггер! — наверное, кричала она — А вот взденем!

— Ну, — себе под нос пробормотал Кобб, — что ж, проследим теперь за ритуальной забавой, весьма распространенной в этих южных широтах. Станем свидетелями того, как два человеческих существа выпорют третье.

— Нет, маса. — сказал я. — Маса Джо не велит бить своих негров. Но всегда есть обходные пути, в чем вы сейчас и убедитесь. Мы станем свидетелями кое-чего иного.

— Ни крошки угля в мастерской! — плачущим голосом выкрикнул Патнэм.

— И ни капли воды в ведре на кухне! — взвизгнула мисс Мария. Будто соперничая друг с другом, кто больше по-

страдал от Харковой преступной нерадивости, они обступили его, заслонили простертое тело, заклекотали над ним, как стервятники. Харк замедленно, неуверенно встал, помотал головой, не сразу придя в себя после встряски, обалделый и недоумевающий, словно бык на скотобойне, которому неумело, вскользь дали по лбу. — А вот теперь уж точно взденем тебя, бесстыжий черномазый наглец! — квохтала мисс Мария. — Патнэм, лестницу!

— Больше всего Харк высоты страшится, — зачем-то взялся я за объяснение. — Ему это хуже сотни плетей, сэр.

— А какой образчик! — выдохнул Кобб. — Настоящий *гладиатор*, прямо черный Аполлон. И быстрый, как призовой скакун! Где твой хозяин только взял его?

— Да где-то там, в Сассексе, — сказал я, — что-нибудь десять, одиннадцать лет назад, маса. Когда с молотка пошла одна из старых плантаций. — Я помедлил, слегка дивясь своей готовности делиться с ним всем этим знанием. Потом продолжил: — Харк очень одинок теперь, тоскует. Растерян и одинок. По наружности вроде веселый, а в душе горюет. Отсюда и несобранность. Вот он и забывает, за чем послали, и получает за это. Бедняга...

— А это они зачем, проповедник? — насторожился Кобб.

Патнэм уже выволок из амбара лестницу, и перед нашим взором по двору, серому и бесприютному на зимних семи ветрах, двинулось шествие: впереди мисс Мария — мрачная, сцепила руки, прямая, будто аршин проглотив; сзади Патнэм с лестницей, а между ними Харк в своей пыльной серой холстине плелся, шаркая и опустив голову в полном унынии, при этом он возвышался над ними обоими, как Голиаф — могучая громада меж двух торопливых, мстительных карликов. След в след и прямо, как по струнке, шли они к высоченному старому клену, давно облетевшая нижняя ветвь которого, как голая рука, тянулась поперек неба в двадцати футах над

землей. Я слышал, как шуршит подошвами, нога за ногу тащится Харк — ни дать ни взять этакий нашаливший малыш.

— Что они делают? — снова спросил Кобб.

— Знаете, маса, тут дело вот в чем, — заговорил я в ответ. — Пару лет назад, еще до того как я поступил во владение к маса Джо, ему пришлось почти всех своих негров продать. Куда-то их туда, на Миссисипи увели, там — ну, вы знаете, — хлопок вовсю выращивают. Харк говорит, что маса Джо переживал из-за этого, но ему просто больше ничего не оставалось. Ну и среди тех негров были жена Харка и его ребенок, маленький мальчик — лет трех-четырех он был. А Харк своего малыша любил просто сильнее некуда.

— Н-да... Н-да... Н-да... — тихонько похмыкивая, вполголоса повторял Кобб.

— Так что, когда лишился мальчика, Харк от горя чуть с ума не сошел, вообще думать ни о чем не мог.

— Н-да... Н-да... Н-да...

— Хотел убежать, пробираться за ними туда, на Миссисипи, да я отговорил его. Дело-то в чем: он ведь однажды убегал уже, несколько лет назад, и никуда не добрался. Кроме того, я считаю, да и всегда считал, что негр, пока может, должен следовать всем правилам и порядкам.

— Н-да... Н-да... Н-да...

— В общем, — продолжал я, — с тех пор Харк так до конца и не оправился. Могут сказать: да ну, он просто нерадивый! Поэтому он и делает такие вещи — или каких-то вещей не делает, — и поэтому бывает наказан. Сказать по правде, маса, он действительно — бывает, что не выполняет свою работу, но это происходит совершенно помимо его собственной воли.

— Н-да... Н-да... — бормотал Кобб. — Н-да... Боже ты мой, совершенно логический результат... *полный кошмар!* — Тут

его вновь одолела икота, он дергался и временами при этом вскрикивал, будто сотрясаемый рыданиями. Хотел сказать что-то еще, да передумал, отвернулся, все повторяя: — Боже мой, Боже мой, Боже мой...

— Да, насчет них-то... — вернулся я к прежней теме. — Я сказал уже: больше всего Харк страшится высоких мест. Прошлой весной потекла крыша, и маса Джо послал Харка и меня чинить ее. Харк долез до середины лестницы и там застрял. Принялся хныкать, бормотать что-то себе под нос — и ни дюйма дальше. Пришлось мне чинить крышу одному. А маса Патнэм и мисс Мария застукали Харка на этом страхе — можно сказать, вызнали его слабое место. Я говорил уже: маса Джо не потерпит, чтоб кто-нибудь плохо обращался с его неграми, чтобы их били или там еще что. Так что, когда маса Джо в отлучке, и маса Патнэм с мисс Марией считают, что им это сойдет, — ну, они тогда загоняют Харка на дерево.

Что они как раз и проделывали прямо на наших глазах, покрикивали, но голоса их слышались глухо, отдаленно, слов было не разобрать из-за порывов ветра. Патнэм прислонил длинную лестницу к стволу дерева и яростно махнул рукой наверх, видимо, показывая Харку, куда его посылают. И Харк полез — неохотно, неуверенно, на третьей ступеньке обернулся с испуганным, умоляющим видом, как будто чтобы посмотреть — вдруг они передумали, сжалились, но на сей раз замахала руками мисс Мария: *лезь, ниггер, лезь*, и снова Харк зашевелился, пополз, и даже штаны не мешали видеть, как подламываются у него колени. Добравшись, наконец, до нижней ветви, Харк перевалился с лестницы на нее, обхватив дерево так крепко, что мне даже издали было видно, как вздулись у него на руках вены; потом каким-то вороватым, скользящим движением он переместил зад в развилку между веткой и стволом и уселся там, обхватив

дерево и зажмурившись — ох, тошненько: ветер воет, и до земли высота ярдов шесть с половиной! А Патнэм убрал лестницу и положил ее наземь под деревом.

— Пять, десять минут, маса, — пояснил я Коббу, — и бедняга Харк примется плакать и стенать. Вот увидите. А чуть погода качаться начнет. Будет плакать, стенать и качаться на этой ветке, как будто он вот-вот упадет. Тогда маса Патнэм с мисс Марией опять поставят к дереву лестницу, и Харк слезет. Надо думать, они сами боятся, как бы Харк не свалился и не сломал себе шею, им этого не надо вовсе. Нет, они только хотят старину Харка немного помучить.

— Н-да... Н-да... Н-да, — бормотал Кобб, но как-то уже отстраненно.

— А для Харка это и впрямь мучение, — сказал я.

— Н-да... Н-да... Н-да, — не очень разнообразно отзывался Кобб. Я уже и не знал, слушает он меня или нет, но неожиданно он вновь обрел дар речи: — Боже ты мой! Подчас я думаю... временами... такая жизнь, *ведь это как в кошмарном сне!*

Тут вдруг, не говоря ни слова, Кобб повернулся, ссутулился от ветра, треплющего плащ, и, неловко заноса тощую хромую ногу, двинулся к дому; при этом он все еще сжимал в руке пустую тару из-под самогона. Я снова сел на корточки к своим кроликам, глядя, как Кобб, хромая и пошатываясь, пересекает двор, идет через веранду, потом раздался его слабый и усталый голос: “Хэлло, мисс Тревис, я вот подумал, найду все ж таки, посижу чуток!” Затем сразу голос мисс Сары, веселый и бодрый, удар захлопнувшейся двери — и Кобб исчез. Я содрал с кролика белую полупрозрачную внутреннюю кожицу, отслаивая от розоватого мяса, окунул тушку в холодную воду и почувствовал, как мокрые внутренности ползут и скользко извиваются у меня меж пальцев.

От крови вода порозовела. Порывы ветра проносились по полосе хлопчатника, там посвистывало; мертвые, высохшие листья во множестве проносились мимо угла амбара, скреблись и шуршали на дорожках двора. Я глядел в кровавую воду, думал о Коббе. *Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак... Старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на коем знак...*

Внезапно я поймал себя на такой мысли: “Ясно, ну конечно же, это ясно. Когда я преуспею в моей великой миссии и Иерусалим падет, этот человек по фамилии Кобб будет среди тех немногих, кого пощадит меч...”

В лесу ветер шумел верхушками деревьев, свистел в них, залиvisto ухал, отзываясь в дальних лощинах звуком тупым, похожим на чьи-то шаги. Серые с проблесками, взвихренные, тяжеловесные тучи мчались по низкому небу на восток, становясь все темнее в сгущающихся сумерках. Чуть спустя я услышал, как Харк завел свой полный страха, тихий, безутешный, бессловесный плач. Минуту за минутой он подвывал, качаясь высоко на дереве. Потом *тук-тук* — к дереву приставили лестницу, и он слез.

Интересно, что иногда наши самые яркие, правдоподобные сны снятся нам в тот момент, когда мы в полудреме, причем время они занимают совсем короткое. Сегодня в зале суда, задремав на какие-то секунды за дубовым столом, к которому меня приковали куском цепи, я увидел сон, и он напугал меня. Как будто иду это я ночью один краем болота, вокруг меня свет, мерцающий, тусклый, с таким еще зеленоватым оттенком, как бывает летом перед грозой. Воздух не шелохнется,

безветрие, но далеко в вышине за болотом гремит и перекачивается гром, и после промежутка тьмы вспыхивают зарницы. Охваченный паническим страхом, я вроде как ищу свою Библию, которую неизвестно зачем и почему оставил где-то там, в темной пустоши, на болоте; в страхе и отчаянии, невзирая на наступление ночи, я продолжаю поиски, иду все дальше и дальше среди мрачных топей, и меня преследуют зловещие грозовые отсветы и дальний демонический хохот грома. Как я ни силюсь, как ни стараюсь, мне все не найти мою Библию. Вдруг моих ушей достигает совсем другой звук — на сей раз испуганные голоса, вскрики. Голоса мальчишеские — ломкие, почти уже взрослые, в них звучит ужас, и тут я вдруг вижу их: с поддюжины черных подростков по шеи завязли в бочажине, они громко кричат, зовут на помощь, в тусклых отсветах видно, как они судорожно дергают руками, уходя все глубже и глубже в трясины. А я будто бы беспомощно стою на краю топи не в силах ни сдвинуться, ни слова сказать, и пока я так стою, с неба раздается голос, возникая как бы из раскатов грома: *Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу; глаза твои будут видеть и всякий день истаявать о них... и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои.* ...С криками смертного ужаса черные руки и лица погружались в жижу, на моих глазах подростки стали исчезать один за другим, и рев чудовищной вины оглушил меня, как удар грома...

— Подсудимый, ну-ка...

Резкий удар судейского молотка прервал этот ужас, и я толчком проснулся.

— Позвольте мне с разрешения суда... — говорил какой-то голос, — ...но ведь это вопиюще, возмутительно! Такое поведение *до крайности возмутительно!*

Вновь грохнул молоток судьи.

— Подсудимый предупрежден, что спать нельзя, — сказал другой голос. На сей раз голос оказался знакомым — то был Джеремиа Кобб.

— С позволения суда хочу отметить, — вновь начал первый голос, — что налицо вопиющее неуважение к суду: прямо на глазах достопочтенной коллегии подсудимый засыпает! Если даже это и правда, что ниггер не может не спать дольше, чем...

— Подсудимый должным образом предупрежден, мистер Тревезант, — сказал Кобб. — Можете продолжить оглашение показаний.

Человек, который вслух зачитывал мое признание, сделал паузу и, обернувшись, уставился на меня, явно наслаждаясь и паузой, и своим испепеляющим взглядом, и всем происходящим. Его лицо было исполнено ненависти и отвращения. Я встретил его взгляд не дрогнув, но и отношения к нему никакого не выказав. Одутловатый, с бычьей шеей и узенькими глазками, он вновь приподнял со стола бумаги и, напружинив толстые ляжки, напористо подался вперед, ткнув воздух узловатым пальцем.

— “Вышеупомянутая леди побежала и удалилась на некоторое расстояние от дома, — читал он, — но ее преследовали, догнали и принудили идти за одним из членов группы, который привел ее в дом, где ей показали изуродованное тело ее мужа, затем велели лечь рядом с ним и застрелили. Затем я отправился к дому мистера Джекоба Уильямса”...

Дальше я слушать не стал.

В битком набитом зале сидело человек двести, все по-праздничному принаряженные — женщины в шелковых капорах и шалях с кистями, мужчины в черных деловых сюртуках и мягких кожаных штиблетах; суровые, хмурые, они помаргивали, скрывая слезы, теснясь на скамьях с прямыми спинками, словно собравшиеся стаей



молчаливые, внимательные совы, и душная, влажная тишина нарушалась только когда кто-то чихнет или раздастся придушенный трескучий кашель. В безмолвии дышала и потрескивала круглая железная печь, наполняя воздух запахом горящего кедра. В помещении становилось жарко, душно, пар оседал на стеклах окон, делал мутными фигуры все еще толпящихся снаружи людей, размывал очертания оставленных у коновязи бричек и легких двуколок “багги”, скрадывал ломаный абрис чахлого соснового лесочка невдалеке. Где-то в задних рядах всхлипывала женщина — тихо, но горестно и уже с каким-то надрывом, с тем особым повторяющимся злым призвуком, что предвещает истерику. Кто-то пытался унять ее — какое там, всхлипыванье продолжалось, безутешное, ритмичное, непрерывное.

Уже много лет у меня была привычка, оказавшись в положении, когда время тянется удручающе медленно, молиться, и часто не затем, чтобы просить Господа о какой-нибудь определенной милости (я давно понял, что в ответ на такое множество докучных прошений Ему остается лишь хмуриться), а просто от настоятельной необходимости общаться с Ним, поддерживать в себе уверенность, что не отошел я слишком далеко, не забрел туда, откуда мой голос уже не слышен. Псалмы Давида я знаю наизусть почти все, и каждый день я по многу раз, бывало, останавливался посреди работы и полушепотом читал какой-нибудь псалом, поскольку знал, что, поступая так, я не надоедаю, не пристаю к Нему, но славлю имя Его, прибавляя свой голос к хору возносящих Ему хвалу. Но вновь — и без того изнывая в зале суда под неумолчный шорох и шевеление сидящих на скамьях людей, под их перханье, кашель и постоянное всхлипыванье той женщины, из-за которой все повышался и повышался градус истерии, — вновь холодным, сокруши-

тельным приливом боли я ощутил ту же отъединенность от Господа, богооставленность, что пронзила меня ранним утром, да и прежде посещала несчетное число раз за последние дни. Я попробовал читать про себя псалом, но его слова звучали во мне плоско, безобразно и бессмысленно. Ощущение отсутствия Бога во мне было подобно глубокому, устрашающему внутреннему безмолвию. Увы, не одно лишь Его отсутствие было причиной моего отчаяния — само по себе отсутствие я бы, возможно, способен был перетерпеть, но нет, я чувствовал себя отринутым, отвергнутым, как будто Он навеки повернулся ко мне спиной, исчез, предоставив мне впустую бормотать молитвы, просьбы и хвалебные псалмы, — впустую, потому что им теперь не возноситься к небу, теперь они будут падать, рваные, скомканные и бессмысленные, в глубины какой-то грязной темной ямы. Тут меня опять охватила почти непереносимая, ошеломительная усталость и, к тому же, сонливость от голода, но я заставлял себя держать глаза открытыми, устремив дремотный взгляд через зал на Грея, — тот все еще что-то писал, пользуясь своим писчим ларцем, и лишь изредка прерывался, чтобы с кратким бряком стрельнуть струей табачного сока в стоящую у его ног латунную плевательницу. Неподалеку в толпе какой-то остролицый мужчина ужасно расчихался, чихал снова и снова и при каждом оглушительном чихе извергал носом целое облако тумана. Я вернулся мыслями к своей богооставленности. Поймал себя на том, что повторяю за Иовом: *О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы...*

И тут внезапно, впервые за все годы сколько себя помню, я испугался — ощутил то щекотание мурашек по лопаткам и плечам, что означает обычно озноб и

простуду (а еще шею пощипывает, будто кто легонько ледяными пальцами ее коснулся), — и понял, что такое страх смерти. Ничего ужасного, никакой паники, просто нечто вроде предчувствия, причем довольно слабенького, вроде задышливого ощущения неудобства и стесненности, как бывает, когда ждешь, поев подпорченной свинины, появления рези в желудке и поноса, потливости и судорожных схваток. Причем эта внезапная боязнь, это мимолетное, неуверенное чувство, скорее похожее на легкую обеспокоенность, чем на страх, каким-то образом имело меньше касательства к самой смерти, то есть к тому, что вскоре мне придется умереть, нежели к моей неспособности молиться или вступить в любое другое общение с Богом. Я это не к тому, что из-за боязни умирать мне хотелось о чем-то просить Господа; скорее, провал моих попыток молиться как раз и вызвал во мне назойливое предощущение смерти. Я чувствовал, как катится у меня по лбу, оставляя за собой извилистый влажный след, червем проползает струйка пота.

Что ж, сколько я мог судить об этом, тот, кого звали Тревезант, приближался уже к концу моего признания: темп чтения стал медленнее, а голос поднялся выше, приобретя тон драматической окончательности:

— «...Я сразу покинул убежище, бежал, но за мною почти непрестанно гнались по пятам, пока, спустя две недели, мистер Бенджамин Фиппс не задержал меня, когда я сидел в норе, которую, намереваясь спрятаться, вырыл под кроной упавшего дерева. Когда мистер Фиппс обнаружил меня в моем новом убежище, он наставил ружье и взвел курок. Я попросил его не стрелять, сказал, что я сдаюсь, на что он ответил требованием сдать шпагу. Я подчинился, отдал ее. За тот период, что за мной гонялись, много раз я ускользал буквально из-под носа, о чем, дорожа вашим временем, рассказывать не стану. Нахо-

дясь здесь, в оковах, я вручаю себя той судьбе, каковая мне уготована...»

Тревезант дал листу бумаги выскользнуть из пальцев и пасть на стол перед ним, затем всем телом повернулся к шестерым членам коллегии, сидевшим за длинным столом, и заговорил торопливо, без остановок, причем неожиданно спокойным тоном, но почти без перехода, так что казалось, будто он все еще читает мое признание:

— С позволения достопочтенного суда, народ штата заканчивает предоставление доказательств по делу. Все вышеизложенное является очевидным и говорит само за себя. Считаю совершенно неуместным толочь воду в ступе, когда существует такой документ, и в каждой его фразе сквозь кровь и ужас просвечивает облик сидящего здесь подсудимого — облик ни с кем и ни с чем не сравнимого изверга, выроodka и исчадия ада, массового убийцы, каковому никакого подобия доселе не было в христианском мире. Это не розыск истины, не восстановление ее в процессе следствия, это сама истина, Ваша Честь. Поднимите хроники всех времен, гм-гм, взгляните на темнейшие и мрачнейшие прецеденты человеческого зверства, и все будет напрасно: вам не удастся найти ничего, что сравнялось бы с таким злодейством. Гунн Аттила, получивший меткое прозвище Бич Божий — тот, кто разграбил Рим и держал в плену самого Папу; китайский хан по прозвищу Чингис, опустошивший во главе своих монгольских орд великие империи Востока; пресловутый генерал Росс, слишком хорошо известный присутствующим здесь людям старшего поколения — тот злобный англичанин, что во время войны 1812 года разрушил нашу столицу, город Вашингтон в округе Колумбия; все они аспиды в человеческом облике, и все же нет среди них такого, кто не возвышался бы столпом добро-

детели и чистоты рядом с чудовищем, сидящим сегодня здесь, в этом судебном зале...

Сравнение с великими, имена которых колоколами отзывались в памяти, весьма меня позабавило, внутри себя я дико хохотал, когда это глуповатого вида толстошее диво, ничтоже сумняшеся, поместило меня прямо на страницы учебника истории. Он снова повернулся и вперил в меня остренькие глазки, так и брызжущие презрением и ненавистью.

— Да-да, Ваша Честь, гм-гм... Достопочтенная коллегия, эти люди, сколь бы ужасны ни были их деяния, все-таки имели в себе некоторое великодушие. Даже *их собственные* мстительные и бесчеловечные обычаи требовали щадить жизни малолетних и беспомощных, старых и беззащитных, требовали проявлять жалость к слабому. Даже *их собственные* железные правила оставляли в них на йоту понимания и милосердия, и какими бы подчас бессмысленно жестокими они ни были, в них все же теплились искры добродетели, понуждавшие их то и дело воздерживаться, не проливать кровь беззащитных и безвинных, младенцев и так далее. Ваша Честь, достопочтенная коллегия, могу сказать лишь — и буду краток, поскольку рассмотрение данного дела не требует изощренности доказательств, — что у сидящего здесь подсудимого, в отличие от его кровавых предшественников, нет такой соломинки, за которую можно было бы ухватиться, нет смягчающих вину обстоятельств — при всем нашем стремлении к милосердию и жалости. Никакое сочувствие, никакая память о проявленной к нему в прошлом доброте, ласке или отеческой заботе не удерживала его от совершения черных деяний. Нежная невинность и старческая немощь — то и другое не раз пало жертвой его невообразимой жажды крови. Он враг рода человеческого, причем сам это признает, — и вот его дьяволь-

ские деяния предстали перед нами во всех ужасающих подробностях. Ваша Честь! Достопочтенная коллегия! Именем народа я требую незамедлительного возмездия! Его надо как можно быстрее подвергнуть высшей мере наказания, чтобы его разложившаяся, омерзительная плоть не смердела в ноздри возмущенного человечества!.. Народ штата изложил доводы обвинения.

Он закончил. Вдруг я заметил, что у него глаза полны слез. Как же нелегко ему все это далось!

Утирая глаза тыльной стороной ладони, Тревезант сел у потрескивающей печи; особо шумной реакции в зале не последовало, лишь приглушенное бормотанье и шарканье ног да новый всплеск перхання и кашля, сквозь который одиноко прорывались истерические женские всхлипывания, звучащие все сильнее, вырастая в негромкий сдавленный вой. Через зал я видел, как Грей, заслонясь ладонью, что-то нашептывает мертвенно-бледному человеку в черном сюртуке, потом быстро встает и обращается к суду. Я сразу же без всякого возмущения отметил, что заговорил он языком и тоном, которые не растратывал на черномазого проповедника, — видимо, приберегал для выступлений.

— Достопочтенные судьи, — заговорил Грей, — мистер Паркер и я, выступая как адвокаты защиты, хотели бы поблагодарить коллегу мистера Тревезанта за его убедительное и артистичное чтение признания нашего подзащитного, а также за блестящие выводы. Мы всей душой согласны с ним и предоставляем дело суду без дискуссии. — Он выдержал паузу, бросил на меня безучастный взгляд, затем продолжил: — Однако одну или две частности, если Ваша Честь позволит, я отмечу и тоже постараюсь быть кратким, полностью соглашаясь с компетентным суждением коллеги, что данное дело не нуждается в *изощренных доказательствах*. Как нельзя более уместная

формулировка! Мне бы хотелось без обиняков, прямо заявить, что эти частности мы с мистером Паркером предоставляем суду не для прений и не для того, чтобы изыскать смягчающие вину подзащитного обстоятельства, либо облегчить кару, ибо, по нашему мнению, он во всяком случае так же черен — прошу извинить меня за невольный каламбур! — как обрисовал его мистер Тревезант. Однако, если коллегия ставит своей целью применение правосудия ко всем соучастникам преступления соразмерно, то есть ряд проблем, которые также должны подвергнуться исследованию в духе истины. Ибо сей ужасающий инцидент поднял серьезные вопросы — вопросы определяющие и значительные, и от ответов на них зависит безопасность, благосостояние и спокойствие каждого белого мужчины, женщины и ребенка везде, куда хватает глаз, и гораздо далее — да, в любом уголке и в любой глуши этого южного края, где белая и черная раса обитают в столь тесном соседстве. Несмотря на поимку и заключение в тюрьму нашего подзащитного, лишь малая часть этих вопросов рассмотрена и получила удовлетворяющее нас разрешение. Распространенное опасение — да нет, какое там, даже убеждение — состояло в том, что смута сия была событием не локальным, но частью более масштабного, организованного заговора, охватившего своими щупальцами всю популяцию рабов повсеместно, и этот страх теперь развеян совершенно. — Пауза.

— Все же есть еще вопросы, и они волей-неволей продолжают нас беспокоить. Бунт подавлен. Безумцы, принимавшие в нем участие, быстро и справедливо наказаны, а их предводитель — недальновидный негодяй, сидящий перед нами в этом судебном зале, — вскоре последует за ними на виселицу. Тем не менее, где-то в глубине души, в темных и укромных уголках сознания кое-кто

из нас по сию пору прячет беспокоящие сомнения. Ведь, честно говоря, обнаженная реальность — и это факт! — заставляет нас признать, что казавшееся невозможным, что ни говори, совершилось: вполне пристойно содержащиеся, жившие в чуткой заботе и внимании, эти негры вдруг превратились в банду фанатиков, восстали, что ни говори, и под покровом ночи перерезали тех самых людей, под чьим попечительством пребывали в довольстве и спокойствии, равных каковым представителям их расы не сыскать нигде. И это не фантазия, не кошмарный сон! Действительное событие, о тяжком уроне от которого — сколько утрат, разбитых судеб, горя! — можно судить по мрачной пелене скорби, которая облаком нависает над этим залом даже через два с лишним месяца после ужасных событий. Нельзя стереть, нельзя вычеркнуть эти вопросы, они не исчезнут, не растворятся или, по выражению барда, не рассеются как дым, как утренний туман. Мы не можем отмахнуться от них. Они преследуют нас, подобно видению угрожающей черной руки над светлой головкой уютно спящего ребенка. Подобно воспоминанию о звуке чьих-то вороватых шагов в мирном шелесте цветущего сада. Как могло такое случиться? Из какого темного источника вытекло? Не случится ли снова?

Грей опять выдержал паузу и вновь повернул ко мне широкое красное лицо — безучастный, спокойный, он взирал на меня, как всегда, без враждебности. Нет, меня не очень удивляло то, что он говорил теперь красноречиво и властно, и совсем без неряшливо-снисходительных обертонных и полутрамотных “дык-елы-палы-че-там” оборотов, к которым прибегал в тюрьме. Было ясно, что это он, а не прокурор Тревезант, всем тут заправляет.

— Как могло такое случиться? Из какого темного источника вытекло? Не случится ли снова? — Тут он опять вы-

держал паузу и, кивнув на лежащие на столе бумаги, сказал: — Ответ лежит здесь, он в признаниях Ната Тернера!

Он снова повернулся и обратился к суду, но на какое-то время его слова заглушила древняя беззубая негритянка, которая принялась грохотать печной дверцей, чтобы подкинуть еще кедровое полешко; печь испустила облачко синего дыма и сноп искр. Дверца с лязгом захлопнулась, старуха зашаркала прочь. Грей кашлянул, затем начал вновь:

— Достопочтенные судьи, как можно короче я попытаюсь продемонстрировать, что парадоксальным образом признания нашего подзащитного вместо того чтобы встревожить нас, повергнуть в оцепенение и ужас, как раз наоборот, дают веский повод испытать облегчение. Излишне говорить, я не предлагаю после всего содеянного обвиняемым не принимать должных мер — в отношении данной категории людей нужны более суровые законы и неукоснительное их соблюдение. Напротив: в первую очередь это ужасное восстание показывает, что жесткие репрессивные меры явно назрели, и не только в Виргинии, но по всему Югу. Однако, Ваша Честь, уважаемые коллеги, я бы хотел, чтобы не было недомолвок в отношении того, что все такого рода восстания будут, скорее всего, не только весьма редкостны, но и полностью обречены на провал вследствие изначальной слабости и неполноценности, а также нравственной порочности негритянского характера. — Грей поднял со стола стопку бумаг с признанием, наскоро перелистнул и продолжил:

— За время восстания, Ваша Честь, белых погибло пятьдесят пять человек, однако своими руками Нат Тернер совершил только одно убийство. Одно, а именно убийство мисс Маргарет Уайтхед, восемнадцати лет, которая была приличной и благовоспитанной дочерью миссис

Кэтрин Уайтхед, также жертвы беспорядков, и сестрой мистера Ричарда Уайтхеда, уважаемого методистского священника, многим в этом зале известного; к нему судьба тоже оказалась жестока, и он схожим образом пал по произволению той же бесчеловечной шайки. Похоже, теперь уже доказано: одно убийство — это все, что совершил Нат Тернер. Убийство особенно подлое и отвратительное, несомненно, ибо он лишил жизни хрупкую девушку в расцвете ее невинности. Но одно! Я уверился в этом. Уверился, Ваша Честь, лишь после долгих и мучительных сомнений. Ибо, конечно же, точно как и вы сейчас, я не мог в это поверить, более того, я был уверен в обратном, когда взялся взвешенно размышлять над сей уликой, полученной из уст самого подозреваемого. Не равносильно ли признание в одном убийстве — только в одном-единственном — лукавому прощению о помиловании? Не является ли такое признание — вполне в духе негритянского характера, обожающего притворство и симуляцию, — типичным примером уклончивости, к которой негры постоянно прибегают, пытаясь скрыть и замаскировать изначальные качества своей природы? Вследствие этого я принял решение противостоять подзащитному, подвергая его показания строгой критике и высказывая сомнения, но обнаружил лишь, что он тверд в своем отказе признать какое-либо еще участие в имевших место убийствах. И в тот момент — да простит мне суд легковесность слога — я начал сильно сомневаться в своих сомнениях. В самом деле, почему бы человеку, который знает, что все равно должен за свои деяния умереть, ибо уже взял на себя одно кошмарное убийство, да и в остальном, что касается описания своих преступлений, выказывает редкостную откровенность, — почему бы ему не взять на себя *все*? “Он кару заслужил свою, — цитирую я бессмертную поэму Коль-



риджа\*, — и кару понесет”. Чем помогло бы ему дальнейшее заpiresательство? — Грей подождал, затем двинулся дальше: — Так, не без некоторого внутреннего сопротивления, я пришел к выводу, что в отношении этой *beaucoup*\* важной частности — убийства одного, и только одного человека — подзащитный говорил правду...

— Но почему? — продолжил Грей. — *Почему* только одного? То был следующий вопрос, адресованный мною самому себе и поставивший меня в тяжелое и неприятное замешательство. Ну, легче всего такую странность объяснить трусостью. Конечно, свое сущностное воплощение в этом поддом преступлении могла найти и чисто негритянская трусость — чем драться с мужчиной, сильным и мужественным, проще ведь напасть на хрупкую, слабую, беззащитную юную деву, всего пару лет назад вышедшую из детского возраста. Однако опять-таки, уважаемые коллеги, логика и голые факты вынуждают нас признать, что это восстание требует пересмотреть, по крайней мере условно, некоторые из наших традиционных предубеждений, касающихся негритянской трусости. Ибо, конечно же, какими бы ни были пороки негритянского характера — а их много, разнообразных и тяжких, — данное восстание превыше всякой мелочной критики доказало, что нормальный раб, негр, поставленный перед выбором — присоединиться ли к фанатичным повстанцам с предводителем вроде Ната Тернера или защищать хозяина как отца родного, бросится на защиту хозяина и будет драться не менее храбро, нежели любой другой мужчина, тем самым неоспоримо свидетельствуя в пользу благотворности системы, которую порицают невежественные квакеры и прочие

---

\* С. Т. Кольридж, (1772-1834). Английский поэт-романтик.

\* *beaucoup* — весьма (*фр.*).

лицемерно морализирующие клеветники. “Неведомое преувеличивают” — рек Тацит\* в “Агриколе”. Но довольно о неосведомленности северян. Вне сомнения, были и заблудшие, они стали приверженцами Ната Тернера. Но храбрость тех чернокожих, которые бок о бок со своими любимыми хозяевами бились не на жизнь, а на смерть, отрицать невозможно, и да пребудет она на нетленных скрижалях памяти к вящей славе нашего мудрого общественного устройства...

По мере того как Грей все это говорил, та же мука и отчаяние, которые я почувствовал в первый день, когда он огласил мне в камере список рабов, после суда освобожденных или осужденных, но не повешенных — *другие негры... силой втянуты... препятствовали, вот те другие негры и закопали тебя, Проповедник*, — то же отчаяние вдруг накатило холодной тошнотной волной, слившись со сном, в котором я только что, пару минут назад, видел, как юноши-негры кричат от ужаса в болоте, пропадают, утопая в вонючей жиже... Я был весь мокрый, пот струйка-ми тек по щекам, и все внутри у меня было раздавлено тяжестью вины и утраты, и от этого у меня из горла, видимо, непроизвольно вырвался какой-то звук, или я, шевельнувшись, звякнул цепью, опять-таки непроизвольно, но Грей внезапно смолк, повернулся и уставился на меня, как и все шестеро старцев за судейским столом, и все зрители осязательно сошлись на мне взглядами — по-маргинающие, внимательные. Тогда я медленно расслабился и, холодно внутри себя пожав плечами, стал смотреть сквозь запотевшие окна на чахлый сосновый лесок невдалеке, ломаной линией верхушек перечеркивающий зимний небосклон, как вдруг поймал себя на том, что,

---

\* Тацит Публий Корнелий (Publius Cornelius Tacitus) (ок. 58 — после 117), римский писатель-историк.

безо всякой на то особой причины, кроме еще раз прозвучавшего ее имени, мысленно вижу Маргарет Уайтхед, окруженную летним благоуханием, среди беглого чередования света и тени — пыль клубится над запекшейся колдобистой летнею дорогой, и чистый ее голосок по девчоночьи чирикает, щебечет мне в самое ухо с соседнего сиденья коляски, а я гляжу на цокающие копыта лошади, над которыми машет туда-сюда, вьется грубый хвост: *И тут он входит сам, представь, Нат, — губернатор! Губернатор Флойд! Приехал в такую даль — в Лоренсвилл! Нат, ну признайся, ничего чудесней тебе и в жизни не случилось слышать!* Дальше мой голос — вежливый, уважительный: *Да, мисси, это, должно быть, правда было здорово. И вновь задышливо щебечущий девчоночий голосок: И в нашей гимназии, Нат, устроили большое празднование. И как же здорово-то все получилось! А я у нас в классе первый поэт, так я взяла и написала оду, а еще песню, ее младшеклассницы пели. При этом они надели на губернатора венок. Хочешь послушать слова той песни, Нат, правда хочешь?* И снова мой голос, торжественный и почтительный: *Ну конечно, мисси, хочу, конечно. Ясное дело, я очень хочу послушать ту песню.* И снова радостный девчоночий голосок заливисто звучит в моих ушах, перекрывая стук колес и скрип рессор, и белые горы плывущих по небу июньских облаков бросают на желтеющие поля обширные полосы света и тьмы, неуследимые узоры солнца и тени:

Сплели мы венец Вам из разных цветов,  
Украсили лентой алой,  
Чтоб Вы, отдыхая от дум и трудов,  
Сегодняшний день вспоминали.  
Вот этот цветок, что так скромно и прост —  
Росою омыт на рассвете —  
На стебле высоко под солнышком рос,  
Все ждал, чтоб нашли его дети.

И вновь возвратившийся голос Грея заплывал волнами под сводами зала среди непрерывного шарканья, среди шипенья, свиста и мучительных выщелков печи, пыхтящей, будто старая собака:

— ...нет, Ваша Честь, не трусливость негритянская на сей раз лежит в основе вопиющего и тотального поражения нашего подзащитного. Будь это просто трусость, Нат руководил бы всеми действиями откуда-нибудь издали, что позволило бы ему гораздо меньше замараться, а может, и вообще не принимать непосредственного участия в кровавых деяниях шайки. Но мы, по собственному свидетельству подсудимого, а также по свидетельствам ниггера... негра Харка и других (исключающих повод для каких-либо сомнений) знаем, что он был вовлечен в происходящее наитеснейшим образом, сам нанес первый удар, положивший начало бойне, и неоднократно пытался чинить кровавое насилие над напуганными безвинными жертвами. — Грей сделал небольшую паузу, затем сказал с нажимом: — Но я прошу отметить, Ваша Честь, *пытался!* Я выделяю и подчеркиваю это слово. Я пишу его заглавными буквами. Потому что, за исключением необъяснимо успешного убийства Маргарет Уайтхед, — а оно и по мотивации необъяснимо, и по исполнению довольно странно, — подсудимый, этот якобы дерзновенный, бестрепетный и находчивый главарь, не смог совершить ни одного *ратного подвига!* Но и это еще не все: под конец качества лидера, даже и те, что были, совсем его покинули! — Грей помолчал опять, затем продолжил негромко, раздельно, с печалью в голосе: — Я бы хотел лишь смиренно сообщить высокому суду и Вашей Чести тот неопровержимый факт, что нерешительность, нестойкость, духовная отсталость и просто привычка к послушанию столь глубоко укоренились в природе негра, что любые

бунтарские действия со стороны представителей этой расы обречены на провал, вот почему я искренне призываю всех добрых граждан нашего южного края не поддаваться, не давать хода в свою душу двойному демону страха и паники...

*Но слушай, Нат, слушай дальше...*

*Да, мисси, слушаю, конечно. Это чудесные стихи, мисс Маргарет.*

Потом мы искали — весь сад обошли —  
Цветок, чтобы горд был и ярок,  
И самый красивый для Вас мы нашли,  
Чтоб вышел достойным подарок.  
О, дайте надеть Вам сей пышный венец,  
Обязанный лентою алой;  
Нам только и надо — чтоб Вы, наш отец,  
О нас иногда вспоминали!

*Вот! Теперь все, конец. Что скажешь, Нат? Тебе понравилось?*

*Это очень красивые стихи, мисси.* Снова круп лошади, гнедой, лоснящийся, и уже медленнее цокот копыт — чук-чок, чук-чок мимо зеленого луга, крест-накрест простеганного стрекотом насекомых; я тоже медленно поворачиваюсь и всматриваюсь исподтишка в ее лицо сторожким, ускользающим негритянским взглядом (поучение некоей старой черной бабуся всегда звучит во мне, даже сейчас: “белому в глаза глянешь — хлопот не оберешься”), ловлю отблеск солнца на гладкой и прозрачной белой коже прелестно вылепленной щеки, а носик чуть вздернут, и на круглом юном подбородке тень от кокетливой ямочки. Она в белом капоре, из-под которого выбиваются шелковистые пряди русых волос, невзначай придающие ее скромной девической красоте чуть заметный оттенок шаловливой чувственности. В белых ее воскресных льняных доспехах она вспотела, а я так близко,

что обоняю запах ее пота — острый, женственный, тревожащий; и вот раздается ее залиvistый, по-девчоночьи беспричинный смех, вот она утирает капельку пота с носа и вдруг поворачивается — эх ведь! застигла врасплох: смотрит мне прямо в глаза с видом радостным, веселым и невольно кокетливым. Смущенный, сбитый с толку, я торопливо отвожу глаза. *Жаль, что ты не видел губернатора, Нат. Такой видный мужчина! Кстати, да, чуть не забыла. Об этом был отчет в “Саутсайд Репортере”, и они упомянули мое стихотворение и меня! Газета у меня здесь, вот, слушай.* Какое-то время она молча роется в сумочке, потом под стук копыт начинает быстро читать возбужденным, срывающимся голосом. ...Затем губернатора проводили в актовй зал, где более сотни гимназисток, собравшихся встречать его, выстроились стройными рядами, а заранее собравшийся кружок выдающихся дам наблюдал за сценой встречи. После официальных приветствий прозвучало выступление директора, на которое губернатор Флойд дал прочувствованный и вдумчивый ответ. После чего юные леди спели специально написанную для этой встречи оду на мотив “Пусть грянут цимбалы” под аккомпанемент мисс Тимберлейк на фортепиано. Затем от имени учителей школы мисс Ковингтон произнесла речь, превзойти которую по стилю, пафосу и красноречию было бы нелегко... (А теперь слушай, Нат, это обо мне...) За речью последовала ода, сочиненная мисс Маргарет Уайтхед, по окончании которой младшие ученицы, как бы в продолжение оной, спели песенку “Венец из цветов”, одновременно возлагая на губернатора венок. Это имело эффект поразительный — чуть ли не каждый в зале прослезился. Сомневаемся, приходилось ли губернатору где-либо наблюдать более трогательную сцену, нежели здесь, в нашей местной женской гимназии, исполненной высочайших принципов христианского женского образования...

*Что ты на это скажешь, а, Нат?*

Ну, это просто здорово, мисси. Просто здорово и грандиозно. Да, да, именно грандиозно.

На несколько секунд воцаряется тишина, затем: *Я подумала: наверное, и тебе понравится стихотворение. Ах, я даже знала, что понравится! Потому что ты... о, ты не такой, как мама или Ричард. Каждый уикенд, когда я приезжаю из школы, ты единственный, с кем я могу поговорить. Все, о чем может думать мама, это урожай — ну то есть лес, зерно, стадо и все такое, — и все деньги, деньги. Да и Ричард не многим лучше. В том смысле, что, хотя он пастор и все такое, в нем ничего, ну ничегошеньки нет духовного. Например, они ничего не понимают в поэзии, — вообще в духовности, да даже и в религии. Вот третьего дня хотя бы, я Ричарду что-то сказала о красоте псалмов Давида, а он и говорит, да с таким еще перекошенным, кислым видом: Какая еще красота? Скажи, Нат, ты можешь это себе представить? Такое услышать от собственного брата, да еще и пастора! А какой твой любимый псалом, Нат?*

Какие-то секунды я молчу. Мы опаздываем в церковь, так что, постукав лошадь по крупу кнутовищем, я понуждаю ее пуститься вскачь, пыль клубится и поднимается волнами от ее танцующих ног. Потом я говорю: *Это не так-то просто сказать, мисс Маргарет. Есть целая куча псалмов, я очень многие люблю. Хотя, пожалуй, больше всех я люблю тот, который начинается “Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Сделав паузу, я продолжаю: Воззову к Богу всевышнему, Богу, благодетельствующему мне”. А потом говорю: Так он начинается. Это номер пятьдесят шестой.*

*Да, да, —* говорит она своим тихим, тающим голоском. — *Да, это тот, в котором есть такой стих: “Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано”.* Она говорит, а я чувствую, как она близко, и это так томительно,

тревожно, меня почти пугает трепет и подрагивание льняного платья, задевающего мой рукав. *Да, да, такой прекрасный псалом, что хочется плакать. Ты так хорошо знаешь Библию, Нат. И так хорошо понимаешь вещи, ну, духовные. Я к тому, что, ну в смысле... — забавно, но когда я рассказываю девочкам в гимназии, они мне не верят. Не верят, что, когда я приезжаю домой на уикенды, единственный человек, с которым я могу общаться, это, ну — чернокожий!*

Я молчу, только чувствую, как у меня сердце начинает биться часто-часто, хотя я и не понимаю причины этого.

*А мама говорит, ты уходишь. Возвращаешься назад к Тревисам. А Маргарет от этого печально, потому что целое лето ей будет не с кем поговорить. Но они же всего в нескольких милях, Нат. Ты ведь придешь как-нибудь, а, Нат, придешь как-нибудь в воскресенье? Даже если не будешь больше возить меня в церковь? Без разговоров с тобой мне будет так одиноко — ну, что некому будет мне цитировать Библию, в смысле, что никто так глубоко, как ты, ее не знает и все такое...* Она все лепечет, чирикает, голосок такой радостный, напевный, исполненный христианской любви и христианской добродетели, голос юности, до дрожи одержимой Христом и новизной мира. Не правда ли, Евангелие от Матфея самое проникновенное? А доктрина воздержания — правда же, какой благородный, чистый и правильный вклад Методистской церкви? А Нагорная проповедь — это ведь самое удивительное откровение за всю историю человечества, верно? Мое сердце по-прежнему чуть не выскакивает из груди, и вдруг меня охватывает мучительная, беспричинная ненависть к этой невинной, мило порхающей юной девушке, возникает жгучее, почти непреодолимое желание вытянуть руку и стиснуть ее белую, стройную, пульсирующую шейку. Однако — и самое странное, что я отдаю себе в этом отчет — это вовсе не ненависть, нет, тут что-то другое. Но что? Что же?



Эмоцию поймать не удастся. Где-то ближе к ревности, но опять нет, и это не то. Да и чего ради из-за этого нежного существа должен я пребывать в таком злом смятении — совершенно непонятно, ведь за исключением давнишнего моего хозяина Сэмюэля Тернера да еще, разве что, Джереми Кобба, она единственный белый человек, с которым я хотя бы раз испытал мгновение загадочного тепла и слияния во взаимной симпатии. И тут я разом осознаю, что как раз из этой симпатии — столь же непреодолимой с моей стороны, сколь и ненужной, только мешающей великим планам, которые этой весной как раз складываются в окончательное, фатальное сооружение, — из этой симпатии и произрастает моя внезапная ярость и смятение.

*Зачем ты так скоро возвращаешься к Тревисам, Нат?* — спрашивает она.

*Так ведь, мисси, меня же маса Джо сдал по обмену и только на два месяца. А обмен — это уж такое дело. Договор, говорят, дороже денег.*

*Что? Как это?* — она озадачена. — *Какой обмен?*

*Так ведь, мисси, я же как попал-то к вашей матушке. Маса Джо — он хотел пни корчевать, так ему для этого упряжка волов понадобилась, а мисс Кэти нужен был ниггер строить новый сарай. Вот маса Джо и поменялся с ней на два месяца, отдал меня за воловьё упряжку. Честный обмен, обычная договоренность.*

Она издает долгое задумчивое мычание. Мм-м-м. За воловьё упряжку. То есть ты, значит... Как-то это очень странно. На некоторое время она замолкает. Затем: *Нат, почему ты так сам себя называешь — ну, ниггером? Я — в смысле — это как-то звучит, ну грустно, что ли. Я бы предпочла слово чернокожий. Ты ведь все-таки проповедник как-никак... Ой, смотри, смотри, Нат, церковь показалась! Гляди-ка, Ричард стену уже целиком покрасил!*

Но вот опять дымка нежных грез в сознании истончается, и я слышу адресованную суду речь Грея:

— ...без сомнения, наслышаны, а может быть, даже и читали весьма значительную работу покойного профессора Еноха Мибейна из Университета Джорджии в Афинах — труд еще более фундаментальный и основанный на куда более обширных и скрупулезных исследованиях, чем упомянутый опус профессоров Сентелла и Ричардса, откуда взята цитата. Ибо, тогда как профессора Сентелл и Ричардс с богословской позиции показали врожденную, природную, изначально присущую неграм недоразвитость в плане морального выбора и христианской этики, то достижением профессора Мибейна явилось неоспоримое, не оставляющее йоты сомнения доказательство биологической неполноценности черной расы. Поскольку суду, конечно же, известна монография профессора Мибейна, я позволю себе освежить в вашей памяти ее содержание лишь в общих, самых основных чертах, а именно, что все параметры головы ниггера — косо срезанный подбородок (эту особенность профессор Мибейн характеризует количественно — индексом лицевого угла); покатый череп с нелепыми, нависающими, как у обезьяны, надбровными дугами и таким соотношением горизонтальных и вертикальных измерений, что в нем попросту нет места для лобных долей мозга, которые у других рас ответственны за развитие высших моральных и духовных запросов; да взять хотя бы толщину самой черепной кости — она напоминает не столько соответствующую кость человека, сколько кость низшего тяглового скота. В совокупности эти параметры весомо и доказательно свидетельствуют, что негр занимает в иерархии видов в лучшем случае срединную позицию, родство же негра с людьми других рас достаточно сомнительно, зато гораздо ближе он стоит к лесной мака-



ке, что водится на том диком континенте, откуда он родом...

Грей остановился и, словно переводя дыхание, подался вперед, возложил обе ладони на стол, опершись на него всем весом, и устремил взор на судей. В зале тишина. Притихшая публика, помаргивая в парном воздухе, казалось, ловит каждое слово Грея так, будто во всяком слове может содержаться намек на обещание некоего откровения, которое развеяло бы страх, напряженность и, наконец, горе, сплотившее всех воедино, каждого с остальными, нанизав всех на один тонкий болевой стержень истерического женского воя, что все время присутствовал где-то в глубине зала — единственный звук среди молчания, необузданный и неизбывный. От наручников у меня онемели руки. Я пошевелил пальцами, они ничего не чувствовали. Грей прочистил горло, затем продолжил:

— А теперь, достопочтенные судьи, я попрошу вас разрешить мне один перескок в рассуждениях. Разрешите мне связать приведенные выше безупречные выводы, сделанные профессором Мибейном из его биологических изысканий, с представлениями еще более выдающегося мыслителя, а именно, великого немецкого философа Лейбница.\* Всем вам, конечно же, знакомо введенное Лейбницем понятие монады. Мозг каждого из нас, согласно Лейбницу, наполнен монадами. Эти монады, коих миллионы и миллиарды, суть крошечные, бесконечно малые умственные ячейки, *стремящиеся к развитию* в соответствии с их собственной предопределенной сущностью. А теперь как хотите — можете воспринимать концепцию Лейбница буквально, можете (как это делаю я) понимать ее до какой-то степени в символическом

---

\* Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ, математик, физик, языковед.

аспекте, но факт остается, и факт, похоже, неоспоримый: духовную и этическую организацию сознания индивида можно изучать и понимать не на одном лишь *качественном* уровне, но и на *количественном* тоже. Это вытекает из того, что собственно *стремление к развитию* — эти слова я выделяю и подчеркиваю — не может, в конце концов, быть не чем иным, как только производным от числа монад, которое в данном индивидуальном сознании способно содержаться.

Он перевел дух, потом сказал:

— И тут, Ваша Честь, мы вскрываем сердцевину проблемы, которая, если рассмотреть ее со вниманием, приведет нас только лишь к самым оптимистичным выводам. Ибо негр, с его несформированным, примитивным, почти рудиментарным черепом, страдает от серьезной нехватки монад, настолько серьезной, что упомянутое *стремление к развитию*, которое в других расах дает нам таких людей, как Ньютон, Платон или Леонардо да Винчи, либо высочайших гениев техники, таких, как Джеймс Уатт, — так вот, упомянутое *стремление к развитию* у негра заторможено чрезвычайно, да что там, затруднено до невозможности; так что, с одной стороны, мы имеем восхитительный музыкальный дар Моцарта, а с другой — приятное, но ребяческое и невдохновенное гулюканье; с одной стороны, величественные сооружения Кристофера Рена,\* а с другой — невразумительные артефакты вроде глиняных черепков из африканских джунглей; с одной стороны, блестящий полководческий талант Наполеона Бонапарта, а с другой — тут он прервался, сделав жест в мою сторону, — с другой, бессмысленные, жалкие и ни к какой разумной цели не

---

\* Рен Кристофер (1632—1723), англ. архитектор, математик и астроном, представитель классицизма.

ведущие убийства Ната Тернера, изначально обреченного на полное поражение вследствие биологической и духовной неполноценности негритянского характера! — Голос Грея стал повышаться, обретая силу. — Дistinguished коллегия, я опять-таки не хочу приуменьшать ни зверских деяний подзащитного, ни нужды в жестком контроле над данным сегментом населения. Но если этот суд призван просветить нас, он также должен дать нам повод для надежды и оптимизма! Он должен показать нам — причем, я полагаю, признания подзащитного уже это сделали, — что мы не должны при виде негра в панике разбегаться! Столь грубо построены были злодейские ковы, так неловко и бессмысленно они приведены в действие...

И вновь его слова у меня в ушах гложут, я прикрываю глаза — и в полусне опять ее голос, чистым колокольчиком раздававшийся в то дремотное воскресенье полгода назад: *Ой-ей-ей, Нат, не завидую тебе. Сегодня же миссионерское воскресенье. День, когда Ричард читает проповедь для чернокожих!* Спрыгнув с коляски, она бросает на меня светлый, печальный взгляд. *Бедный Нат.* И убегает вперед, залитая чистым, слепящим светом; бежит на цыпочках, шурша льняными юбками, и исчезает в притворе церкви, куда я тоже вхожу; тихонько, осторожненько, пока никто не видит, по черной лестнице взбираюсь на балкон, надстроенный для негров, и уже по дороге слышу голос Ричарда Уайтхеда, как всегда гнусавый и писклявый, почти женский — даже сейчас, когда он обрушивает громы и молнии на черную потеющую паству, среди которой усаживаюсь и я: *И подумайте сами в себе, сколь ужасная будет вещь, если после всех ваших трудов и страданий в этой жизни низвергнуты будете в ад в жизни вечной, и после того, как изношены будут ваши тела в трудах земных, когда земное рабство кончится, попадете в гораздо худшее рабство,*

*ибо ваши души попадут во владение дьявола, чтобы в аду оказаться в вечном рабстве без всякой надежды на освобождение от оногo...*

Высоко над белой паствой, под церковной крышей, где, как в печи огненной, удушающая влажная жара пылает и плывет мириадами роящихся пылинок, человек семьдесят с лишним негров, собравшихся со всей ближней округи, сидят на расшатанных сосновых скамьях без спинок, а то и прямо на корточках, на скрипучем полу балкона. Быстрым взглядом я окидываю толпу, замечаю Харка и Мозеса, киваю Харку, с которым не виделся почти два месяца. Негры слушают внимательно, сосредоточенно, некоторые из женщин обмахиваются тоненькими сосновыми драночками, все смотрят на пастора немигающими глазами огородных пугал, и я навскидку, по одежкам могу определить, кто из белых чей хозяин: если Ричард Портер, Дж. Т. Барроу или вдова Уайтхед (то есть по-настоящему богатые господа), то одежки рабов чистые, аккуратные, на мужчинах бумазейные рубахи и свежевystиранные штаны, на женщинах платья из набивного ситца и красные платочки в горошек, у некоторых даже дешевенькие серьги и брошки; те, чьи хозяева победнее — вроде Натаниэля Френсиса, Леви Уоллера или Бенджамина Эдвардса, — одеты в замызганные, латанные-перелатанные тряпки, кое-кто из сидящих на корточках мужчин и мальчишек вовсе без рубах — сидят, ковыряют в носах, почесываются, на спинах блестят струйки пота, и вонь от них стоит до небес. Я сажусь на скамью у окна, где есть место между Харком и тучным тупорылым рабом по имени Хаббард, который прямо на голые шоколадного цвета вислые плечи напялил брошенный кем-то из белых истрепанный цветастый жилет, причем даже сейчас, когда он добросовестно внимает проповеди, его губы тронуты глупой, заискивающей ух-

мылкой лъстеца. Внизу под нами — кафедра, поставленная выше белой паствы, за ней в черном костюме и черном галстуке бледный и стройный Ричард Уайтхед: обращая очи горе, нынче он наставляет на путь истинный нас — тех, что сгрудились на балконе под крышей: ...и поэтому, если хотите в раю стать Божьими свободными людьми, надо стараться быть добрыми христианами и служить Господу здесь, на земле. Тела ваши, как известно, вам не принадлежат: они находятся в распоряжении ваших хозяев, но драгоценные души всегда при вас — никто и ничто не может отнять их у вас, разве что только по собственной вашей вине. Не забывайте, что если из-за праздной, нечестивой жизни потеряешь душу, ничего в этом мире не приобретешь и все утратишь в мире грядущем. Ибо ваши праздность и безнравственность обычно становятся известны, и за это здесь страдают ваши тела, но, что гораздо хуже, если не покаетесь, не сокрушитесь в сердцах ваших и своих путей не исправите, несчастные ваши души будут страдать и томиться вечно...

по телам, а когда произносится тихое “*аминь*” и положено приносить молящиеся клятвы вечной покорности, они на нервной почве и от натуги начинают даже костяшками пальцев трещать. Да, да! — слышу я высокий взволнованный голос; потом тем же голосом, протяжно: Оооооо-даааа, как это веерно! Уууеееееаа! Скосив взгляд, я вижу, что это Хаббард: бесстыже раскорячась и вихляясь на толстых ягодицах, он даже глаза зажмурил в трансе молитвенной покорности. Уууеееееааа! — стонет, тянет нарастающий этот толстый лакей, послушный как ручной енот. Тут я чувствую на своей руке ладонь Харка, твердую, теплую и дружескую, и слышу его шепот: Нат, эти тутюшние негры так на небо рвутся, того и гляди из штанов выскочат. Как поживаешь, Нат?

Да все, все здесь, — отвечает Харк. — Я знал, что ты при-  
дешь, поэтому их тоже привел. Знаешь, что самое смешное,  
Нат, слышь... Не успев ничего сказать, он начинает хихи-  
кать, я принимаюсь утихомиривать его, и он продолжа-  
ет: Ну, ты ведь знаешь Нельсона, его белые господа — бапти-  
сты, в церковь они аж в Шайло ездят. Так что Нельсону вроде  
как не резон на какую-то методистскую службу ходить, тем  
более когда проповедь, как сейчас, только для негров. Главное,  
хозяин — ну, ты знаешь старого паршивца маса Джейка Уиль-  
ямса, у него еще ноги нет — хозяин ему и говорит: “Нельсон,  
чего это тебя на проповедь вдруг к методистам понесло, да

*еще в день, когда они негров обличают?” А Нельсон ему в ответ: “Так ведь, маса Джейк, хозяин вы мой дражайший, я такой грешник! Чувствую, я плохо вел себя с вами, вот мне и нужно возродить в себе страх Божий, чтобы не было с этих пор более верного негра, чем я!” Тут Харка начинает сотрясать и бить приступ молчаливого хохота, я даже пугаюсь, не выдал бы он этим нас обоих. И снова его шепот: *С этим Нельсоном — слышь, Нат, — держи ухо востро! Чтоб я когда видел черномазого, которому так не терпелось бы засадить нож белому в брюхо, так это как раз наш Нельсон! Вон он, Нат, вон там сидит...**

К этому времени я уже воспитал Харка и верил в него безгранично: все последние шесть месяцев я мало-помалу подрывал в нем слюнявое детское преклонение перед белыми, учил не доверять и не полагаться на них, непрестанно напирал на то, как у него отняли и продали жену и сына, настаивал, что со стороны нашего хозяина это было деянием непростительным и чудовищным, как бы ни объяснял это маса Джо безвыходностью своего тогдашнего положения; я непрестанно, почти каждодневно играл на безутешной печали Харка, вопреки его упорному сопротивлению всячески подводил и подталкивал его к тому порогу, за которым ему придется твердо и без колебаний выбрать то или другое — свободу или прижизненную смерть и, наконец, я открыл ему свой план кровавого набега на Иерусалим, захвата города и победного исхода в дебри Гиблого болота, где ни один белый не рискнет нас преследовать. Настал момент, когда я убедился в том, что моя тактика была плодотворной: однажды зимой за работою Патнэм всегдашними крикливыми наскоками довел-таки Харка до крайности, и тут Харк поворачивается, а в кулаке — этак недвусмысленно — зажат десятифунтовый ломик и, хоть он и не говорит ничего, зато во взгляде такая сокрушительная ярость,

такой убийственный огонек, что даже я встревожился, а уж его мучитель раз и навсегда дрогнул и сник. И все, дело сделано, точно как тот орел, что я однажды видел — великан, красавец, — вырвался из ловушки, взмыл в бездонное чистое небо и был таков. Все, теперь Харка не удержишь. *Этот мелкий сучонок никогда меня больше на дерево не загонит!* Так Харк стал первым, кто разделил со мною мой замысел. Харк, а потом Генри, Нельсон и Сэм — надежные, неболтливые, бесстрашные, все люди Божьи и посланники отмщения Его; они уже посвящены в мой великий план.

Вижу Нельсона у противоположной стены битком набитого балкона: он пожилой, лет пятидесяти пяти (как это водится у негров, своего возраста он толком не знает сам), лицо правильное, овальное, сидит невозмутимый среди туго соображающей, запуганной и одурманенной толпы, тяжелые веки придают ему вид полусонный и вместе с тем несокрушимо спокойный и терпеливый, при этом, подобно глубокому морю, скрывающий в себе буйную ярость внезапного громокипящего выплеска. На черной груди среди редкой седой поросли буквой S вьется, поблескивая, будто маленькая змейка, слегка выпуклый шрам — память о тех временах, когда рабов клеймили. Читать он умеет лишь несколько простейших слов, а уж где и как он их выучил, неведомо. Неволя ему мучительна до тошноты, до безумия: у него сменилось более полудюжины хозяев, причем последний, теперешний — лесоруб, злобный калека одного с ним возраста; пороть Нельсона он не смеет, хотя и предпринял попытку в этом направлении, которую Нельсон, разозлившийся не более, чем следует чтобы прихлопнуть комара, пресек тем, что дал хозяину по зубам и пояснил: дескать, еще раз попробуешь — убью, и в результате хозяин теперь боится, ненавидит его и в отместку заставляет работать



за двоих, а кормит самыми дрянными отбросами и баландой. Когда-то у Нельсона была жена и дети, но ни видеть их часто, ни тем паче всех разом у него нет никакой надежды, поскольку они рассеяны по трем или четырем округам восточной Виргинии. Так же, как и для Харка, религия мало что для него значит, и так же, как Харк, он частенько сквернословит, что, конечно же, огорчает меня, но всерьез не тревожит: по мне, он воистину Божий человек — пронизательный, неторопливый, хладнокровный; его сонный вид обманчив: у него бешеный нрав, и он способен стать сильной правой рукой предводителя. *Жизнь ниггера говна свинячьего не стоит*, — сказал он мне однажды, — *сделаться чем-то, хотя бы для себя самого, ниггер может, только пытаюсь освободиться, даже если ничего не выйдет*. А его стратегический ум чего стоит! *Сперва тряханем там, где лошади есть: лошади — это скорость*. Или: *Тряхануть надо в воскресенье к ночи — когда негры охотятся. Белые хреносопы, если какой шум и услышат, подумают, негры опоссума на дерево загнали*. Или еще: *Нам главное ниггеров до винокуренья не допустить. Ежели наши черные придурки до сидра и виски доберутся — все, война, считай, проиграна...* Я гляжу на Нельсона и ловлю его сонный, бесстрастный взгляд, а он и виду не подает, что узнал меня...

Опять слышу, как Харк шепчет мне на ухо: *После службы у них там что-то на кладбище затевается, и негров туда не пустят...*

Да, — отвечаю я, — *знаю, знаю*. Во мне нарастает возбуждение, я чувствую, что настал день, когда мы сможем, наконец, подробней, определеннее обсудить детали плана. — *Знаю. Где встречаемся?*

*Слышь, если церковь сзади обойти, там два бревна есть через ручей. Я сказал Генри, Нельсону и Сэму, чтоб, когда белые на кладбище пойдут, ждали нас там.*

*Это правильно*, — говорю я, потом — *тиши-ши*, — стискиваю его руку, боясь, как бы нас не подслушали, и мы отворачиваемся друг от друга, изображаем набожное внимание; будто бы мы ловим каждое слово, восходящее к нам сюда, в жужжание бьющихся ос, в скрип и потрескивание балок: *Неразумные вы создания! Как мало вы задумываетесь, когда по лености пренебрегаете делами хозяев, когда крадете, портите и разбазариваете их имущество, когда вы дерзки и ослушливы, когда не говорите им правды и обманываете их так же, как когда вы упрямитесь, строптиво отказываетесь выполнять работу, напрашиваясь на порку*, — да, мало вы задумываетесь, что прегрешения ваши перед хозяевами суть грехи перед самим Отцом Небесным, который Своею волею поставил над вами хозяев и хозяек ваших и ждет от вас повиновения им такого же, какого ждет от вас по отношению к Себе. Ибо, разве не предстоят за вас хозяева ваши перед Господом, разве не заботятся о вас? А как же им справиться с этим, как им кормить, одевать вас, если вы не будете честно заботиться обо всем, что принадлежит им? Помните, этого от вас требует Господь Бог. И, если не боитесь вы здесь пострадать из-за небрежения вашего, то грядущей укоризны Всевышнего никак вам не избегнуть, ибо только Всевышний рассудит вас с вашими хозяевами и заставит вас жестоко поплатиться в мире горнем за несправедное ваше к ним отношение здесь. И хотя подчас в лукавоухищрениях своих вы ловко избегаете глаз и рук человеческих, подумайте, сколь ужасно вам будет попасть под десницу Бога Живого, во власти которого свергнуть в адский пламень как ваши души, так и тела... Но вот сквозь тихие стоны черной толпы, сквозь удовлетворенные жирные вздохи Хаббарда, сквозь шепот и шевеленье, сквозь все эти с придыханием исторгаемые из глубины души всхлипы глупой покорности и благоговейного ужаса я слышу сзади себя другой голос — близко-близко, почти у самого уха, хриплое быс-



трое бормотанье, почти неразборчивое, будто у человека приступ, будто его бьет падучая: *...меня будете этой вашей белой дрянью кормить, ага, сейчас, так я эту вашу белую дрянью и скушал, прямо...* Я не поворачиваюсь, да и как тут повернешься, меня и так сразу в дрожь бросило, но я не то чтобы боюсь повернуться, просто не могу смотреть в это безумное, злобное лицо с проломленным носом, перекошенно торчащей челюстью, с выпученными глазами, в которых застыл взгляд убийцы — тупого, оголтелого, полубезумного, — я и без того, и не поворачиваясь знаю, чей это голос: это Билл. Я раздражен, я будто к месту вдруг прирастаю. Потому что, хотя, подобно Нельсону, Билл осатанел от рабства, его безумие не умеряется никаким терпением, никакой тайною мыслью, но являет собой неистовую, неуправляемую ярость дикого лесного вепря, безнадежно загнанного, застрявшего в чащобе и лишь злобно и бессмысленно рычащего и скалящего зубы. Годам к двадцати пяти или чуть старше он стал уже опытным беглецом, однажды добрался чуть ли не до Мэриленда, в странствиях ведомый не столько умом, сколько ловкостью и выносливостью, присущими мелким хищникам, населяющим леса и болота, в которых он целых шесть недель скитался, пока его не поймали и не отправили назад к нынешнему хозяину, известному “негролому” по имени Натаниэль Френсис, который побоями вверг его в состояние временной ошеломленной покорности. А сейчас он сидит позади меня на корточках и бормочет, обращаясь непонятно к кому — к себе, ни к кому или же к кому угодно. *Старая белая пизда*, шепчет он и повторяет это, как какую-то идиотическую литанию, вновь и вновь.

Присутствие Билла беспокоит меня, я не хочу иметь с ним ничего общего ни теперь, ни в каких бы то ни было будущих делах. Я даже опасаясь, как бы он не

пронюхал, что затевается. Я не то что не нахожу ничего ценного в его надломе, в его непокорстве и ярости, я просто не доверяю ему, меня инстинктивно отвращает его буквально пеной у рта проступающее неистовство. Кроме того, есть еще одно соображение, довольно очевидное в свете только что услышанных настойчивых заклинаний: я слышал, что он постоянно бредит поруганием белых женщин, тема изнасилования не оставляет его ни днем, ни ночью. А я такого рода бесчинства запретил — причем и Харк, и Нельсон, и другие клятвенно обещали не нарушать запрета. Такова воля Господа, я знаю это — таким отмщением я должен пренебречь: *Не делай с их женщинами того, что делали они с твоими...*

Изо всех сил я изгоняю Билла из сознания и, озирая галерею, вижу двоих других — на них, наоборот, я возлагаю большие надежды. Подобно Биллу, Сэм раб Натаниэля Френсиса, он мулат, мускулистый, жилистый полевой работник, веснушчатый и рыжеволосый. Упрямый, напряженный, нервный, он тоже много раз бывал в бегах, его желтоватая кожа в буграх и шрамах от плети. Я ценю его за ум, но и за цвет тоже: присутствие человека с такой светлой кожей на многих негров производит впечатление, особенно на тех, кто попроще, и я чувствую, что, когда дело мое наберет силу, Сэм будет весьма полезен для вербовки новых рекрутов. Он мастер тихой тайной каверзы и уже завлек в наши ряды Генри, который сидит сейчас рядом с ним — глаза закрыты, чуть покачивается, вид благодостный и умиротворенный. Насколько я могу отсюда разглядеть, Генри просто-напросто спит. Низкорослый, крепко сбитый, очень черный, он один в моем войске по-настоящему религиозен. Его хозяин Ричард Портер, набожный и добрый джентльмен, который никогда не поднимал на него руку. В свои сорок лет Генри живет в воображаемом библейском мире,

в стране теней и почти совершенной тишины, так как в детстве он почти начисто оглох, получив удар по голове от какого-то пьяного надсмотрщика, ни имени, ни облика которого он уже не помнит. Но воспоминание о том ударе по сию пору питает в нем тихую ярость...

Пространство тем временем наполняется звуками органа. Проповедь кончена. Где-то внизу уже встали со своих мест белые и вместе поют:

Нам, духом просветленным,  
Познавшим благодать,  
Всем темным, помраченным  
Светильник как не дать?

Черные не поют, но стоят уважительно на жарком своем балконе — кто рот разинул, а кто придурковато ухмыляется, топчась на месте. В этот момент они мне видятся такими же глупыми и неодушевленными, как мулы в сарае, и меня охватывает ненависть к ним ко всем и к каждому в отдельности. Глазами я пробегаю по толпе белых, наконец, отыскиваю Маргарет Уайтхед, которая, вздернув вверх подбородок с ямочкой и держа мать под руку, возносит песнь к небесам, светясь как солнышко всем своим безмятежным юным личиком. Тут мягко и неспешно, будто долгим выдохом моя ненависть к неграм замирает, исчезает, замещаясь буйной, отчаянной любовью к ним, и вот уже слезы стоят у меня на глазах.

Спасенье, о, спасенье!  
Звени, благая весть,  
Чтоб в каждом поселенье  
С Христом народ был весь...

Потом тем же вечером после торопливого тайного совещания у ручья я сижу на облучке коляски по дороге

к дому через засыхающие, истомленные безветрием поля и слушаю позади себя уже два голоса: веселый — Маргарет Уайтхед и полный нежности голос ее матери:

*По-моему, очень вдохновенно наш мальчик сегодня проповедовал, не правда ли, маленькая моя мисс Пеги?*

На некоторое время повисает пауза, потом раздается залихватский хохоток: *Да ну, мам, это же старая сказочка, одна и та же каждый год! Просто страшилка для чернокожих!*

*Маргарет! Что за выражения! Страшилка! Как ты меня огорчаешь! Слышал бы тебя с небес твой папочка, как ты отзываешься о собственном брате. Стыдись!*

Тут я внезапно с удивлением замечаю, что Маргарет уже едва ли не в слезах. *Ах, мамочка, прости, я не подумала.* Она тихонько всхлипывает. *Я просто не подумала. Не подумала...*

Я слышу, как женщина с шуршаньем привлекает Маргарет к себе. *Ну не надо, не надо, милая. Я все понимаю. Должно быть, у тебя просто критические дни подходят. Ничего, скоро будем дома, ты сразу ляжешь, и я заварю тебе добрую чашечку чаю...*

Высоко над плоской равниной повисает грозовая туча, с ее испода ниспадают клубящиеся вихри, сулят бурю. Я чувствую, как пот стекает у меня по спине. Через какое-то время я позволяю себе смежить веки и, обоняя густой запах лошадиного навоза, молча творю молитву: *Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой, ибо близится час моей битвы ...*

— Нат Тернер! Встать!

Я встал. В зале суда жарко и очень тихо, и довольно долго уже я неловко стою в цепях, опираясь на стол, а все нет тишине перемены, кроме пыханья и гуденья печки. Вопросительно обернувшись к Джеремии Коббу, я первый раз посмотрел на него впрямую и увидел, что лицо у него блее воска, к тому же исхудавшее, почти

бесплотное — лицо трупа, при этом оно кивало и подергивалось, будто у него нервный тик. Он глядел запавшими, провалившимися глазами, так что казалось, он на меня взирает из какой-то бесконечной дали, неизмеримой, словно сама вечность. Тут я вдруг осознал, что он ведь тоже близок к смерти, очень близок, почти так же близок, как я, и я почувствовал странный укол жалости к нему, проблеск сочувствия.

Кобб снова заговорил.

— Есть ли у тебя что сказать суду, чтобы не выносили тебе смертный приговор? — Голос его был дрожащим, слабым, мертвенным.

— Нет, нечего, — ответил я. — Я сделал полное признание мистеру Грею, и мне нечего больше добавить.

— Слушай тогда приговор. Ты привлечен к суду и обвиняешься в одном из тяжчайших преступлений нашего уголовного кодекса. По твоему делу учинен судебный розыск. Ты признан виновным в злоумышлении с целью массового убийства как мужчин, так и беззащитных женщин и малолетних детей... Представленные улики не оставляют тени сомнения, что твои руки запятнаны кровью безвинной жертвы, а твое признание говорит нам, что они также обгарены кровью и твоего хозяина, по твоим же собственным словам, чересчур снисходительного к тебе. Бude я мог на том остановиться, твое преступление уже было бы достаточно тяжким... Но ты самоличным наглым произволением вдобавок измыслил план, безжалостный и дерзкий, пусть даже и невыполнимый изначально, и ухитрился так далеко зайти в его воплощении, что лишил нас многих наших ценнейших граждан, подкрался к сонным, сделав это так, что потрясены были самые основы человечности... И, раз уж мы коснулись этого аспекта, я не могу не привлечь твое внимание к бедным обманутым мерзавцам, которые

прошли здесь — *и ушли* — прежде тебя. — На секунду он сделал паузу, тяжело отдуваясь. — А ведь их немало, этих бывших твоих ближайших подручных, их кровь тоже вопиет, взывает к тебе как к смутителю и первопричине их несчастья. Да. Силком, неподготовленными ты бросил их из времени в вечность. Теперь тебе, согбенному под тяжестью вины, смягчить ее может только то, что в никуда завел тебя твой фанатизм.

Он снова помолчал, взирая на меня с какого-то жуткого, неизмеримого расстояния, где не одни только глаза, но и вся его брeнная плоть, и дух его, казалось, пребывали — далекие, как звезды.

— Что ж, если так, — медленно перешел он к окончанию речи, — то мне от всей души жаль тебя, но при всем сочувствии я призван огласить приговор суда... Время между его оглашением и казнью непременно будет весьма кратким, и единственная твоя надежда — это иной мир. Вердикт суда таков: из зала тебя надлежит отправить назад в тюрьму, откуда тебя привели сюда, затем к месту казни, и в следующую пятницу, одиннадцатого ноября, на рассвете ты будешь повешен за шею до наступления смерти! смерти! *смерти!* — и да пребудет милость Божия над твоей душой.

Мы взирали друг на друга с огромного расстояния и при этом были близки, ужасающе близки, как будто на краткий миг нас объединило знание некоей сокровенной тайны, неизвестной никому другому — тайны времени, тайны брeнности бытия, тайны греха и горя. В тишине печь пытела и ярилась, будто огненная буря заперта в ней между адом и небесами. С лязгом отворилась дверца. Тут мы перестали смотреть друг на друга, и рев голосов вовне взорвался громом.

В тот вечер, когда Харк говорил со мной сквозь щели стены между камерами, я ощущал в его голосе боль и

усталость, слова перемежались хрипами и бульканьем, будто квакает лягушка. С такими ранами только Харк мог протянуть так долго.

Грудь ему прострелили в августе, в день, когда нас разбили. Раз за разом его носили в суд на носилках; им, видимо, и повесить его придется привязанным к стулу. Мы двое уйдем последними.

Опускались сумерки; холодный день клонился к вечеру, и свет начал вытекать из камеры, как из сосуда, оставляя в углах темноту, а кедровая скамья, на которой я улегся, стала холодной, словно каменная плита. Снаружи на ветвях кое-где еще держались листья, в сером полумраке холодный ветер шептал что-то злое и резкое, то и дело промелькивал на пути к земле сорвавшийся лист или его вдруг с сухим царапающим звуком забрасывало в камеру. Временами я прислушивался к Харку, но, главное, ждал Грея. После суда он сказал, что вечером зайдет, и обещал дать Библию. Мысль о Библии держала меня в жадном напряжении, словно я целый день томился жаждой в иссохших выжженных полях, и кто-то должен принести мне полные ведра прохладной чистой воды.

— Уж это верно, Нат, — донесся до меня голос Харка из-за стены, — да, многих, многих негров потом поубивали, пока ты прятался. И ведь не только наших. Я слышал так, что, может, сотню, а может, и куда больше. Да, Нат, белые как налетели, что твой осиный рой, и такая свистопляска пошла — негров топтали прям повсюду. А ты не знал, Нат? Это уж да, топтали по-страшному. Белых-то видимо-невидимо съехалось, со всей страны. Толпами набежали — и из Сассекса и с Айл-оф-Уайта, откуда только не понабралось их, негров прямо в землю втаптывали. Им без разницы, был ты с Натом Тернером, не был, все едино. Жопа черная — давай, получай свинца! — Харк на время умолк, и доносилось лишь его трудное, измож-

денное дыхание. — Говорят, потом — ты уже прятался тогда — какой-то старый свободный ниггер стоял себе в поле где-то поблизости от Дрюрисвиля. А белые, подскаками, остановились, орут: “Это округ уже Саутгемптон или не Саутгемптон еще?” Ниггер в ответ: “Дак вы, сэр, границу-то еще вона где переехали”. Вот дух из меня вон, Нат: в тот же миг белые его и пристрелили. — Он снова помолчал, потом говорит: — Еще про негра по имени Стейтсмен говорили, тот вообще далёко жил, аж за Смитовой Мельницей, про заварушку слухом не слыхивал, да и с головой у него туговато, понимаашь ли. Так его хозяин — ну, вообще дико осерчал, ну вусмерть; короче, взял старого Стейтсмена, к дереву привязал и давай палить в него, таких дыр наделал — скрозь аж солнце видать. Да уж, Нат. Наслушался я за эти месяцы в тюрьме грустных баек...

Я наблюдал, как зимний серый свет украдкой покидает камеру, и думал: *Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, прости мне кровь невинно убиенных...* Но и это не получилось молитвой — ни отзвука, ни ощущения, что мои слова достигают слуха Всевышнего, лишь явственно виделось, как они впустую истаивают в воздухе наподобие струйки дыма. Дрожь пробрала меня до костей, и я сцепил руки вокруг коленей, пытаюсь унять их тряску. Потом, чтобы выкинуть из головы это новое знание, я вклинился в бормотанье Харка.

— Харк, — говорю, — скажи мне, Харк, а как Нельсон? Расскажи про Нельсона. Как он умер? Он храбро умер?

— А то! Конечно, храбро, — отозвался Харк. — Старого Нельсона еще в сентябре порешили. Его с Сэмом з́араз, так они прямо стояли, твердо, черта с два придерешься. Что один, что другой. Говорят, старина Сэм сразу-то не помер, болтается на этой, как ее, на виселице, дрыгается,



ногами дергает, что твой индюк, когда башку снесли. — Слабо, тихонько Харк захихикал. — Похоже, этот желтый маленький негритосик для веревки легковат оказался. Белым пришлось дергать его за ноги, чтобы он дух испустил. Но он храбро умер, это точно — что он, что Нельсон. Такого, чтобы кто-то из них хныкал или выл перед смертью, это я не слышал. — Он подождал, вздохнул и говорит: — Единственное, о чем старина Сэм жалел в тюрьме, так это, что мы не поймали чертова гада Ната Френсиса, его хозяина. Надсмотрщика поймали, поймали двоих его детей, а самого Ната Френсиса — нет. Очень Сэм из-за этого горевал. Я Ната Френсиса в суде видал, когда Сэма приговаривали. Фу ты, ну ты, ножки гнуты! Этот белый и впрямь чокнутый! Ой-ей, Нат, он как заорет, как к скамье подсудимых прыгнет — точно бы Сэма придушил, кабы не оттащили. Говорят, Нат Френсис вообще с катушек сбрендил после нашего шухера. Собрал себе целую банду и ездит теперь от Кроскизов к Иерусалиму и обратно и всех негров по дороге пиф-паф. Была такая свободная негритянка по имени Лори, жена старого Джона Брайта — ну, около Клаудскул они жили, знаешь? Так они взяли, на забор ее животом завалили да и загнали ей в старую письку трехфутовый кол — будто на вертеле жарить собрались. Да уж, Нат, да уж — таких мне сказок понарасказали за эти месяцы! А еще про двоих белых амбалов — приехали ажно из Каролины и насшибали тут целую такую здоровую кучу негритянских голов, да все их к шесту гвоздями приколачивали, они и еще хотели насшибать, но солдаты их повязали да обратно в Каролину отправили.

— Замолчи! — не выдержал я. — Молчи, Харк! Довольно. Не могу больше этого слушать. Вынести этого не могу.

Я пытался не думать, но нет, не помогало, думал, все равно, и обрывки молитвы плавали в сознании, крути-

лись и ныряли в кипящем мозгу, как щепки, захваченные паводком: *Господи, пощади, дай собраться с силами. Перед уходом. Чтобы уже не быть.*

Из коридора слышались шаги, сразу в дверях возник Грей и с ним тот малый по кличке Кухарь, с треском отодвинувший перед ним засов.

— У меня всего минутка, Проповедник, — сказал он с порога и принялся напротив меня усаживаться — медленно, с тихим усталым стоном. Он выглядел утомленным и расстроенным. Мне бросилось в глаза, что у него в руках ничего нет, и сердце камнем ухнуло вниз; прежде, однако, чем я успел выразить ему свое неудовольствие, он первым быстро заговорил: — Да знаю, знаю, знаю. Эта твоя Библия проклятушая! Знаю, обещал дать тебе экземпляр, я человек слова, Проповедник, но я огреб тут кучу трудностей, совершенно непредвиденных. Проголосовали пять к одному, и в итоге против.

— Вы это о чем, мистер Грей? — изумился я. — Какое голосование? Мистер Грей, я ведь просил совсем немного...

— Да знаю, знаю, — снова вклинился он. — По всем законам любой приговоренный к смерти должен получать полное духовное утешение, белый он или черный. И нынче вечером, когда я внес в суд ходатайство о предоставлении Библии для твоего персонального пользования, я сообщил об этом обстоятельстве в самых решительных выражениях. Но я же говорю, Проповедник, я нарвался на значительные трудности. Большинство судей вообще никак эту идею не кушают — ни в каком виде и ни под каким соусом. Во-первых, они весьма решительно настроены выполнить букву — да и общую тенденцию нынешнюю — решения, принятого на собрании граждан общины, которое состоит в том, в частности, чтобы никакому нигтеру не позволялось отныне ни



писать, ни читать что бы то ни было. Во-вторых, как вследствие вышеизложенного, так и постольку, поскольку ни одному ниггеру, которого когда-либо вешали в этом округе, не позволялось иметь в своем распоряжении Библию, стало быть, что ж они — будут делать для тебя исключение? Решили голосовать. Пять к одному против, то есть чтобы не давать тебе Библию, и только главный судья за — мистер Джеремия Кобб, да он и сам-то уж готов сыграть в ящик, так что в вопросах, связанных с духовными нуждами умирающих, ему прости-тельно проявлять мягкотелость.

— Очень жаль, — сказал я. — Я очень огорчен этим, мистер Грей. Мне действительно туго придется без Библии.

Грей посидел немного в молчании, глядя на меня загадочно и странно. Потом и говорит:

— А что, Проповедник, ты когда-нибудь слышал про Галактику?

— Про что? — спрашиваю. Вообще-то я его едва слушал. Даже описать не могу свое отчаяние и одиночество.

— Про Галактику. Г — а — л — а... Глаголь — аз... Галактика.

— Знаете, сэр, — подумав, отозвался я, — возможно, я это слово где-то слышал, но не могу с уверенностью сказать, что в точности оно значит.

— Ну ты, наверное, знаешь, что из себя представляет Солнце, — сказал он. — Солнце ведь не ходит вокруг Земли, как какой-нибудь большой шар в небе. Солнце это звезда. Ты знаешь об этом, верно? — Да, — подтвердил я. — Похоже, что-то такое я слышал. В Нью-сомсе один белый господин кому-то из негров рассказывал об этом, только давно это было. Он был из этих — из квакеров.

— А ты поверил ему?

— Я тогда подумал, что как-то трудно в это поверить, — ответил я, — но в конце концов я поверил. Велика есть благодать Господня; слава Богу, во все можно поверить.

— Ага, стало быть, ты знаешь, что Солнце — звезда, но что такое Галактика, ты в точности не знаешь, верно?

— Нет, не знаю, — послушно ответил я.

— Ну так вот, значит: есть в Англии великий астроном, зовут профессор Гершель.\* Знаешь, кто такой астроном? Да неужто? В общем, про него большая статья была не так давно в Ричмондской газете. И обнаружил он, что эта наша звезда, которую мы называем Солнцем, — она одна из... даже не то чтобы из тысяч, и не из миллионов, а из *миллиардов* звезд, которые все таким хороводом вместе вращаются, и это он назвал Галактикой. А наше Солнце — всего лишь паршивенькая такая мелкая третьеразрядная звездочка, плывущая где-то по краю Галактики среди миллионов других звезд. Ты только вообрази это, Проповедник! — Он склонился ко мне, и меня обдало все той же всегдашней его яблочной парфюмерной сладостью. — Вообрази! Миллионы и даже миллиарды звезд плывут себе в грандиозных просторах космоса, разделенные расстояниями, которые уму непостижимы. Вот: свет, который от некоторых из них до нас дошел сейчас, они испустили задолго до появления на Земле человека! За миллион лет до Иисуса Христа! Ну, как ты это сопоставишь с христианством? Да и вообще с Богом!

Я немного поразмыслил над этим, потом сказал:

— Я ж говорю вам, мистер Грей, велика есть благодать Господня, во все можно поверить. Я принимаю и солнце, и звезды, и галактики тоже.

---

\* Гершель Вильям (1738 — 1822), английский астроном и оптик.

— Да говно это свинячье! — с жаром выпалил он. — Христианство сдохло, с ним покончено. Можно подумать, ты сам этого не знаешь, а, Проповедник? И не понимаешь того, что учение, заключенное в Священном Писании — да-да, именно оно явилось первопричиной, *паровым котлом* всей этой твоей разнесчастной мудацкой катастрофы. Да как же ты не видишь, что от твоей долбаной Библии просто-напросто исходит зло?

Он смолк, я тоже сидел как воды в рот набрав. Хотя меня уже не бросало, как это было утром, то в жар, то в холод — наоборот, впервые за день я чувствовал себя почти что сносно, но в горле было сухо и как-то стало трудно глотать. На секунду я прикрыл глаза, снова открыл; в холодном, бледном уходящем свете казалось, что Грей улыбается мне, хотя, возможно, это просто полумрак, недостаток освещения так искажал черты его тяжелого круглого лица. Я чувствовал, что не до конца понимаю смысл сказанного Греем: ухватил только самое начало; в конце концов я ответил — сдержанно, сухо, при этом в горле по-прежнему сидел комок:

— Что вы хотите этим сказать, мистер Грей? Боюсь, что я как-то не так вас понял. Какое такое зло? — Грей, хлопнув себя по колену, опять потянулся вперед.

— Да ты, Проповедник, что? Иосафатское твое преподобие!\* Ты в наши записи загляни! Вспомни слова, что ты трындел мне в уши три дня подряд! *“Духом святым! Отворяйте себе Царство Небесное! Не на мудрости человеческой, но на силе Божией!”* Вспомни их и вспомни прочую подобную хренотень. Вот что я хочу этим сказать! Кстати, ты еще стих один мне все талдычил, который будто бы небесный дух тебе внушил, когда вы вот-вот собра-

---

\* Иосафат, царь Иудеи, правил в IX в. до Р.Х.

лись уже начинать резню? *“Ибо тот, который знал...”* — что он там знал-то, ну-ка?

— *Ибо тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; и придет господин, и рассечет его.*

— Вот такого рода дерьмо я и имею в виду. Ага, Божеское водительство. Ну-ну! Благовестия свыше. Господня воля. Муд-довейшая ахинея! И куда же она тебя завела-то? А, Проповедник?

На это я никак не отозвался, хотя начал уже понимать, к чему он клонит. Чтобы не смотреть на него, я уткнул лицо в ладони, надеясь, что продолжения не последует.

— А вот как раз сюда и завела — уж прости меня, Проповедник, за прямоту. И довела до самого до твоего говенного признания — признания провала, полнейшего и непревзойденного. В развязанной тобой резне погибло шесть десятков белых, а все равно белые твердо держат поводья. Семнадцать ниггеров повешены, если считать и тебя, и твоего балбеса Харка — повешены, и никогда больше не увидят белый свет. Больше десятка — да, уж точно больше десятка — выдернуты из непыльной и пристойной жизни и отправлены в Алабаму, где — ставлю доллар против твоей задницы — работа и малярия через пять лет их всех сведут в могилу. Навидался я этих хлопковых плантаций. Рисовые чеки, Преподобный ты наш, я тоже повидал. Негры там с рассвета до заката в дерьме по уши, да черный верзила с хлыстом над душой стоит, да комары с воробья ростом. Вот что принес ты своим соплеменникам, вот до чего довела их твоя религия, Проповедник. Ведь не этого ты хотел, а? Тогда, *перед тем, как*. Верно?

Я немного помолчал, подумал над его вопросом, потом говорю:

— Нет.

Потому что, если уж совсем честно, я этого не учел тогда.

— А в чем же еще преуспела религия, возлюбленное наше христианство? — опять заговорил он. — А вот в чем преуспело христианство. Христианство преуспело в смуте и бесчинстве толп. *И-да*. Не только в вашей бессмысленной резне оно преуспело — резне, которая привела к тому, что погибли все, кто в ней участвовал, и белые и черные, — но преуспело еще и в насаждении ужаса незаконных репрессалий: сто тридцать один негр — тут и рабы, и свободные — все безо всякой вины растерзаны снедаемой жаждой мести толпой, которая целую неделю носилась по округу Сауттемpton. Полагаю, на это ты тоже тогда не рассчитывал, а, Проповедник?

— Нет, — негромко сказал я. — Не рассчитывал.

— И, что еще важнее, клянусь тебе твоей черной задницей, что когда в декабре соберется законодательное собрание штата, они там примут такие законы — ха! — что нынешние по сравнению с ними покажутся правилами поведения на пикниках воскресной школы. Просто запрут всех негров в один черный погреб, а ключ выкинут. Что же до *“отмены рабства”*, — тут его голос упал чуть не до шепота, — тут, преподобнейший, ты здорово поработал: в одиночку, на пару только со своим христианством ты сделал для поражения этой идеи больше, нежели квакерские проныры и зануды, когда-либо топтавшие землю Виргинии, все вместе взятые. Думаю, ты и это во внимание не принял.

— Нет, — сказал я, глядя ему в глаза. — Если так будет, то — нет.

Его голос окреп, зазвенел насмешкой.

— *Христианство!* Разбой, грабёж, резня! Смерть и уничтожение! Нищета и страдания для бесчисленных будущих поколений. Вот в чем преуспело твое христианство,

Проповедник. Вот плоды твоей миссии. И ведь именно в этом радостный благовест твоей веры. Всего-то и понадобилось: девятнадцать столетий христианства плюс черный пастор, а вышло доказательство того, что Бог это блядь\*, дрянь, ложь!

Поднявшись на ноги, он стал резким, быстрым, собранным и, натягивая свои замызганные перчатки, сказал уже гораздо тише:

— Прошу прощения, Проповедник. Мне пора. И давай без обид. В общем и целом ты был со мной честен. Вопреки всему тому, что я говорил, я твердо знаю: человек все равно должен поступать, как велят ему убеждения, пусть даже он заблуждается. Доброй ночи, Проповедник. Еще зайду к тебе.

Когда он удалился, Кухарь принес мне кукурузную лепешку, немного холодной свинины в миске и кружку воды, и я принялся есть, сидя в промозглых сумерках и наблюдая, как выцветает, сереет и темнеет западный край неба. Вдруг из-за стены донесся тихий смешок Харка.

— Эй, Нат! Вот чудило-то, а! Никак он учить тебя взялся? Или переучивать? Эх ведь нейдет человеку!

Но я не ответил Харку, просто встал и, шурша цепью, поплелся к окну.

Над Иерусалимом нависла туманная ночь, опускаясь на бурые, почти стоячие воды реки, на леса за нею, где заросли черного дуба и кипариса переплетались, неотличимые во тьме, вставали, будто тени — хранители хмурого зимнего сумрака. В домах по соседству желтыми мерцающими огоньками зажглись фонари и лампы, откуда-то уже слышалось звяканье кастрюль и тарелок, захлопали кухонные двери — люди занялись ужином. Из какой-то кухни неподалеку доносилось пение женщины-негритян-

---

\* Пустословие, ложь, разврат (*церк.-сл.*).

ки — песня усталости, труда и печали, но какой голос! — богатый, сильный, грудной: *“Луна встает, звезда горит, мешок спину трет, и хребет болит”*... Павшая наземь мелкая снеговая пороша исчезла, сменилась тончайшим покровом инея, крест-накрест перечеркнутым дорожками беличьих следов. По дощатому промерзшему настилу с громким топотом ходили вокруг тюрьмы два солдата в шинелях и с мушкетами. Порыв ветра со свистом ворвался в камеру. Меня пронизала дрожь, я закрыл глаза и прислонился к подоконнику, наполовину во сне, наполовину въяве слушая далекие жалобы негритянки и чуть не падая с ног от безумной усталости и тоски. *Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.*

Не знаю, долго ли я так простоял, опершись о подоконник, обратив к сумраку ночи крепко зажмуренные глаза. Может быть, он и прав, — думал я, — может быть, все было зря, может, хуже, чем зря, и все сделанное мною — зло пред лицом Божиим. Может, он прав и в том, что Бог мертв, что Он ушел, оттого я и не могу больше достичь его... Я снова открыл глаза, поглядел в почти совсем померкшее небо над лесом, где, чуть не чиркая крыльями по верхушкам, неслись к югу утки на фоне туч, серых, как клубы дыма. Да, — думал я, — может, это все и верно, иначе зачем Господь не подаст мне знак, зачем не отвечает? В сгущающемся мраке все еще звучал красивый, грудной голос той женщины: *“Закат, восход; восход, закат; когда ж мне придет час брести назад”*... Горестный, но при этом сдержанный и неколебимо суровый и бесстрашный, голос вздымался над вечернею страной как воспоминание; временами налетающий от реки ветер заглушал его, шумел деревьями, относил прочь

слова песни, но только уляжется — и вновь тишина и пение. *“...Я лягу в могилу и руки сложу”*... Внезапно голос пропал, и все смолкло.

*Так что же я сделал не так, Господи?* — вслух проговорил я. — *И если сделанное мною — дурно, неужто нет спасения?*

Я устремил взгляд вверх, но не было мне ответа, одно лишь серое непроницаемое небо и тьма, быстро сгущавшаяся над Иерусалимом.

## БЫЛО И ПРОШЛО (ГОЛОСА, СНЫ, ВОСПОМИНАНИЯ)

Помню, когда я был мальчишкой лет двенадцати или около того и жил с матерью в большом господском доме на лесопилке Тернера, к нам заехал однажды толстый белый мужчина, остановился на ночь, и они с моим тогдашним хозяином, Сэмюэлем Тернером, вместе вечерами. Путешествующий был добродушным, улыбчивым дядькой с круглым, сильно изрытым оспой красным лицом и склонностью хохотать так, что дрожали стены. Торговец сельскохозяйственными орудиями — плугами, боронами, культиваторами и их деталями, — он разъезжал по стране с обозом из нескольких огромных фур, имел при обозе ломовых лошадей и двух-трех помощников, а на ночлег останавливался то на одной, то на другой ферме или плантации, где сбывал товар. Я уже не помню, как его звали (да и знал ли?), но помню время года — то было в начале весны. Ну да, конечно же, я того торговца и запомнил как раз из-за того, что он говорил о погоде и о весне. Тем апрельским вечером я помогал подавать ужин (лишь недавно я удостоился этой обязанности; у стола прислуживали еще двое негров из взрослой дворни, но только я отвечал за то, чтобы вовремя наполнять стаканы сидром и пахтой, поднимать то, что

упало на пол, и отгонять собак и кошек), и мне запомнился его голос — очень громкий, но не вызывающий, когда он, странно, по-северному произнося слова, распространялся перед хозяином и его домашними:

— Нет, сэр, — внушал он хозяину, — такой весны как здесь не найдешь больше нигде во всей нашей великой Америке. Нигде даже близко нет ничего подобного размаху и буйству весны, какая бывает в Виргинии. И скажу вам, сэр, тому есть веская причина. Я проехал взад и вперед все восточное побережье от северных краев Новой Англии до самых жарких уголков Джорджии и знаю, о чем говорю. Что делает весну в Виргинии столь поразительно прекрасной? Тут, сэр, все проще некуда. Дело в том, что в более южных областях всегда тепло, всегда влажно и в весне нет неожиданности, а в северной местности зима стоит так долго, что весны вроде как и вовсе никакой нет, а сразу — бах! — и лето, но как в Виргинии, сэр — о! — тут просто удивительно! Идеально! Природой тут все устроено так, что весна, тепло накатывает стремительно и внезапно. Только на широте Виргинии, сэр, весна хватает тебя в объятия, как любящая мать.

Этот момент я помню так же отчетливо, как помнил бы великое событие, произойди оно всего пару секунд назад: дыхание той весны еще в моих ноздрях, пыльный вечерний луч еще блистает золотом, а воздух полнится голосами и тихим звяканьем столового фарфора и серебра. Бродячий торговец замолкает, и часы в дальнем коридоре как раз принимают отвешивать шесть тяжких чугунных нот, которые слышатся между тихими, но веско и уверенно поданными словами самого Сэмюэла Тернера:

— Возможно, в вас говорит излишняя восторженность, сэр, поскольку весна скоро принесет нам еще и нашествие клопов. Но ощущение схвачено верно, ведь и



впрямь в этом году природа благоволит к нам. Во всяком случае я вряд ли когда наблюдал столь идеальные условия для сева.

Когда шестой, последний удар на мгновение переходит в дремотный жужжащий гул, который хмуро растворяется в бесконечности, все замолкают, а я тотчас замечаю в огромном, до потолка, зеркале за дальним сервантом себя самого — тощенького малорослого постреленка, что стоит в крахмальной белой блузе, спрятав поджатые пальцы одной босой ноги за другую и в напряженном ожидании покачивается, нервно поводя белками глаз. Хозяин делает движение, и мой взгляд сразу возвращается к столу, тогда как тот всего лишь хотел сделать свою мысль для гостя нагляднее и теперь обводит широким, округлым и благостным движением руки с вилок всю собравшуюся за столом семью: жену, ее вдовую сестру, двоих юных девятнадцати- или двадцатилетних девиц дочерей и двоих взрослых племянников — мужчин лет уже за двадцать пять, на чьи одинаковые мощные загривки я смотрю снизу вверх даже когда стою, а они сидят, и чьи скуластые, с квадратными челюстями лица красны и обветренны. Обведя их всех жестом патриарха, Сэмюэль Тернер глотает, тщательно прочищает горло, затем с мягким юмором высказывается:

— Тут закавыка в том, сэр, что моих-то домочадцев вряд ли так уж радует приход столь суматошного времени года — небось привыкли за зиму к любезной праздности. (Раздается смех, возгласы вроде “да ну тебя, папа!”, а один из младших мужчин, перекрывая общий гомон, вызывает укоризненно: “Дядя Сэм, да вы просто клеветеете на своих трудолюбивых, усердных племянников!”).

Я перевожу взгляд на торговца: его красное, изрытое оспинами лицо смешливо сморщено, сбоку на подбородке след струйки соуса. Мисс Луиза, старшая из доче-

рей, смотрит с вежливой туманной полуулыбкой, вдруг вспыхивает, роняет салфетку, я бросаюсь за ней под стол, вновь расстилаю у нее на коленях.

С приходом сумерек веселье понемногу утихает, уступая место неспешной обстоятельной беседе; женщины молчат, только мужчины беззаботно, с набитыми ртами, переговариваются, а я то и дело обхожу стол с фарфоровым кувшином пенного сидра, потом становлюсь на свое постоянное место позади толстошеих племянников, возвращаясь к излюбленной стойке аиста, и медленно перевожу взгляд на вечереющие окрестности. За балюстрадой веранды пологими зелеными увалами опускается выпасной луг, тянется до самого сосняка. На жесткой сорной траве пасется десятка два овец — медлительно жуют в желтоватом свете, за ними по пятам ходит овчарка колли и маленькая кривоногая пастушка негритянка. Еще ниже, совсем вдалеке, где луг от хмуро темнеющего леса отделен бревенчатой гатью, я вижу порожний фургон, запряженный двумя длинноухими мулами — это их последняя за день ходка от лабаза к лесопилке, при которой есть и мельница. На козлах негр в желтой соломенной шляпе набекрень. Пока я смотрю, он все пытается почесать спину: сперва снизу, от пояса ужом пробирается левая рука, потом крюком через плечо правая напрасно тянется черными пальцами, пытаясь достать до очага несносного зуда. В конце концов он, пошатываясь, встает на ноги и, не останавливая мулов, тяжелой поступью влекущих тряский, кренящийся фургон вниз по склону, чешется по-коровьи — вниз-вверх спиной об угловой шест навеса.

Почему-то меня это зрелище донельзя развеселило, и я вдруг замечаю, что хихикаю себе под нос, хотя и не так громко, чтобы заметили белые господа. Бегут мгновения, а я все смотрю на телегу, как она, раскачиваясь, плывет вдоль опушки леса, — ее возница опять сидит,

стук копыт, скрип колесных осей будто приблизился, потом вновь стал отдаленным, это мулы с телегой перевалили мостик, заворачивают вдоль топкого нижнего края мельничной или, лучше сказать, заводской запруды, по гладди которой величаво и беззвучно скользят два белых лебедя, и, наконец, фургон, уже в лесной тени, исчезает за белым силуэтом лесопилки с ее монотонным медленным вжиканьем железа по терзаемой древесине, еле слышно долетающим сквозь густеющий сумрак: *вжи-ик, вжи-ик, вжи-ик*. Колли за это время переместилась ближе, ее внезапный лай пробуждает меня от мечтаний, и я снова здесь, у стола, где весело побрякивает серебро о фарфор, а голос торговца, заворачивая чужим акцентом, вещает:

— ...в этом году опять всякой всячины. Купил, например, очищенной морской соли с восточного берега Мэриленда — только для солений и стола, сэр, исключительно. Ничего лучше на рынке не сыщешь... Так, говорите, вас тут десять человек всего вместе с управляющим и его семьей? И шестьдесят семь взрослых негров? Ну, если вам главным образом для засолки свинины, сэр, пяти мешков, скажу я вам, было бы за глаза достаточно, да и недорого — всего по тридцать один доллар двадцать пять центов...

У меня мысли снова разбегаются. Душой я опять на просторе, где осколками хрустала рассыпается по затихающей округе птичий щебет — дрозды и малиновки, зяблики и сойки, а где-то далеко над низинами затевает междоусобную свару бранчливая рать ворон, и их храбрые настырные крики пробуждают эхо. Происходящее снаружи вновь привлекает мое внимание, и с неослабным наслаждением я направляю взор на зеленый с золотым отливом травянистый склон, где шустро шелестит крылами множество пернатых, а еще рядом цветочная клумба — всего в нескольких футах, уже вся пушистая,

влажная, пахнувшая недавно вскопанной землей. Черная кривоногая пастушка с выпаса исчезла, колли с овцами тоже, после них остался пыльный шлейф, мерцающий в вечернем свете. Воспаряя с токами теплого воздуха, этот шлейф как будто осыпает небо тончайшими опилками. Лесопилка в отдалении все еще жужжит, раздраженным железным вжиканьем заглушая ропот падающих струй водосброса. Переливчатым промельком уходящего дня две огромные стрекозы уносятся вдаль, вольные и прозрачные. *Весна*. Стараясь не выказывать волнения, я чувствую, как все во мне раскрывается, распрямляется и дрожит в истомном предвкушении. Чувство какого-то пробуждения, оживания, сладостного возбуждения пронизывает всю мою плоть. Я слышу свою кровь, она во мне пульсирует, как невиданный теплый океанский прибой. В уме я повторяю слова путешествующего торговца: *буйство весны, половодье, весна, весна*, затем ловлю себя на том, что уже и шепотом это проговариваю, и на моих губах непроизвольно возникает подобие усмешки. Меня, что называется, как пыльным мешком долбануло — стою, а глаза сами собой закатываются, как шарики в лунку. Переполняет необъяснимое ощущение счастья и дразнящего ожидания.

Когда мой слух вновь становится восприимчив к голосу пришлого торговца, я поворачиваюсь и обнаруживаю, что на меня смотрит хозяйка, мисс Нель, беззвучно изображая губами слово “сидр”. Я спохватываюсь, двумя руками поднимаю тяжелый кувшин и опять иду вокруг стола, первыми наполняя бокалы женщин, при этом изо всех сил стараюсь не пролить ни капли. Я весь усердие; пытаюсь даже не дышать, пока край стола не принимается кружить и плавать перед глазами. Наконец я у того места, где сидит пришелец; когда я его обслуживаю, он делает некоторый перерыв в своей беседе о коммер-

ции и, сверху вниз на меня глянув, как раз успевает добродушно воскликнуть:

— Ого! Разрази меня гром, если этот кувшин не больше тебя самого!

В том, что эти слова относятся ко мне, я не совсем уверен, а потому я с полным безразличием наливаю сидр, заменяю стакан и продолжаю обход стола.

— А симпатичный, кстати, негритенок, — тоже довольно безразлично добавляет пришлый, но опять я не вижу связи между тем, что он говорит, и собой, пока ко мне, в тот момент стоящему рядом с мисс Нель, не оказываются прямо обращены слова хозяйки, мягко и снисходительно слетевшие с блистающих горних высот, где обитают белые:

— А умница какой, вы не поверите! Нат, ну-ка произнеси какое-нибудь слово по буквам. — Потом опять к пришельцу: — Задайте ему какое-нибудь слово.

Я так и замер; понял, что все глаза устремлены на меня, и сразу сильно забило сердце. Кувшин в моих руках стал тяжелым, как гранитный валун. Пришелец ласково смотрит на меня; его красные, как редиска, щеки сияют благосклонностью, он медлит, думает, потом говорит:

— Как бы ты написал слово “леди”?

Но не успел я ничего ответить, как со смешком вклинился Сэмюэль Тернер:

— Да *нет*, вы уж что-нибудь потруднее!

Путешественник скребет свою ухабистую щеку, по-прежнему весь сияя.

— Ну-у ладно, — тянет он задумчиво, — сейчас сообразим... какой-нибудь цветок, что ли — вот: “страстоцвет”.

Я перечисляю буквы этого слова быстро и без труда, но смущен оглушительно, весь дрожу, в ушах шум, ну скорей, скорей бы оно закончилось:

— ...веди, ять, твердо, ер! А вместе будет СТРАСТОЦВЕТЬ!

Смех, сразу возникший за столом, и некоторый звон в ушах заставляют со стыдом осознать, что я надрываюсь, кричу во всю глотку.

— Это, конечно, подход в чем-то неортодоксальный, ересь, скажут многие, — слышу я негромкий голос хозяина; (я возвратился уже на место и стою, взбудораженный, с бешено бьющимся сердцем), — но я убежден, что, чем больше в негре будет развито религиозное и интеллектуальное начало, тем лучше и для него, и для его хозяина, и для общества в целом. Но начинать надо в нежном возрасте, и вот, сэр, в лице Ната вы видите многообещающее начало эксперимента. Конечно, для этого ребенка он начался поздноват, если сравнивать с детьми белыми, но хотя бы так, и то...

Пока он говорит эти не очень-то внятные мне слова, меня понемногу отпускает, уходят паника и неловкость (в равных частях составленные из детской застенчивости и страха при мысли, что может произойти публичный провал), а вместо них, сперва несмело, затем мощным потоком в меня вливается гордость — ну ладно, пусть я крикун, но зато написание слова угадал правильно, это ли не достижение! — так что веселый всеобщий смех я слушал, как шелест лавров, как дань признания. Ни с того ни с сего вдруг тайное удовольствие, доставленное мне моим подвигом, превращается в сладостный внутренний зуд, и, хотя мое отражение в зеркале сконфужено хмурится, а розовые губы сведены будто оскоминой, внутри у меня все трепещет. Жизнь бурлит во мне и буйствует. Я весь дрожу, я в своей стихии. Но вскоре про меня, вроде, забыли, путешественник вновь переводит разговор на свои товары:

— Это плуг Кери, сэр, чугунный, кованный, думаю, скоро он вытеснит с рынка плуги всех других систем. В северных штатах он уже пользуется большим спросом...

Даже когда гость опять пустился разглагольствовать и мои мысли снова разбежались, радость успеха все еще греет меня, и волнами накатывает ощущение довольства и уюта, такое теплое, такое нежное, что хочется плакать. И не уходит ведь! Радость остается со мной, даже когда через опустевший луг от сосняка протягиваются зазубренные трепещущие тени и где-то вдали раздается звук горна, протяжно и печально возвещающий неграм об окончании работы на лесопилке и в полях. Внезапно, как это бывает, когда вдруг прекращается людская свара, разом обрывается надсадное вжиканье и зудящий звон лесопилки, и первое время тишина слышится, словно шум в ушах. Над лугом сгущаются сумерки, в полутьме туда и сюда промелькивают летучие мыши, маленькие, не больше воробья, и в вечерних тенях вдали возникает цепочка негров, поднимающихся по склону с лесопилки к своим хижинам; их черных лиц почти не видно, зато слышны голоса, то громче, то тише — кто-то пошутит, кто-то со смехом отзовется, — бредут, нога за ногу, утомленно сгорбившись после долгого трудового дня. Неразборчиво долетают через поле обрывки их разговоров, звуки усталой возни в потемках: “Ят-тебя, Саймон! ... А, ч-чертов ниггер!.. Вот уж изловлю, дык задам!” Я поскорей отворачиваюсь (почему? что тут ужасного, что стыдного в этой длинной цепочке потных, утомленных людей, отчего это зрелище срывает мне мой ребяческий, теплый, домашний настрой, портит прелесть апрельского вечера?), в последний раз обхожу с кувшином стол, покуда двое других чернокожих из домашней прислуги, Сдобромутр и Фифочка, убирают посуду и зажигают толстые свечи на оловянных подсвечниках, отчего по темнеющей комнате разливается тыквенно-желтое сияние.

Теперь говорит хозяин, стул он отставил назад, большие пальцы обеих рук засунул в проймы жилета. Ему

слегка за сорок (точнее, ему стукнет сорок три в полшестого утра на двенадцатый день нынешнего июня, как утверждает кто-то из тех старых домашних слуг, что знают о жизни белых хозяев больше, чем те знают о себе сами), но кажется он старше — впрочем, может быть, только мне, потому что трепет, который он мне внушает, вынуждает меня приписывать ему как физическое, так и духовное величие, свойственное патриархам и пророкам, наподобие того, что исходит от тех картинок в Библии, где изображен Моисей на горе или старец Илия, бородатый и ликующий при событии Преображения Господня. Пусть так, но эти складки у рта и впрямь старят его; видно, трудился тяжело, отсюда и морщины, и белые как заячьи хвосты (да еще и торчащие такими хохолками) кончики бакенбардов. “Страшненький — ужас, похож на выхухоль”, как-то сказала о нем моя мать и, возможно, была права: черты лица, длинного как у лошади, у него слишком резкие, нос чересчур большой, да еще и загнутый. К тому же, как заметила однажды моя мать, “Бог совсем не дал маса Сэму подбородка”. Ну что ж делать, коли не дал. Зато глаза у него добрые, умные, так и светятся; да и сила еще видна в его лице, уравновешенная удивительно мягкостью, из-за которой постоянно кажется, что он вот-вот улыбнется этак печально. На тот момент мое чувство к нему очень близко к тому, какое пристало испытывать к божеству.

— Ну что, передвинемся на веранду? — говорит он пришельцу, отставляя стул. — Обычно у нас где-то около восьми на покой расходятся, но сегодня мы разопьем с вами бутылочку портвейна, а заодно составим список всего, что мне нужно. — Его рука легонько прикладывается к плечу торговца, который в этот момент встает. — Вы уж простите, может, это во мне говорит предубеждение, — продолжает он, — и я очень нечасто такое выска-

зывают, но для бродячего торговца, которому приходится столько мыкаться по белу свету, товар у вас на удивление приличный. А в таких местах, как наши, когда до всех центров коммерции столь далеко, это, сэр, сами знаете, чрезвычайно важно. С прошлого года я многим из своих друзей рекомендовал вас.

Пришелец сияет от удовольствия; посапывая, раскладывается с женщинами и младшими мужчинами, затем идет к двери.

— Что ж, спасибо, сэр, — начинает он, но голос хозяина перебивает — не грубо, не бесцеремонно, а просто как бы в продолжение фразы:

— Чтобы они были так же довольны, как и я в прошлом. А завтра, значит, куда, говорите, направитесь? В округ Гринсвилл? Тогда вам обязательно надо остановиться у Роберта Мансона на реке Миерин.

Голоса пропадают, и, пока я кручусь у стола, помогая старику Сдобромутру и молоденькой Фифочке убирать посуду, остальные члены семьи встают и неспешно разбредаются коротать недолгое, оставшееся перед отходом ко сну время: двое племянников идут обихаживать готовую жеребиться кобылу, мисс Нель направляется к негритянским хижинам ставить припарки заболевшему ребенку, трое других женщин, трепеща от радостного предвкушения, устремляются в гостиную читать вслух о ком-то, кого они называют “Мармион”<sup>\*</sup>. Потом эти голоса тоже пропадают, и я опять на кухне среди топота грубых негритянских башмаков и острых ароматов дымящейся на плите свинины; вновь я рядом с моей высокой, красивой матерью, всю грохочущей кастрюлями и мисками в пару и в дыму.

---

<sup>\*</sup> Мармион, Симон (ок. 1425 — 1489), франц. живописец. Мастер книжной миниатюры.

— Натаниэль, ты лучше бы отнес в погреб масло, сколько раз повторять! — оборачивается она ко мне.

Здесь я у себя дома, возвратился в свой черный негритянский мирок.

Но и потом, в уже сгустившейся тьме, устроившись на нашем с матерью соломенном тюфяке, я никак не могу заснуть и все складываю, все катаю во рту, как конфету, слово “страстоцвет”. Я обсасываю его и облизываю, шепчу на разные лады, чтобы вновь и вновь ощутить форму каждой буковки, будто они, как волшебные погремушки, висят у меня над кроватью. Лежу, засыпаю, слушаю вечерние звуки: шуршат перьями и неуклюже топчутся в сарае куры, лает далекая собака, а от запруды неумолчно несется страстное кваканье лягушек, бесчисленных как звезды. Бьет в нос запах навоза, могучий, как сама земля. Вот слышались шаги матери — шлеп-шлеп из кухни босыми мозолистыми ступнями, — входит в нашу крошечную комнатенку и ложится в темноте рядом. Почти сразу же засыпает, дышит тихо и равномерно, а я протягиваю руку и слегка касаюсь грубой бумагой сорочки у нее на ребрах — мне надо убедиться, что она действительно здесь. Потом весенняя ночь в конце концов охватывает меня всеми своими можжевельными болотами, жалуется всеми неясными, дремотными приветами, сквозь сон я слышу, как кричит во тьме козодой, и слово “страстоцвет” не сходит с моих губ, даже когда я проваливаюсь в сон — странный, полный намеков, обещаний и несказанной, близящейся радости.

Только такие воспоминания, как это, составляли мне компанию все те несколько дней, что оставались до смерти. Ночь после суда я болел, мучимый какой-то горячей, следующим утром проснулся от холода, руки и ноги были дрожь притом, что я весь плавал в поту, а голова



горела и разрывалась от боли. За ночь поднялся ветер; в бледном, как вода, хмуром утреннем свете вихрь холодного воздуха то и дело врывается сквозь ничем не затворенное окно, принося с собой скрипящую на зубах пыль, сосновые иглы и сухие листья. Я дернулся было звать Кўхаря, хотел попросить одеяло завесить окно, но, подумав, от затеи отказался: мальчишка-то белый, он по-прежнему так меня боится, что вряд ли даже откликнется. Дрожа, я снова откинулся на скамью и впал в лихорадочную дрему, а во сне вновь лежал в той утлой лодчонке и, всей душой исполненный знакомого, хотя и непонятного умиротворения, плыл сквозь предвечернюю тишь по течению широкой солнечной реки к морю. В отдалении слышен был океан — грохот невидимых мощных валов, бьющих о берег. Далеко вверху на скале стоял белый храм, как всегда безмятежный, величавый и одинокий, он купался в солнечном свете, будто в ореоле великой тайны, а я плыл мимо по реке, без страха приближаясь к песчаной косе и бушующему, ревущему морю... Потом видение потускнело, я проснулся, заметался в горячке и снова уснул, чтобы проснуться много позже, днем, и обнаружить, что горячка уходит, что лоб холодный и сухой, а в памяти все не истаивает след чего-то хрупкого и неизъяснимо сладостного, как птичья песнь. Потом довольно скоро горячка вернулась, меня крутило и швыряло волнами кошмаров, в которых я вновь и вновь без конца задыхался...

Мать моей матери происходила из племени Короманти с Золотого Берега; когда шхуна, прибывшая из Нью-Йорта, штат Род-Айленд, в цепях доставила ее в Йоркта-

уи, она была тринадцатилетней девочкой, а когда ее продали Альфеусу Тернеру, отцу Сэмюэля, с аукциона, устроенного под огромным дубом в портовом городишке Гемптоне, она была всего на несколько месяцев взрослее. Я свою бабушку в глаза не видел, — вообще, кстати, не видел женщин Короманти, — но прошли годы и мне рассказали про нее, рассказывали и про других, ей подобных, так что теперь я будто собственными глазами вижу, как много лет назад она сидит под дубом на корточках, уже тяжелая, на сносях, и, задыхаясь от привычного страха, открыв рот, снизу вверх следит за приближением Альфеуса Тернера, выставив напоказ подпиленные зубы и вздувшиеся спиральные татуировки, словно ей в щеки стреляли мелкой дробью, и оставшиеся шрамы еще черней, чем ее черная, как деготь, кожа. Подходит Тернер; кто знает, о чем она в это время думает? Пусть даже на его лице ободряющая улыбка, для нее это оскал злодея, к тому же он такой белый — белый как кость, как череп или как мертвый древесный плавник на океанском берегу, белее, чем зловредные духи предков, что рыщут в африканской ночи. А его голос — ворчание вурдалака. “Хрраашиш! — рычит он, когда трогает ее, проверяя, целы ли руки-ноги, — рь-ппа-аа!” Он-то всего-навсего говорит с торговцем: “Хорошо! — говорит, — прекрасно.” — но она в ужасе, она уверена, что ее съедят. Бедняжка чуть не лишается чувств. Падает с чурбака, на котором ее демонстрировали, ничего уже вокруг не видит и мысленно устремляется в пространстве и времени вспять, в джунгли, в воспоминания теплого и мирного детства. Простертой на земле, ей речи дилера кажутся шаманским бормотанием — нечленораздельным кваканьем, относящимся к ритуалу забоя и разделки туши.

ки чего стоят! Смотрите, прямо как литые! Бьюсь об заклад, она принесет мальчика весом фунтов десять!

Однако тем же летом родилась моя мать (прилюдно зачатая каким-то неизвестным черным папочкой все на том же невольничьем судне), причем на лесопилке Тернера всем было известно, что моя юная бабка, ко времени родов уже сошедшая с ума от непостижимой для нее неволи, разрешившись моей матерью, в припадке безумия чуть не разорвала дитя на куски, едва ей его показали.

Пожалуй, если бы бабка сразу не умерла, впоследствии я стал бы у Тернера лесорубом или работал бы в полях, а может, на лесопилке, что лишь самую малость лучше. Однако благодаря бабке мне повезло, я оказался причислен к дворне. Бабушка умерла через каких-нибудь шесть-семь дней после рождения матери: перестала есть и впала в ступор, из которого так и не вышла до самой смерти. Говорят, ее черная кожа, ставшая серой как зола, так обтянула еще живой скелет, что детское тельце (ибо кем же она еще и была, если не ребенком!) стало хрупким и невесомым, как побелевшая сожженная хворостина, готовая рассыпаться в прах при малейшем прикосновении. На негритянском кладбище за лесопилкой многие годы стояло кедровое надгробье с глубоко врезанной надписью:

“Тиги”  
СКОНЧ. В 13 ЛЕТ  
УРОЖД. ЯЗЫЧНИЦА  
УМ. ВО ХРИСТЕ  
Р.Х. 1782  
R.I.P.\*

---

\* R.I.P. — Requiescat In Pace — покойся в мире (*лат.*).

Негритянское кладбище устроено на краю луга, где заросли можжевельника и ладанной сосны делали невозможными ни покос, ни выпас. От остального луга кладбище отделяет простенькая изгородь из жердей, с самого начала хлипкая, к тому же давным-давно по окончательной ветхости развалившаяся; многие надгробья тоже повалились и тлеют, смешиваясь с глинистой почвой, а те, что еще стоят, с весны тонут в зарослях буйной грубой зелени — конского щавеля, непролазного мышиноного горошка и шипастого “дурмана вонючего”. А летом и кустарник зеленеет так пышно, что не найдешь и холмиков, под которыми лежат упокоившиеся в мире негры. В бурьяне с тихим чешуйчатым треском шустрят кузнечики, иногда и полоз, мелькнув, скользнет в зелени, а в августе стоит такой тяжелый спертый дух, будто дышишь, уткнувшись носом прямо в ком разогретой травы.

— И что ты там все ищешь на кладбище, Натаниэль? — ворчит мать. — Совсем это не то место, чтобы детям ходить там, выискивать.

Что верно, то верно: в большинстве своем негры в суевенном страхе обходят это место, в чем отчасти и кроется причина того, почему здесь все так неприглядно и неухожено. (А еще, по недостатку времени, внимание к мертвым все-таки требует хоть какого-никакого, но досуга). Однако во мне где-то все же сидит глубоко запрятанный дикарь, и этой дикарской частью своего существа я чувствую очень тесную связь с бабушкой; пару лет меня тянуло на кладбище просто неудержимо; частенько в самую жару после полдника я сбегал украдкой из господского дома, словно что-то разыскивал среди покосившихся треснутых могильных столбиков и табличек с их переключкой покорности и смирения, с именами, похожими на прозвища околевающих спаниелей — “Пик”, “Лулу”, “Желтый Джейк”, — а может, я еще тогда пытался извлечь из всего этого какой-то урок,

научиться какому-то пониманию смерти. Все-таки довольно странно, когда в тринадцать лет бродишь в раздумье по месту последнего упокоения твоей бабки, которой на момент смерти тоже было тринадцать!..

Но следующей весной все кончилось. На опушке леса отвели место под новое кладбище, но прежде всего — а как же, старый-то участок уже осушенный, ровный, да и добираться недалеко! — прежде всего этот крошечный клочок почвы надо было срочно распахать под сладкий картофель. Я был в полном изумлении от того, как быстро кладбище исчезает. Понадобилось меньше половины утра, чтобы бригада черных работников с бочонками скипидара и горящими пучками сосновых веток сожгла все — и посеревшие от непогоды кедровые таблички, и сухой подлесок — все с треском и свистом пожрало пламя, выбрасывая тучи огненных мух; мыши-полевки разбежались, остывающую золу разровняли мулы с бороной-волокушей, и ничего не осталось ни от этой “Тиги”, ни от всех остальных — ни следочка, ни намек на их натруженные руки, на их сны, смех, тяжелые шаги, работу по уши в грязи, на пение и душевную смуту всех тех безымянных, позабытых невольников, чей прах и разрозненные кости в общей подземной неразберихе смешались с бабушкиными и понуждаются теперь способствовать плодородию. Зато когда я услышал голос, — вдруг оказалось, что в клубах дыма стоит негр, старый вислогубый пахарь с покатыми плечами, он в ухмылке обнажил пустые синеватые десны и пробасил, будто у него рот полон каши, с тем выговором, который я уже научен был презирать: “Ш-шо, старикашки, буум теперь у вас на брюхе, понимаашь ли, картоху рóстит!” — когда я услышал этот голос, я чуть ли не впервые в жизни начал осознавать, что чернокожие по-настоящему нужны вовсе не белым, нет, они нужны таким же нигерам, самим себе.

Из-за того, что мать с младенчества осталась сиротой, Альфеус Тернер взял ее из негритянской хижины в свой дом, где одна за другой черные тетки и бабки выхаживали ее, учили начаткам английского и приличных манер, там она выросла и стала сперва судомойкой, а потом поварихой, к тому же хорошей. Ее звали Лу-Энн, она умерла, когда мне было пятнадцать, от какой-то опухоли. Но это я забегаю вперед. Здесь важно то, что благодаря тем же обстоятельствам, из-за которых моя мать воспитывалась в доме Альфеуса Тернера, я и сам с течением времени стал служить при доме. Удача? — или беда? — смотря по тому, как расценивать то, чему суждено было произойти в окрестностях Иерусалима многие годы спустя.

— Что ты пристал ко мне — папа, папа! — отмахивается мать. — Думаешь, я знаю, куда он убежал? ...Как его зовут? Да я же тебе двадцатый раз повторяю: его зовут Натаниэль, так же, как тебя. Я тебе это говорила уже, и отстань от меня со своим папой! Когда он сбежал? Когда я последний раз его видела? Да Господи, Боже мой, деточка, это же все так давно было, я уже ничего и не упомяну. Погоди, погоди. Так, маса Альфеус — он одиннадцать лет как помер, пусть земля ему будет пухом. По-мойму, это было где-то через год, твой папочка уже наверно год тогда за мной ухаживал. А какой он парень-то был из себя видный! Маса Альфеус купил его в Питерсберге — на лесопилке нужен был работник с бревен кору сдирать. Но твоего папочку да на такое место ставить, где тупые ниггеры? Не-ет, он у нас умница! А как собой хорош, глаза ажно светятся, а улыбнется — это все, деточка, его улыбкой можно было овин поджечь! Не-ет, это не по нем было — тупо горбатить, и маса Альфеус взял папу в господский дом, поставил служить при буфетной. Да-да, он был помощником

камердинера; когда мы с ним первый раз познакомились, он помогал Сдобромутру. Где-то за год это было перед тем, как помер маса Альфеус. Мы с твоим папочкой тогда прямо здесь и жили, целый год прожили — вот как раз в этой комнате...

— Да перестань, ну сколько же можно пытаться меня, детка! Ну откуда же я могу знать, вот куда вот именно он убежал! Я в этих делах ничего не смыслю. Ну да, осерчал, а то нет! Чего ж ему, негру чернокожему, куда-то бечь, коли он не осерчал! На что осерчал? А я знаю? Я в этих делах не понимаю ничего. Ну хорошо, ну ладно, коли и впрямь хочешь знать — скажу: это все из-за маса Бенджамина. Я тебе говорила, когда маса Альфеус помер, хозяином стал маса Бенджамин, потому как он старшим был из сыновей. На пять лет он был старше маса Сэмюэля, ну вот и стал всему хозяином, а как же — и дом стал его, и лесопилка его, и земли, и негры все, и всё-всё. Вообще-то маса Бенджамин не обижал нас, добрым был хозяином, вроде маса Альфеуса, только молод он был, не умел, как папаша его, говорить с ниггерами. Не то что он такой уж грубиян был или злодей какой, вовсе нет, просто он... ну не знал он подхода, не умел поговорить душевно — ну, то есть когда белый с черным. В общем, однажды вечером твой папочка прислуживал у стола и что-то такое сделал, что маса Бенджамину не совсем понравилось, он взял и наорал на твоего папочку. А тот не привык, чтобы на него в таком тоне орали, так он берет, поворачивается, этак все еще улыбаясь (а твой папочка — он такой был, улыбчивый!), и *отвечает* — это хозяину-то! Да еще передразнивает. Маса Бенджамин сказал что-то вроде “Натаниэль, у тебя вилки грязные, так тебя разэтак!” А твой папочка в ответ: “Ну и что, так тебя разэтак, ну и пускай грязные!” Прямо в лицо маса Бенджамину, и улыбается как ни в чем не

бывало. Ну, маса Бенджамин тогда разбушевался, что не удержишь: из-за стола выскакивает, прям при мисс Элизбет, и мисс Нель, и маса Сэмюэле, и при всех при детях — дети ихние тогда не очень были большие, примерно как ты сейчас, — и ведь что удумал: хватить папочку кулаком в зубы. Все. Больше он ничего ему не сделал. Один раз. Хватить его кулаком по роже, и сел опять. Что за столом началось, все повскакали, а я как раз в тот момент в дверь заглянула, маса Сэмюэль на маса Бенджамина злой стал, кричит: “Бог свидетель, он обнаглел, но не надо ж его было так-то вот, кулачишшем!”, и все в таком духе, ребенки плачут, особенно которые девочки — те точно. Потому что маса Альфеус — он не любил такого, чтобы негров били, ну, то есть не злоупотреблял, а если уж когда придется, так аккуратно, чтобы подальше, где-нибудь в лесу, не на глазах ни у кого чтоб ни из белых, ни из черных. Так что евоные домашние такого не видали, чтобы черных били. Но это уже было все папочке невдомек. Он сразу как оттуда бросился — и ходом через кухню, а все с той же улыбкой, и только махонькая струйка крови на губе, да сразу прям сюда в комнату, где мы жили — да-да, вот прямо сюда, в эту комнату, деточка! — взял какой-то еды в мешок и тем же вечером только его и видели...

Куда он отправился? Да ведь кто ж его знат? Говоришь, ты пойдешь, найдешь его? Господи, деточка, никому уже не найти этого негра — теперь, когда столько лет прошло. Что-что? Неужто, говоришь, он не сказал ничего? Ну почему — сказал, сказал. И каждый раз, когда я это вспоминаю, у меня сердце пополам разрывается. Сказал, что ни за что не стерпит, чтобы его по лицу били. *Ни от кого* не стерпит! Гордый был чернокожий, нечего сказать, нашего брата немного таких наберется. И такой везучий, ровно у него целая сумка кроличьих

лапок с собой. Мало было таких негров, чтобы сбежали да не попались бы. Только ведь — где же мне знать? Говорил, пойдет в Филадельфию, штат Пенсильвания, заработает много денег, вернется и выкупит и меня, и тебя на свободу. Да ведь — Господи ты Боже мой, дитятко! Что Филадельфия, что Пенсильвания — говорят, это ужас как далеко, а я даже не знаю, пошел ли он туда, нет ли.

Примерно в двух сотнях ярдов от нашей с матерью комнаты, в конце дорожки, проходящей через выпас, стоит уборная на десять дыр, предназначенная для двора и работников лесопилки, чьи хижины находятся внутри огороженной усадьбы. Прочно сколоченная из дуба, она поставлена на крутом краю огромного, поросшего лесом оврага и разделена дощатой перегородкой надвое: пять дыр для женщин и маленьких детей, пять для мужчин. Вследствие того, что от полей и лесопилки господский дом отделен и все, что делают дворовые негры, происходит в этом замкнутом мирке, эта уборная — одно из немногих мест, где моя повседневная жизнь пересекается с жизнями тех негров, о ком я уже приучен думать как о людях низшего разряда — отребье, сброд, хамье неотесанное, почти дикари. Потому что даже сейчас, мальчишкой, я уже презираю и чужаюсь их, брезгаю этой черной шушерой, обитающей за пределами ближнего окружения господского дома — этим безликим и безымянным быдлом, которое на расвете исчезает во чреве лесопилки или в полях за лесом, а на закате возвращается вереницей теней в свои хижины, как куры на обрыдлый, но привычный насест. В основном такое к ним отношение я перенял от матери. Ей казалось кошмаром, что при всем удобстве ее сравнительно благополучной жизни она должна регулярно навещать пресловутый край оврага, где прихо-

дится якшаться с этими горластыми, со сбродом, который настолько ниже ее.

— Безобразие, — возмущенно жалуется она Фифочке. — Мы же при доме, мы люди другого *уровня*! А у нас отхожего места отдельного нет, стыд, позор! Эти пахари, кукурузники эти — они же форменные *скоты*. Детям позволяют на сиденья писать, и ни один даже крышку за собой не закроет, вонища до небес. Я бы лучше со свиньей в уборной рядом села, чем с этими хабалками кукурузными! Мы-то, которые при доме, мы ведь *приличные*!

Столь же разборчивый, я избегаю утренней толчеи, приучив кишечник откладывать все позывы на более позднее время, когда можно рассчитывать хоть на какое-то все-таки уединение. Вокруг двери в мужскую половину (куда я вхожу с пятилетнего возраста) земля утоптана и превратилась в черную глинистую плешь, до блеска отполированную бесчисленными посетителями, обутыми и босыми, и каждый день на ней новый орнамент, в котором ломаные линии каблучков перемежаются вкрадчивыми овалами пяток и босых пальцев. Дверь ни крюка, ни щеколды не имеет (как все двери во все места, куда ходят негры), это задумано специально, чтобы негры зря не болтались и не прятались; на кожаных петлях она легко распахивается наружу, при этом те, кто присел напротив, оказываются на виду, хотя в какой-то мере их скрывает царящий внутри полумрак, который был бы гуще, если бы не солнечные стрелы в щелях между досками. Для меня здешний запах привычен — смрадный, едкий, дуплетом бьющий в нос и в рот, удущающий как удавка, — но фекальная составляющая в нем частично приглушена негашеной известью, так что, по мне, он не столь отвратен, сколь привязчив — преследует потом сладковатой такой отдушкой, будто ты в тухлой болотине искупался. Я поднимаю одну из овал-



ных крышек и сажусь на сосновую доску над дырой. Мой зад и бедра снизу заливает свет со склона оврага, я бросаю взгляд вниз на обширное бурое пятно, припорошенное белой негашенкой. Сиж, сиж, минуту за минутой, блаженствуя в покое прохладного утра. Где-то в лесу заводит песнь пересмешник; она журчит, струится ручейком, стихает, возникает снова, чистая и неисследимая, течет сквозь переплетения винограда и жимолости, забирается под деревья, в тень, в прохладу, в гущу плюща и папоротника. А внутри, в простреленном солнцем сумраке, я неторопливо, с приятностью облегчаюсь, одновременно разглядывая паука размером с ягоду ежевики, плетущего в углу потолка толстую сеть, которая при этом содрогается, растягивается и трясется, млечно-белая в световом блике. Тут сквозь стены уборной я слышу отдаленный крик — это с крыльца господского дома меня призывает мать.

— Натáниэль, — кричит она, — Эй, Натáниэль! Натаниэ́ль! Негодный мальчишка! Ну-ка *быстро* сюда иди!

Что ж, я валяю дурака слишком долго, а ей надо, чтобы я был под рукой, носил воду на кухню.

— Натаниэль Тернер! До-мой!

Благостное настроение подпорчено, утренний ритуал близится к концу. Сую руку в порванный мешок на полу — в джутовый куль, полный стержней от кукурузных початков...

Вдруг что-то меня снизу начинает жечь; зад, яйца жжет огнем, я с воплем подпрыгиваю, хватаясь за свои опаленные задние части, а из дыры всплывает грязно-белый клуб дыма.

— Ай! Ай! Проклятье! — вскрикиваю я, но главным образом от неожиданности — неожиданности и обиды. Потому что не успел я это выкрикнуть, боли уже, считай, почти что нет, я заглядываю вниз, в дыру, и обнару-

живаю там ухмыляющуюся светло-коричневую физиономию мальчишки ровесника. Он чуть в стороне, стоит на краю не просыхающей на дне оврага слякотной лужи, и в руке у него горящая головня. Другой рукой он в корчах веселья хватается за живот и хохочет — залиvisto, громко, неудержимо. — Вот, догоню, Уош, сукин ты сын! — угрожающе выкрикиваю я. — Догоню, душу черномазую выну! — Но ярость моя напрасна, Уош все равно хохочет, скорчившись в кустах жимолости. Это он уже третий раз за весну меня подавливает, и мне некого винить за такое мое унижение, кроме себя самого.

#### ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИСТЕРА ГАДМЕНА

*предлагается публике в легких для чтения беседах  
между мистером Мудристером &  
мистером Понимайстером*

*Мр. Мудристер.* Доброго утречка, дорогой соседка, мистер Понимайстер; что-то вы нынче в столь ранний час гуляете? Да и лица на вас нет, уж не случилось ли что? Не угнали ли ваших мулов? Скажите мне, что с вами?

*Мр. Понимайстер.* Уважаемый сэр, и вам доброго утречка! Благодарствую, ничего у меня покамест не угнали, но тем не менее вы правильно обо мне подумали, ибо у меня, как вы говорите, заботится сердце, сердце волнуется, понеже времена ныне неблагонравны вельми. А вы, сэр, как знают все наши соседи, человек проницательный, рассудительный, уж будьте любезны, прошу вас, скажите, что вы об этом думаете?

*Мр. Муд.* Что ж, думаю, что времена теперь действительно, как вы о них сказали, вельми неблагонравны суть, и таковыми же останутся, если люди не станут лучше; ибо дурные люди делают дурные времена, сэр; когда

же, паче чаяния, люди изменятся, настанут и иные времена. Пока грех в силе, пока столь многие ищут вкушать от плодов его, глупо ждать, что придут благие дни...

У негритенка жизнь неописуемо скучна. Но за один лишь месяц, летом, когда мне было девять или десять лет, со мной произошли два странных события, и одно принесло мне горчайшее страдание, а другое я воспринял как провозвестие радости.

Август, утро в разгаре, жарко и душно, воздуха не хватает настолько, что пыльные деревья вдоль края опушки безжизненно и недвижимо скукожились, и вжиканье лесопилки кажется смазанным, нечетким, оно словно еле пробивается сквозь дрожащие, как студень, волны жары, под которыми, исходя паром, лежит земля. Высоко в синем небе над болотами, косо распластанные, кружат десятки канюков: то летят безо всяких усилий, то вдруг срываются камнем вниз, а я время от времени поднимаю взгляд и слежу за их угрюмым продвижением по небу. Сажу на корточках в тени пристройки об одной маленькой смежной с кухней комнатенке, где мы с матерью живем. С кухни духовито и резко потягивает вареной капустой; полуденный обед когда еще будет, а у меня уже от голода живот подвело. Хотя нельзя сказать, чтоб я был истощен (быть сыном поварихи, как непрестанно твердит моя мать, “для негритенка самый счастливый удел на свете”), однако я, похоже, все время на грани голода. Надо мной кухонное окно, на подоконнике в ряд лежат дыни, шесть штук желтых шаров, они там в тенечке “доходят”, недоступные, как золотые слитки. Я вперил в них тяжкий взгляд, в нем такая алчба, аж до слез, но я сознаю, что, стоит только к одной из них прикоснуться, и я погиб, причем конец мой будет ужасен. Однажды я уже стащил горшок с простоквашей, и

мать задала мне такую трепку, что я потом не знал, каким местом на стул присесть.

Я обязан сидеть тут и ждать у двери, а когда надо, принести воды или добыть что-нибудь из погреба, и вообще делать, что мать велит. Сегодня у меня легкий день, да и вообще сейчас в работах временный застой: кукуруза трудов уже не требует, ждет уборки, да и лесопилка жужжит вполсилы. В такие периоды затишья братья Тернеры завели обычай каждый год с женами и детьми уезжать в Ричмонд, на неделю или около того оставляя хозяйство на руках управляющего. Поскольку в отсутствие хозяев готовить матери надо только на нас самих да на домашнюю прислугу — Фифочку, Сдобромутра, Ткачиху и Симпампушку, — время сразу останавливается, начинает давить меня, скука гвоздем сверлит дыру в голове. Тут ничего необычного нет — негритенку, которому отказано в радостях образования, делать-то ведь, по большому счету, нечего — то есть *вообще нечего*: книг он не читает, играм настоящим не обучен, для работы он до двенадцати лет слишком мал, так что существование негритянского дитяти исполнено той же скуки, что у годовалого мула на пастбище — впитывай солнышко, ешь, наращивай мышцы, и все это в полном неведении того, что скоро тебя на всю жизнь образдят, наденут хомут, цепи и постромки.

К тому же я еще и одинок необычайно, поскольку господские дети, с которыми я мог бы, вообще-то, и играть, и водить компанию, все значительно старше меня, и они либо в школе, либо помогают вести дела на плантации; в то же время другие негритянские ребяташки для меня чужие — ведь они дети негров с полей и с лесопилки, тех, кого чурается и презирает моя мать. Даже от Уоша (сына одного из двух негров-кучеров, Абрагама — чуть ли не единственного здешнего раба, на которого

возложена какая-никакая ответственность) я, едва подрос, немедленно отдалился, несмотря на то, что отцовское положение ставило его все-таки чуточку выше детей пахаря с кукурузного поля. Лет в шесть-семь мы вместе предавались примитивным играм — лазали по деревьям, рыли в крутых откосах оврага пещеры, раскачивались на лианах, которые во множестве свисают с ветвей на опушке леса. Выпятившись на краю оврага, писали, соревнуясь, кто дальше. Однажды стояли на тенистой поляне у болота и, растопырив тощие ручонки, нарочно мучились, наблюдая, как полчища жирных комаров упиваются нашей кровью и красными виноградинами падают, в конце концов, наземь. Мы строили из грязи крепость, а после голышом возились в жидкой глине; высохнув, она покрывала наши тела светлой коркой на манер побелки, и мы вопили от дикой радости, что так похожи на белых. Однажды до того расхрабрились, что принялись воровать спелую хурму с дерева, что позади хижины Уоша, но нас на месте преступления поймала мать Уоша (она была светлая, родом из Вест-Индии и укладывала волосы вокруг головы кольцами, будто у нее там вьются мокрые черные змеи), и нам задали такую порку ореховым прутом, что на ногах выступили рубцы. У сестры Уоша была кукла, которую Абрагам ей сделал из джутовой мешковины; ее голова была мраморной — из старой треснувшей дверной ручки. Изображала ли она белое дитя или негритенка, неясно, но мне она казалась чудом; помимо старого треснутого деревянного волчка, подаренного мне на Рождество одним из юных Тернеров, то была первая запомнившаяся мне игрушка. В серые зимние дни, когда с небес сыпал дождик, мы с Уошем сиживали в курятнике и заостренными палочками чертили на беловатой, не совсем высохшей корке помета всякие разные узоры. На какое-то время это стало любимой

моей игрой. Я рисовал прямоугольники, круги и квадраты и поражался тому, что если два треугольника определенным образом один на другой накладывать, то получается странная звезда, а ведь я ее уже видел, и не единожды, потому что, заходя с матерью в хозяйскую библиотеку, не противился любопытству и всякий раз смотрел картинки в огромной Библии:



Вновь и вновь я выводил этот узор на обызвествленном, горьковато пахнущем холодном полу курятника, в пыли и помете; я проковырял их сотни, этих переплетенных звезд, не обращая внимания на Уоша, который ерзал, вертелся, недовольно бубнил себе под нос: ему быстро надоедало, ведь он не мог нарисовать ничего, кроме бессмысленных загогулин.

Но то было лишь подобие игры, зачаточное, не требующее мозгов, так играют и глупые котята. Став старше, я волей-неволей начинаю понимать, что Уош почти не имеет запаса слов для разговора. А я живу с белыми бок о бок и впитываю их язык каждодневно. Неустанно их подслушиваю — говор, восклицания, даже манеру смеяться, и все это без конца вибрирует, звучит в моем воображении. Мать уже дразнит меня за мое попугайское подражание белым; дразнит — но с гордостью. Уошу вняты другие звуки — даже сейчас я это понимаю — голоса негров, неуклюже пытающихся одолеть язык, которому их не учат, которого они не знают, язык, остающийся чуждым и несподручным. Из-за обедненного, ломаного языка то, как Уош изъясняется, начинает казаться мне бессмыслицей, детским лепетом, таким же путаным, как мысли в его голове; и постепенно, сам себе не отдавая в этом

отчета, я уплываю прочь от бывшего приятеля, все глубже ухожу в свое молчаливое, не дающее ни на миг расслабиться мучительное и непомерное одиночество, а он остается позади, недоразвитый и позабытый.

Пока я не могу еще прочесть “Жизнь и смерть мистера Гадмена”, даже названия не прочту, вдобавок обладание этой книгой пугает меня, потому что я украл ее, но в то же время образ книги как таковой преисполняет меня вожделения, и при мысли о ней у меня холодеет в груди. (Хотя радостей чтения я сподобился поздно и до сих пор не умею читать “правильно”, грубые очертания простейших слов я усвоил еще лет с шести, когда Сэмюэлю Тернеру, хозяину педантичному, аккуратному и организованному, вконец надоело, что крахмал путают с мукой, корицу с мускатным орехом и наоборот, и он повелел снабдить ярлыком каждый ящичек и коробочку, бочонок и банку, каждый мешочек и кувшинчик в просторном кухонном погребе, куда мать гоняла меня по сто раз на дню. Ему как-то не приходило в голову, что неграм, ни один из которых все равно читать не умеет, невдомек будут все эти выведенные красной краской иероглифы; все равно Сдобромутру придется на пробу сунуть коричневый палец в бочонок, хоть на нем и написано четко и ясно: “ПАТОКА”, причем и это не спасет от оплошностей, все равно к чаю нет-нет да и подадут вместо сахара соль. Тем не менее такая система тешила в Сэмюэле Тернере тягу к порядку, а мне, хотя моего существования в то время он еще не замечал, все эти аккуратные буквы, отчетливо различимые в холодном погребе при свете масляной лампадки, послужили первым и единственным букварем. Скачок от МЯТЫ, СЕЛИТРЫ и ГРУДИНКИ к “Жизни и смерти мистера Гадмена” огромен, однако, когда вся твоя литература это сотня табличек в темном погребе, возникает одновре-

менно и пресыщение, и разочарование, и такое обрушивается желание занять *книгу*, что страх по сравнению с ним — ничто. Так-то оно так, но все равно случай произошел неприятный. В библиотеке Сэмюэля Тернера, куда мама отправилась за новым серебряным черпаком, книги в шикарных кожаных переплетах, том к тому, ряд к ряду стояли за проволоочными сетками, запертые, как звери в клетке. Войдя вместе с нею, в то утро я проболтался там достаточно долго, и мой взгляд привлекли два почти одинаковых на вид и по размеру тома, лежавшие вместе на столе. Открыв один из них и увидев, какое там изобилие, *кишение* слов, я испытал уже знакомое жадное возбуждение, пронзившее холодом все нутро, и страх перед ним отступил, так что в тот же день чуть позже я вновь прокрался в библиотеку, взял эту книгу, прикрыв мешком из-под муки, а ту, что была с ней в паре, оставил — она, как я узнал впоследствии, называлась “Кладезь благодати”. Как я с замиранием сердца и ожидал, об исчезновении книги заговорили по всему дому. Впрочем, противу ожидания, я не очень-то испугался — видимо, инстинктивно сообразил, что, хотя белые совершенно справедливо подозревают ниггеров в склонности тащить все, что не прибито гвоздями, им никогда не придет в голову винить негра в покраже книги.

Все утро, сидя на корточках в тени кухни, я с вожделением думаю о “Жизни и смерти мистера Гадмена”: хватит ли у меня храбрости добыть книжку оттуда, где она у меня припрятана, и сумею ли я расположиться для чтения так, чтобы меня не поймали. В результате встаю и — бочком, бочком — туда, где лежит книжка. Я положил ее под дом — частично он над землей приподнят — в темное, похожее на полку, углубление над одним из огромных дубовых лежней. Там в сумраке шевелятся пау-

ки, а где чуть посветлее, в бледном мельтешении прозрачных коричневатых крылышек сотнями роятся летучие муравьи. Укрытая все тем же мучным мешком, “Жизнь и смерть мистера Гадмена” покоится в самой тьме. На четвереньках я ползу яра, другой, протягиваю руку и снимаю мешок, потом задом, задом — ближе к наружной стене дома: там светлее, там солнце потоком льется на сырую голую землю. Здесь я разворачиваюсь и усаживаюсь, скрестив ноги. Открываю книгу, и солнце так отсвечивает от страницы, что больно глазам. Прохладно, пахнет сыростью и папоротником, над ухом звенят комары, и я начинаю многотрудный путь в необжитую, непонятную страну, где черные и невразумительные, непомерной длины слова распускаются подобно ядовитым цветам. Беззвучно шевеля губами, вожу по строчкам дрожащим пальцем. Длинные слова бесформенны, полны загадочных буквосочетаний, мрачны и бездонно непостижимы, как могила, они препятствуют моему продвижению, подобно завалам из бревен и валунов; короткие слова не лучше — они тверды, как орехи гикори. Отчаянно и поспешно я бьюсь над разгадкой, выискивая хоть что-нибудь наподобие родных и сладостно знакомых бирок: САХАРЪ, ИМБИРЪ, ПЕРЕЦЪ КРАСНЫЙ, ЧЕСНОКЪ, ЛУКЪ РЪПЧАТЫЙ.

Вдруг шаги: кто-то топает по тропинке от негритянских хижин; я сразу заползаю глубже под дом, затаился, веду наблюдение. Это черный кучер Абрагам. Коренастый, кряжистый негр, очень темнокожий, в зеленой хлопчатобумажной рубаше, которая дана ему как знак власти и величия; потев на свирепой жаре, он поспешает к господскому дому, на его каменном лице застыла суровость и негодование, ноги в грубых сапогах попирают землю всего в нескольких дюймах от того места, где лежу я в своем укрытии, затем они бухают по ступень-

кам заднего крыльца и — на кухню. Время идет, я ничего не знаю. Вскоре я не выдерживаю, крадучись вылезаю опять туда, где солнечная полоска, собираюсь было приниматься за чтение, и тут сверху, из коридорчика между кухней и буфетной доносятся голоса. Абрагам говорит с матерью; голос сдавленный, взбудораженный, строгий.

— А ты бы лучше наоборот, — говорит он, — лучше бы наоборот, Лу-Энн. Он негодяй первостатейный. Ты имей это в виду! Лучше бы тебе отсюда пока подобру-поздорову убраться.

— Фи! — слышу я голос матери. — Тоже мне шишка на ровном месте. Было дело, выкаблучивался тут однажды, так я его этим котелком — бац по башке...

— Но ты его не видела сегодня! — перебивает ее Абрагам. — Он никогда еще при мне таким не был! И главное, хозяев-то — никого. Говорю же тебе, Лу-Энн, ты что, не понимаешь?

— Фи! Он не будет больше досаждать Лу-Энн. А если будет, то не сегодня...

Я слышу, как они выходят из коридора, по доскам шуршат шаги, и голоса становятся неразборчивыми. Вот умолкли, хлопает открывшаяся дверь, тяжелой поступью Абрагам спускается с заднего крыльца, опять бухает мимо меня сапожищами, из-под которых выскакивают крохотные облачка пыли, и почти бегом устремляется в сторону лесопилки.

При всем моем недоумении, сия тайна волнует меня недолго. Как только Абрагам исчезает за углом конюшни, я вновь на попе подползаю ближе к стене дома, открываю книгу. Склоняю голову над страницей, а мать наверху начинает мести кухню. Я слышу повторяющийся *шурк-шурк* соломенного веника по полу, потом ее голос, такой тихий, что я едва различаю слова заунывной песни.



Смирись, Марта, смирись, Мери,  
Пришел Иисус, замкнул двери,  
Замкнул двери, унес ключик...

Песня отвлекает меня и баюкает, заставляет оторваться на какое-то время от сводящей с ума невнятицы печатных строчек. Я слушаю, как мама поет, и голова у меня медленно склоняется к кедровой свае, а взгляд дремотно устремляется вдаль: отсюда к западу до самых болот разбросаны надворные постройки — сараи и загоны для скота, тогда как в низине друг к другу лепятся негритянские хижины и словно спят на утренней жаре, а над всем этим — задумчивые канюки в терпеливом непростанном парении, но вдруг один сорвется и — камнем вниз, и уже на земле бесшумно бьют распластанные крылья над каким-нибудь отбивающимся несчастным зверьком, который из последних сил выполз на опушку леса навстречу гибели. Невдалеке двое негров с упряжкой мулов без телеги волокут что-то из лесу к лесопилке. Я слышу их смех, слышу бряцанье сбруи, и они скрываются из виду. Опять доносится запах вареной капусты, во мне разрастается голод, но без надежды пропадает. “Смирись, Марта, смирись, Мери”, — поет мама, теперь более отчетливо, но в отдалении; я позволяю векам сомкнуться, и вот уже я будто бы в кухне — это что, та самая, которая мне так хорошо знакома? — и вроде бы Рождество: я слышу, как кто-то из белых барышень (мисс Элизабет? мисс Нель?) радостно возглашает: *С Рождеством! Подарок!* — и я залпом жадно проглатываю ниспосланный свыше сладкий ромовый гоголь-моголь, чем нимало не утоляю голод. Потом Рождество меркнет, и я уже на поросшей жимолостью поляне, дрожащей от басистого надменного гудения пчел. Уш тоже здесь, и мы вместе наблюдаем, как кучка негров с таянками трудится на поле подрастающей кукурузы, которое так и исходит паром.

Похожие на животных, с блестящими от пота, зеркально сияющими под огнедышащим светилom коричневыми спинами, они машут таянками в едином ритме, *чап-чап-чапают* под приглядом черного кучера. Зрелище их бессловесного труда вселяет в меня ужас. Огромный дюжий кучер похож на Абрагама, хотя это и не Абрагам, и вдруг он замечает нас с Ушем, поворачивается, идет к нам. *Бог послал мне двух маленьких негритят*, — улыбаясь, говорит он. — *Бог прислал двух негритят окучивать кукурузу!* Меня охватывает страх. Немо разинув рот, я бросаюсь прочь, проламываюсь через жимолость, несусь, рассекая воздух, будто и нет на моем пути ничего, кроме солнечного переплетения пятен — назад, в укрытие, на кухню, но тут мой бег срывается, я слышу какой-то галдеж и просыпаюсь, объятый новым страхом. Глаза распахиваются настежь, и я вновь на четвереньках с бьющимся сердцем ползу под домом, весь обратившись в слух.

— А ну вон отсюда! — кричит мать. — Вон, вон! Не надо мне тут этих ваших штучек! — выкрикивает она пронзительно, сердито, но в ее голосе слышится страх, а дальше я слов не разбираю — наверху она переходит из комнаты в комнату. Теперь я слышу другой голос — мужской, хрипло рокочущий и вроде бы знакомый, но слова звучат странные, я не могу их понять, хоть и наострил уши, стоя теперь уже во весь рост за углом дома. Мать снова что-то настойчиво требует, опять с оттенком страха в голосе, но мужской голос заглушает ее своим басистым рокотом, чуть ли не рыком. Вдруг голос матери переходит в стон, и долгий жалобный плач оглашает утреннюю тишину, у меня даже волосы на голове шевельнулись. В панике сперва я порываюсь бежать без оглядки, но какая-то неодолимая сила тянет меня к матери; я забегаю за угол, бросаюсь по ступенькам заднего крыльца, распахиваю кухонную дверь.

— Вот так-то, черт возьми, попробуй-ка моего толстого мерзавца, — слышится голос в полутьме, и, хотя я ослеплен, войдя с яркого света, и вижу лишь две смутные тени, борющиеся у входа в кладовку, я уже знаю, кому принадлежит мужской голос. Это белый по имени Макбрайд — зимой его взяли управляющим полевыми работами — раздражительный ирландец с пустым лицом, копной жирных темных волос и сильной хромотой; к тому же он пьяница и бьет негров кнутом, несмотря на запрет братьев Тернеров. Мать все еще стонет, а Макбрайд дышит прерывисто, громко и загнанно, как пес после долгого бега.

Сморгнув, я начинаю видеть яснее и замечаю сразу две вещи: густо пахнущие яблочным виски бутылочные осколки на полу и горлышко той же бутылки в руке Макбрайда, приставленное, как кинжал, к горлу матери. Спिनной она лежит на столе, на нее всем весом навалился управляющий, который другой рукой рвет одежду на ней и на себе самом. Словно прилипнув к месту, я не в силах двинуться. Зазубренное горлышко бутылки падает на пол и рассыпается в мелкие дребезги, похожие на зеленоватый снег. Тотчас мать всем телом вздрагивает, и ее стоны приобретают иную интонацию — становятся какими-то вопрошающе-одобрительными, так что мне уже непонятно, стон это или всего лишь тихое воркование (что-то вроде “а-а? — а-а? — о-оо!”), к тому же голос Макбрайда, хриплый и возбужденный, все заглушает: “Ну вот, красотуля, ну вот, моя киска, получишь *серё-оо-жки*”, и последнее слово переходит в судорожный вздох, при этом он быстро, конвульсивно дергается, а ее длинные коричневые ноги, взлетев вверх, охватывают его сзади, и они оба как единое целое движутся в том странном животном ритме, который мы с Уошем уже раз десять наблюдали, подглядывая в щели негритянских хижин, и который по недомыслию

совершенной невинности я считал то ли игрой, то ли привычкой, то ли придурью — чем угодно, но свойственным исключительно одним только ниггерам.

Бросаюсь вон, бегу куда глаза глядят; желание одно — не останавливаться. Мчусь, поворачиваю за угол конюшни, мимо коптильни, мимо кузницы, где двое древних черных дедов, отдыхающих в тенечке, провожают меня лениво-недоуменными взглядами. Мчусь дальше, мимо овина, все быстрее, быстрее, срезаю через яблоневый сад, вдоль боковой стороны господского дома, мгновенным промельком вижу беловато мерцающую паутину и на бегу обираю с лица ее липнущие, сырые, невесомые лоскутья. Искрой боли босую пятку протыкает камешек, но ничто не может сдержать мой бег; край света — вот куда я устремился. На пути живая изгородь — прорываюсь, вылетаю на полосу выгоревшего на солнце желтобурого луга, над которым стайками трепыхаются крошечные бледнокрылые бабочки, похожие на лепестки незабудок, взмывающие вверх, чтобы не оказаться на моем пути. Мелькая ногами, размахивая руками, с ходу перескакиваю через только что вырытую канаву и опять несусь по ясеновой аллее в сторону проселка, как вдруг резко теряю ход, перехожу на медленную трусцу, которая превращается в быстрый шаг, и вскоре уже тащусь, еле волоча ноги. В конце концов останавливаюсь, глядя в лес, непроницаемой зеленой стеной встающий в заполье. Дальше некуда.

Долгие минуты стою в тени ясеня, успокаиваю дыхание, жду. Жара, безветрие. Вдалеке погромыхивает лесопилка, сюда доходит только неясный отзвук, тихий, я еле его различаю. В бурьяне, шурша, суетятся насекомые, их быстрая беспорядочная работа на слух напоминает распаривание швов. Стою, жду, долго стою, не в силах двинуться дальше, не в силах пошевелиться. Потом, на-

конец, разворачиваюсь и медленным шагом направляюсь обратно по аллее и через лужайку к дому, стараясь, чтобы Сдобромутр, который медленно елозит мокрой тряпкой по полу веранды, не увидел меня; затем осторожно, потихоньку развожу колючие перепутанные сучки и веточки засыхающего, полумертвого кустарника живой изгороди, бочком в рукотворную брешь протискиваюсь и нехотя плетусь через двор к окну кухни.

Когда я уже занял свой тайный пост под домом, кухонная дверь с треском распахивается, на крыльцо, шурясь на солнце, выходит Макбрайд, пятерней проводит по черным спутанным волосам. Чтобы он меня не заметил, я заползаю дальше, наблюдаю. Шурясь и моргая, он другой рукой поправляет широкий оплечник помочей, потом проводит пальцами по губам — неуверенно, удивленно, будто впервые их у себя обнаружил. Потом по его лицу расплзается улыбка — медленная, довольная; нетвердо ступая, он начинает спускаться, промахивается мимо последней ступеньки или, может, цепляется за нее — бабах каблуком в деревяшку! — чуть не падает ничком, но после пары быстрых больших шагов вновь обретает равновесие и, пробормотав “А, ч-черт!”, неуверенно выпрямляется. Но улыбаться не перестает, а в это время из-за угла конюшни выходит Абрагам, и я вижу, что Макбрайд его тоже заметил.

— Абрагам! — кричит он. — Эйб, я тебе говорю!

— Да, сэр!

— Там ниггеры — десять рыл — на нижнем поле червей половинят!

— Да, мистер Мак!

— Дык по домам пусть валят, поэл меня? Скажи им!

— Да, миста-Мак! Буз-зелно!

— Невыносимая жара. Даже для ниггеров!

— Точно так, сэр!

Абрагам разворачивается и поспешает прочь, чернеет потная, прилипшая к спине зеленая рубашка. Ушел; теперь Макбрайд как будто занял все пространство, все поле зрения — громадный, хоть и не очень-то на сей момент устойчивый, стоит, осклабясь, посреди вытоптанного, спекшегося двора, огромный и всесильный в ореоле страшного, хотя и непонятно на чем основанного могущества, и на меня от него веет ужасом. Вид его круглого тяжелого лица, запрокинутого сейчас к солнышку, удовлетворенно-мечтательного, отвратителен мне до тошноты, я остро чувствую свою слабость, униженность, незащитность, и ощущение черномазой моей неполноценности пробирает меня до мозга костей.

— Эк ведь... надо же! — с веселым недоумением восклицает он, добавляет к этому какой-то тихий радостный клич, тут же спотыкается о старую гнилую бадью и с такой силой пинает ее сапожищем, что мелкие обломки разлетаются по всему двору. Испуганно квохчет, улепетывая к сараю, старая упитанная курица, взмывает в воздух табачно-бурое облачко растоптанного в пыль навоза, во все стороны летит куриный пух. — Надо же! — повторяет Макбрайд — восклицает, но как бы потихому, и все, он ушел, хромает уже вдали, где-то на полпути к своему дому, стоящему на склоне несколько ниже. *И-да. Надо же!*

Съежившись, я ползу под домом, вот надо мной кухня, книга закрыта, я держу ее прижатой к груди. Теплый овощной запах готовки по-прежнему густо разлит в воздухе. Над головой слышатся шаги матери, по доскам пола опять шуршит веник, вновь раздается ее голос — полный нежности и одиночества, невозмутимый и спокойный, как и прежде.

Пришел Иисус, замкнул двери,  
Замкнул двери, унес ключик...

А вот другое утро того же месяца: с неба, шумя сотней водопадов, низвергается дождь, западный ветер разносит водяную пыль, сверкают молнии, гремит гром. Опасаясь за сохранность книги, я достаю ее из сомнительной ниши под домом, крадучись взбираюсь по ступенькам крыльца на кухню, прячусь за бочку сидра в буфетной. Снаружи грохочет гроза, а здесь уютно и даже света довольно, в ноздрях сладкий яблочный дух, и я, сжавшись в комок, сижу с раскрытой книгой на коленях. Идут минуты, ноги затекают. Попытки разобраться в муравьином мельтешении слов, как битва с врагом — злонамеренным, неотступным, непостижимым. Распятый на дыбе скуки, я держусь из последних сил, я знаю, что сокровище — вот оно; пусть без ключа не добыть его, оно все равно мое, и, хоть в глазах песочек, а пальцы корявые, я упорствую...

Вдруг прямо над ухом удар, будто гром грянул, я в страхе подскакиваю — уж не попала ли в дом молния! Однако, подняв взгляд, вижу, что это всего лишь тяжелая кедровая дверь буфетной, которую рывком распахнули, отчего помещение залило прохладным желтоватым светом, а проем заслоняет высокая, сутулая, угрожающая фигура Сдобромутра; его морщинистое как сапог, злое лицо с налитыми кровью глазами смотрит на меня возмущенно и негодуя.

— Попался, малец! — говорит он хриплым шепотом. — Попался! Наконец-то я тебя выследил! Это ведь ты спер ту книгу, я сразу так и подумал! — (Откуда мне тогда было знать то, что я понял гораздо позже: он просто завидовал, зависть давала повод подозревать, а подозрение заставляло следить за мной день за днем! Этого старого хрыча, неграмотного простофилю, который жизнь прожил в честном негритянском невежестве, каждый раз, как он подумает о том, что десятилетний негртенок

успешно одолевает премудрости грамоты, охватывал приступ нестерпимой зависти. Это несомненный факт, а начиналось все, видимо, так: он с натугой тащил из погреба бочонок ПАТОКИ вместо бочонка МАСЛА, который велено было принести, я заметил это и указал ему, а на его надменное “Тебе-то откуда знать?” снисходительно ответил, мол, как откуда, а надпись на что? — и он был посрамлен, но запомнил и затаил обиду.)

Не успел я ничего ответить, даже шевельнуться не успел, как Сдобромутр сцапал меня двумя пальцами за ухо, рывком поднял на ноги и уже тащит из буфетной через кухню и по коридору, нещадно выкручивая ухо и натягивая кожу головы. Бессильно брыкаясь, я влачусь за ним с книгой, прижатой к груди. Фалды его сюртука хлопают меня по физиономии; старикан хрипло, возмущенно пыхтит — *уффхуфф, аффхафф*, то и дело изрыгая леденящие душу угрозы: “Ужо покажет тебе маса Сэмюэль, задаст тебе, мерзавцу! Вот увидишь, маса Сэмюэль уже отправит тебя, воришку черномазого, в Джорджию!” Он свирепо рвет мое ухо, но боль ничто в сравнении со страхом, таким всепоглощающим, что в глазах темно. Язык отнимается, я только и могу, что сдавленно подвывать — *хавыыыы, хавыыыы, хавыыыы*. Спотыкаясь, тащимся дальше по темному коридору, мимо высоченных, до потолка, залитых дождем окон, вспыхивающих при ударах молний; у меня так вывернута шея, что в глазах все перевернулось вверх ногами.

— А я знал, дьяволенок ты маленький, знал, паршивец, что это ты ее спер! — шипит Сдобромутр. — Всю дорогу я знал это!

Вваливаемся в главную залу; в этой части здания я никогда прежде не был. Краем глаза вижу люстру с горящими свечами, стены, отделанные глянцевитыми сосновыми панелями, лестницу, головокружительной дугой

уходящую ввысь. Однако все это проходит как-то мимо меня; исполненный ужаса, я толком ничего не воспринимаю, замечаю только, что двусветная зала полна белых господ, здесь почти вся семья — и маса Сэмюэль, и мисс Нель, и две дочери, мисс Элизбет, тут же один из сыновей маса Бенджамина, а вот и сам маса Бенджамин, одетый в поблескивающий мокрый дождевик, приоткрывает парадную дверь и вместе с порывом ветра, принесшим облако водяной пыли, торопливо заскакивает внутрь. Снаружи гроыхает, но я слышу его голос, перекрывающий дробь дождя.

— Вот уж погодка-то утячя! — выкрикивает он. — Зато, Бог ты мой, это хлещут живые деньги! В пруду воды через край!

На миг воцаряется тишина, дверь захлопывается, и я слышу другой голос:

— Что у тебя, Сдобромутр?

Старец отпускает мое ухо.

— Насчет книги, — объясняет он. — Книги — той, что украли. Разбойник, который это сделал, — вот он!

В полуобмороке от страха, я сжимаю книгу обеими руками, и мой голос, над которым я совершенно невластен, исторгает из меня нутряные *хавывыы, хавывыы*. Я бы заплакал, но моя боль превышает слез. Хоть бы земля разверзлась да поглотила меня! Никогда не приходилось мне бывать настолько близко к белым; их близость так гнетет, так пугает — просто до тошноты, до рвоты!

— Фу ты, ну ты! — произносит какой-то голос.

— Мне даже не верится, — говорит другой, женский.

— А это чей негритенок-то? — спрашивает третий.

— Это Натаниэль, — говорит Сдобромутр. Тон у него по-прежнему сердитый, негодующий. — Этой — Лу-Энн, кухарки. Воришка. Это он книгу слямзил. — Он выкручивает книгу у меня из рук, осматривает, по-ученому

подняв брови. — Вот книга, которую взяли. Да тут прямо так и написано. “*Про жизнь и про смерть мистера Гадмена*”, Джон Буням. Как раз та самая книжка, маса Сэм, это точно, как то, что меня зовут Сдобромутр. — Страх не помешал мне про себя отметить, что старый притворщик явно запомнил название со слуха, и никого этим жульничеством не проведет. — Я как увидел в буфетной! Расселся, понимаешь, кум королю, читает — я сразу понял, что у него за книга!

— *Читает?* — это переспросил маса Сэмюэль — ошеломленно, недоверчиво. Я медленно подымаю глаза. Белые лица, впервые увиденные так близко, — особенно женские, лишь слегка тронутые солнцем и непогодой — по шероховатости и цвету похожи на тесто или мягкий испод шляпки гриба; голубые, жесткие, как лед, глаза угрожающе поблескивают, и каждую веснушку, каждое движение губ я пораженно наблюдаю в совершенно новом свете.

— *Читает?* — с новым оттенком удивления в голосе повторил маса Сэмюэль. — Да ну тебя, Сдобромутр, что ты такое несешь?

— Да, в общем-то, конечно, сэр, где уж ему читать! — презрительно поясняет старикан. — Он просто картинки смотрел, и все. Из-за картинок он книгу-то и слямзил, понятное дело.

— Да в ней картинок и нет вовсе, не так ли, Нель? Твоя ведь книжка-то...

Не знаю, так ли это, но впоследствии мне казалось, что в тот момент я почуял, детским безошибочным инстинктом угадал судьбоносную суть момента, когда я могу одним рывком утвердить свое я, а не сделав этого, навсегда кану в неизвестность и забвение. В общем, правильно мне это помнится или нет — ведь шаг-то был отчаянный, я всем рискнул, солгал, — но я внезапно спра-



вился со страхом, резко повернулся к Сдобромутру и как заору:

— А вот и нет! А вот и нет! Я правда могу *читать* в книжке!

Как бы то ни было, мне запомнился голос Сэмюэля Тернера, когда он, отбросив изумление и недоверчивость, шикнул на своих смеющихся домашних и заговорил тоном спокойного, рассудительного и непредвзятого арбитра:

— Ну, ну, да погодите вы, давайте поглядим, вдруг он и правда *может*!

И вот я уже почему-то сижу у окна, гроза, стихая, грохочет где-то вдали на востоке, а у нас только дождь с крыши капает, да поблизости, сидя на китайских ясенях, ссорятся друг с дружкой мокрые сойки. Я в голос рыдаю, а надо мной со всех сторон белые лица — кружат, нависают, как большие призрачные пятна пустоты, и шепот вокруг. Я бьюсь, стараюсь, лихорадочно ворошу страницы, но все напрасно: не нахожу ни одного знакомого слова. Рыдания душат меня, распирают; чувствую — еще немного, и я просто умру! Горе мое столь огромно, что слова маса Сэмюэля звучат где-то далеко, не доходят, и лишь годы спустя я способен выудить из глубины памяти какие-то их отголоски:

— Видишь, Бен, это правда, говорил я тебе! Они хотят! Хотят и пытаются! И, значит, мы будем учить их! Ура!

Нет ничего бессмысленнее и глупее попыток перебирать несбывшиеся возможности, мучительно гадать, как могла бы сложиться жизнь, кабы обстоятельства повернули ее по-другому. Тем не менее, когда злой рок одолевает, этой слабости предается большинство из нас; все те нелегкие годы, когда мне было уже за двадцать, когда я исчез из жизни Сэмюэля Тернера и судьба нас навеки

разлучила, я проводил много времени в глупых и бесполезных раздумьях о том, что выпало бы на мою долю, не стань я, себе на горе, благодарным средоточием (или жертвой) жажды хозяина поиграть с предназначением негра. Я все гадал, что было бы, проживи я на лесопилке Тернера всю жизнь. А нет, так что, если бы моя жажда знаний была не столь острой и мне не пришлось бы в голову красть книгу. Или — еще проще — если бы Сэмюэль Тернер, при всем его благонравии и справедливости, был в меньшей мере привержен сумасбродной утопической идее, будто рабов можно развивать, просвещая умственно и духовно, и если бы он не избрал меня в подопытные кролики, яростно пытаюсь доказать это самому себе и окружающим. (Нет, я понимаю, обвинение не совсем справедливо; если, вспоминая этого человека, постараться не грешить против истины, то придется признать: конечно же, нас связывали крепкие эмоциональные узы, но вместе с тем факт остается фактом: несмотря на теплоту и дружелюбие, несмотря даже на своего рода *любовь*, с меня начинался именно эксперимент — вроде изучения новых веяний в свиноводстве или внедрения нового сорта удобрений).

Что ж, в этом случае я, несомненно, стал бы заурядным, ничем не примечательным представителем чернокожей дворни, более-менее прилично справлялся бы с простенькими поручениями — вроде того чтобы свернуть курице голову, прокоптить свиную ногу или почистить столовое серебро, — поелику возможно отлынивал бы и всячески придурился, но из страха потерять хлебное местечко никогда не рисковал бы по-крупному, и, если подворовывал бы, то с большой оглядкой, тщательно выбирал места, где в рабочее время вздремнуть, украдчиво грешил на темном чердаке с желтокожими пухленькими горничными, с возрастом становился бы все рабо-

лепнее и подобострастней, всегда находя, чем подольститься, чтобы получить лишний отрез фланели, шмат вареной говядины или зубок табака, при этом обрел бы солидность с приличествующим ей животиком, щегольским жилетом и манишкой, а в старости ходил бы со строго поджатыми губами и значительным видом, звался бы дядюшкой Натом, всеми любимый и любящий всех в ответ, трясущейся дланью гладил бы шелковистые макушки маленьких белых детишек, не знал бы грамоты, страдал от ревматизма и спал на ходу, почти с нетерпением ожидая одинокой кончины, которая наконец-то упокоила бы меня на каком-нибудь полузаброшенном кладбище, заросшем аронией и дурманом. Это было бы, разумеется, не бог весть какое существование, но могли ли я, положив руку на сердце, сказать, что я не был бы счастливее?

Ибо прав был Екклесиаст: *Кто умножает познания, умножает скорбь*. А Сэмюэль Тернер (которого в дальнейшем я буду называть маса Сэмюэлем, потому что тогда я называл его именно так) по простоте и благомыслию своему, по неизмеримой своей доброте и мягкосердечию не сознавал, как умножает он скорбь, и какая вина падет на него за то, что он накормил меня этим огрызком познания: куда как легче обойтись вовсе без такого рода пищи.

Ладно, теперь уж неважно. Довольно сказать, что меня взяли, так сказать, в самое лоно семьи, я попал под защитительное крыло не только самого маса Сэмюэля, но и мисс Нель, которая совместно со старшей дочерью Луизой на протяжении нескольких лет проводила тихие зимние утра за “любимой забавой” — я помню, так они это и называли, — обучая меня азбуке, сложению и вычитанию и, что весьма примечательно, разво-

рачивая передо мной запутанные хитросплетения таинств англиканской церкви. Как они пестовали меня! Какой терпеливой была мисс Нель! Я не забыл, как эти белокурые ангелы мягко журили меня, опекали и не бранили строго, когда я сказал — не стану повторять, что именно; во время катастрофы, происшедшей двадцатью годами позже, был по крайней мере один момент, когда эти два милых образа вспомнились мне с особой и зловещей ясностью.

— Нет, нет, Нат, не *грудных детей и младенцев*, а *младенцев и грудных детей*!

— Да, мэм. *Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя*.

— Да, Нат, вот молодец, правильно. А теперь стих четвертый и пятый. И медленно, мед-лен-но! Да повнимательнее!

— *Когда взираю я на небеса Твои, — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил*. То... то... Попризабыл малёхо.

— Забыл, Нат, просто забыл. Не говори, как черные! Ну — *То, что есть человек...*

— Да, мэм. *То, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?* Ну, это, как его... А, не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию увенчал его!

— Чудесно, Нат! Просто чудо, чудо! О, Сэм, ну где же ты? Тебе надо *видеть*, какие Нат делает успехи! Сэм, поди сюда, посиди с нами немножко, послушай, посиди здесь у огня! Послушай, как наш негритеночек читает на память из Библии! Он может цитировать ее наизусть не хуже его преподобия пастора Эппса! Правда же, Нат, умненькая ты наша смоляная куколка?

— Да, мэм.

Но предположим теперь, что умер бы маса Сэмюэль, а не брат его Бенджамин. Что случилось бы тогда с этой умненькой смоляной куклой?

Да вы, поди, сами способны рассудить исходя из некоторых реплик, которые я случайно подслушал однажды на веранде знойным, душным летним вечером после ужина, когда два брата развлекали пару путешествующих англиканских священников — “посланцев Епископа”, как они себя именовали. Одного звали доктор Баллард: большеносый, длиннолицый человек средних лет в очках и весь в черном от широкополой пасторской шляпы до развевающегося плаща и гетр, застегнутых на костлявых лодыжках, он щурился сквозь квадратные очки и вежливо покашливал, заслоняясь длинными белыми пальцами, тонкими и бледными, как цветочные черешки; другой тоже был весь в похоронно-черном, но намного моложе — лет двадцати с небольшим, тоже в очках, с круглым, упитанным, изнеженным лицом, которое на первый взгляд побудило меня принять его за дочь доктора Балларда или, быть может, за его жену. Еще не удостоившись службы в обеденной зале, я трудился у Сдобромутра на подхвате, помогал по кухне — в тот вечер я должен был таскать воду из бочки, а также следить, чтобы не гасла курильница, поставленная с той стороны, откуда шли вялые дуновения воздуха; она выпускала тонкие маслянисто-черные струйки дыма, защищая дом от москитов. Над лужайкой летали мерцающие светлячки, а из дома доносились звуки рояля и мелодичный, дрожащий голос мисс Элизбет, жены Бенджамена, которая с придыханием пела грустную песню:

Неужто нежное создание  
Не пробуждает сострадания...

Всегда упорный соглядатай, в тот раз я не следил за разговором, а зачарованно глядел на Бенджамина: мне было интересно, выпадет ли он сегодня из кресла, как это уже не раз случалось. Маса Сэмюэль и священники предавались беседе, а я смотрел, как Бенджамин ворочается в кресле, и слушал, как потрескивает под его весом плетеное сиденье, когда он с долгим тоскливым вздохом вздымает вверх пустой бокал. Сдобромутр спешил вновь налить ему, а он опять выпускал вздох — ни к чему в особенности не относящийся, но тяжкий и горестный и кончавшийся прерывистым *ах-хах-хаа*, словно послезвучием зевоты. Помню, доктор Баллард, кажется, даже оглянулся на него в смущении, затем снова повернул голову к маса Сэмюэлю. И опять это *ах-хах-хаа!* — негромкое, все так же где-то между зевком и вздохом, и полупустой стакан густой яблочной наливки небрежно наклонен в расслабленной руке, тогда как в другой крепко зажат уже и графинчик. Я наблюдал, как щеки Бенджамина разгораются, приобретая в полутьме помидорно-пунцовый оттенок, и говорил себе: что ж, видимо, сегодня он все-таки опять выпадет из кресла.

Но он вдруг неожиданно воскликнул:

— Ха! — Помолчал и снова: — Ха! Ха! Да Господи ты Боже мой! Ну, взял бы да так прямо и сказал!

Из этого я заключил, что, несмотря на неприличные зевки и прочие грубые звуки, он слушал доктора Балларда, и тогда я тоже повернулся и уставился на священника, который в это время втолковывал:

— ...в общем, сейчас Епископ выжидает, тянет время, как он говорит. Мы на распутье — это тоже его собственное выражение. Да, на распутье, топчемся на месте, ждем какого-то божественного дуновения, которое указало бы нам верное направление пути. Архипастырь одарен большим талантом образной речи. Он считает, что церковь в

любом случае должна сделать определенный выбор, и весьма скоро. Тем временем мы, в качестве его посланцев, не преминем сообщить ему, что, по крайней мере, на *одной* плантации с положением рабов все в порядке. — Он умолк и посуровел лицом, глядя с ледяной полуулыбкой.

— Это очень утешит Архипастыря, — сказал младший священник. — Ему было бы также интересно знать, каково, на ваш взгляд, положение в целом.

— Положение в целом? — переспросил маса Сэмюэль.

— Ну да, как вы находите существующие порядки в общем и целом, — уточнил вопрос доктор Баллард. — Ему чрезвычайно важно знать мнения наиболее — гм, как бы сказать? — наиболее преуспевающих землевладельцев епархии.

Повисла долгая пауза, маса Сэмюэль молчал, опечаленно и задумчиво посасывая длинную глиняную трубку. Вечерело. Ласковое дуновение ветра, еле-еле, будто перышком проведя мне по волосам, потянулось к веранде маслянистым завитком дыма. В дальнем болоте раздались первые страстные вскрики лягушек, сразу слившиеся в однообразную хоровую песнь. Сдобромутр подошел к доктору Балларду с серебряным подносом на кончиках черных пальцев.

— Не хотите ли еще портвейна, маса? — донесся до меня его вопрос.

Маса Сэмюэль все еще молчал, но тут проговорил медленно и размеренно:

— Доктор, я буду с вами прям и откровенен. Я всегда был и по сию пору остаюсь непоколебимо уверен, что рабовладение в нашей стране это главная причина зла и почва для всех основных пороков. Это рак, пожирающий нас изнутри, это источник всех наших невзгод — индивидуальных, политических и экономических. Величайшее проклятье, которым якобы свободное и просве-

щенное общество может быть отягощено, — как ныне, так и во все времена. Как вы уже, должно быть, поняли, я человек не слишком религиозный, тем не менее я не лишен веры, и я еженощно молюсь о чуде, молюсь, чтобы на нас снизошло божественное прозрение, которое даст нам понять, как выбраться из этой ужасной ситуации. Держать этих людей в неволе — зло, а освободить невозможно. Их нужно просвещать! Освободить целый народ непросвещенным, да еще когда у окружающих такое против них предубеждение, было бы ужасным преступлением.

Доктор Баллард ответил не сразу, а когда заговорил, его голос был равнодушен до невнятности.

— Замечательно, — пробормотал он.

— Потрясающе, — сказал другой священник, тоном еще более неискренним.

Внезапно Бенджамин вскочил с кресла и пошел в дальний конец веранды. Встал во мраке и, расстегнувшись, принялся мочиться в розовый куст. Послышался шум барственной струи, могучей, нескончаемой, плещущей по листьям, шипам и стеблям, и тут же ее журчание перекрыл голос Бенджамина:

— Ах, бедный мой любимый братец! Как изболелось твое благородное сердце! Что за напасть, что за горькая участь существовать бок о бок со святым, пытающимся изменить ход истории! Он настоящий святой, преподобные посланцы! С вами рядом *святой*, да к тому же из плоти и крови, живой святой! Да уж!

Доктор Баллард вспыхнул и пробормотал что-то, чего я не понял. Подглядывая из-за курильницы, я вдруг развеселился, будто меня под ребра тычут, пришлось даже прикрыться ладошкой. Потому что священник весь задержался, засуетился, не зная, как реагировать — ему явно не приходилось прежде вести беседу с человеком, кото-

рый в это время пишет, тогда как Бенджамин подобным образом вел себя всякий раз, когда случалось выпивать в мужской компании, причем нисколько не задумываясь и самым откровенным образом. К тому же доктору Балларду, при всем его недоумении, приходилось выказывать Бенджамину почтение еще и большее, чем маса Сэмюэлю, так как первый, при всей его сегодняшней отстраненности (чтобы не сказать странности), все-таки был старшим братом и титульным владельцем имения. Я очень веселился, глядя, как священник поджал побелевшие губы, в ужасной неловкости вперив сквозь очки отчаянный взор в спину Бенджамина. Тут водопад иссяк, и Бенджамин развернулся, лениво застегивая ширинку. Слегка покачиваясь, он пересек веранду и, проходя рядом с маса Сэмюэлем, потрепал его по загривку; маса Сэмюэль поднял на него слегка неодобрительный взгляд, в котором, однако, сквозило тихое обожание. Такие непохожие, что, казалось, происходят из разных семей, они, даже по мнению самых ненаблюдательных из слуг, были очень дружны. В прошлом они много раз ссорились (впрочем, довольно мирно, истинно по-братски), словно забывая при этом, как много вокруг ушей (или, скорее, не считая нужным об этом заботиться), так что многим черным слугам, что снуют у обеденного стола, перепало довольно их разговоров, чтобы понять, кто из них на чем стоит, если не в духовном, то, по меньшей мере, в бытовом смысле.

— Братец сентиментален, как старая борзая, доктор, — дружелюбным тоном сказал Бенджамин. — Он полагает, что черных можно исправить. Что можно взять ватагу черномазых и превратить их во владельцев лавок, капитанов дальнего плавания, оперных импресарио, в армейских генералов и Бог знает в кого еще. Я так не считаю. Я не думаю, что черных надо бить. Точно так же, как не

думаю, что нужно бить собаку или лошадь. Если хотите передать мою точку зрения Епископу, можете сообщить ему, что черный, по моему разумению, это животное с мозгом на уровне ребенка, и его единственная ценность состоит в труде, которого можно от него добиться запугиванием, подачками и непреклонной суровостью.

— Понятно, — тихо прошелестел доктор Баллард. — Да-да, я хорошо вас понимаю. — Священник внимательно слушал Бенджамина, смотрел с прищуром, но всячески выказывал уважение. — Да, я ясно понимаю, что вы имеете в виду.

— Подобно моему сентиментальному и чересчур мягкосердечному братцу, — продолжил Бенджамин, — я тоже против института рабовладения. Богом клянусь, мне жаль, что рабы появились на этих берегах. Вот если бы изобрести какую-нибудь такую паровую машину, чтобы окучивала кукурузу и валила лес, еще одну, чтобы дергала сорняки, другую, чтобы пахала поле и резала табак, да к ним еще одну огромную умную машину, чтобы, пыхтя, бродила по комнатам и зажигала свечи и лампы, чтобы убиралась в доме и так далее...

Священники с готовностью рассмеялись, младший — хихикая в кулак, доктор Баллард негромко пофыркивая, да и сам Бенджамин присоединился, после чего продолжил, глядя со снисходительной усмешкой и по-прежнему дружелюбно и по-семейному держа руку на плече брата. Неодобрительная гримаса все же не сходила с лица маса Сэмюэля, хранящего при этом некое весьма слабое подобие застенчивой улыбки.

— Или такую машину, вот, придумал! — несло Бенджамина дальше, — чтобы, когда хозяйка дома приготовилась к вечернему выходу, эта машина запрягла бы кобылу, подала коляску к парадному крыльцу, каким-нибудь своим невероятным механическим устройством помог-



ла леди взобраться на сиденье, сама села рядом, и — но, Савраска! — пустила бы лошадку в галоп по полям и перелескам. Вот изобретите машину вроде этой, я скажу да! К тому же она не проест все, что вы заработали, не будет врать, душить вас и обкрадывать, то есть от нее будет настоящий толк, не то что от этих — один слабоумный, другой еще тупее, да и на ночь ее можно будет просто запереть в стойле вместе с насосом и прялкой “Дженни”, не боясь, что среди ночи она встанет и смоемся с призовым гусем или самым жирненьким поросенком, а когда она отслужит свое и перестанет приносить пользу, вы сможете ее выбросить и купить другую, а не останетесь с никчемным старым пнем на руках, да вас же еще и совесть замучит, если не будете покупать ему башмаки и давать по мешку кукурузы и бочонку патоки в месяц, пока он не доживет лет, этак, до девяноста пяти. Хо! Изобретут машины вроде таких, как я обрисовал, и в тот же миг, едва лишь хоть одна окажется у меня в руках, я со вздохом облегчения скажу: “прощай, рабство”! — Он секунду помедлил, отхлебнул из бокала, потом говорит: — Излишне пояснять, джентльмены, что в ближайшем будущем я не предвижу появления такого механизма.

На короткое время общество погрузилось в молчание. Доктор Баллард продолжал тихонько пофыркивать. Пение мисс Элизбет смолкло, и теперь в сгущающихся потемках слышался лишь жалобный писк комаров, усмиряемых облаком темного дыма, да где-то по соседству раздавалось настырное нытье “скорбящего голубя”, унылые прерывистые вздохи — ааа... ааа... ааа, похожие на жалобы сонного больного ребенка. Доктор Баллард резко положил ногу на ногу и сказал:

— Что ж, из общего тона вашей речи, мистер Тернер, я заключаю, что — как бы это сказать? — что вы считаете

институт рабства чем-то... ну, в общем, чем-то, что мы должны *принять*. Я правильно трактую вашу мысль? — Поскольку Бенджамин сразу не ответил, а по-прежнему с кривой мечтательной улыбкой взирал сверху вниз на маса Сэмюэля, священник продолжил: — Если я верно улавливаю, вы только что высказали убежденность в том, что негры весьма далеко отстают от нас — я имею в виду белую расу — в *моральном* аспекте, так что для их же, гм, собственного блага, возможно, было бы лучше держать их в состоянии некоего, гм, благотворного подчинения, так? Иначе говоря, не может ли быть так, что рабство, возможно, наиболее, так сказать, разумная форма существования такого народа? — Он выждал паузу, потом сказал: — *Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих*. Бытие, девятая глава, стих двадцать пятый. Что ж, Архипастырю не совсем чужда и такая точка зрения. Что же касается меня...

Но тут он замешкался, запнулся, снова умолк, и на веранде воцарилась тишина, нарушаемая лишь скрипом кресел. словно умчавшись мысленно куда-то вдаль, Бенджамин стоял молча и только с нежностью глядел сверху вниз на маса Сэмюэля, который в обступающей тьме сидел недвижно и скромно посасывал трубку, храня вид удрученный, напряженный и обиженный. Он дернулся было что-то сказать, но передумал и промолчал.

Наконец, Бенджамин поднял взгляд и говорит:

— Взять хотя бы маленького раба вроде вон того...

Я даже не сразу понял, что речь идет обо мне. Движением руки он указал на меня, развернулся на месте, вслед за ним повернулись и остальные, и в меркнувшем свете я почувствовал на себе множество глаз. *Ниггер, негр, черномазый* — это да, но прежде я никогда не слышал, чтобы меня называли *рабом*. Помню, как мне было неловко под их молчаливыми задумчивыми взглядами, я

чувствовал себя нелепым и нагим, раздетым до самой своей голой черной плоти, внутри стало пусто, и эту пустоту наполнил противный озноб, будто ледяной воды в меня налили: *Да, я ведь раб*.

— Взять хотя бы маленького раба вроде вон того, — гнул свое Бенджамин. — Мой брат думает, что можно взять маленького негртенка и *просветить* его, научить читать, писать, научить арифметике, рисованию и так далее, поставить его перед шедеврами Вальтера Скотта, усугубить это изучением Библии, то есть взрастить его, что называется, во всей полноте культуры и образования. Джентльмены, я спрашиваю вас со всей серьезностью, что это, как не полнейшая ахиня?

— Дааахх-сс, — произнес доктор Баллард. — Это “да” исходило у него откуда-то из носоглотки, звучало покровительственно и насмешливо: *дааахх-сс*.

— Причем, джентльмены, я не сомневаюсь, что с его верой в эмансипацию и предоставлением всяческих прав кому ни попадя, с его верой в образование и Бог знает еще во что, с его страстью доказать, что у черномазого есть такие же неотъемлемые права, как у преподавателя колледжа, он не преминет, взяв из рабов какого-нибудь недоростка, научить его азбуке, арифметике и начаткам географии, и все подумают, дескать, вот, на наших глазах он доказал, он сделал это! Но, джентльмены, разрешите вас уведомить, что мой брат не знает черномазых так, как знаю я. Быть может, это и мешает ему видеть истину, а может быть, его подводит наивная вера в реформы. Ибо, джентльмены, я знаю лучше, я черномазых знаю лучше. Клянусь, если мне покажут черного мальчика, вышколенного так, что он может вдоль и поперек читать труды Юлия Цезаря на изначальной латыни, в ответ я покажу черного, по-прежнему остающегося животным с мозгами на уровне младенца, который никогда не поумнеет, не научится

простой чистоте и честности, не говоря уже о прочих требованиях человеческой этики, доживи он хоть до преклонных лет. Учить черномазого, джентльмены, все равно что дрессировать курицу, и вот из этого простого факта следует исходить. — Он запнулся, потом с медленным зевком выдохнул: — А-ах, спать пора!

Была уже совсем ночь, над дальним лесом, сияя, возшел яркий диск полной луны. Священники и маса Сэмюэль встали, о чем-то еще между собой вполголоса переговариваясь, но тут Сдобромутр со значением сильно стиснул мой локоть, и я, перестав вслушиваться, принялся помогать старику: стал убирать с веранды бутылки и бокалы, погасил курительницу, побрызгав на нее водой, и прошелся тряпкой по сосновым доскам пола. Озноб внутри не проходил, как не покидали сознания слова, засевшие так прочно, будто высечены на скрижали: *“Я раб”*. Несколько минут спустя, вернувшись из кладовки, я заметил, что Бенджамин исчез, зато маса Самюэль обнаружился: он в одиночестве стоял у балюстрады. Подбородком опирался на ладонь руки, локтем поставленной на перила, а глазами следил за священниками, как их фигуры, черные в еще более черной тьме, медленно уходят в ночь.

— Да ниспошлет вам Господь приятные сны, мистер Тернер! — звонким девическим дискантом возгласил младший.

— Вам тоже, — отозвался маса Сэмюэль, но пробормотал это себе под нос так тихо, что вряд ли они услышали.

Потом он с веранды ушел, а я стоял, объятый внезапным испугом, и слушал ворчание Сдобромутра, который мрачно сам с собой о чем-то спорил, вяло слоняясь между креслами. В жарком недвижимом воздухе все еще висел приятный душок табачного дыма. На какое-то время двоих священников, которые на ощупь двигались через

лужайку к дальнему крылу дома, осветил лунный луч, но потом они навсегда канули во тьму, да и сама луна, сиявшая сквозь ажурную ширму платанов, одетых летней листвой, вдруг потускнела, окунув дом и лужайку в душную тьму. “Вот, — думал я, — *раб, стало быть*”, и все во мне дрожало, несмотря на духоту и жар этой ночи, окружившей меня, как мне на миг показалось, холодом тем более мрачным и предательским, что не было на ее окончание никакой надежды, будто ее тикающий ход сквозь время мог привести лишь к еще более глубокой тьме, беспробудной и неразрешимой ни зеленоватыми проблесками рассвета, ни предутренним криком петуха.

Прошло всего несколько месяцев, и Бенджамин погиб, раздавленный где-то на дальнем болоте упавшим гигантским кипарисом, как раз когда он, хорошо заложив за галстук, учил уму-разуму двоих черных лесорубов. Позднее негры утверждали, будто они пытались предупредить хозяина, что ему на спину падает дерево, но все их жесты и крики остались втуне, они, мол, и сами едва успели отскочить, когда эта громадина рухнула на пьяного беднягу. Судя по тому, в каких количествах Бенджамин поглощал спиртное, причем давно уже, этот рассказ кажется достаточно правдоподобным. Несколько лет потом среди негров ходил темный слухок — даже не версия, а так, глухие намеки, что дело тут не совсем чисто, но я в это не очень верю. Рабы вполне пристойно уживаются с хозяевами гораздо худшими, нежели покойный Бенджамин.

Как бы то ни было, что касается продолжения моего образования, со смертью брата у маса Сэмюэля руки оказались окончательно развязаны. Нет слов — Бенджамин вовсе не был жестоким хозяином, мучителем и истязателем негров. Но если его смерть и не принесла

неграм особой радости, то сказать, что кто-то из них погрузился в скорбь, было бы тоже не совсем точно. В самых ветхих и обшарпанных хижинах самые глупые из рабов, луща кукурузу, вряд ли не чувствовали общей перемены ветра, не видели направленности благоустроительных идей маса Сэмюэля, все знали, что перешли под куда как более обещающее водительство; в общем, в день похорон Бенджамина, когда десятки черномазых, робко и печально потупясь, собрались позади господского дома и наиболее музыкальные из них даже возвышали голос в безутешной жалобе:

Мой хозяин ушел! Родимый ушел!  
О, Боже, ушел на небо!  
Зачем он меня покинул!

— неискренность этих безыскусных причитаний видна была так же явственно, как разница между золотом и медью...

Так что на всем протяжении моих мальчишеских лет, когда при первых проблесках рассвета трубил рожок — это Абрагам вставал у ворот конюшни под еще темным звездным небом и печально выдувал хриплую побудку, после которой в дверях хижин по всему склону холма начинали мельтешить трепещущие огоньки, — не для меня раздавались эти звуки. Напротив, только я один и мог себе позволить повернуться на другой бок и еще часок поспать, пока вошедший в полную силу солнечный луч не заставит меня пробудиться и приступить к кухонной рутине, когда остальные негры давно уже в полях, в лесу и на лесопилке. Не для моих нежных розовых ладошек, привычных к серебру и хрусталу, посудному олову и полированному дубу, была грубая рукоять мотыги, серпа или топора. Не для меня был палящий жар кузницы, не для меня парная одурь кукурузного поля, где комары

сводят с ума, или выворачивающая суставы работа на лесоповале по самую задницу в вонючей тине, или грохот и тяжкий труд на лесопилке и мельнице, где, таская бревна и мешки с зерном, можно пупок надорвать, а плечи обвисают и спины навсегда сгибаются, так что становишься сутулым, как статуя из черного мрамора, изображающая непосильный труд. И хотя маса Сэмюэль, по всем канонам хозяин щедрый, никогда своих негров голодом не морил, все же солонина с кукурузной кашей, которую давали рабам на кукурузном поле, была не вполне по моему вкусу, я привык к более тонкой пище — к постной ветчине, дичи и выпечке — остаткам и объедкам, естественно, но тем не менее я ел практически из одного котла с Тернерами.

Что же касается работы, сказать, что я проводил дни в праздности, было бы натяжкой. Какое там, сколько я помню свою юность на лесопилке Тернера, я день-деньской все что-то бегал, сутился, сновал туда-сюда по дому с рассвета до заката. Но, честно говоря, не очень перетруждался, совсем не то, что было бы в поле, в грязи и в поту. Я чистил, мыл, протирал, надраивал дверные ручки, топил печи и старался безупречно накрыть на стол. Не бог весть какая одежонка, которой меня снабжали, была хоть и мешковата, но шкуру не драла. К тому же, пускай с перерывами, но еще год или два продолжала со мной заниматься мисс Нель, терпеливая, рабникая женщина, у которой в силу какого-то личного внутреннего надлома усилилось присущее ей и прежде яростное религиозное рвение, из-за чего она с некоторых пор охладела не только к Вальтеру Скотту, но и к Джону Буньяну и всей прочей светской литературе, сосредоточившись на Библии — в основном на книгах Пророков, Псалтири и особенно книге Иова, которую мы неустанно читали вместе, сидя под раскидистым

тюльпанным деревом, так что мои черные кудряшки касались ее шелкового капора. Не считите за дерзость, но не могу не сказать, что, годы спустя, когда я уже вовсю трудился над замыслом, из-за которого пишутся эти строки, частенько я с благодарностью вспоминал кроткую, заботливую женщину, из чьих уст я впервые услышал великие слова пророка Исаии: *Вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что Я звал — и вы не отвечали...*

Между прочим, теперь мне кажется, что именно мисс Нель невзначай дала мне понять, насколько особым стало мое положение в семье, а произошло это, когда я лежал больной примерно за год до кончины матери, вроде бы осенью, сразу после того, как мне стукнуло четырнадцать. Ни тогда, ни впоследствии мне не сообщали названия поразившего меня недуга, но, должно быть, он был серьезен, потому что мочевого пузыря у меня обильно кровоточил, дни и ночи меня терзала жестокая лихорадка, которая вызывала дикие видения и кошмары, в которых день с ночью, сон с явью безнадежно перепутывались, и окружающая обстановка становилась настолько нереальной, будто я откочевал в какие-то иные пределы. Смутно помню, что меня перенесли с соломенного тюфяка, который я все еще делил с матерью, куда-то в господские покои, где я лежал в необъятной настоящей кровати на льняных простынях, вокруг меня ходили на цыпочках, а говорили шепотом. Там, несмотря на бред, я ощущал ежесекундную заботу: вот осторожно приподняли голову, дают попить — нежные белые пальцы подносят к моим губам высокий стакан. Те же бледные руки появлялись у меня в поле зрения постоянно, как во сне, мелькали перед глазами, меняя на горящем лбу фланельку, смоченную прохладной водой. Спустя неделю я мало-помалу пошел на поправку и



еще через неделю возвратился в комнату матери, вначале очень слабый, но вскоре уже мог приступить к привычным обязанностям. Никогда не забуду, как в самый разгар болезни, когда посреди горячего кошмара вдруг выдалось мгновение ясности, я услышал полный страдания голос мисс Нель, ее слова, произнесенные шепотом за незнакомой дверью незнакомой комнаты:

— О, Господи, Сэм, бедный наш мальчик! Бедный маленький Нат! Надо молиться, Сэм, молиться, молиться! Нельзя допустить, чтобы он умер!

Короче, я превратился в баловня, в домашнего любимца, в этакую черную зеницу ока всей лесопилки Тернера. Меня нежили, ласкали и тискали, мне потакали и носились со мной, как с балованным испорченным дитятей, я превратился в смешливого эльфа в крахмальной блузе, который только и делал что смотрелся в зеркала, бездумно сосредоточенный на своей способности очаровывать. То, что прихотям белого ребенка потворствовали бы куда менее охотно, то есть что сам цвет моей кожи был главной причиной дарованных преимуществ и послаблений, мне и в голову не приходило, я этого, без сомнения, даже не понял бы, если бы кто-то попытался мне объяснить. Неудивительно поэтому, что с уютной и безопасной дистанции, которую невежество и самодовольство мне предоставляли, я все больше склонялся к тому, чтобы смотреть на негров, работающих в поле и на лесопилке, как на существа низшие, недостойные даже презрения, и настолько лишенные качеств, привычно связанных в сознании с безбедной и достойной жизнью, что они не стоят даже насмешки. Стоило какому-нибудь жалкому, потному и вонючему пахарю, раскrojившему себе босую ногу мотыгой, по недомыслию забрести напрямик к балюстраде веранды и там начать перемежаемые жалобными стонами уговоры, дес-

кать, ради Христа, ну, пожалуйста, попроси у доброго барина какую-нибудь “пилипарку” на рану, я сразу же с ледяным презрением в голосе направлял его куда следует, то есть, конечно, к заднему крыльцу. А то еще набегит, бывало, ребятня из негритянских хибарок, и неважно, что без всякой задней мысли — нет, все равно: нарушили границу, не для вас лужайка на холме! — я сразу хватать метлу с длинной палкой и в крик; впрочем, очень то из-под прикрытия кухонной двери не высовываясь. Вот до чего зазнался черный мальчишка — впрочем, быть может, единственный из всего своего рабского племени, кто действительно прочел кое-какие страницы произведений сэра Вальтера Скотта, знал, сколько будет девятью девять и как зовут президента Соединенных Штатов, знал, что есть на свете континент Азия и как называется столица штата Нью-Джерси, вдобавок мог правильно написать такие слова, как Паралипоменон, Апокалипсис, Немеия, Чезапик, Саутгемптон и Шенандоа.

Кажется, это было весной на шестнадцатом году моей жизни, когда маса Сэмюэль, встретив меня на лужайке после полуденной трапезы, отвел в сторонку и объявил о довольно странной перемене в распорядке моей жизни. Несмотря на то, что я чувствовал себя в семье хозяина своим и близким, по-настоящему меня в семью никто, конечно же, не принимал, и не все семейные обычаи на меня распространялись; мог проходить день за днем и неделя за неделей, пока маса Сэмюэль хотя бы мельком вспомнит обо мне, особенно в долгую страдную пору сева или жатвы, поэтому те моменты, когда он обращал на меня свое внимание, я помню с полнейшей, рельефной ясностью. В тот раз он заговорил о моей работе по дому, похвалил за расторопность и усердие и добавил, что о моих успехах хорошо отзываются мисс Нель и молодые барышни, отмечая сообразитель-



ность и находчивость, которые я прилагаю не только к занятиям науками, но и к ежедневной работе.

Да, это все похвально, сказал он, и своим ревностным отношением к работе я могу гордиться. Тем не менее есть одна незадача: слишком уж я умный и способный, чтобы надолго задержаться в роли камердинера — такая карьера, как ни крутись, загубит мои способности, остановит развитие и быстро заведет в глухой тупик. Как сам-то ты, неужто не считаешь, что такой образ жизни годится разве что для колченогих старых придурков вроде Сдобромутра или древних старух в платочках и со слезящимися глазами, из тех, у кого зубок табака постоянно оттопыривает морщинистую щеку? Конечно, юноша столь многое постигший, не может смотреть в такое бесцветное будущее без уныния и опасений.

На секунду я лишился дара речи. Не думаю, чтобы я когда-либо размышлял о будущем: не в обычае негра, уже осознавшего беспросветную реальность несвободы, вникать в грядущее; даже при всем моем сравнительном везении скорей всего я без раздумий полагал, что предстоящая мне череда дней и лет пройдет все в том же до боли знакомом непрестанном бряцанье грязных тарелок, в выгребании сажи из дымоходов, чистке сапог, надраивании дверных ручек, среди ночных горшков, метел и тряпок. Что на мою долю может выпасть *иное*, мне никогда бы и в голову не пришло. Не знаю, что я собирался хозяину ответить, но тут он похлопал меня по плечу и воскликнул нетерпеливо и радостно:

— Для этого юного негра у меня есть план получше!

Вот уж план так план! Для начала мне надлежало освоить ремесло плотника, которое впоследствии на протяжении многих лет было полезно мне и окружающим не больше, чем куча гнилых опилок, засоряющих водосброс на лесопилке. Но в то время меня это заботить не

могло. Я бросился в этот новый омут познания очертя голову и с таким же радостным воодушевлением, с каким белый юноша отправляется поступать в Колледж Вильгельма и Марии, собираясь изучать тонкости права. Незадолго до этого, как раз кстати, маса Сэмюэль залучил к себе на службу мастера плотника, немца из Вашингтона, которого звали Козлик (лишь спустя долгое время до меня дошло, что вряд ли я правильно выговаривал его фамилию, скорее она была Кёстлих или что-то в этом роде, но никто меня ни разу не поправил, и мне тот человек навсегда запомнился как Козлик), и вот ему-то хозяин и вверил мое дальнейшее обучение. Под руководством Козлика я два года изучал плотницкое ремесло в пыльной мастерской, построенной на склоне холма между господским домом и хижинами рабов. Для своего возраста я был довольно рослым, мускулистым парнем, руки у меня тоже были на месте, вдобавок, обладая изрядными познаниями, я выполнял измерения и подсчеты не хуже любого белого, так что с учением я справлялся, быстро научился орудовать пилой, теслом и рубанком и запросто, не хуже самого Козлика, мог построить новый лабаз для кукурузных початков, причем так, что все стропила оказывались параллельны, и дранка на крышу ложилась ровно. Козлик был мужчиной большим и тучным, медлительным в движениях и словах. Помимо ремесла его, похоже, ничто не интересовало, он жил сам по себе и держал только кур. У него были редкие торчащие волосенки и спутанная борода цвета корицы; своим медленным, ворчливым и не очень внятным речам он придавал законченность и силу рубящими взмахами узловатой мясистой длани. Нам не много удавалось сказать друг другу, но ремеслу он каким-то образом умудрялся учить хорошо, и я навсегда остался ему благодарен.

Насчет плотницкой мастерской у меня в голове постоянно крутится кое-что еще; придется рассказать и об этом, хотя, не обязуясь я быть насколько возможно правдивым в своих показаниях, мне не очень хотелось бы заострять на подобной теме внимание. Как большинство шестнадцати-семнадцатилетних мальчишек, я начинал ощущать сильное воздействие нарождающегося мужского начала, притом, что мое положение в сравнении с другими юношами-неграми было не совсем обычно: те с легкостью давали этому давлению выход в общении с черными девчонками, многие из которых охотно шли навстречу и без долгих проволочек уединялись с ними где-нибудь на краю кукурузного поля или в укромной прохладе, даруемой высокими густыми зарослями метельчатого сорго у опушки леса. Но я-то напрочь был отъединен и от братьев негров, и от всего, что им свойственно, а потому рос в полном неведении самой возможности этих плотских игрищ; тяга к познанию этой стороны жизни наталкивалась у меня на боязнь (от которой, должен сознаться, я за всю дальнейшую жизнь так полностью и не избавился), что утехы такого рода нечестивы и предосудительны в глазах Господа. Тем не менее, будучи полным сил, здоровым малым, сколько я ни пытался бороться с искушением, я не мог при случае не поддаться и не потешить себя собственноручно, когда сила желания становилась неодолимой. Почему-то мне в то время казалось, что за это Господь не станет карать меня чересчур жестоко при условии, что я буду соблюдать умеренность, поэтому я свел число своих уединенных усад до одной в неделю — обычно по субботам, ближе к вечеру, чтобы молитвы в этот день обрели еще большую покаянную искренность.

Я забирался в приземистый и тесный складской сарайчик, куда из плотницкой мастерской вела дверь, которую

я мог запираť при помощи гвоздя и веревки. И всегда я видел себя с безымянной белой девушкой — как я раздвигаю ей колени, а она такая юная, и золотистые кудри так и выются... В сарайчике стоял пряный дух свежих стружек, пахло смолою ладанной сосны, да так остро и едко, что в носу чесалось; частенько, уже совсем в другие времена, проходя в жаркий полдень мимо рощицы таких сосен, я улавливал тот же самый пикантный и пьянящий аромат свежеспеленной древесины, и мои чувства сразу пробуждались, я ощущал внезапный прилив желания, шевеление в чреслах, да и сейчас, стоит подумать о плотницкой мастерской, как оживают до боли яркие воспоминания, сливая воедино страсть и нежность, — вот воображаемая златокудрая дева, она что-то шепчет, приоткрывая сладостные уста, а вот я сам, такой юный, как много лет назад, задышливо дергаюсь, сидя на корточках среди благовонных сосновых ароматов.

Подозреваю, что именно одиночество вкупе с тем, что у меня имелось вдоволь свободного времени, коего лишены другие рабы, много споспешествовало тому, что я рьяно бросился штудировать Библию, на каком-то поприще и достиг — уже тогда, в столь нежном возрасте — благоговейного понимания царственного величия Псалмов и чарующей неотразимости поучений Пророков, и тогда я твердо решил: во что бы то ни стало, какими бы низкими и затрапезными трудами ни обременила меня в будущем судьба, перво-наперво я должен стать проповедником Слова Божия. Однажды на Рождество мисс Нель подарила мне Библию — одну из тех, что оставил на лесопилке Тернера странствующий агент отделения Библейского Общества в Ричмонде. — Внимай этой святой книге, Натаниэль, — мягко и отрешенно сказала она, — и счастье не покинет тебя, куда бы ты ни направился.

Никогда не забуду, как я был взволнован, когда она положила мне в руки коричневую, в тисненой коже, книгу Священного Писания. И впрямь, на тот момент я был, сам о том не подозревая, вероятно, единственным во всей Виргинии черным юношей, кто владел книгой.

От радости у меня голова пошла кругом, меня затрясло и бросило в пот, хотя по дому вовсю гуляли сквозняки, а день был весьма холодный. Я преисполнился таких разноречивых чувств, что не смог даже поблагодарить благодетельную даму, а просто повернулся и пошел в свою комнатку, где уселся на набитый обертками початков тюфяк под льдистым косым прищуром зимнего подня, не в силах приподнять обложку, не говоря о том, чтобы прочесть хоть бы строку. Помню запах кедровых поленьев, горящих в кухонной печи позади меня за стеной, и тепло, которым веяло в спину с кухни через щели в стене. Еще помню раздающиеся по дому звуки клавирина, неразборчиво тренькающего далеко в главной зале, и голоса белых людей, грянувших рождественскую песнь: *“Возвеселитесь, в градах и весях! Радуйтесь, гря-дет Христос!..”*; а я сижу, все так же стиснув неоткрытую Библию, и гляжу сквозь кривое и морщинистое слюдяное окошко на сырой, продутый ветрами склон — там негры из нижних хижин толпой поднимаются к дому. От холода закутанные в грубые и бесформенные, но добротные зимние одежды, которыми маса Сэмюэль их обеспечил, на подходе к дому они выстраиваются гуськом: мужчины, женщины, негритята идут получать *свои* рождественские дары — погремушки и кульки с леденцами детям, метр-другой ситца женщинам, плитку табака или дешевый складной нож мужчинам. Все какие-то потрепанные, неопрятные, неуклюже топают по замерзшей дорожке мимо окна; доносится гомон их болтовни, радостной и возбужденной в предчувствии Рождества,

громкий беззаботный смех, грубая негритянская пикировка. Это зрелище вдруг наполнило меня сильнейшим отвращением, доходящим до омерзения и рвотных позывов, и я отвел глаза, открыл, наконец, Библию и прочитал слова, значение которых тогда напрочь не понял, но не забыл их, и теперь, в свете всего происшедшего, они засверкали в моей памяти, как будто испытав преобразование: *От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? раскаяния в том не будет у Меня...*

За исключением маса Сэмюэля и мисс Нель (вот разве что еще брат Бенджамин бегло промелькнул), едва ли я способен вспомнить кого-нибудь из семейства Тернеров. Мисс Элизбет — вдова Бенджамина — остается всего лишь тенью на краю сознания: костистая, всегда какая-то заплаканная, угловатая женщина, она своим дрожащим голосом недурно пела, и, когда бы ни пытался я вызвать в памяти ее образ, оживает лишь голос — бесплотный, истомленный, хрупкий, как камышинка, с мелодично-суховатым англосаксонским подвыванием. Она страдала чахоткой и поэтому часто уезжала на побережье в окрестности Норфолка, где, по мнению врачей, сырой соленый воздух был для нее целебен, а в результате я видел ее редко, да и то лишь издали.

Сыновья Бенджамина учились в Колледже Вильгельма и Марии, изучали нечто под названием “Передовая агрономия”, и вскоре после смерти отца старший сын Уиллоубай с молодой женой отделился, переехав в дом поменьше на нижнем, поросшем густым подростом краю имения; из этого дома, названного Новым Прибежищем, он, как и его отец до того, руководил лесоповалом и раскряжевкой, так что с ним я тоже сталкивался редко и мало имел дела.

Другой агроном, Льюис, был холост — коренастый розовощекий малый лет тридцати, он на пару с дядюшкой заведовал плантацией и фактически взял на себя обязанности управляющего всеми делами после внезапного отъезда вечно пьяного Макбрайда, которого маса Сэмюэль в конце концов уволил за беспутное поведение. (Прознали когда-нибудь маса Сэмюэль о проделке ирландца с моей матерью, понятия не имею, зато я абсолютно уверен, что, получив в тот раз достаточно недвусмысленный отпор, он больше никогда к ней приставать не решался. В любом случае, это еще одно свидетельство снисходительности маса Сэмюэля, его терпения, а может быть, и мера трогательной, бесхитростной простоты его натуры — ведь он не только мирился с пьянством Макбрайда чересчур долго, тогда как тот вышел за всякие рамки, и любой другой плантатор давно бы его выставил вон, но даже и тягу ирландца к негритянкам хозяин принял к сведению лишь через два года после того, как все вокруг, будто диво дивное, отметили появление на свет по меньшей мере троих рабенышей, которые родились бледноватыми, светловолосыми и с явно ирландским очерком губ.) Управляющим Льюис показал себя нестрогим (хотя вряд ли очень толковым: в речи он делал ошибки, над которыми я, юный негритянский книжник, втайне посмеивался), в делах насущных, к которым, разумеется, относится и обращение с неграми, старался следовать рекомендациям дяди, так что с теми, кто попадался ему под руку, он обращался более или менее справедливо и беззлобно, а большего никакой раб и желать не может. Чуть ли не все свободное от работы время он проводил в седле, объезжая лес или стреляя птиц на лугах, и в результате почти не сталкивался ни с неграми, ни с их личными делами и надобностями (каковые то ли бывают, то ли нет — сие есть вопрос веры и воображения).

Ну, и теперь уж из Тернеров остается поговорить только о двоих дочерях маса Сэмюэля — мисс Луизе и мисс Эммелин. Старшая, мисс Луиза, как я уже упоминал, помогала матери в первоначальном моем образовании; то, как быстро я научился уверенно читать, писать и складывать числа, дает основание полагать, что учительницей она была отменной. Но отношения наши прервались так рано, что мне сейчас трудно даже вызвать в памяти ее образ. Когда мне было лет четырнадцать, она вышла замуж за молодого спекулянта земельными угодьями из Кентукки и навсегда с ним уехала, а мое обучение осталось всецело в руках моей патронессы, ее с головой погруженной в Писание матери.

Мисс Эммелин была последней, младшенькой. В то время, о котором идет речь, ей было двадцать пять, может, чуть больше, и я обожал ее — на расстоянии, конечно, — страстно любил чистой евангельской любовью, которая могла угнездиться только в невинном сердце мальчика вроде меня, воспитанного в обстановке, где женщины (по крайней мере белые дамы), казалось, парят на манер радужных пузырей в сиянии безупречной чистоты и совершенства. С ее блестящими, густыми рыжеватыми волосами, разделенными пробором посередине, темными умными глазами и серьезной складкою губ, придававшей ее лицу вид благородного спокойствия, она могла бы стать знаменитой красавицей в обществе, даже весьма далеком от здешнего захолустья, где труд, одиночество и непогода грозили вскорости наложить свой грубый отпечаток на красоту любой белой барышни. Возможно, городская жизнь ее и впрямь манила, потому что, окончив женскую гимназию в недалеком Лоренсвилле, она уехала на север, в Балтимор, и провела там несколько лет в доме тетki по матери. В это время она (по слухам, во всяком случае — в кухне об этом судачи-

ли, не помню кто, то ли Сдобромутр, то ли Фифочка, то ли кто-то еще из домашней прислуги, которая, понятное дело, вся поголовно состояла из прирожденных и хорошо натасканных ищеек) пала жертвой несчастной любви, да так серьезно, что это угрожало ее здоровью, поэтому маса Сэмюэль вернул ее домой, где она стала помогать мисс Нель вести домашнее хозяйство. Постепенно она воспряла духом, естественным образом приняв на себя каждодневный обиход молодой хозяйки плантации: помогала больным и слабым в негритянских хижинах, делала заготовки, варила варенья, пекла фруктовые пироги, а весной и летом заботилась об овощах в огромном огороде, что располагался поблизости от плотницкой мастерской.

Огород был ее особой страстью: она сама сажала семена и рассаду и часами, защитив голову невероятной ширины соломенной шляпой, трудилась бок о бок с двумя девочками-негритянками, помогавшими ей полоть сорняки под палящим летним солнцем. Работая в плотницкой мастерской, я частенько поднимал взгляд и втайне, как зачарованный, любовался ею, даже дышать забывал, со страстным нетерпением ожидая момента, который вот-вот настанет — и точно, настаивал, — когда она прерывалась, чтобы глянуть на небо, бледными тонкими пальцами слегка проводила по влажному лбу, все это время оставаясь на коленях, и вот я вижу ее глаза — нежные и мечтательные, а меж приоткрытых губ поблескивают зубы, и на виске бьется жилка, тогда как мисс Эммелин нечаянно дает мне редкостную возможность вблизи, лицом к лицу насладиться ее чистой, гордой, удивительной красотой.

Однако моя страсть к ней была непорочной, она безотчетно и сумрачно сливалась в моем сознании с религиозным радением. Я веровал в чистоту и благость, а в ее безупречной красоте было нечто такое — какая-то грусть,

при всей ее неутомности и независимости манер, гордая безмятежность, сквозившая даже в движениях, — что само по себе было благим и чистым, наподобие бестелесной, прозрачной красоты воображаемого ангела. С годами я узнал, конечно, что безумная влюбленность черного мальчишки в прекрасную белую барышню при всей таящейся в таком чувстве опасности вовсе не редкость, но в то время я видел в этом своем обожании нечто зловещее, необычайное, почти невозможное, как будто я до глубины существа поражен неведомым божественным недугом. Не думаю, чтобы за весь тот год, что я обожал и поклонялся ей, она сказала мне больше десятка слов, а я и вообще не смел слова вымолвить, разве что выдохнул пару раз деликатное “Да, мэм” или “Нет, мэм” в ответ на какой-нибудь небрежный вопрос. Поскольку я больше не работал в доме, наши пути пересекались редко, и я лишь просил Всевышнего, чтобы мне была дарована возможность видеть ее хоть раз или два на дню. Естественно, она не первый год уже знала о моем особом положении, знала, что я не просто юный слуга, но на уме у нее было что угодно, только не мальчишка-негр, и хотя в ее обращении со мной не было пренебрежения или злости, но она, похоже, вряд ли даже замечала, что я дышу и живу на свете. Однажды она позвала меня с веранды, чтобы я помог ей подвесить горшок с цветами. От смущения у меня руки стали как грабли, горшок чуть не упал; стоя рядом, она отпрянула от сыплющейся земли и, схватив меня за голый локоть, резко прикрикнула: “Нат! Гусак ты неловкий!”, и мое имя на ее устах отозвалось во мне негой и благоговением, а прикосновение ее пальцев ожгло, как вихрь огненный.

Потом, примерно через год после возвращения мисс Эммелин из Балтимора на плантацию, однажды вечером в конце лета на лесопилке Тернера устраивали праздне-



ство, и само по себе это событие стоит описать. Светские приемы на плантации происходили редко (по крайней мере, так помнится мне то время, когда я работал в доме), и не только в силу отдаленности от соседей, но главным образом из-за ужасных трудностей передвижения — глубокие броды, поваленные деревья и размытые дороги в Восточной Виргинии делали поездку из усадьбы в усадьбу всякий раз особой, многотрудной и рискованной авантюрой, отваживаться на которую следовало не иначе, как хорошо подумав и уж во всяком случае не бросаясь очертя голову. Однако нет-нет да и случалось: где-то примерно раз в два года, обычно в конце лета, когда урожай собран, маса Сэмюэль вдруг давал команду устроить то, что он с усмешкой именовал “ассамбляжем”: мол, в кои-то веки грянем, а там пускай хоть костями ляжем, и человек двадцать гостей съезжались из ближней и дальней округи — плантаторы и их родственники с берегов рек Джеймс и Чикахомини, даже с дальнего юга, из Северной Каролины, люди с фамилиями Картер и Харрисон, Бёрд, Кларк и Боннер приезжали в элегантных экипажах в сопровождении шумной толпы черных нянек и камердинеров. Они останавливались на четыре-пять дней, иногда на целую неделю, и каждый день устраивали лисьи охоты с гончими майора Вогана, владельца соседней плантации, стреляли диких индеек и ездили на пикники, соревновались в верховой езде и стрельбе из пистолетов, пока их довольные, сонные дамы вели между собою светские беседы на веранде; по меньшей мере раза два во время такого “ассамбляжа” хозяева закатывали костюмированные балы в главной зале, убранной к вечерним торжествам многими ярдами кумача и синего атласа.

Моей обязанностью на этих празднествах было (когда я достиг уже лет шестнадцати) выступать в роли главного церемониймейстера — этим титулом пожаловал меня

маса Сэмюэль, имея в виду обязанность надзирать за всей негритянской прислугой, кроме кухонной. (Возможно, это лишний раз подтверждает то, как маса Сэмюэль доверял мне, возложив на меня в столь юном возрасте эту ответственность; с другой стороны, несомненно, я просто-напросто *был* и расторопнее, и умнее всех остальных.) Неделю я ходил наряженный в пурпурные панталоны до колен, красный шелковый камзол со сверкающими медными пряжками и белый парик из козьей шерсти, собранный сзади в кокетливую косицу; до чего же забавно я, должно быть, выглядел в глазах Картеров и Бёрдов! Но этой своею ролью я упивался и, несмотря на то, что каждый день бывал по горло занят с рассвета до заката, мне доставляло огромное удовольствие всюду соваться и начальственно распекать других черных мальчишек, в большинстве своем набранных прямо с полей — угловатых и неуклюжих балбесов с глупо вытаращенными глазами. Именно я встречал кареты и коляски и подавал руку выходящим из них дамам, я погонял стадо Лукасов, Тоддов, Питов и Тимов, чтобы они не отлынивали и каждую ночь непременно бы наводили глянец на сапоги каждого джентльмена, убирали мусор с лужайки, чтобы сновали как заведенные: ну-ка, принеси лед из погреба! сбегай за веером, вон та дама забыла! эй, лошадь-то привяжи! а эту отвяжи! — в общем, подай это, унеси то. Задолго до рассвета я первым вставал — помогал Сдобромутру подать каждому стаканчик виски “на стремечко”: а как же, лисья охота это святое, не дай Бог что-то выйдет не так! — почти всегда последним ложился, и вот как раз из-за того, что в совершенно немыслимую рань я был на ногах, однажды утром (можно сказать даже ночью, после бала, но перед охотой) я буквально чуть не споткнулся в безлунной туманной тьме о мисс Эммелин, которая была не одна.

Меня не так потряс ее громкий шепот — хотя я сразу же узнал ее голос, — как Божье имя на ее устах, которое она в неистовстве повторяла; впервые в жизни я услышал кощунственную божбу от женщины. Я так был поражен услышанным, что стоял во тьме будто окаменелый, и не сразу сообразил, чем было вызвано такое ее состояние, подумал, уж не случилось ли с ней что-то неведомое и страшное:

— Ой, подожди... ох, Боже... о, Господи Иисусе... стой-стой!.. о, Господи, Боже... нет, подожди!.. давай, быстрее... куда же ты... вот, на место его... медленно... о, Господи... да медленно же!.. стой-стой!

Оттуда же, с лужайки за живой изгородью, слышался тихий мужской стон, и только тут я окончательно осознал, что с ней кто-то еще, настолько я был ошеломлен и вдруг почти парализован поганой, гадостной истомой, напавшей на меня при звуках Святого имени, употребляемого с такой целью, как будто жарким трепетом своих губ она бесстыже раздевала Его догола.

— Стой, стой! — вновь взмолилась она, и у мужчины вырвался тихий вздох, затем она возобновила свои ритмичные причитания: — Ой, подожди... тихонечко... а сейчас медленно, медленно!.. Господи Иисусе... о, Господи...о, да, ну, сейчас!.. Ой, мамочка... мамочка... мамочка...

А потом, перейдя сперва в протяжный затихающий всхлип, шепот пропал, воцарилось молчание, я ничего больше не слышал, кроме кваканья лягушек в мельничном пруду и глухих ударов лошадиных копыт о переборки стойла, да еще сердце у меня билось так бешено, так громко, что я уж думал, они услышат, несмотря на шум ночного ветра в листве платанов. Я стоял, не смея шевельнуться, таё в душе разгром и хаос, разочарование и страх. Помню, меня так и сверлила мысль: *Вот каково быть ниггером. Так нечестно. Не будь я ниггером, не при-*

*шлось бы мне обнаруживать вещи, которые мне не хочется обнаруживать. Так нечестно.*

Потом, после долгого молчания, донесся голос мужчины, взволнованный, дрожащий:

— Ах, ты моя Эммочка, любимая моя, любимая, *Эммочка*, любовь моя!

Но ответа от мисс Эммелин не было, время ползло медленно и мучительно, как старый калека; у меня уже и во рту пересохло, и начали неметь ноги — бесчувственное оцепенение вязким предвестием смерти мурашками поползло к коленям и бедрам. Наконец я снова услышал ее голос, ставший спокойным и сдержанным, однако с призывками горечи и презрения.

— Ну, все-таки получил то, к чему так долго стремился? Надеюсь, доволен теперь.

— Ах, Эммочка, любовь моя, любовь, — шептал он. — Дай я...

— Прочь, прочь от меня! — воскликнула она с угрозой в голосе. — Слышишь, убери руки! Еще раз прикоснешся, скажешь мне еще слово, я пожалуюсь папе! Скажу папе, и он *застрелит* тебя за совращение твоей же собственной кузины.

— Да ну что ты, Эммочка, дорогая! — запротестовал он. — Ты же сама... ну, мы же по согласию... Ах, Эммочка, любимая, дорогая...

— Просто не трогай меня! — повторила она и опять замолчала. Вновь долго не было слышно ни звука, пока она вдруг не разразилась тирадой, в которой звучала боль и безудержное отчаяние: — Боже, как я тебя ненавижу. Боже, как я ненавижу это место. Боже, как я ненавижу жизнь. Боже мой, *Господи*, как я ненавижу Бога!

— Ах, ну не надо, Эмм, зашептал он отчаянно. — Любимая моя, любимая, любимая!

— Это чертово, *проклятое* место. Лучше опять уехать в Мэриленд, опять стать шлюхой, пусть лучше он, единственный, кого я полюбила, продает мое тело на улицах Балтимора. Да убери же ты от меня свои поганые руки и не говори больше мне *ничего*! Иначе правда папе скажу! А теперь оставь меня, оставь меня, *оставь меня в покое*!

Я где-то тут упоминал уже, да даже и не раз, о том, насколько негры вездесущи, как они, подчас совсем без ведома белых, проникают в сокровеннейшие их сердечные тайны. Этот случай тому подтверждение, но вместе с тем я подумал, глядя, как мисс Эммелин поднимается из травы и шурша юбками, исчезает за голубоватым силуэтом дома, и ее двоюродный брат Льюис следом тоже встает и потерянно тащится куда-то в ночь, — подумал, что, сколько бы скрытого знания негр ни приобрел, есть вопросы, на которые никогда не будет дано ответа и разгадки, и не надо поэтому считать, будто ты такой умный и все знаешь. И это, конечно же, так в отношении мисс Эммелин, которая, как внимательно ни смотрел я за ней после той ночи, стала еще загадочнее и непонятней. Ни она больше не разговаривала с Льюисом, ни он, насколько я мог заметить, не смел заговаривать с ней; эта ее угроза, ее предупреждение возобладало, и несколько месяцев спустя бедняга вовсе покинул лесопилку Тернера, уехал в Луизиану, решил попробовать заняться торговлей сахаром или хлопком.

Что касается услышанного и увиденного мной в ту ночь — пожалуйста, не надо принимать это за какое-то... ну, *злосчастельство*, что ли, просто этот эпизод полностью переменял все мое представление о белой женщине. Ибо сияние святости, окружавшее в моем сознании мисс Эммелин, потускнело, померцало и угасло; она словно предстала вдруг передо мной раздетая, и чары, которыми она меня пленяла, стали уровнем ниже, так

же, как и нескончаемая, неизбывная и безнадежная моя тоска по ней стала совсем другой, хотя и не менее жестокой. Какое-то время я все еще сходил по ней с ума. Все так же издали я поклонялся ее красоте, но так и не смог оправиться от того потрясения, которое испытал, услышав от нее богохульство, и те ее слова теперь жгли мое воображение, огненными искрами прожигали и воспаляли даже сны. Она начала заменять в моих фантазиях воображаемую невинную девочку с золотистыми кудряшками, что распяла меня прежде, и в те субботы, когда я забирался в свое тайное убежище в плотницкой мастерской, чтобы выплеснуть распирающее меня вожделение, уже мисс Эммелин, с ее нагими округлыми бедрами и бледным животиком, неистово и благодарно отвечала на мои ласки, уже она, всхлипывая “мамочка, мамочка, мамочка” и дыша мне в ухо, позволяла мне предаваться губительным и нечестивым, но невыразимо сладким радостям порока.

Однажды в октябре, когда мне только что исполнилось восемнадцать, — этот день запечатлелся в моей памяти с той непостижимой ясностью, с какой запоминаются моменты, выступающие как опорные точки наиболее значительных событий, — мне открылся истинный абрис будущего, к которому маса Сэмюэль предуготовливал меня все эти недели, месяцы и годы.

Была суббота, один из тех пыльных, охристых осенних дней, чья красота и яркость ни разу в жизни больше не увидится такой благостной и манящей, как в юности, когда что ни день, то открытие: стелющаяся по лесу дымка, пламенеющие листья кленов, и везде запах яблок, как винный пьянящий туман, и беготня белок по ветвям карликовых каштанов на опушке леса, и неумолчное свиристенье цикад в засыхающей траве, — а над всем

этим спелый солнечный жар, подчеркнутый легчайшими дуновениями ветерка, пахнущего жженым дубом и зимой. В то утро я, по обыкновению, поднялся рано и направился в мастерскую, где принялся грузить тачку обрезками бруса “два на четыре”. Всего за несколько дней до этого маса Сэмюэль учинил хижинам работников ежесезонную проверку и некоторые из них нашел в состоянии прискорбной обветшалости. Днем мы с Козликом собирались использовать эти обрезки как основу для новых полов в нескольких хижинах; под действием летних протечек и сырости старые лежневые балки во многих местах истлели, распались в щепки и труху, так что само строение теперь подвергалось гнилостным испарениям сырой земли, открылось нашествию полевых мышей, тараканов, муравьев, жучков и личинок. Хотя к тому времени работа плотничьего подмастерья мне очень понравилась и я гордился тем, как растет мое мастерство, но, когда посылали на ремонт негритянских хижин, — такой урок я всей душой ненавидел. За что? Да за один только кошмарный запах (и это, кстати, несмотря на все усилия маса Сэмюэля по внедрению чистоты и гигиены) — запах пота, сала, мочи и всякого рода отбросов, протухшей свинины, промежностей и подмышек, черной работы и соломенных тюфяков, пропитанных детской рвотой, — за эту неслыханную вонь человеческого унижения, безмерного и безысходного. “Ай, яй, яй, — с германской картавостью, бывало, бурчал потихоньку Козлик, — этот народ прямо в свинья превратиться имеют” — и, устанавливая очередную подпорку или балку, с миной гадливости сплевывал на пол. От этого я, будучи таким же ниггером, испытывал чувство позора и унижения, как клинком пронзавшее все мое нутро.

Но в то воистину прекрасное утро маса Сэмюэль, с благожелательной улыбкой, появившийся на пороге ма-

стерской меня от всего этого избавил прежде, чем я успел толком справиться с подготовительной работой.

— Давай-ка седлай Джуди, Нат, — сказал он, — и поехали в Иерусалим.

Помимо просто хорошего настроения, его лицо выражало что-то особое, тайное, заговорщическое; он понизил голос и говорит:

— Третьего ноября стукнет тридцать лет, как мы с мисс Нель женаты. Я должен к юбилею подготовить достойный подарок. — Взяв за рукав рубашки, он повел меня из помещения. — Пошли, пошли, седлай Джуди и Тома. Составь мне компанию в этот чудесный день. Но только смотри, ни слова насчет подарка, Нат! — Он заозирался, будто боясь, что подслушают, и прошептал: — Мне от Воганов весть передали, что сегодня через город проедет ювелир из Ричмонда.

Я, конечно, страшно обрадовался — и не только потому, что меня освободили от неприятной работы: Иерусалим вообще был для меня местом притягательным; хотя жили мы от него не более чем в пятнадцати милях, но прежде я там бывал всего однажды, причем несколько лет назад, и тогда этот, в общем-то, крохотный городок привел меня в восторг несмотря на то, что наше дело там было серьезным и даже мрачноватым. В тот раз я был там тоже с маса Сэмюэлем, но ездили мы, помнится, в фургоне — выбрать камень на могилу моей матери. Никаких кедровых досок на столбике — вот еще! — и никакого босяцкого, бурьяном с незабудками поросшего угла поля — не для нее это! Мою мать, единственную из всех негров с лесопилки Тернера, похоронили с почетом рядом с членами семьи, там, где покоились только белые (всего в нескольких ярдах, между прочим, от бескомпромиссного Бенджамина, который сейчас, должно быть, переворачивается в гробу); в изголовье

поставили мраморную стелу, ни на дюйм не менее высокую и ни чуточки не менее белую, чем у них. И меня уже не гнетет и не унижает (хотя одно время из головы не выходило, когда я стал взрослым и обрел способность сосредоточенно и подолгу такие вещи обдумывать), что имя на стеле было не жалкое, зато честное негритянское “Лу-Энн”, а непрощенно дарованное, высокомерно значительное “Лу-Энн Тернер”.

Мы выехали, долго скакали по длинной парадной аллее, под копытами лежал ковер опавших листьев. В устье аллеи с поддюжины пахарей-кукурузников под руководством Абрагама чистили осушительную канаву, обрамлявшую часть угодий; маса Сэмюэль приветствовал их привычным “Здр-равия!”; они, в свою очередь, оторвавшись от трудов, распрямились и устроили целое представление с подобострастным скидываньем шапок, забавно расхлюстанными шарканьями ножкой и выкриками вроде: “Утречко доброе, маса!” и “Добрый вам путь, маса Сэм!” Я наблюдал с отчужденным пренебрежением фаворита. Их вопли все еще провожали нас, когда мы были уже на усыпанной листьями и заплывшей водою тележной колее, ведущей к мощенной бревнами гати, по которой путь лежал прямо на Иерусалим. Стояло ветреное, яркое утро с живо качающимися ветвями и спешащими за нами следом взвихрениями палой листвы. Охотничий конь маса Сэмюэля, лоснящийся вороной ирландец, быстро поймал ритм и вышел вперед, так что с полчаса или час мы ехали по лесу молча, пока, в конце концов, маса Сэмюэль не попридержал его, давая мне поравняться, потом говорит:

— А что, я слышал, ты ремесло-то будь здоров как освоил, а?

Я не нашелся, что ответить — мне было и приятно, и неловко, и я промолчал, осмелился лишь мельком по-

смотреть на маса Сэмюэля, но, встретившись с ним глазами, сразу отвел взгляд. Я заметил, что он так и светится, смотрит с полуулыбкой, как будто вот-вот готов выдать какой-то секрет. В седле он сидел с большим изяществом и благородством; длинные легкие волосы за последние несколько лет посеребрила седина, морщин на лице стало больше, что добавило ему значительности; на миг я вообразил, будто сопровождаю великого библейского героя — может, Иисуса Навина или Гедеона перед истреблением мадианитян. Обычное дело: у меня пропал дар речи; мое преклонение перед хозяином было столь огромно, что подчас я напрочь не мог при нем рта раскрыть, будто мне его кто зашил нитками!

— Мистер Козлик сообщил мне, что ты выструтал и собрал двадцать оконных рам и ригельных обвязок дымохода, да так гладко и чисто, что комар носа не подточит, каждый шип в паз, все подошло, и ни одной доски не пропало даром! Ты просто молодец, мой юный мастер-плотник! И знаешь, что, мне кажется, я должен сделать...

Не собирался ли он уже тогда сказать мне то, что я услышал от него чуть позже? Возможно. Наверняка этого знать я не могу, поскольку в тот момент конь маса Сэмюэля внезапно в испуге попятился, подо мной кобыла тоже вздыбилась и тревожно заржала, а из чащи на колею высокими скачками вымахнули три оленя, самец и две самочки, все в беглых пятнах утреннего солнца и листвы; распластанными беззвучными тенями они, безумно вытаращив глаза, пролетели мимо нас и, один за другим ударив копытами в ковер палых листьев на той стороне колеи, исчезли в лесу под утихающий треск ломких сучьев и топот копыт.

— Да уймись ты, Том! — вскричал маса Сэм и натянул повод, успокаивая коня; я тоже взялся за кобылу, и какое-то время мы стояли, испещренные прыгающими пятна-



ми света, во все глаза глядя в ту сторону, где исчезли, растворились в лесу, белые хвостики оленей, и вслушивались в стремительный перебор копыт, глухнувший вдали за деревьями. Но происшедшее обоих нас испугало.

— Будь мы рядом дальше, Нат, они бы нас снесли! — с деланной усмешкой сказал маса Сэм, развернул коня и с места бросил его в галоп. Несколько минут он молчал, пока тележная колея не кончилась, слившись с гатью, которая вела на Иерусалим.

— *Тогда хромой вскочит, как олень*, — сказал он, оглядываясь на меня, — *и язык немого будет петь; ибо пробьются...* как там дальше-то, а, Нат?

— *Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки*, — ответил я. — *И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша.*

— Вот-вот, — отозвался он.

Мы остановили лошадей у конца колеи, в роще искореженных старостью, покрывшихся шишками и наростами яблонь, когда-то бывших частью культурного сада, ныне одичавшего, заросшего кустарником и слившегося с лесом. С ветвей нападало яблок видимо-невидимо, беспорядочными кучами и рядами они лежали в неглубокой канаве, шедшей вдоль колеи; рассеянные легионы красных и желтоватых паданцев уже подгнивали, распространяя винный душок. Прямо на наших глазах, пока мы там стояли, они срывались и глухо хлопались оземь. Вокруг роились еле различимые комары, а обе наши лошади, согласно нагибая шеи, принялись подбирать лакомые плоды и сочно, с хрустом жевать.

— Вот-вот, — повторил маса Сэм. — А я и забыл. Забыл, а? — Вдруг он улыбнулся и добавил: — Ей Богу, я теперь могу позволить себе вовсе забыть Библию — если что, возьму да тебя спрошу! *Ибо пробьются воды в пусты-*

*не и в степи потоки.* — Господь Всемогуший, если бы в самом деле! — Он огляделся по сторонам, потом, приложив ладонь козырьком от яркого солнца, обозрел дали. — Господь Всемогуший, — опять повторил он, — какое унылое безлюдье!

Я тоже огляделся, но ничего необычного не заметил: яблони, дорога, поля, дальний лес — все вроде бы на месте.

Он обернулся и посмотрел на меня внимательно и серьезно.

— Ну, вот хотя бы олени эти, Нат. Взять, к примеру, оленей. Раньше никаких тут оленей в помине не было. Слишком людно было, не разгуляешься. Пятнадцать, шестнадцать лет назад — ты тогда еще головастиком был, — в ноябре-декабре, когда старый Джон Коулмен с сыновьями выходил промыслять оленину, пальба тут просто не смолкала. И численность оленей держалась в рамках. Он и черным своим охотиться разрешал. У него был кучер, матерый такой, по кличке Пятница — лучший был оленебой во всем Сауттемптоне. Но это все в прошлом. Олени возвращаются, значит, плохие настали времена. Значит, люди ушли. — Он опять огляделся, все с тем же серьезным, встревоженным, задумчивым видом. — Вот этот яблоневоый сад — он тоже Джона Коулмена. Когда за ними следили, эти деревья давали лучший “джонатан”, какой ни на есть на белом свете. А теперь, сам видишь, все в хлам, только червям на корм. Боже, какая жалость! Все напрасно, все зря!

Какое-то время мы легким, неспешным кентером скакали к Иерусалиму, и хозяин почти ничего больше не говорил. Что-то захватило его, и он ушел в себя, весь погрузился в тяжкие раздумья, которые загадочно и резко сменили то солнечное настроение, в котором он пребывал с утра; что ж, я, естественно, и помыслить не мог

навязываться. В молчании мы ехали час или даже больше, гать простиралась перед нами ровная и прямая, как стропило, леса по сторонам стояли шумливой стеной, и пожар разноцветной листвы раздувало ветром. Да, здесь не то что прирученные, возделанные земли вокруг лесопилки Тернера, тут настоящая дичь, именно что *пустыня*, да и впрямь вся медно-золотая местность окрест кишела дичью и живностью: куропадки и фазаны выпрыгивали прямо из-под копыт; вот откуда-то из колеблемой ветром кроны с шумом разлетелись в разные стороны жирные тетерева и с криками устремились в небо. Белки и кролики то и дело зигзагами перебежали дорогу. В одном месте на стволе поваленного дуба примостилась рыжая лисица; сидела, часто дыша, и смотрела на нас, вывалив язык и показывая маленькие злые зубки.

Но попадалось по дороге и еще нечто — я, честно говоря, обратил внимание только после подсказки маса Сэмюэля: странно голые, унылые полосы, время от времени прорезающие лесной массив, поросшие ежевикой и мелким кустарником проплешины земли, которые прежде были табачными плантациями, а теперь брошены и лежат в запустении. Повсюду поросль дубняка и побеги сосны; бурьян не везде покрывает землю, местами она лежит голая, белая, почти как мел или известь, вся изрытая дождевыми промоинами, на которых ничто вырасти не может, будто это рубцы и открытые раны. Там и сям сиротливо торчат одинокие облетевшие стебли — последние самосевки табака, пробившиеся сквозь щетинящийся жесткими высохшими колючками шиповник. Когда мы проезжали одно из таких полей, на горизонте я заметил развалины громадной старинной усадьбы: господский дом с провалившейся крышей, а вокруг надворные постройки, брошенные гнить, как погибшие ветви дерева, которое само давно умерло. Все это делало

пейзаж еще более мрачным; я отвернулся, непонятно почему тоже вслед за хозяином опечалившись, и дальше ехал за ним молча, а потом над нами снова по обе стороны сомкнулся лес.

Путников на дороге было мало, а какие попадались, все направлялись нам навстречу, от Иерусалима прочь: два фургона бродячих торговцев, несколько фермеров на двуколках и в легких колясках — со всеми маса Сэмюэль здоровался, и в ответ от них получал теплые, уважительно-пространные приветствия, а еще проехала полуслепая старая вольная негритянка Люси, мусорщица и тряпичница, известная на весь округ; пьяная и одуревшая, она сидела верхом на хромом, молью побитом муле, а когда маса Сэмюэль вложил ей в ладонь несколько монеток, она закаркала голосом, который преследовал нас потом чуть не полмили:

— Ой, спасибочко, мас-Сэмюэль, благослови вас Господь! Душевный вы барин, прям чистый Христос собственной спросоной!.. Вот честно грю, Христос!.. Христос... соб-спросоной... Христос... спросоной!..

Стая гусей, выгибаясь в чистейшей голубизне и отсвечивая на солнце, широким клином пролетела на юг; порыв ветра запутался в плаще маса Сэмюэля, куполом раздул его над головой всадника, тот рукой погасил, примял его к себе и говорит:

— Сколько тебе сейчас, Нат? Восемнадцать, если не ошибаюсь?

— Да, сэр, маса Сэмюэль, мне восемнадцать с первого числа сего месяца.

— Мистер Козлик дает о тебе прекрасные отзывы, — продолжил он. — Ты в самом деле здорово продвинулся. — С едва намеченной улыбкой он обернулся взглянуть на меня. — Ты очень выделяешься среди черных, наверное, сам знаешь.

— Да, сэр, маса Сэмюэль, видимо, так. — Нескромности в своем ответе я не чувствовал: то, что я во многом исключителен и отмечен судьбой, было давно привычной данностью.

— Вполне можно сказать, что ты стал, что называется, грамотным человеком, — сказал он. — Я не стремился к этому, да и не в моих это силах, хотя уверен, когда-нибудь для молодых людей твоей расы это станет обычным делом. Стало быть, ты теперь, пожалуй что, готов — полностью во всеоружии первоначального образования. Умеешь читать, писать, да и считать тоже. Обладаешь самым впечатляющим знанием Священного Писания из всех моих знакомых, а среди них есть несколько белых священников! Двигаясь дальше, пока под рукой будут книги, ты, без сомнения, еще много чему научишься. Вдобавок ко всему этому у тебя в руках ремесло, и ты чрезвычайно ловко справляешься со всем, чему тебя учат. Прямо живое доказательство того, в чем я всегда с таким трудом и, надо признаться, без толку пытался убедить белых джентльменов, включая моего покойного брата, — как я любил его! Н-да, так о чем, бишь, я? Ах, вот: пытался убедить, что чернокожие отроки, как ты, например, *могут, способны* превозмочь природную неполноценность своей расы и усвоить, по меньшей мере, такой объем знаний, который позволил бы им воспринять иные устремления, нежели те, что свойственны тяглой скотине, занятой тупым, грубым трудом. Ты улавливаешь, к чему я клоню, Нат?

— Да, сэр, маса Сэмюэль, — отозвался я, — я вас прекрасно понимаю.

— Через три года тебе будет двадцать один, ты достигнешь совершеннолетия. До этих пор я хочу видеть тебя на лесопилке в новом статусе. Отныне ты только половину дня будешь работать в мастерской под руководством мистера Козлика. На остальное время ты стано-

вишься помощником кучера, будешь работать с Абрагамом, присматривать за всеми работами — как на плантации, так и на лесопилке, но подчиняться будешь лично мне. Попозже осенью я собираюсь прибегнуть к твоей помощи: надо упорядочить мою библиотеку, там все кошмарно перепуталось. От моего представителя в Лондоне с последним судном книг пришло больше ста наименований только по агрономии и садоводству, не говоря о всяких других премудростях, да еще и от отца сколько книг осталось, и все надо как-то организовать. Как думаешь, ты сможешь мне в этом помочь?

— Я обязательно постараюсь, маса Сэмюэль, конечно, я приложу все силы.

— Некоторые там будут вещи тебе, может, не совсем еще понятные, но ты по ходу дела разберешься, так что, думаю, мы вполне справимся. — Он натянул повод, конь стал, я тоже остановил кобылу; теперь мы стояли рядом на обочине, рукой в перчатке маса Сэмюэль крепко схватился за луку седла, очень серьезно на меня глядя. Дорога была пуста, никто, сколько хватает глаз, не ехал, лишь ветер гонял по безлюдью взвихрения бурых листьев и пыли с песком. Поросшие шиповником пустоши увалами тянулись к горизонту — колючее царство смерти; где-то не так уж близко в лесу беспрепятственно бушевал пожар, и исходявший оттуда сладковатый, вяжущий рот дымок окутывал нас пряным кедровым духом.

— Ну, и вот еще что. Я долго сам с собой спорил, и в голове, и в сердце, — медленно продолжил он. — Сообщать ли тебе еще об одном моем решении или не стоит, чтобы не сбить тебя каким-то образом с пути, чтобы ты не забивал себе голову превратными какими-нибудь соображениями, тогда как надо работать и работать.

Я не мог даже предположить, что он собирается открыть мне, однако нечто в его голосе заставило меня насторо-

житься в предвкушении, и вдруг промелькнула дикая, фантастическая мысль: “Может быть, он хочет сказать, что, если все пойдет путем, он отдаст мне Джуди; Абрагаму-то ведь он только два года назад лошадь подарил...”

— Когда я нынче в августе ездил в Ричмонд, я встретился с мистером Бушродом Пембертоном, которого очень заинтересовало то, что я смог сообщить ему в отношении тебя...

Вот тебе и на, кобыла прямо на глазах исчезла, и теперь я недоумевал: “Какое ко мне касательство имеет Ричмонд? Да и мистер Бушрод Пембертон тоже! Кому он нужен-то — что тот, что этот?”

— Мистер Пембертон один из богатейших промышленников в Ричмонде. Он архитектор и застройщик, и как раз нуждается в квалифицированных рабочих. Кроме того, будучи джентльменом, человеком культурным и образованным, мистер Пембертон разделяет большинство моих убеждений по проблеме труда и рабочей силы. На его производствах в Ричмонде занято много ремесленников-негров как свободных, так и рабов — плотников, каменщиков, жестянщиков и прочих мастеровых. А на уме у меня, Нат, простая вещь. Если с тобой все пойдет следующие три года хорошо, — а у меня нет оснований предполагать, что это будет не так — ...

“Понятно, — подумал я, — он хочет сдать меня внаем. Он хочет сдать меня внаем этому мистеру Пембертону, вот к чему дело клонится”. Все во мне так и упало: ага, значит, год за годом он учил меня только затем, чтобы можно было отправить в Ричмонд внаем к мистеру Бушроду Пембертону...

— ...тогда я отошлю тебя к мистеру Пембертону, и ты у него поработаешь плотником еще четыре года. Мистер Пембертон живет в красивом старом доме у самой церкви святого Иоанна. Я осмотрел строения, где у него

живут работники, это в тихом переулке позади дома, и скажу я тебе, Нат, ни один чернокожий и мечтать не смеет жить в лучших условиях. И еще: мистер Пембертон собирается целый квартал в самом центре города застраивать прекрасными домами в английском стиле, каждый на семью, и, на мой взгляд, тебе такая работа была бы как раз под стать. Мне ты будешь платить половину того, что у него зарабатываешь, а остальное...

*“Значит, вот так вот все просто. Он хочет от меня избавиться. Все только затем, чтобы усадить меня с лесопилки Тернера. Так нечестно. Нечестно же так!”*

— ...остальное, то есть вторую половину заработанного, будешь тратить сам и откладывать на будущее. Впоследствии, по получении мною похвальных отзывов от мистера Пембертона о твоей работе, — а я опять-таки не склонен сомневаться, что она будет примерно хороша, — я выправлю бумаги на твое освобождение. Тогда ты к двадцати пяти годам станешь вольным.

Умолкнув, он кулаком в перчатке легонько ткнул меня в плечо, затем добавил:

— А условие я выдвигаю единственное: чтоб ты хоть изредка, но все же навещал иногда лесопилку Тернера — с какой-нибудь темнокожей девушкой, которую выберешь в жены!

Я вдруг заметил, что от волнения он весь трепещет. Он снова смолк и с трубным звуком высморкался. Пораженный, поверженный, я только открывал рот и попискивал, не в силах произнести ни слова, но в этот момент он резко повернул и прищпорил коня, пустив его размашистой рысью, а мне крикнул:

— Пошел-пошел, Нат! Время дорого! Надо успеть в Иерусалим, пока ювелир не распродал все жемчуга!

*Станешь вольным.* Никогда еще негритячья моя голова не испытывала такого дикого, внезапного потрясе-

ния. Ибо с той же непреложностью, как и сама неволя, виды на освобождение порождают идеи, которые сразу становятся навязчивыми и полубезумными, так что, думаю, не ошибусь, назвав в качестве первой моей реакции на столь неслыханное великодушие — неблагодарность, панику и жалость к себе. Причина сему проста и естественна как дыхание. Дело в моей привязанности к лесопилке Тернера: я так любил и дом, и лес, и безмятежный знакомый пейзаж, которому обязан всем, что было у меня в памяти, всем, чем был я сам и всем, что меня таким сделало, — я любил все это, и необходимость отсюда уехать наполнила меня тоской, да такой острой, что хоть волком вой. Расстаться с таким человеком, как маса Сэмюэль, которому я был предан до самозабвения, — это уже потеря, но и сказать прощай его семейству — всем чадам и домочадцам ласкового и щедрого дома, взлелеявшим меня с детства, — тоже нестерпимо, несмотря на... Да что уж там, — несмотря на то, что я ниггер, на то, что во мне воспитали раболепие и лакейские манеры, на то, что даже и теперь я ем остатки, живу в нищей комнатенке, что иногда меня все-таки заставляют выполнять грязную работу... несмотря на глубоко спрятанные, но никуда не девшиеся воспоминания о матери в руках у пьяного управляющего, все-таки этот дом восемнадцать лет был моей благодатной и мирной вселенной. И чтоб теперь меня оттуда выгнали? Нет, этого мне не вынести!

— Да не хочу я ни в какой Ричмонд! — вне себя закричал я на маса Сэмюэля, галопом догоняя его. — Я не хочу работать у какого-то мистера Пембертона! Нет, сэр! Ни за что! Хочу здесь остаться!

(Вдруг вспомнились слова матери, сказанные много лет назад, а с ними — новый страх: *Ниггеру лучше быть последним пахарем-кукурузником, лучше быть мертвым, чем*

*вольным ниггером. Они пускают ниггеров на волю, а потом бедняга если и найдет какой еды, так только из мусорной кучи, только то, что оставили ему собаки да скунсы...*)

— Нет! Нет! — не унимался я. — Не-ееет!

Но маса Сэмюэль хоть и кричал что-то в ответ, однако же не мне, а своему коню, летящему сквозь пургу из осенних листьев, сонмищами несущихся встречь:

— Эгей, Том! Нат парень бравый, он... еще... передумает... скажи, Том!

И точно, он оказался прав. Месяцами я потом пытался себе представить, как будет там, в Ричмонде. Но худшие страхи начали таять уже в то утро, когда мы подъехали к Иерусалиму, и меня словно благостным теплом осенило — я, худо-бедно, осознал, что это дар, дар спасительный, и даже мечтать о нем может разве что один негр из Бог знает скольких тысяч, и дар этот никакой ценой не измерить. Да ведь в конце-то концов у меня несколько лет в запасе, а уезжать с лесопилки Тернера — это когда еще! Что до всего остального — быть вольным, да в культурном городе, зарабатывая любимым ремеслом, не такая уж жалкая участь; многим бедным белым шалобродам и того в этой жизни не досталось, а посему не плакаться надо, а благодарить Господа. Этим я и занимался в тот день в Иерусалиме все время, пока ждал маса Сэмюэля в тенечке под стеной конюшни: вынул из седельной сумки Библию, стал в сторонке на колени и молился под стук колес проезжающих повозок и звон кузнечного молота, отдававшийся у меня в ушах кимвалом и псалтерионами: *Боже! Твѣ Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя... Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют Тебя...*

Однако в тот же день по дороге назад, когда я со все возрастающей радостью и надеждой слушал маса Сэмюэля — он тоже был в лучезарном настроении, потому что



купил мисс Нель великолепную французскую брошь из золота с финифтью, так и сиял от гордости, а мне взахлеб расписывал, какая у меня будет в Ричмонде прекрасная работа, — на нашем пути попало зрелище столь удручающее, что показалось, будто яркое октябрьское солнце заслонила тьма, и в моих воспоминаниях об этом дне она по сей день маячит неотступно, как, бывает, привяжется и все нейдет из головы картина: дело к вечеру, ты изможден и измучен, вышел на двор, там все замерло, затаилось к приходу ночи, и привкус во рту пресный, мертвенный — знак близости зимы.

У дороги, чуть-чуть не доезжая прогалины, где ответвляется наша тележная колея, привал устроил невольничий караван. Пустись мы в путь десятью минутами позже, он бы двинулся дальше, и мы бы его не увидели. Я стал считать, и оказалось, что негров в нем человек сорок — мужчин и мальчиков, полуодетых, в ветхих рубашках и штанах; рабы были скованы между собой цепями, которые охватывали их вокруг пояса, да на каждом еще и кандалы, ручные и ножные, лежавшие теперь у них на коленях и на земле. Прежде я никогда не видел негров в цепях. Пока мы проезжали, никто из них не проронил ни слова, и это молчание было тягостным, мучительным и страшноватым. Вытянувшись в шеренгу, они сидели кто прямо на земле, кто на корточках среди огнистых куч опавших листьев у обочины; некоторые громко чавкая, с безучастным видом жевали кукурузные лепешки, другие дремали, прислонясь друг к другу, один долговязый здоровенный верзила при нашем появлении встал и с пустым лицом, не отводя от нас взгляда, стал мочиться в канаву, а один малыш лет восьми-девяти лежал и безутешно, отчаянно плакал, прильнув к толстоватому немолодому иссиня-черному мужчине, который, похоже, как сел, так сразу и уснул. Мы ехали

вдоль их шеренги, и все по-прежнему молчали, слышалось лишь тихое позвякивание цепей, да время от времени кто-то дергал язычок варгана\*, извлекая нерадостные гнусавые звуки, немелодичные, зловеще-монотонные и раздававшиеся каждый раз внезапно, бессистемно, будто кто-то бессмысленно бьет молотком в железяку. У троих моложавых, докрасна прокаленных на солнце погонщиков, белобрысых и усатых, сапоги были в грязи, один, с длинным кожаным пастушьим кнутом в руке, когда мы подъехали и остановились, приветствовал маса Сэмюэля, чуть приподняв широкополую соломенную шляпу. В канаве негромко позвякивали цепи, и все так же время от времени однозвучно постанывал варган: *бэуммм, бэуммм*.

— Куда путь держим? — спросил маса Сэмюэль. С него слетела вся веселость, голос звучал напряженно и встревоженно.

— В Дублин, штат Джорджия, сэр.

— Где вы их взяли-то?

— В округе Суррей, сэр, ну где Замок Бейкона, знаете? Там плантация Райдера прикрылась, и вот — они и есть, евовные негры. А сейчас в Джорджию, стал-быть.

— А давно вышли?

— Да нет, ну, как сказать — утречком, стал-быть, позавчера, — неспешно отвечал погонщик. — Да мы бы уже вона где были, кабы впотьмах не поворотили не туда ешо в Сассексе, ну и заблукали чуток. — Он вдруг осклабился, обнажив зубы, такие черные от табака, что на фоне тьмы во рту они почти терялись. — Тут не везде ведь так легко ешо дорогу сыщешь, я извиняюсь, сэр. В Иерусалиме нас как только не путали! А нонче-то, я-чай, мы верно идем? На юг, стал-быть. На Каролину то-иссь.

Вместо ответа маса Сэмюэль так и вскинулся недоуменно и протестующе:

— Как, и плантация Райдера тоже? Так это негры Райдера! Бог ты мой, видно, совсем там никудышные дела, если... он вдруг прервался и ответил на вопрос: — Да, к ночи выйдете к Хиксфорду. Там есть, по-моему, торная дорога через границу и к Гастону, а дальше прямым ходом на Релей. Ну, и когда до Джорджии рассчитываете добраться?

— Дык че там рассчитывать, сэр, — все еще улыбаясь, откликнулся погонщик. — Из Виргинии я в Джорджию ниггеров сколько раз уж гонял, целыми толпами, только вот из Суррея не доводилось, ведь я у мистера Гордона Давенпорта работаю, а он ниггеров покупает все больше на другой стороне реки Джеймс, где округ короля Вильгельма и Нью Кент. Тамошние по большей части старого завоза ниггеры, нижнегвинейские, у них лытки короткие, то бишь мослы, да и вообще они в коленках слабоваты, так что их заставить за день отмахать хотя б миль двадцать, это, я вам доложу, работенка; короче, скажи спасибо, ежели недель за шесть до Саванна-ривер доберешься. Да и то, ежели семь шкур с них спустишь, до кнутовища, вон, ременницу поизотрешь. — Он помолчал, сплюнул в листья. — Но тут есть одна закавыка, сэр, — продолжал он терпеливо объяснять. — Эти-то, которые из южнобережных округов, негры из Суррея, Айл-оф-Райта и Принца Георга, они по большей части более поздних завозов, настоящие уже верхнегвинейцы — сами из себя, стал-быть, поздоровее будут, да и мослы у них подлиннее — ну то-иссь, как правило, — дык с ними ты и двадцать пять, и тридцать миль в день легко одолеешь, даже когда промеж них бабье и молодняк затесался, и, главное дело, ременницей работать не приходится, ну, то-иссь редко когда. А по мне-то, этак даже и лучше. Так что, стал-быть, ежели не случится вдруг паводок или ешо какой срящ, так будем в Дублине неделе на второй ноября.

— Значит, хозяйству Райдера тоже конец! — проговорил маса Сэмюэль после долгого молчания. Я знал, что у него не все в порядке, но чтобы так скоро! Последняя настоящая старая плантация в Суррее; даже не верится!

— Очень даже верится, сэр, — возразил погонщик. — Земля на северном берегу реки Джеймс так истощилась, ее даром-то уж не берут. И жрать, я извиняюсь, сэр, в Суррее, кроме желудей, больше нечего. Говорят, сойки, ежели в Суррей залетают, дык беспрерывно корм туда с собой берут. — Один из двоих других погонщиков фыркнул и захихикал.

Пока тот, в шляпе, говорил, кобыла подо мной, за которой водилось этак поковылять впоперечь, невзначай переступая вдоль шеренги, сдвинулась на несколько ярдов в сторону от погонщиков, тут тряхнула гривой и капризно встала — как раз у того места, где раздавалось однообразное треньканье варгана. *Бэумми. Бэумми.* Вдруг треньканье прекратилось, кобыла подо мной дернулась, и я услышал, как вдоль канавы зазвякали, зашевелились цепи, и громче стал горестный плач ребенка, который, как и прежде, хныкал, прильнув к толстому седому дядьке, а тот, спросонок подслеповато поморгав гноющими глазами, глянул на мальчика и пробормотал: “Ну, ничего”. Погладил его по кучерявой темной головенке и вновь сказал: “Ну, ничего”. А потом стал тихо повторять эти два слова, будто единственные, которые знал: “Ну, ничего... ну, ничего...”

Ни с того ни с сего вдруг налетел порыв ветра, день нахмурился, промозглый ветерок помчал вдоль каравана, взметнул листья вокруг растоптанных, сбитых башмаков на ногах негров, стал трепать лохмотья рукавов их бумазейных рубаш и бахрому на серых рваных штанинах. Меня самого передернуло, но тут так же быстро, как и появилось, облако исчезло, день вновь заулыбался,

расцвел в тепле, и в этот момент прямо у стремени я услышал тихий вкрадчивый голос:

— Деточка, миленький, подай старому Реймонду какой-нибудь кусочек.

Я предпочел не услышать, устремив все внимание на маса Сэмюэля, который говорил:

— Так, я смотрю, вы там, в Суррее, и семьи этих негров поразбивали, иначе-то в караване и женщины были бы.

— Ну откуда ж я знаю, сэр, — отвечал погонщик. — Мистер Давенпорт нанял меня только перегонять их.

— Ну, миленький, ну, пожалуйста, — не унимался голос рядом со мной, — неужто не найдется картофелины для старого Реймонда? От яблок нас уже тошнит. И лепешек этих кукурузных. Одни лепешки да кислые яблоки с обочины. Нам всем тошно уже от этой дряни. Ну, пожалуйста, дай картофелину старому Реймонду. А может, и бекончика кусочек завалялся?

Я глянул вниз и увидел веснушчатого, лишь слегка коричневатого цветного, мускулистого и крепко сбитого, толстогубого, с лысеющей рыжеватой головой. На вид ему было лет тридцать пять, может быть, сорок, и явно в нем текла кровь то ли какого-нибудь ирландца-управляющего, то ли наследника поместья на реке Джеймс, а может, бродячего жестянщика из Пенсильвании; по тому, с каким видом он восседал — то ли два скованных с ним цепью соседа к нему так прильнули, то ли из-за дерзостных звуков, которые он извлекал из зажатого в мясистом неуклюжем кулаке варгана, “еврейской арфы”, как его называют, — создавалось впечатление, что он, хотя и оборванец, но наделен каким-то непонятным достоинством и влиянием: я заметил, как ему оказывали и как он принимал знаки уважения; да ведь, в общем-то, на каждой плантации есть свой такой вот Реймонд. Воз-

вышением он, скорей всего, обязан белой крови, но также и врожденному уму, практической сметке и хитрости, которые, при самом жалком и уродливом применении, на безрыбье сделали его мудрецом и авторитетом в глазах остальных. Отчего не всегда на небе луна? Реймонд знает. *А над болотами такие черные туманы встают — они и заслоняют.* Как вылечиться от ревматизма? Да ты, вон, Рея, Рея спроси! *А надо пилипарки делать из скрипиц с красными червяками и соком красной луковицы — вот, только так, первое средство.* Какие-то проблемы у тебя с твоей женщиной по ночам? *А возьми ватку, которую она после месячных выбросит, пришей себе изнутри к штанам и носи, она сама на тебя напрыгивать будет.* Когда негры на волю выйдут? *В 1842 году, мне видение было — а поведет негров белый с деревянной ногой, приехавший из Парижа, что во Франции.* И вот уже слава о нем идет между неграми: *Спроси нашего пройдоху Рея. Реймонд — он, почти-тай что, все как есть знает на всем белом свете.* А как там в Джорджии будет, переживем? *Да ну, это же страна богатых, нас потому и ведут туда. В Джорджии ниггеры яичницу три раза в день едят...*

— Тебя как звать-то, красавчик?

— Нат, — ответил я. — Нат Тернер.

— А где ты, мил человек, живешь?

— На лесопилке Тернера, — говорю, — на юге округа. — И тут я вдруг сболтнул такое — такое лишнее, столько раз потом жалел, что Бог не вырвал мне тогда мой дурацкий язык. — Хозяин скоро меня в Ричмонд увезет и там даст вольную.

— Ну-у, так это же тогда вообще святое дело! — оценил Реймонд.

— Вот ей Богу! — добавил я.

— Послушай, мил человек, — опять завел он свою вкрадчивую канитель, — ну неужели у такого богатенького негрия

теночка не найдется кусочка еды для старого Реймонда? Вон же у тебя какая сумка толстенная у седла. Там, наверное, столько всякой вкуснятины в той сумке! Ну, мил человек, ну, красавчик, ну дай Реймонду чего-нибудь покушать.

— Да там одна Библия в той сумке! — нетерпеливо оборвал его я, поймав себя на том, что говорю с тем же акцентом, что и он — рот будто полон каши.

Я хлопнул кобылу ладонью между ушей, чтобы она прекратила этот свой крабий перепляс, и подъехал ближе к маса Сэмюэлю. Пока мы там стояли, день стал клониться к вечеру, похолодало. Луч закатного солнца, прорвавшись сквозь октябрьскую листву и дымку, ползущую из-за деревьев, косо ударил в чашу бурьяна и ежевики и так жарко, так яростно все изнутри подсвечивал, что показалось, опушка вот-вот полыхнет и займется пламенем. Подтянувшись ближе к хозяину, я снова услышал треньканье “еврейской арфы”: *бэуммм, бэуммм, бэуммм.*

— Давай, нам давно пора ехать, — сказал маса Сэмюэль, разворачивая коня, и опять мы оказались бок о бок; тут я почему-то замешкался, остановился вовсе, стал оглядываться, но он вновь позвал меня: — Давай-давай! Пора ехать!

Теперь, снова двигаясь вдоль длинной шеренги негров, я больше не слышал “еврейской арфы”; вот подъехали к тому месту, где сидел закованный в цепи Реймонд, и тут он, как раз когда мы переходили на рысь, еще раз ко мне обратился, заговорил сладким, вкрадчивым дискантом, и не сказать чтобы злобно, а этак медленно, умудренно, пророчески и, я бы даже сказал, глубокомысленно:

— Твое говно тоже воняет, красавчик. И жопа твоя, пацаненок, такая же черная, как моя.

Примерно в ту самую пору моей жизни — кажется, это было следующей весной — я познакомился с чернокожим парнишкой по имени Виллис. За исключением Уоша, матери и домашней прислуги во главе со Сдобромутром, Виллис был первым негром, с которым я сошелся близко. Двумя или тремя годами младше меня, он был сыном женщины, которая у Тернеров работала по части ткачества и той зимой умерла от какого-то легочного недомогания, а он, на взгляд хозяина, казался подходящей заменой мне по плотницкой части, поскольку, согласно новому распорядку, я теперь присутствовал в мастерской лишь половину рабочего времени. Едва я увидел его за работой, как он под руководством Козлика учился орудовать молотком и рубанком, я сразу понял, почему маса Сэмюэль выбрал мне в приемники именно его: большинство отроков-негров после четырех-пяти лет лесоповала или работы с тяпкой внаклонку на кукурузном поле становятся неуклюжи и ни на что, кроме самого грубого труда, уже не годятся, а молоток могут использовать лишь для членовредительства — чтобы дробить самим себе коленки, тогда как Виллис был ловок и аккуратен, ученье схватывал на лету и снискал одобрение и приязнь Козлика почти столь же быстро, что и я. Ни читать, ни писать он, разумеется, не умел напрочь, зато характер имел легкий, был покладистым и обязательным, и всегда у него наготове была улыбка. Вначале я отнесся к нему настороженно — по привычке взирал на него с презрением, которое большую часть жизни питал ко всем неграм, кроме дворовых, но он меня обезоружил открытостью и веселым простодушием, и мы стали закадычными друзьями. С учетом моего застарелого пренебрежения к неграм, я даже не знаю, как это могло произойти: такое было ощущение, будто я нашел брата. Работая, он любил петь;



помогал мне крепить балку и напевал негромким ритмическим речитативом:

Я хожу-ды по лугу,  
Всех коров доить могу,  
А я за хвост сосцапаю  
Ды самую сосцатаю.  
Перед ей стою на пне,  
Носом копаю в копне,  
Чи-и-во я с ей тут выдою,  
Того и сам не ведою.

Это был стройный, красивый юноша с тонким лицом, по природе своей очень мягкий и мечтательный, с черной кожей, такой гладкой, что она отсвечивала на солнце, как смазанная маслом. Единственной его религией, как и у большинства негров, была вера в приметы и колдовство; чтобы отпугивать духов, он три кучерявые пряди на голове обвязал длинными волосинами с члена быка, павшего от вздутия живота, а на шее носил амулет — нанизанные на нитку клыки водяного щитомордника: а как же, оберег от простуды! Речь его была ребячливой, бесхитростной и скабрёзной. Мне он очень нравился; ну, а раз так, мне безразлична была судьба его души, — значит, скорее надо снять с него оковы невежества и суеверий и открыть ему истину христианской веры.

Начало далось нелегко — как эту простую, несложившуюся детскую душу приведешь к пониманию правильного пути и восприятию истинного света? — но многое в нем, помню, содействовало мне. Во-первых, как я говорил уже, он был умен: другие черные мальчишки, от рождения слепые слепотой глупости и легкомыслия, не различали даже смутных очертаний мира вне стен хижины, вне границ поля и окружающих лесов; Виллис, напротив, был похож на устремленную в небо птицу, которая тотчас улетит, лишь бы кто-нибудь открыл дверцу

клетки. Возможно, это оттого, что он тоже вырос вблизи господского дома и мало подвергся влиянию тупого механического труда на полях. Но главное, конечно, он по натуре, просто по характеру был *другой* — не такой, как они. С самого начала он вошел в жизнь, осененный этим благословением: вольный духом, живой и радостно открытый обучению; все в нем радовалось жизни, веселилось и плясало, свободное от глупой звероватой тяжести, свойственной детям, рожденным для сохи и мотыги.

Однако еще больше помогал мне мой авторитет, перед которым он склонялся просто в силу того, сколь многого я достиг. Мое влияние было необычайно велико, особенно для негра юных лет, и я отлично сознавал, каким уважением и даже восхищением я пользуюсь среди черного населения лесопилки, особенно теперь, когда стало известно, что меня сделали вторым человеком после кучера Абрагама. (В то время я был чересчур юн, глуп и спесив, и это мешало мне — скажем, сижу я этак верхом на Джуди в гомоне, стуке и треске делянки лесоповала и, не глядя на суетящихся вокруг работающих негров, такой весь из себя холодный и надменный, нарочито громко читаю вслух накладную, да еще и с преувеличенно книжным произношением, — где уж тут было понять, сколько горького негодования пряталось за их почтительными, восхищенными взглядами.) С высоты своего положения снисходя до простодушного, доверчивого Виллиса, постепенно я сумел заставить его понять величие Господа, создавшего этот мир, и склониться перед чудом Его присутствия во всем сущем. Не подумайте чего плохого, но в те часы, что я провел с Виллисом весной моего восемнадцатого года (в тиши полуденных лугов мы с ним страстно молились, причем в одной руке я держал Библию, а другой сжимал и по-



глаживал его гладкое округлое плечо, призывая уверовать), я испытал некое совершенно новое чувство — например, когда однажды он начал вздрагивать и вздыхать в ответ на шепот моих молений: “Боже, посмотри, вот бедный отрок Виллис, осенí его Твоей бесконечною милостью, помоги ему уверовать... да, Господи, да, да, он уверовал!”, и сразу голос Виллиса, испуганный свистящий шепоток: “Да, точно, Господи, Виллис, он — того, он, ясное дело, верует!” — впервые я испытал... нет, я же говорю, плохого не подумайте, я испытал прорыв, вроде как, когда солнце желтым выплеском прорвет тучи и озарит весь Божий мир, так и меня прорвало, и все затопило таинственным ощущением моей собственной, только мне одному дарованной, пока еще потаенной, но неукротимой и сокрушительной власти.

Помню, той весной по субботам и воскресеньям мы вместе ходили на рыбалку. За заводским прудом по болоту вилась мутная речка. Темная вода кишела лещами и зубатками, и мы долгими часами сидели по утрам в туче комаров на скользком глинистом берегу с удочками из сосновых палок, обработанных в мастерской, а на крючки, сделанные из согнутых гвоздей, насаживали червяков или кузнечиков. Вдали вжикала лесопилка, глухо доносился шум воды и рокот колеса. Здесь воздух был дремотно-теплым, свет неярким и прозрачным, и лишь мельтешили кругом суетливые тени одурело чирикающих и стрекочущих птиц. Однажды, поранив палец то ли крючком, то ли острым шипом рыбьего плавника, Виллис вскрикнул: “Ет-твою, Бога душу!”, а я, не успев дослушать, сам толком не понимая, что делаю, сразу — бац его по зубам, и до крови.

— Сквернословием ты оскорбляешь Господа! — сказал я.

Его лицо приняло растерянное, обиженное выражение; рука дернулась пощупать пальцами то место, куда я

его ударил. Круглые глаза смотрели по-детски кротко и доверчиво, и вдруг я почувствовал укол вины, самому стало больно из-за этой вспышки, и накатил волна жалости пополам с нежностью, такой острой и щемящей, какой я прежде никогда не ощущал. Виллис молчал, глаза его были полны слез; я смотрел, как раскачиваются у него на шее белоснежные страшноватые змеиные клыки на глянцеvито-черной голой груди. Потянувшись отереть кровь с его губ, я привлек его ближе, моя ладонь с его влажного плеча соскользнула, и как-то так мы друг на друга повалились, прижались естественно и удобно, как ползуны-двойняшки; под моими ищущими пальцами оказалось что-то горячее, живое и пульсирующее, как птичья шейка, и я услышал его далекий-далекий вздох, а потом мы долго пребывали будто в совсем иных краях, и наши руки вместе делали то, чем прежде я занимался в одиночку. Никогда я не думал, что человеческая плоть может быть такой нежной.

Спустя целую вечность слышу, Виллис шепчет:

— А чо, мне понравилось! Может, ешшо, а?

Какое-то время я не мог заставить себя посмотреть на него, отводил глаза, глядя вверх, на солнце, сквозь листву, дрожащую, как стоя зеленых трепещущих бабочек. Наконец я сказал:

— *Душа Ионафана прилепилась к душе Давида, и полюбил его Ионафан, как свою душу.*

Текло время, Виллис молчал, потом я услышал, как он завозился рядом со мной, усмехнулся, и говорит:

— А знаешь, чего мне эта молодёfейка напомнила, а, Нат? Пряма точь-в-точь пахта. Глянь-кося.

Все у меня внутри еще вздрагивало и саднило от наслаждения, я пребывал в сладостной расслабленности, которую в то же время ощущал как опасность и предостережение. Помню, высоко в кроне дуба вился дрозд,

болтался меж ветвей, как тряпочка, щебеча и тараторя; над ухом звенели и пищали комары, глинистый берег холодил голову, точно глыба льда. *“И целовали они друга друга, и плакали оба вместе, — припомнилось мне, — но Давид плакал более... И встал Давид и пошел, а Ионафан возвратился в город”*...

— Пошли, — сказал я, вставая. Он подтянул штаны, и я подвел его к руслу, к самой воде.

— Господи! — громко сказал я, — погляди на этих двух грешников, которые согрешили, стали нечистыми в глазах Твоих, и стоят теперь, жаждут крещения в купели.

— Эт верно, Господи, — подтвердил Виллис.

В весеннем теплом воздухе я внезапно почувствовал очень явственное присутствие Бога, сочувственного, всеискупительного, всепонимающего, словно великое Его милосердие пропитывало вокруг нас все и вся — и листву, и темную воду, и щебечущих птиц. Реальный и притом непостижимый, Он словно готов был проявиться — живительный, но незаметный глазу, как дыхание ветерка на щеке. Казалось, вот-вот Он покажется в мерцании и переливах волн теплого воздуха над деревьями, будто уже отверз Он свои уста, и уже готов прозвучать глас свыше, явственно благовествуя о Божественном присутствии именно мне и именно сейчас, когда я тут стою по щиколотку в темной воде, молюсь и каюсь на пару с Виллисом. На дальний шум лесопилки, мне показалось, наложился какой-то иной ропот и громохание, идущее с небес, будто вострубили трубы архангелов. Неужто Господь будет говорить со мной? Я ждал с дрожащими от страстного томления коленями, изо всех сил стиснув локоть Виллиса, но слов свыше я не дождался, Господь предпочел явить Свое присутствие, пролившись летним дождем с мощными, многоступенными раскатами дальнего грома.

— Господи, — кричал я, — Твой раб Павел сказал: *Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа*. Ведь он так сказал, Господи, так он сказал! Ты это знаешь, Боже!

— Аминь, — подытожил Виллис. Я чувствовал, как у меня под рукою он начинает ежиться и вздрагивать, и тут он снова сказал: — Аминь! Истинная правда, Господи!

Я вновь подождал гласа свыше. На мгновение мне показалось: вот оно, услышал, но то был всего лишь верховой ветер в кронах деревьев. У меня сердце бешено колотилось; помню, я думал тогда: “Ну, может, не сейчас. Может, Он сейчас говорить не хочет, захочет в другой раз”. Я подумал: “Да Он же испытывает меня”, — и сразу меня охватил радостный трепет. Он проверяет, способен ли я крестить. А голос свой Он приберег на другой раз. Ну, ничего, Господи.

Повернувшись к Виллису, я потянул его за руку, и вместе мы вошли в воду по пояс; я чувствовал, как теплый ил продавливается у меня между пальцами ног. В отдалении, у другого берега метнулась в сторону маленькая змейка, будто шнурок сквозь водяную гладь прoderнули, и, лихорадочно извиваясь, змейка исчезла где-то выше по течению; я посчитал это добрым предзнаменованием.

— *Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, —* сказал я, — *Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом...*

— Аминь, — произнес Виллис.

Я схватил его за затылок и нагнул, заставив опустить голову в пенистую, темную и мутную воду. Вот и настал тот миг, когда впервые я покрестил кого-то; от внезапного восторга из глаз у меня брызнули слезы. Секунды через две, вся в пузырях, его голова вновь была на поверхности, он встал, струясь и отдуваясь, как закипевший

чайник, но такой весь при этом сияющий, с такой прекрасной улыбкой, что я не удержался и вновь обратился к небесам.

— Грешен я, Господи, — возопил я. — Позволь мне спастись, крестившись в этих искупительных водах. Позволь мне впредь посвятить себя служению Тебе. Позволь мне быть проповедником святого Слова Твоего. Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа, аминь.

После этого я сам себя покрестил.

Вечером, возвращаясь к лесопилке, мы прошли рощей красного кизила; стволы деревьев пестрели розовыми и белыми пятнами, будто какой проказник ходил и поливал их из ведра с краской, все время пели пересмешники, в буйстве зелени то терялось, то вновь возникало незатейливое певучее чириканье, казалось, певун один и тот же, и провожает нас от самого леса. Виллис всю дорогу взбудораженно болтал — все ж таки, худо-бедно, штук шесть лещей мы ведь поймали! — но я на него не обращал внимания, шел, весь погрузившись в раздумья. Главное, отныне и впредь я должен полностью посвятить себя служению Господу, ведь я дал обет, а плотских нег и сладосущий, подобных тому, что испытал я нынче утром, следует решительно бежать. Если меня настолько вышибло из колеи непрошеное сближение с мальчиком, что же будет, — думал я, — какое возникнет препятствие на моем пути к духовному совершенству, если когда-нибудь мне случится вступить в сочетавание с *женщиной*! Любим соблазнам наперекор я должен всеми силами хранить чистоту тела и помыслов, чтобы ничто не мешало духом устремляться к остроумной кротости христовой веры и упования.

Что до Виллиса — ладно, раз я так его люблю, люблю все равно как брата, я должен делать все, что в моих силах, дабы облегчить ему его собственный путь к Гос-

поду. Надо попытаться научить его чтению и письму — пожалуй, он еще не слишком стар для этого, да и, чем черт не шутит, вдруг представится возможность убедить маса Сэмюэля, что Виллис тоже сумеет жить на воле, и его можно будет тоже отправить во внешний мир — хоть в тот же Ричмонд! — и устроить, чтобы у него тоже была хорошая работа, дом и жена. Не описать, до чего приятно было мне представлять себе Виллиса в городе, такого же свободного, как я сам, и как мы вместе посвящаем себя проповеди слова Божьего среди негров и честно трудимся под началом у белых.

Эта мысль преисполнила меня такой радости и надежды, что я остановился на тропинке под кизилами и прямо там, под открытым весенним небом, благодарно преклонил вместе с Виллисом колени и благословил его Божьим именем, а перед тем как встать, заменил змеиные клыки на его шее маленьким белым крестиком, собственноручно вырезанным из бычьей берцовой кости.

Когда бы ни вспоминал я позже тот день и то, что я тогда, в восемнадцать лет, думал и чувствовал, всякий раз первые восемнадцать лет моей жизни представлялись мне восхождением по приятной извилистой дороге на длинный, пологий склон огромной Божьей горы, а тот день был вроде обзорной площадки на пути. Не зная будущего, я хотел сделать привал в этом живописном месте и идти дальше, поднимаясь выше и выше, уступ за уступом к дальним, вольным и величественным вершинам, где всецело раскроется смысл моего предназначения. Однако, повторяю, когда бы ни вспоминал я тот мой восемнадцатый год, тот день и события, которые вскоре воспоследовали, мне всегда становилось ясно, что обзорная площадка была вовсе не удобным местом отдохновения, но тупиком: не изволок, плавно вздымающий тропу в высокогорье,

ждал меня за поворотом, а пропасть, неожиданный крутой обрыв, куда и полетел я, как ивовый лист, подхваченный яростным выдохом ветра.

В тот год ближе к лету баптисты вознамерились в длинный праздничный уикенд устроить на природе неподалеку от Иерусалима всеобщий съезд. Вожатым этого действия пригласили известного дьякона-возрожденца\*, некоего Джонса, он должен был приехать аж из самого Питерсберга; предполагалось, что туда соберутся баптисты со всей округи, за много миль съедутся многие сотни плантаторов и фермеров с семьями, некоторые чуть ли не с побережья Северной Каролины. Поставят палатки и в течение четырех дней и ночей будут петь, молиться и угощаться дикими индейками и мясом на вертеле. Под фисгармонию и банджо станут исцелять наложением рук и миропомазанием, да и вообще — все, кому повезет присутствовать, спасутся. Я слышал также, что некоторые из рабовладельцев возьмут с собой своих негров, и эти счастливцы тоже смогут приобщиться духу возрождения, наравне с белыми будут допущены к причастию; впрочем, не более того: чтобы кого-то из них стали угощать индейкой или жареным мясом — это вряд ли. Известие о предстоящем сборе весьма меня взволновало, и я спросил маса Сэмюэля, нельзя ли мне будет туда съездить, взяв фургон и нескольких негров из двора. Я хотел, чтобы в их число вошли Виллис и Сдобромутр, уже много лет ревностный христианин, к тому же для него, ставшего слабым и болезненным и слегка пошатнувшегося рассудком, это могло оказаться последним “возрождением”. Хотя веру маса Сэмюэль исповедовал англиканскую, да и в церковь-то забыл уже, когда навещался, пренебрежения к Библии в нем не было, более того, он всячески способствовал тому, чтобы негры получали религиозное воспитание, и мой пример тому,

конечно, порукой. Поэтому, когда я спросил его, нельзя ли мне в субботу туда съездить, он с готовностью дал разрешение, сказал, что выпишет для всей нашей группы подорожную, и только предупредил, чтобы мы непременно вернулись засветло и чтобы я приглядывал за другими неграми, а то они могут попасться в лапы хитрых жуликоватых цветных с приречных плантаций — откуда-нибудь с реки Джеймс или Блэкуотер; тамошним неграм приходится сталкиваться с белыми речниками и торговцами, а значит, и со всяческой скверной, так что наших простодушных лесовичков они могут буквально вытряхнуть из штанов и ботинок.

С того самого дня, когда я покрестил Виллиса, я начал учить его читать и считать, Библию использовал как букварь, а буквы выписывал на задней стене пристроенного к мастерской сарайчика при помощи травинки, макая ее, как кисточку, в ламповую сажу. Меня радовало, как быстро он усваивает уроки; я был уверен, что, если не лениться и с толком использовать каждую свободную минуту, он скоро запомнит алфавит и поймет связь между буквами и словами, пусть бы для начала даже в простой строчке, такой, как третий стих начала Библии — тот, всем известный: *И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.* Виллис тоже очень загорелся идеей поехать на съезд баптистов. Хотя сам я никогда на таком “возрождении” не бывал, по давнишним рассказам матери и Сдобромутра я представлял себе, какая там будет красочная праздничная суетня, так что и Виллису я живописал ее, заразив его своим воодушевлением. Вечером накануне съезда я позаимствовал у Козлика двух жирненьких курочек из его выводка, пообещав потом отработать, и приготовил роскошный праздничный обед для всей команды негров-паломников — жареных цыплят (редкостное для нас лакомство) и пару буханок особо аппетитного хлеба

“шортенинг” (в него при выпекании для пушшего хруста добавляют жир); еле я его допросился у абрагамовой жены, получившей теперь место кухарки в хозяйском доме. Цыплят и хлеб я положил в туесок из сосновой дранки, туда же кувшин со сладким сидром и все это поставил в сарайчик при мастерской — целее будет, а то шалят, шалят ручонки черномазы! — потом лег спать, раным-ранехонько, ведь отправляться в Иерусалим придется задолго до рассвета.

Около полуночи меня разбудил тихий шепот и скрип фонаря, как колокол качающегося прямо надо мной; в его желтоватом прыгающем свете глаза стоящей у моей постели девочки-негритянки казались большими и белыми, как куриные яйца. Это была одна из младших сестер Уоша — детей у Абрагама было видимо-невидимо, — а сообщила она мне, что я должен срочно идти к ним в хижину, ее послал папочка, он, бедненький, очень-очень приболел. Одевшись, я побежал за девочкой вниз по склону — ночь лунная, стрекот сверчков, а какой запах! — и, наконец, в хижине увидел Абрагама, которого, как девочка и сказала, свалила лихорадка, он лежал, кашляя и плюясь, его широкая черная грудь блестела от пота, стекающего струйками в неверном свете фонаря.

— Эт ничего, Нат, — слабым голосом произнес он. — Эттая дрянь меня так кажну весну мучит. К понедельнику буду в полном порядочке. — Он подождал, потом продолжил: — Дело-то не в этом. Маса Сэмюэль велел мне тех четверых к мощеной гати подвезти в два ночи. Сейчас сколько?

— Я вроде слышал, полночь пробило, — сказал я. — А что за четверо, о ком ты говоришь, Эйб?

— Да маса Сэмюэль тут четверых парней отдал внаем на плантацию Вогана табак шинковать. На две недели. Воган нам всустречь фургон пришлет — туда, где к нам

колея ответвляется. Я должен туда ребят доставить, да на меня худость напала, прям неволю, так что придется тебе, Нат, с йими ехать. Туда надо к двум часам поспеть, так что запрягай давай, а я, пень трухлявый, немного приведу в порядок старые кости. Эт быстро пройдет.

— Да ведь мне же на съезд баптистов, Эйб, — начал я было упираться, — я ведь давно уже, всю дорогу ведь планировал...

— Дак ты *поспеешь* на свой съезд, парень. — Всего и делов только — ночь не поспать да день перемогнуться. Давай, Нат, запрягай и пошел, грузи парней в телегу. Они уже стоят там, за конюшней дожидаются. Вот, еще бумагу эту с собой возьми.

Насчет съезда Абрагам был, конечно, прав: вполне можно еще успеть к концу колеи и обратно, подобрать Виллиса, Сдобромутра и остальных и вовремя пуститься в путь на Иерусалим. Единственное — ночь не поспать, какая мелочь! На что, однако, я никак не рассчитывал, так это, что среди тех четверых черномазых парней, которых я должен доставить к фургону Вогана, среди четырех сонных черных физиономий, молчаливо глядящих на луну, тесно сойдясь на светлом пятачке у темной стены конюшни, окажется и физиономия моего подопечного Виллиса — тут сердце у меня так и провалилось, едва я успел заметить его, и насквозь пронизало мерзкое, вязкое ощущение, что нас предали.

— Но он же сказал, что ты можешь ехать на съезд! — все кипятился я, запрягая двух мулов; ругаясь, затягивал на них постромки в пропахшей навозом темноте конюшни. Виллис, босой, сонно топтался в темноте вокруг и помогал мне, не говоря ни слова.

— Да что ж это такое, Виллис! — возмущенно шептал я. — Он *ничего* не говорил про то, чтобы кого-то отдавать внаем майору Вогану. *Ни звука!* А теперь, сдуреть мож-



но, ты две недели у Вогана будешь табак шинковать, а следующий такой съезд, может, только через год будет.

От разочарования я чуть с ума не сходил; тот лучезарный пузырь удовольствия и предвкушения, в котором я столь долгое время радостно кувыркался, вдруг лопнул и посыпался жалающими стеклянными осколками; я хлестнул мулов и, выведя их на залитую светом луны лужайку, в мучительном нетерпении стал торопить парней, чтобы лезли в телегу.

— Будь оно все неладно, — приговаривал я. — Цыплят поджарил, понимаешь, даже *сидра* припас! А ну быстрее, балбесы черномазые, шевелите копытами!

Трое парней запрыгнули в телегу через задний борт — почти мальчишки, лет пятнадцати-шестнадцати, свежее тягло, — карабкаясь, они нервически хихикали; у каждого из троих на щиколотке было по кожаному браслету с привязанной к нему кроличьей лапкой — последний писк местной моды; один из них обладал способностью нарочно вызывать у себя оглушительную отрыжку, похожую на кваканье бычьей лягушки, этим он тотчас же без усталости занялся, каждый раз вознаграждаемый радостным детским визгом и хохотом двоих других. Виллис забрался на козлы рядом со мной.

— Н-ноо, твари ленивые! — крикнул я мулам. Такого никогда прежде не было, чтобы я почувствовал разочарование или обиду на маса Сэмюэля, и это новое переживание еще больше сбивало меня с толку. — Да будь он неладен, этот маса Сэмюэль! — сказал я Виллису, когда мы уже ехали по аллее. — Если он собирался на две недели сдать тебя Вогану, почему он ни тебе, ни мне ничего не сказал — мы бы не готовились и не сидели бы теперь, как тот дурак с вымытой шеей!

Довольно быстро досада и злость улеглись, оставив после себя равнодушное смирение, к которому боль-

шинство негров так или иначе в конце концов привыкает. В самом деле, случаются вещи и похуже, — думал я, покачиваясь на козлах повозки, неторопливо ехавшей среди мертвенно белого в лунном освещении леса; ну хорошо, пусть на *этот* съезд Виллис не попадет, что тут страшного? Когда-нибудь обязательно подвернется что-то другое, еще какое-нибудь “возрождение”, и мы с ним съездим, а то, что он не попадет туда нынче, это если и брешь в его духовном воспитании, то очень небольшая. Полный нежности, я поглядел на него, когда его лицо попало под бледный луч луны: уронив голову, полусонный, с приоткрытым ртом, он покачивался в такт движению повозки, то и дело пытаясь разлепить веки, чтобы не заснуть окончательно. Ткнув локтем, я разбудил его и спрашиваю:

— Два да три — сколько?

— Пять, — подумав, отозвался он, протирая глаза.

— А три да четыре?

— Семь.

Он хотел было сказать что-то еще, помедлил, потом говорит:

— Нат, как ты думаешь, по-моему, странно: чего это маса Сэмюэль *меня* и вдруг внаем сдавать удумал? Я же плотничий подмастерье.

— Не знаю, — честно признался я. — Ну, может, там очень уж рук не хватает. Да ты не переживай. Маса Сэмюэль имеет дело только с хорошими людьми, эти Воганы добрые, плохого тебе не сделают. Потом, ну что такое две недели, было бы о чем говорить. Вернешься, и я буду учить тебя дальше. Сколько будет три да восемь?

— Четырнадцать, — зевая во весь рот, отозвался он.

В кузове позади нас трое парней уснули, притулившись друг к другу в мертвенном свете луны, как неживые. Ночь, полнотонная из-за лягушек и сверчков, была

теплой, полной густого кедрового духа, и видно было как днем, в свете луны деревья казались осыпанными чем-то белым, вроде костной муки. Треща и шурша мокрым от росы бурьяном, лопухие мулы брели уверенно, будто знали дорогу наизусть, и я позволил себе ослабить вожжи и тоже слегка вздремнуть; так до конца пути я и проспал, правда, урывками, причем один раз меня разбудил крик рыси на дальнем болоте, и этот вой в моем сознании смешался с непонятным, сложным сном, превратившись в скрежет когтей, отчаянно скребущих голую твердь небес.

Тем временем на сиденье рядом завозился Виллис, да и другие трое — вдруг осознал я — что-то там сзади очень уж расшевелились; тут я стряхнул с себя сон, — ба! мулы-то стоят. В свете луны я увидел примыкание колеи к дороге и саму гать, через пень в колоду протянувшуюся с запада на восток, и, наконец, на фоне деревьев проступил силуэт Воганова фургона — огромный, крытый парусиной, он стоял неподвижно, из-за белой обвисшей крыши похожий на парусник, крепко севший на мель у опушки леса. Из тени фургона выступили фигуры двоих белых мужчин, и один из них — осанистый господин с толстощеким стареющим лицом под залоснившейся широкополой “плантаторской” шляпой — подошел к нам и спросил голосом, скорее, дружелюбным:

— Ты, что ли, Абрагам?

— Нет, сэр, — отвечаю, — я Нат, маса. Я кучер, какк-его-значит, номер второй. Абрагам, понимаашь ли, приболевши нонеча, да, сэр, приболевши, маса, значиц-ца, ох, всерьез. — Что ж, при желании вертляв, пригибчив негритянский мой язык!

Он ближе подошел к нашей повозке, и вдруг тишину прервали колокольцы, мелодичным звоном обозначив музыкальную фразу. Я так оторопел, что у меня даже

мурашки по спине побежали, и тут вижу — он вытащил из жилетного кармана серебряные часы и открыл их, оттуда и раздавалась музыка, чудесные тренькающие звуки, словно у него в руке был крошечный клавесин с музыкантом вместе; сразу же вспомнилась усадьба Тернеров и тамошние дамы в чепцах и лентах. Наверное, меня выдал мой ошарашенный взгляд, потому что белый господин проговорил:

— Ничего часики, а? Триумф механики. А это, мальчик ты мой, Лу-удвиг ван Бе-етховен. — Он защелкнул крышку, разом прикончив музыку. — А опоздал ты всего-то навсего минут на десять, так что за проворство заслужил награду. Не вешай носа, малыш! — И он бросил мне плитку жевательного табака, которую я поймал на лету. — Ну что, Эйб — или как, бишь, тебя, — ты, стало быть, привез четверых молодых подручных для Вогана, верно? И бумагу, которую я подпишу, а ты передашь хозяину. — На миг он перевел взгляд с меня на кузов нашей телеги и беззаботным, дружелюбным голосом позвал: — Все, встаем, парни! Перебираемся в другой фургон! Живо, живо! Нам к ночи нынче надо быть в округе Гринсвил. — Виллис и остальные поспрыгивали с телеги и на одеревенелых ногах вяло заковыляли к большому белому фургону напротив. — Ну вы и сонные тетери, как я погляжу! — усмехнулся белый дядька. — Ничего, в фургоне майора Вогана вам тоже всхрапнуть в самый раз будет. Ну, забирайтесь, бычки-барашки! Быстрее, сели и поехали!

— Пока, Нат, — сказал Виллис, переходя дорогу.

Я молча помахал ему рукой, глядя, как белый раскладывает бумагу, выданную мне Абрагамом, на подножке у моих ног и что-то там огрызком пера царапает, одышливо и хрипло напевая себе под нос ту же мелодию, что только что раздавалась из его часов.

— Тодд, — шепотом читал он, — Джим, Шадрач, Виллис... Держи, — в конце концов протянул он бумагу мне, — отвезешь хозяину, и смотри не заплутай по дороге. Домой — эт-тая туда, прямо, твоя моя понимай? Ладно, пока, парниша.

— До свидания, мистер, — сказал я.

Я смотрел, как он переходит гать, с натугой, свойственной полным людям, влезает на козлы фургона и усаживается рядом с другим белым, который при свете луны виднелся лишь как смутно различимое пятно, тот пустил четверку мулов неторопливым шагом, потом зло и сильно огрел кнутом заднего, чтобы фургон перевалил через канаву, затем тяжеловесный неповоротливый воз, скрипя, раскачиваясь и рискованно кренясь, стал понемногу разгоняться, кособоко и шатко покатил по гати с таким громом, будто бьются друг о друга бесчисленные бочки, наконец набрал скорость, после чего грохот стал затихать, под недреманным и безжалостным оком луны удаляться на запад, и фургон исчез из виду.

Но ведь к Воганам не на запад надо, подумал я. К Воганам — на восток!

Я сидел не двигаясь. Один из мулов вяло переступил копытами, в упряжи что-то звякнуло. Вокруг по всему лесу оглушительно орали лягушки, были неумолчным безумным хором, как тысячи лесных дудочек и свирелей. Как-то совсем незаметно луна исчезла в чаще кипарисов, и на мощеную дорогу пало путаное переплетение гнутых и изломанных теней от сучьев и веток, похожее на множество заломленных черных рук. С юга потянуло легким ветерком, и по кронам деревьев пробежал шепот и шорох.

— Господь? — произнес я вслух.

И опять стал слушать вздохи и шорохи во все еще лунных кронах, старался даже не дышать, словно ждал, когда раздастся повелительный глас свыше.

— *Господь?* — воззвал я снова. Но пока я сидел и слушал, ветер стих, пропали шепоты и шуршанья, а вместе с ними и неисследимый голос, ночь снова утонула в воплях лягушек и сухотравистом частом стрекоте сверчков в былье под деревьями.

Должно быть, я прождал там целый час, может, больше. Потом тихонько покатыл назад — с такой пустотой внутри, какой никогда прежде не было: я уже знал, мне даже и бумагу, ту, что в руке зажата, незачем было читать, я и так все понял, и так был уверен, и лишь горестно, горячо про себя повторял: Виллис! Да и те парни тоже! Господи, как же это! Их нет и никогда не будет! Слушай, Господи! Ведь не внаем их сдали, и не Вогану, ничего подобного, а тот дядька с часами — не кто иной, как перекупщик негров. Вот так все просто, Господи! Не внаем, не сдали, а — Господи Иисусе, Христос всемилостивый — продали. Продали, Господи, продали!

А он говорил:

— Можно подумать, я такой тупой, не понимаю, отчего ты тут слоняешься, губы кусаешь и на меня поглядываешь укоризненно. Однако же, с готовностью признавая за собой вину в плохом управлении и без того запущенным хозяйством, тем не менее обвинение в бесчеловечности я всячески отвожу. Именно в этом ведь ты склонен винить меня?

— Не понимаю, что это слово значит? — сказал я. — Обвинение в бес... чего?

— Обвинение в бесчеловечности. То есть в том, что я этак наплевательски позволил тебе пообещать мальчишке, что возьмешь его с собой на съезд баптистов, а сам-то я, мол, наперед знал, что он будет продан еще до того, как поездка в Иерусалим состоится. Кстати, это напомнило мне одну вещь, я сейчас тебе расскажу ми-

моходом. Насчет съезда этого самого. В ту пятницу я был в Иерусалиме, то есть как раз, если ты помнишь, в первый день празднований. И верующих я там, в их лагере, насчитал не более двух дюжин, ну, кроме разве что бродячих собак и кошек. Они свернулись и на следующий же день уехали, так что, даже явись туда ты с фургоном лупоглазых своих апостолов, вас бы встретило пустое поле с лопухами. Что лишний раз доказывает: сии невежественные веши к религиозному возрождению неспособны, поскольку неспособны себя прокормить. Так что мимоходом сообщаю тебе, что я лишь избавил вас всех от жестокого разочарования. Касаемо парня, о котором идет речь, могу только повторить: я понятия не имел, что *именно его* ты вознамерился взять с собой на съезд, как не имел понятия и о том, что вы были, как ты говоришь, неразлучными друзьями. У меня ни глаз на затылке нет, ни седьмого чувства, и нельзя от меня требовать, чтобы я знал, у кого с кем какие отношения, когда у меня тут работников в хозяйстве восемьдесят душ всех мыслимых цветов кожи. По-моему, это великий француз Вольтер сказал, что начало мудрости это момент, когда начинаешь понимать, как мало твоя жизнь интересует других, ибо они полностью поглощены своими собственными. Я не знал о тебе и том мальчишке ничего, вообще ничего.

Я молчал, лишь трогал языком губы, уставясь в пол библиотечной, и чувствовал себя забытым, одиноким и несчастным.

— Я не раз повторял тебе: подойди ты ко мне на следующий день и скажи по-человечески... то есть если бы ты сразу все высказал, а не ходил за мной две недели, не глядел с песьей укоризной, я бы принял все меры к тому, чтобы вернуть мальчишку, выкупил бы его обратно, пусть даже это стоило бы денег и времени на дороге

сверх всякой меры. Но теперь, ты уж поверь мне, теперь он наверняка прошел через рынок в Питерсберге — хотя я не уверен даже, что именно через тот рынок, может, его сразу в Каролину продавать повезли — как бы то ни было, он уже в руках какого-нибудь покупателя и едет в Джорджию или в Алабаму, хотя есть и такая возможность, что милосердное провидение оставило его в Виргинии. Впрочем, я в этом обоснованно сомневаюсь. Факт остается фактом: похоже, его никак уже не вернуть. Я тебя никоим образом не виню, я понимаю — прийти ко мне сразу, когда я еще мог что-то насчет этого сделать, тебе не хватило духа. Я лишь прошу тебя попробовать понять, в каком я оказался нелепом положении. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Да, — сказал я почти сразу. — Да, все так, но...

— Да, но *все-таки*, — перебил он, — все-таки тебя гложет мысль, от которой ты никак не можешь избавиться. Несмотря на то, что ты, как ты сам говоришь, выразил ему свое удивление, тебя гложет ужасная мысль о том, что парень всю оставшуюся жизнь будет думать, что ты соучаствовал, был сообщником в его удалении отсюда. Я правильно понимаю? Именно это ты никак не можешь выкинуть из головы?

— Да, — отозвался я, — верно.

— Ну что я на это могу сказать? Что мне тоже жаль? Я уже сто раз тебе это говорил. Может, он так подумает, а может, нет. А не лучше ли для спокойствия совести представлять себе, как он прощает тебя, да и вообще, если ему и придет в голову, что ты принимал участие в его удалении, представь, что он думает о тебе, как о пешке, ни о чем не осведомленном слепом орудии, каковым ты и был на самом деле. Но если он подумает иначе, я могу только еще раз, последний раз повторить, что мне очень жаль. Больше ничего я сказать не могу. Ну пойми же, наконец:

я понятия не имел, что Абрагам заболел, и ты окажешься — как сказать? — инструментом, посредством которого этих мальчишек преда... гм, передали в другие руки.

Тут он запнулся, посмотрел на меня и окончательно умолк.

— Но... — медленно, с трудом вновь начал я, — но мне еще...

— Что еще?

— Ну ладно, — продолжил я, — ну, допустим, насчет Виллиса я понял, насчет его и меня вы не знали. Как я учил его и все такое. Но одну вещь я никак понять не могу. Вот насчет того, что взяли, ночью вот так вот увезли, сказали, что внаем к Вогану... — Я помедлил. — В смысле, ну ведь все равно же все узнают, что было на самом деле, в конце-то концов. Даже не в конце концов. Вскоре.

Он отвернулся, долго молчал, а когда опять заговорил, его голос был слабым и доносился как будто издали; вдруг я заметил, какой у него усталый вид, какие запавшие щеки, а глаза красные и отсутствующие.

— Буду с тобою честен. Я просто-напросто не смог — испугался. Запутался, потерял ориентацию. Только дважды на моей памяти у нас продавали чернокожих, оба раза это сделал мой отец, и оба раза те негры были не в своем уме и представляли угрозу для всей общины. Кроме того, хотя и не только в этом дело... в общем, до сих пор в таких вещах не возникало необходимости. Так что ни разу еще я не продавал никого, а дела, как я сказал уже, в положении весьма запутанном. Я не хотел, чтобы пошли разговоры, боялся, вдруг начнутся волнения, если черные прослышат, что кого-то из них продали. И вот в таком смятении мне пришло в голову избавиться от первых четверых под покровом ночи и под предлогом того, что их на две недели передают майору Вогану.

Подумал, может, все же шок будет поменьше, да и народ у нас как-то притерпится к их отсутствию. Что хуже всего, я сговорился с перекупщиком. Ждать, будто это что-то даст, было безумием. Подлость и трусость. А двуличие! Весь этот маскарад! Мне следовало сделку провести днем, на свету и прилюдно, чтобы стояли разинув рты и наблюдали — обычная купля-продажа, и деньги явно, на виду переходят из рук в руки. Во всей процедуре единственное, что хоть мало-мальски правильно, это, может быть, то, что я постарался первую продажу провести, не допуская разделения семей. Да, это ударило по тебе, да, возможно, я не могу себе даже представить, как это ударило по твоему юному другу, но я решил для продажи выбрать парней, во-первых, достаточно взрослых, чтобы такой удар пережить, а главное, тех, кто уже осиротел и поэтому не будет вырван из семьи... в общем, так уж вышло, что именно он оказался в числе четверых подходящих по этим признакам. — Он вновь запнулся, помолчал, потом очень тихо сказал: — Мне очень жаль. Господь свидетель, как мне жаль, что этот Вилли...

— *Виллис*, — поправил я. — Стало быть, продать их вам просто пришлось. Значит, у вас другого выхода не было.

Встав ко мне спиной, он смотрел в огромное высокое окно, открытое в весенний сад, и его голос, с самого начала тихий, стал вообще еле слышен, приходилось напрягать слух, словно этот голос принадлежит существу столь слабому и измученному или настолько лишившемуся всякой надежды и присутствия духа, что дойдут ли его слова, поймут ли их, ему вообще уже неважно. Будто не расслышав меня, он продолжил:

— Н-да, скоро здесь не будет никого и ничего — земли и так уже, считай, нет, всю пожрал этот мерзкий сорняк — не будет не только повозок, свиней, коров и мулов, но и людей тоже, ни мужчин, ни женщин, ни бе-



лых, ни черных, и все эти парни, все Вилли и Джимы, Шадрачи и Тодды, — все отправятся на юг, а в Виргинии останутся лишь кусты с колючками да одуванчики. И этого всего, что мы сейчас тут видим, тоже не будет, водяное колесо лесопилки развалится, и только ветер по ночам будет пробегать по этим опустевшим залам. Попомни мое слово. Недолго осталось.

Он помолчал, потом говорит:

— Да, мне пришлось продать тех парней, потому что нужны были деньги. Потому что ликвидных ценностей из всего, что у меня есть — только люди. Потому что за тех парней я выручил больше тысячи долларов и только так смог хотя бы чуточку, едва-едва копнуть гору долгов, которые накопил за семь лет — семь лет, в течение которых денно и нощно я лгал себе, пытаюсь себя уверить, будто все неправда — все то, что я вижу своими глазами, — и обнищавшая, изувеченная Виргиния выживет вопреки себе самой, будто неважно, как опустела и истощилась почва, неважно, что люди со всем скарбом веренищами потянулись к югу, в Джорджию и Алабаму, — все равно на лесопилке Тернера вечно будут пилить бревна и молотить муку. Но вот беда: теперь и бревна, и мука нужны лишь привидениям. — Он ненадолго прервался, потом опять зазвучал его усталый голос: — А что мне было делать? Ах, освободить их! Шутить изволите? Нет, их надо было продать, остальных тоже продать придется, а лесопилка Тернера станет очередным брошенным остовом, межевым знаком на местности, и только где-нибудь на дальнем юге кто-то будет вспоминать ее, как вспоминают обрывок сна.

Умолк. На сей раз он молчал довольно долго, а потом говорит:

— Нат, — говорит, и снова замолчал (а может, мне лишь показалось, что он произнес мое имя, слишком напря-

женно я силился расслышать), а когда он заговорил опять, то уж настолько тихо, словно шептал, стоя на дальнем берегу потока, да еще когда ветер в лицо. — Я их продал от отчаяния — во что бы то ни стало хотел продлить эту тягомотину, эту бессмыслицу еще на пару лет. — Вдруг он резко махнул поднятой рукой, мне показалось, что он быстро, сердито провел ею по глазам. — Правильно говорят, что человечество еще не родилось. Точно сказано! Ибо только слепцы и безумцы могут существовать, столь подло и гадко используя таких же как они, плоть от плоти. Как еще объяснить такую глупую, дурацкую, отвратительную жестокость? Опоссумы и скунсы и те разумнее! Хорьки и полевые мыши и те испытывают врожденное уважение к особям своего рода-племени. Только насекомые неразвиты настолько, чтобы делать мерзости, принятые у людей — вроде тех муравьев, что летом полчищами лезут на тополя и алчно выжимают соки из маленьких зеленых тлей — благо, те выделяют нектар. Да, наверное, все-таки не родилось еще человечество. О, как же горько должен плакать Господь, видя то, что люди делают с другими людьми! — Тут он прервался и, трясая головой, возвысил голос чуть не до крика: — И все ради денег! *Денег!*

Он смолк, а я стоял и ждал, что он скажет еще, но больше он ничего не сказал, молча стоял в сумраке спиной ко мне. Где-то вдали, высоко вверху раздался голос мисс Нель:

— Сэм! *Сэмюэль!* Что у тебя случилось?

Но он как стоял, так и остался стоять без звука, без движения, долго стоял, так что я, в конце концов, тихонько пошел к двери и вышел вон.

Через три года после этой сцены (и каким же бешеным скоком они мимо меня пролетели!), за месяц до

моего двадцать первого дня рождения — то есть как раз в то время, когда по первоначальному плану я должен был начать новую жизнь в Ричмонде, — из сферы влияния маса Сэмюэля я выпал и то ли перешел под временную опеку, то ли был отдан под защиту, то ли был сдан в аренду, то ли был взят займы неким баптистским проповедником по имени Его Преподобие Александр Эппс, который был духовным пастырем кучки нищих фермеров и мелких мастеровых, живших в поселении под названием Шайло, что в десяти милях севернее лесопилки Тернера. Долгое время я просто терялся в догадках относительно природы моих взаимоотношений с его преподобием Эппсом. Ясно одно: в грубом, коммерческом смысле слова “продан” я не был. Других негров с лесопилки Тернера можно было продавать, и их продавали с пугающей регулярностью, но предполагать, что и мною могут так распорядиться, было вплоть до — и даже после — того момента, когда я перешел в руки его преподобия Эппса, совершенно немыслимо. Поэтому все три года, полностью отдавая себе отчет в неясности перспектив, мне уготованных, ни разу я не усомнился в том, что маса Сэмюэль все-таки сделает меня свободным и я попаду в Ричмонд — ведь он так искренне и горячо мне обещал! — так что я оставался солнечным, самодовольным оптимистом несмотря на то, что лесопилка Тернера со всеми угодьями, работниками, скотом и скарбом распадалась прямо на глазах, таяла и исчезала, как островок на реке во время паводка, когда сперва его подмывает по краям, а потом все его вымоклившие, нахваленные и сбившиеся гуртом обитатели — всякие еноты, кролики, ужи и лисы — попадают в безжалостную мутно-коричневую воду.

Негров, как самую что ни на есть дорогостоящую часть собственности (еще бы: продаваясь по четыреста—

шестьсот долларов за душу, они представляли собой единственно надежное помещение капитала, при этом маса Сэмюэль легко мог превращать их в живые деньги — к вящему удовлетворению кредиторов, которые и сами паковали пожитки и бежали из Восточной Виргинии, поэтому и требовали отдавать долги как можно скорее) — так вот, стало быть, негров теперь продавали постоянно, по двое, по трое и поодиночке, то одну семью, то другую, хотя бывало, что и месяцы проходили, и никого вроде не трогали. Но вдруг, как снег на голову, приезжал господин в кабриолете, джентльмен с седыми бакенбардами и часами на толстой золотой цепочке, соскребал грязь с подметок своих начищенных до зеркального блеска сапог. И накрывали стол в библиотечной, а я на серебряном подносыке подавал крекеры и портвейн, слушая в летних сумерках усталый, невеселый голос маса Сэмюэля:

— Самая-то мерзость, сэр, эти перекупщики, да, перекупщики, сэр! И то, что платят они обыкновенно больше, мне все равно. Они бездушны, сэр, бессовестны, им ничего не стоит разлучить мать и единственное дитя. Вот почему, как бы ни был я беспомощен в этой ужасной ситуации, я, по крайней мере, стараюсь всегда иметь дело с джентльменом... Да, за одним злосчастным исключением... так что почти все свои сделки я совершал с джентльменами вроде вас... Говорите, вы из Фицхагов, что живут в округе Йорк? Тогда вы, должно быть, в родстве с Тадеусом Фицхагом, моим сокурсником по Колледжу Вильгельма и Марии... Да, последний раз рабов я продал джентльмену, направлявшемуся на запад, в округ Бунслик — это, кажется, где-то в штате Миссури; я продал ему семью из пяти человек... Очень такой гуманный, образованный джентльмен из Ноттовея... А вы и вовсе любимец богов, сэр, да вы, поди, сами знаете:

иметь мельницу рядом с таким городом, как Ричмонд, и при этом не закабалить себя владением земель, этим проклятием... Не знаю, сэр, но ясно только, что мои дни здесь сочтены. Не знаю, поеду в Кентукки или в Миссури тоже, да вот и в Алабаме, я слыхал, интересные открываются возможности... Пойдемте, покажу вам Джорджа и Питера, лучших мельничных подмастерий, какие у меня остались, и даже не сомневайтесь, для негров они чудо как исполнительны... Да, очень немногим из моих негров повезет остаться в Виргинии...

Так уезжали Джордж и Питер, Сэм и Эндрю, потом Люси с ее двумя малолетними мальчиками; негры грузились в фургон, в котором я сам частенько отвозил их в Иерусалим, и всегда меня поражало их послушание и спокойствие, я долго потом удивлялся самообладанию и бодрости духа, с которыми эти простые люди, безвозвратно вырванные из привычной жизни, отправлялись навстречу неизвестности, встречали новый поворот судьбы. Да, уезжали, да, оглядывались, да, в этих их прощальных взглядах сквозила грусть, но расставание с местами, что были для них много лет всею вселенной, вызывало у них сожалений не больше, нежели будущее — опасений и тревог: им кажется, что до Миссури или Джорджии далеко, как до звезд, и вместе с тем близко, как до соседней плантации, им это безразлично; с привычным, безнадежным изумлением я замечал, что они редко даже утруждают себя прощанием с друзьями. Я понял так, что лишь разрыв семьи может заставить их горевать, но таких ужасов у нас не случалось. Вот, перекрикиваясь и хихикая, они лезут в телегу, которой предстоит увезти их на край света, в немыслимую даль, к непредставимой судьбе, а говорить способны только о том, что у кого-то болит колено, о силе комка шерсти из желудка мула в качестве охранного талисмана от ведьм, о том, как правильно

натаскивать собаку, чтобы умела загонять на дерево опосума, и при этом постоянно поминают еду. Среди дня они ходят сонные, в телеге сразу улягутся на настил и заснут, оттопырив розовые мокрые губы; недолго поклевывая носом, провалятся в забытие прежде, чем их вывезут за ворота, и задолго до того, как окажутся за пределами земли, составлявшей и дух, и сущность, и географию их жизни, — земли, которая со всеми полями, лугами и разноцветием леса теперь уходит, не удостоенная даже взгляда, не взятая с собой даже как зримый образ, уплывает, исчезает навсегда. Им все равно и откуда они, и куда едут, и они то храпят всю дорогу, то, внезапно проснувшись, затевают проказы и игрища, хохочут, шлепают друг друга, а то вдруг пытаются хватать проплывающие над головой листья и ветки. Подобно животным, они отрекаются от прошлого с тем же тупым безразличием, с каким принимают настоящее, а будущего для них не существует вовсе. Так им и надо, такие твари только и заслуживают, чтобы ими торговали, горько сетовал я, разрываясь между ненавистью и сожалением, что мне уж поздно спасать их силой Слова Божьего.

Ну и в результате на плантации воцарилось непривычное молчание и безлюдье, пала тишина столь совершенная, что сама по себе казалась эхом, сокрытым отзвуком чего-то очень знакомого, послезвучием, с которым ни за что не хочет расставаться ухо. В конце концов, избавились не только от негров, но и от всего остального — от мулов, лошадей и свиней, от телег, полевых орудий и инструментов, от пил, прялок, наковален, домашней мебели, фургонов и двуколок, от кнутов, лопат и кос, мотыг и молотков, — от всего, что можно сдвинуть с места, отвинтить и выдрать, лишь бы оно стоило хотя бы поддоллара. Отсутствие всего этого и порождало тишину, столь удивительную и полную. Огромное водяное

колесо, совершив последний оборот, валялось брошенное вместе с деревянным валом, по краям покрытое зеленоватыми отложениями тины и водорослей, бездвиженное и затихшее, а его постоянный басовитый рокот и постукивание остались лишь гулом в ушах, воспоминанием, подобно другим эфемерным звукам, не таким громким, но столь же назойливым, раздававшимся в любую погоду год за годом с рассвета до заката: *дыняк* мотыги в поле, блеянье овцы на лугу, взрыв смеха какого-то негра, звонкий удар по наковальне в кузнице, обрывок песни из крайней хижины, тихо долетевший треск поваленного в лесу дерева, посудный бряк на кухне хозяйского дома, шаги и голоса на веранде, тихое мурлыканье музыки. Мало-помалу этих звуков становилось меньше, они затихали и, наконец, вовсе смолкли, а поля и разъезженные, изрытые колеями дороги опустели, будто по здешним местам прошла чума; поля и луга позарастали бурьяном и ежевикой; подоконники, оконные рамы и двери пустых надворных построек, снятые, лежали поодаль. По вечерам там, где раньше огонь очага подсвечивал изнутри каждую хижину, склон холма лежал в удушающей тьме, словно потухли костры отступившей с холмов Израиля армии.

Я, кажется, говорил уже: маса Сэмюэль вскоре счел невозможным в мой двадцать первый день рождения отправить меня к мистеру Пембертону в Ричмонд, как он прежде надеялся. Однажды вечером, во время принятых в доме торжественных посиделок после ужина, он объяснил мне, что упадок, объявивший Восточную Виргинию, охватил и город тоже, так что рынок ремесленного труда, подобного тому, какой могу предложить я, очень сузился, даже вовсе, что называется, “лопнул”. Поэтому он, как мой хозяин, встал перед удручающей дилеммой. С одной стороны, он не может просто выпустить меня

на волю, не предоставив вначале возможность предварительного приспособления — “акклиматизации”, как он сказал — в руках у человека, достаточно ответственного: слишком многие молодые негры, получив свободу и лишившись опеки и защиты, однажды утром просыпаются избитыми до бесчувствия, без документов, лежа в фургоне, который, трясаясь и громыхая колесами под их разбитыми головами, увозит их на юг, поближе к хлопковым полям. В то же время взять меня с собой в Алабаму, которую он чуть ли не в последний миг избрал, чтобы попытаться там остатки удачи, значило бы вовсе лишиться надежд на меня, ибо в том штате городов нет, одни сплошные заливные луга, болота и лиманы, так что безбедно живущие, процветающие и свободные мастеровые-негры там вообще в диковинку. В результате маса Сэмюэль пошел на полумеру, вверив мое тело доброму христианину и пастырю, которого я уже упоминал, его преподобию Эппсу — высоконравственному и благочестивому джентльмену, с которым есть уговор, что он выправит документы на мое освобождение, как только в Ричмонде времена станут получше (что произойдет обязательно), а в благодарность за его сочувствие и попечительство над сиротской моей судьбой я буду какое-то время трудиться на него, *бесплатно*.

И вот пришло жаркое, насквозь просверленное свиристеньем цикад сентябрьское утро, когда маса Сэмюэль попрощался со мной навсегда.

— Я сообщил ему, что утром мы уезжаем, — сказал он мне, — так что его преподобие Эппс заедет за тобой что-нибудь к полудню, может быть, раньше. Еще раз говорю тебе, Нат, не надо ни о чем волноваться. Его преподобие Эппс, хотя и баптист, но джентльмен — человек высокого благонравия, честности и доброты, он будет обращаться с тобой именно так, как мне бы хотелось.

Ты сразу увидишь, что он человек скромный и небогатый, но тебе у него будет хорошо. Я буду сообщаться с ним по почте из Алабамы и буду на связи с моими представителями в Ричмонде. А что-нибудь примерно через год, не более, его преподобие Эппс устроит тебя в Ричмонде подмастерьем, а там и освобождение подготовит — в точности так же, как это сделал бы я, будь я здесь. Все это записано в соглашении, которое мы составили в Иерусалиме, и законность этой бумаги не подлежит сомнению. Но куда важнее, Нат, что его преподобию Эппсу я доверяю. Он полностью тебя обеспечит — телесно и духовно. Он настоящий джентльмен — человек высокой гуманности и чести.

Мы стояли в тени огромного платана; день был знойным, душным; тяжелый и сырой воздух, словно теплая ладонь, зажимающая рот, не давал дышать. Четыре фургона, на которых маса Сэмюэль собирался отправиться в долгий путь, стояли наготове, мулы переминались на месте и трясли упряжью. Все домочадцы — и старший племянник с женой, и мисс Эммелин, и вдова Бенджамина, и даже мисс Нель — уже уехали; все поджидали в городке Релей у родственников, за исключением старших леди, которые пока остановились в Питерсберге, откуда маса Сэмюэль должен был их забрать, когда окончательно и прочно утвердятся на новых землях. Из негров оставались только Фифочка, Сдобромутр и Абрагам с семьей; будучи неграми из дворни, они помнили лучшие времена и плакали навзрыд, в совершеннейшем трауре загружаясь в единственный предусмотренный для них фургон. Тоже в слезах, я со всеми с ними попрощался, поцеловал Фифочку, с Абрагамом мы молча крепко обнялись, а Сдобромутра я взял за холодную, слабенькую кожистую ручку и прижал ее к губам; с головой белой как снег, парализованный и совершенно свихну-

вшийся, он лежал, обложенный мягким, в глубине фургона, ничего не видел и не понимал, едва держась за краешек обветшавшей, выношенной жизни, увозимый на юг из единственного родного дома, который он когда-либо знал.

— Не поддавайся, Нат, — говорил маса Сэмюэль, — держись, никто не собирается умирать, это для всех нас новая жизнь. Будем общаться по почте. А ты... — он сбился на мгновение, и я понял, что у него тоже перехватило горло. — А ты... ты, Нат, ну хоть подумай о своей будущей свободе, что ли! Вспоминай о ней, и печаль этого расставания сгладится из твоей памяти. В нашей жизни имеет значение только *будущее*.

Он снова смолк, а потом, как будто изо всех сил стараясь заглушить в себе волнение, принялся зычным голосом и нарочито бодрым тоном болтать пустое:

— Давай-давай, Нат, выше голову!.. Тот, кто купил у меня землю, судья Бауэрс из Иерусалима, обещал прислать человека, который будет за сторожа, может, он уже сегодня приедет... А, чуть не забыл, на кухне тебе Фифочка обед оставила... Выше голову, Нат, будь здоров и прощай!.. Прощай, Нат!.. Прощай!

Он неловко, мельком, обнял меня. Усы царапнули мне щеку, и в этот миг в отдалении Абрагам выстрелил кнутом, как из мушкета. Тут маса Сэмюэль повернулся — и был таков, фургоны уехали, и больше я его никогда не видел.

Я не уходил с аллеи до тех пор, пока не затихли последние отзвуки громяющих вдалеке колес. Остался в полном одиночестве. Лишенный корней, сорванный с ветви, как палый лист, порхающий в завихрениях воздуха, я уже несся по ветру между тем, что было и прошло, и тем, чему суждено сбыться. Над горизонтом нависли темные клубящиеся тучи. Довольно долго не проходило



у меня ощущение, будто я, как Иона, ввергнут в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Господни и волны проходят надо мною.

Я стал ждать прихода его преподобия Эппса, но очень уж долго он не ехал. Все утро я сидел на ступеньках пустой веранды, где уже не было мебели, и ждал приезда пастора, сияясь расслышать топот копыт или стук колес какой-нибудь повозки, подъезжающей по аллее. Было жарко и душно, и какая-то сырая дымка, предвещающая грозу, застилала зеленоватое небо; ближе к полудню солнце сквозь эту хмарь жгло землю такими волнами жара, что даже цикады смолкли, и онемевшие птицы отступили к лесу, в свое зеленое тенистое капище. Два или три часа я читал Библию, выучил наизусть несколько псалмов. (Библия составляла все мое богатство, что приобрел я на лесопилке Тернера, за исключением разве что следующего: пары рабочих штанов, двух хлопковых рубашек, запасной пары башмаков, которые, быть может, грубовато, зато метко зовутся “говнодавами”, нескольких маленьких собственноручно выточенных костяных крестиков, иголки с ниткой, оловянной чашки, доставшейся мне еще от матери, и десятидолларовой золотой монеты — ее маса Сэмюэль дал мне накануне отъезда. Что ж, так оно и заведено: тот, в чьи руки переходишь, должен обеспечить тебя всем насущным. Монету я зашил в пояс штанов, а остальное завернул в большой синий платок. Мне показалось, что в такой момент, когда я между двух существований, брошенный и осиротевший, сижу тут и тоскую, потеряв всех самых любимых, самых близких людей на свете, и в то же время втайне взволнован ожиданием новой жизни, свободы, воплощения всех мечтаний, которыми заполнял я недавнее прошлое, представляя себе, как я, вольноотпущенник, гордо шествую по

какому-нибудь бульвару в Ричмонде, может, в церковь иду, может, на работу — в общем, в таких смешанных чувствах я счел благоутробным заняться псалмом, в котором тоже смешана печаль с восторгом, и подумал, что лучше всего подойдет Псалом 89, как раз тот, что я только что утром выучил наизусть; начальные слова там: *Господи! Ты нам прибежище из рода в род*, а дальше такой стих: *Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи*.

Подошел и минул полдень (*утро яко трава мимоидет, утро процветет и прейдет: на вечер отпадет, ожестеет и исхынет*), бронзовое солнце катит к закату, его преподобия Эппса все нет, а я уже и проголодался. Тут я вспомнил (за переживаниями совсем запамятовал), что меня ждет обед, забросил на плечо свой узелок и пошел пустыми, разоренными коридорами на кухню. На полке над огромной кирпичной плитой нашел последнюю еду, которую доведется съесть здесь последнему из Тернеров: четыре куса жареной курятины, половинка хлеба, сладкий сидр в треснувшей кувшине — хорошая господская еда, вполне приличествующая для прощальной трапезы; от мух все прикрыто чистым старым мучным мешком. То, что мне с совершенной ясностью вспоминаются такие подробности, может быть, связано с охватившим меня тогда ощущением близкой опасности, паучьего копошения, оплетающего тревогой и беспокойством, которые, как тени виноградных лоз, наползающие по каменной стене в лучах заходящего солнца, нет-нет да и пробегали мурашками по позвоночнику, пока я сидел в пустой кухне на подоконнике и ел курятину с хлебом. Тишина на плантации была в тот момент почти полной, да такой еще странной, такой гнетущей, что на секунду вдруг подумалось, уж не оглох ли я, я даже вздрогнул от испуга. На время я перестал жевать и наострил уши,

пытаюсь уловить хоть какой-нибудь звук извне — крик вороны, всплеск утки в заводском пруду, шум ветра в лесу — что угодно, лишь бы увериться, что я не лишился слуха, но я не слышал ничего, вовсе ничего, и чуть совсем не потерял голову от страха, но тут оглушительно шаркнула по сосновому дощатому полу моя собственная огрубелая босая ступня, и это привело меня в чувство: я попенял себе за глупость и продолжил обед, окончательно успокоившись, когда какая-то дурацкая муха с оглушительным брюзжаньем уселась мне на верхний свод ушной раковины.

Но ощущение угрозы, таящейся в тиши и уединении, не покидало меня, не ослабевало, прилипло, как тесная рубашка, которую, как ни старайся, не скинуть с плеч. Куриные кости я бросил в заросшую сорняками цветочную клумбу под кухонным окном, остатки хлеба тщательно завернул и сунул в узелок вместе с треснутым кувшином — чего доброго, могут еще понадобиться — и вышел в главную залу здания. Лишенное всего, что можно унести — хрустальной люстры и напольных часов, ковров и клавесина, шкафов и кресел, — стоило мне вдруг чихнуть, просторное помещение отозвалось замогильным гулом. Эхо отдавалось от стены к стене, ревело водопадом, ухало обвалом, потом утихло. Лишь высоченное, усиженное с исподу паучками разрывов амальгамы, посиневшее от старости зеркало, навечно вделанное в стену меж двух колонн, наверняка доказывало, что здесь раньше жили; его мутноватые переливчатые глубины отражали дальнюю стену, на которой четырьмя безупречными прямоугольниками выделялись места, откуда исчезли портреты Тернеровых предков — двух строгих джентльменов в белых париках и треуголках и двух задумчивых леди в закрытых платьях, украшенных лентами и оборками розового шелка; имен они для меня не имели, но

с годами стали близкими и чуть ли не родными, от их отсутствия я, сам того не ожидая, внутренне содрогнулся, будто вдруг умерло сразу несколько человек.

Я снова вышел на веранду, может, теперь дождусь — раздастся стук копыт, скрип колес, но нет, опять тишина. Тогда я почувствовал, что остался один — брошен, забыт, и никто не приедет, не заберет меня; это ощущение пугало, вызывало всяческие предчувствия, однако не все они были неприятны: что-то внутри вздрагивало и странно, сладостно трепетало. Такого со мной никогда еще не было, и я попытался заглушить это в себе, положил узелок на ступени веранды и поднялся на выступающий невдалеке пригорок, откуда, почти не сходя с места, можно было окинуть взглядом панораму брошенных хижин, покосившихся мастерских и сараев, и запустелые уголья — все царство, опустошенное Гедеоновым войском. Жара стала совсем несносной и безжалостной; грязное, мутное небо давило и жгло, а солнце в нем дрожало, будто красный дымящийся уголь. Сколько охватывал глаз, вплоть до нижнего кукурузного поля доходили ряды негритянских хижин; между ними теперь поднялись настоящие джунгли подсолнухов и бурьяна да непролазные колючие дебри. Чувство возбуждения, гнездящееся прямо в кишках, теплое и какое-то постыдное, как я ни старался, все равно вернулось, когда я осматривался, сперва задержав взгляд на рядах пустых хижин, а затем вновь оглядывая ближние мастерские и сараи, конюшни и навесы, и, наконец, огромный господский дом, теперь пустой и молчаливый на жуткой жаре.

Лишь бульканье воды, сочащейся сквозь щели заводской плотины, нарушало теперь тишину — постоянная неспешная капель да еще прерывистый, мерцающий стрекот кузнечиков в траве. Я пытался подавить в себе нарастающее острое возбуждение, но, даже кое-как совладав

с ним, чувствовал, что сердце колотится, а пот струями льет из подмышек. Ветра не было, ни один лист ближних деревьев не колыхался; леса, стоящие окрест, по неподвижности своей виделись цельною зеленой твердью, сомкнувшейся сплошным кольцом и доходящей до крайних земных пределов — победившей и ликующей ордою зелени. Будто ничего, кроме этой разоренной и затихшей плантации, не осталось; она центр вселенной, а я теперь ее хозяин, причем хозяин не только того, что с нею происходит ныне, но также ее прошлого, ее воспоминаний. Окидывая в одиночестве властным взглядом эту рухнувшую запруду времени, я чувствовал себя ее владельцем: во мгновение ока я стал белым, — белым, как простокваша, кипенно белым, лилейно белым, белым, как алебастровый англосакс. Я повернулся и перешел к площадке против главного крыльца, утрамбованной круговым движением подъезжавших и разворачивавшихся здесь карет, в которые садились и из которых выходили расфуфыренные дамы в кринолинах, — смеясь, легко спрыгивали с крытых коврами подножек, взмахивая белыми как снег нижними юбками и позволяя слуге, то есть мне, подхватывать их небрежно отведенные длани. Теперь, глядя сверху на мастерские, сараи, хижины и отдаленные поля, я не был уже тем улыбчивым черным мальчиком в бархатных панталонах — нет, на этот краткий миг мне принадлежало все, а раз так, почему не воспользоваться правом собственности, не расстегнуть ширинку и не поссать от души на тот же истертый камень, которого каких-нибудь три года назад еще касались лакомые ножки, на цыпочках перескакивая из коляски на ступеньку крыльца. Что за странное, безумное удовольствие! И до чего ж я белый! О, сладость порока!

Однако чернота моя быстро ко мне вернулась, фантазии растаяли, и снова меня начало томить одиночество,

да еще и уколы вины. Его преподобие Эппс все не являлся, сколько бы я ни напрягал слух, пытаюсь угадать заранее, когда он придет. Я вновь обратился к Библии, стал заучивать любимое место — о Самуиле и ковчеге завета, — тем временем близился вечер, веранда погружалась в сумрак, а на клубящемся тучами горизонте начало изредка погромыхивать.

Стемнело, и стало понятно, что его преподобие Эппс нынче уже не придет. Я вновь проголодался, а когда понял, что еды больше нет, занервничал. Потом вспомнил про хлеб в узелке и, когда настала ночь, съел остаток буханки, запивая водой из бочки, оставленной во дворе у стены кухни. В доме стояла тьма, как в лесу в безлунную ночь, было неуютно и душно, я бесцельно бродил, спотыкался, от множества комаров звенело в ушах. В моей комнатке, как и везде, было пусто, укладываться спать там смысла не имело, так что я лег на полу в главной зале у входных дверей, под голову положив свой узелок.

Потом — наверное, часов уже в одиннадцать вечера — на плантацию обрушилась гроза, разбудила меня и до полусмерти напугала; во тьме сверкали исполинские молнии, в жутких зеленоватых вспышках вырисовывались очертания брошенной лесопилки и пруда, где железные струи дождя прочесывали поверхность воды, то слившись сплошным потоком, то распадаясь на пласты и простыни, разрываемые и гонимые ветром. Гром так трещал, будто раскалываются небеса; одна из молний вдруг разрубила надвое огромную старую магнолию в ближней роще, и верхняя половина громадины рухнула наземь со стоном и воем, словно поверженный безумец. В ту ночь я испытал настоящий ужас, никогда в жизни мне не приходилось наблюдать такой грозы, мне показалось, что это не просто гроза, что ее наслад сам Господь; я спрятал голову между мешком и голыми досками пола

и лежал, жалея, что появился на белый свет. В конце концов гроза пошла на убыль, все стихло, только продолжало капать с крыши, и я поднял голову, вспомнив строки о потопе: *И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба...* Шепотом помолившись, поблагодарив Господа, я стал, наконец, засыпать, слушая, как загнанная в дом грозой сова отряхивается, возится и вздрагивает где-то высоко на карнизе, а то начинает еще и покрикивать: *ух-хуу, ух-хуу, ух-хуу*.

Потом я услышал голос:

— Ну-ка, малый, подъем, — и, проснувшись, в ослепительном утреннем свете не только увидел, но и почувствовал носок черного сапога, которым меня будили — да не то чтобы этак слегка, а очень даже ощутимо садили под ребра, так что я, задохнувшись, сразу приподнялся на локтях, хватая ртом воздух, как вытасченный из воды карась.

— Ты Нат? — прозвучало дальше. С первых же слов я понял, что это его преподобие Эппс. С головы до ног он был в клерикально-черном; побитые молью пасторские гетры находились как раз вровень с моими глазами, и я заметил, что нескольких пуговиц не хватает, а сукно почему-то — то ли мне показалось, то ли и впрямь — издает кислый, сальный, нечистый запах. Мой взгляд пополз по непомерно длинным черным голеним, потом по заношенному черному шерстяному сюртуку и, мельком отметив красную, сморщенную, как у индюка, шею, на краткий миг задержался на носатом ссохшемся лице шестидесятилетнего фанатика, святоши и ханжи, лицо, от которого исходил ледяной дух унылой и горестной бедности; изпод овальных проволочных очков на меня глянули недобрые мутные глазки, и в тот же миг у меня и в сердце, и в печенках екнуло. Я понял, что даже при наилучшем раскладе мне теперь белого хлеба поесть удастся не скоро.

— Ты Нат? — снова спросил он, на сей раз еще грубее. Тон вопроса был резким и подозрительным, а голос — гнусавым, как ноябрьский простудный ветер; что-то в нем предупреждало меня, что с этим пастором лучше образованностью не кичиться. Я поскорее встал, поднял с пола узелок и говорю:

— Да, маса. Эттая ваша правда. Нат я и есть.

— Давай, садись в коляску.

Коляска стояла у крыльца веранды, а запряжена в нее была пятнистая кобыла — ледащая, с проваленной спиной, более жалкого существа я не видывал. Я вскарабкался на продавленное сиденье и там, на солнцепеке, ждал полчаса или даже больше, глядя, как старая кляча бьет себя хвостом по бокам, покрытым болячками, в которые жадно впивались мухи, и слушая невнятный шум и треск, доносящийся из недр дома, где с топотом бродил его преподобие. В конце концов он возвратился и влез на сиденье рядом со мной, притащив с собой два тяжелых железных крюка для подвешиванья котлов (а я то думал, в доме уже нечем поживиться никакому мародеру!) — своими огромными узловатыми ручищами он ухитрился выдрать их из дубовой кухонной стены.

— Н-но, Краля! — скомандовал он лошадке, и, не успев я глазом моргнуть, как в свиристеньи цикад назад ушла подъездная аллея, и все называвшееся лесопилкой Тернера поселение, брошенное на поживу жукам, мышам и совам, исчезло из моей жизни навсегда.

Должно быть, мы проехали по тележной колее не одну милю, прежде чем его преподобие Эппс вновь заговорил. Пока ехали, печаль и чувство заброшенности и утраты, которые одолевали меня до этого, та боль и отчаянная ностальгия, что изводили меня с тех пор, как за день до этого я остался один, — все это отступило на задний план под действием простейшего голода; теперь

я тосковал уже главным образом по вчерашней курятине, в животе сосало и урчало, и я все время надеялся, что, если Эппс сподобится открыть рот и поделится со мной каким-то своим помышлением, оно окажется хотя бы косвенно связано с едой. Но не тут-то было.

— Годков сколько тебе? — спросил он.

— Двадцать, маса, — отозвался я. — Двадцать один будет — первого, значиц-ца, октября. — Чтобы снискать расположение незнакомого белого человека, негру всегда лучше постараться произвести впечатление бесхитростной простоты, а добиться этого легче всего, добавляя к любому своему ответу вводные словечки вроде “какк-его”, “значиц-ца”, “этт-самое” или “как есть, ваша правда”. Должно быть, и в тот раз, стараясь окутать свои слова аурой радостной глуповатости, я в заключение брякнул что-нибудь наподобие “честно-честно!” и тем самым совершил ошибку, позволив его преподобию Эппсу переоценить мою невинность и неразумие.

— А у тебя с девчонками с вашими негритянскими уже бывало чего в кустах? — спросил он. От его занюханной одежды, казалось, пуще завоняло козлом, салом, грязью и бедностью; хотелось зажать нос, но я не смел. Было что-то в этом человеке, от чего я чувствовал беспокойство, чуть ли не страх. В полном смятении от его вопроса, я, при всем желании, неспособен был ничего ответить и попытался выйти из положения при помощи типично негритянского замедленного хихиканья с полным ртом нечленораздельных бессмысленных междометий:

— Ну-у, какк-его, э-ээ...

— Мистер Тернер сказал мне, что ты интересуешься религией, — продолжал он.

— Да, сэр, — ответил я в надежде, что религия как-то повернет дело в мою пользу.

— Значит, религией, — повторил он. Голос у него был сухой и плоский, пронзительно монотонный и неприятный, как скрип надломленного дерева в лесу. Казалось немыслимым, чтобы такой голос мог нести людям какое-то духовное окормление. — А если интересуешься религией, тогда, конечно, должен знать, что царь Соломон, сын Давида, говорил о женщинах, особенно о шлюхах. Он сказал, что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодезь. Кроме того, она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Ты понимаешь это, мальчик?

— Да, сэр, — сказал я.

— Он сказал, что из-за жены блудной обнищают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Понимаешь? Он сказал: храни себя от негодной женщины, от лстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоём, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Ты ведь знаешь, так оно и есть, юноша.

— Эт-точно, — сказал я, — как есть, ваша правда.

Друг на друга мы не смотрели, скорее, я кожей чувствовал, как он сидит там с этим своим жестким, ссохшимся лицом, отчаянно устремив взгляд прямо перед собой, а еще я чуял несвежий, плесневелый запах его одежды, и во рту у меня было сухо, будто я песок жевал.

— Зато молодой мужчина, — сказал он, — это совсем другое дело. Юноша это свежесть и красота. Царь Соломон сказал: ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Ешь свой мед. Правильно, мальчик? Он сказал, слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Он сказал, когда ляжешь спать, не будешь бояться, так что ложись и не бойся. Да, мальчик? Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — *как* древо жизни. Истинный корень и древо жизни, хвала Всевышнему.



— Да, сэр, — в смятении выдохнул я.

Потом мы долго ехали в молчании. С тележной колеи свернули куда-то вбок и ехали теперь по местам, которых я прежде никогда не видел. Земли вокруг лежали ничемные — овражистые, красные глиняные пустоши без жилья. Кое-где вид оживляли рощицы чахлах сосен, а высоко в голубизне над головами кружили и внезапно падали грифы, наводя тоску мыслями о побелевших скелетах и медленных, мучительных смертях. Над землей висела туманная дымка, где-то вдалеке утрюмо каркали вороны. Вид кругом был такой, словно люди исчезли с лица земли.

— А скажи-ка мне, юноша, — произнес, наконец, Эппс, и его скрипучий голос вдруг окреп, словно после долгих колебаний принято какое-то нерадостное решение. — Я слышал, у ниггеров писька вырастает до необычайных размеров. Это как — правда?

От страха и волнения я вдруг ослаб и ничего не смог ответить. Коляска остановилась, мы сидели в тени старого, но какого-то чахлого дуба, полумертвого, в саване преждевременно желтеющей и сохнущей листвы, голый тощий ствол которого плотно охватили своими зелеными, влажными и, видимо, губительными объятиями вьющаяся жимолость и дикий виноград. Начиная понимать, к чему клонится дело, я не отрываясь смотрел в пол. Аромат жимолости смешивался с запахом его преподобия Эппса; пот с него лил ручьями, я это даже видел — как он течет из-под черной лоснящейся манжеты на обожженную солнцем тыльную сторону широкой и нескладной ладони, которой он в тот момент крепко сжимал свое колено.

— Ты понял, что я говорю, слышь, ты? — продолжил он и положил ту же напряженную, судорожную руку мне на мясистую верхнюю часть бедра. Его голос дрожал, его старые узловатые красные пальцы дрожали, и я

чувствовал, что тоже внутренне весь дрожу, пытаюсь молча, но отчаянно звать к небу: *Господи! Где же ты там, Господи!* Тут дневной лик вдруг затмился облаком, и дохнуло прохладой, словно опустился воздух, посвежевший в кронах деревьев; но в трепете листвы прохлады сразу отлетела, солнце засверкало ослепительно, и вонь от его преподобия Эппса стала еще злее и гуще. — Я говорю, слышал я, что у среднего ниггера, как-грится, член аж на целый дюйм длинней обычного. Это правда, малыш?

Я молчал, как могила, чувствуя дрожь пальцев на моем бедре. Не дождавшись ответа, он мрачно умолк, а потом, после долгой паузы, больно сжал пальцами мою ногу и прошептал:

— Что, будешь мне перечить?

Но в этот раз, когда я опять не ответил, он убрал руку с моего бедра, и мы вновь, пыля и поскрипывая, поехали к северу по невеселому, горемычному краю. Пока он заговорил снова, прошло, возможно, полчаса, и в его монотонно скрипучем, безвозрастном голосе зазвучала разом ненависть и отчаяние, любовь, страдание, мстительность и благодарность:

— Ты лучше уж мне не перечь! Лучше уж слушайся меня, и все, ты понял?

В этой хронике молодых моих лет время все больше сжимается. Мое жительство у пастора Эппса оказалось кратким. Здесь надобно только рассказать, каким образом его забота о моей судьбе привела меня не к свободе, предвкушением которой я столь долгое время тешился, ожидая, что она естественно воспоследует за моим переходом под его опеку, но к состоянию, совершенно и удивительно от нее отличному.

Думаю, маса Сэмюэль хотел, чтобы я побыл на службе у этого священника какое-то весьма недолгое время.

Однако в действительности время, которое мне пришлось у него проработать, оказалось куда кратче, нежели маса Сэмюэль мог предполагать. Как вы, несомненно, заметили, одной из характерных черт маса Сэмюэля была очаровательная наивность и доверчивость; он и так-то не очень хорошо разбирался в людях, но особенно неудачно на моей судьбе сказалось то, что, воздерживаясь от соблюдения религиозной обрядности, он тем не менее почему-то упорствовал в традиции почтения к духовенству и веры в благонравие любого его представителя. Эта вера оказалась большой ошибкой. Думаю, препоручая меня пастору Эппсу, он предвидел возникновение чудесных, добросердечных, ко взаимному благу располагающих отношений между обожаемым одиноким старцем-священником и его черным учеником и псаломщиком — уже и прежде “интересовавшимся религией” и обученным Закону Божьему, — причем сосуществуем мы в совершеннейшем христианском согласии, а за то духовное окормление, что его возраст и мудрость в изобилии предоставляют мне, я радостно и благодарно одариваю его честным трудом. Какая умилительная картина! Что за блаженные грезы осеняют счастливый сон моего бывшего хозяина в Алабаме, в благоуханной южной ночи!

Хорошо хоть попытки меня изнасиловать старина Эппс довольно скоро оставил (после чего мое пребывание у него стало хоть в этом отношении сносным), так что к началу осени я освободился от мороки, которой некоторое время тяготился вельми пресущественно. В первые дни после приезда в Шайло он подстерегал меня в покосившемся мерзостном двухочковом сортире, обслуживавшем как его собственное жалкое обиталище, так и церковь; громогласно заговаривая мне зубы цитатами то из Книги Притчей, то из других мест Библии, он пытался уломать меня тем же способом, что применил в день

первой нашей встречи; с его похожего на клюв, огромного носа на верхнюю губу пополам с соплями капали слезы, в голосе звенела неприкрытая боль, он пытался облапить меня, ухватить, а вокруг вились сонмища мух. Но однажды сдался: пожав плечами и осквернив, как говорится, бранью свои уста, он прекратил домогательства, к большому моему удивлению и облегчению. Лишь гораздо позже, когда я стал старше и умнее, я, наконец, понял, что эта его похоть, при всей ее неумности, постоянно боролась и была в результате побеждена желанием властвовать. Добейся он своей низшей цели, поддайся я его дурнопахнущим пассам, он получил бы наложника, игрушку, но потерял раба; нелегко полностью подчинять себе того, с кем за поленницей дров предаешься содомскому греху, и если бы я стал податливой жертвой его страсти, ему куда труднее было бы гонять меня так, что к вечеру я падал, что называется, без задних ног.

А уж гонял он меня и в хвост, и в гриву — по восемнадцать и по двадцать часов на дню, семь дней в неделю, и по воскресеньям, надо сказать, особенно, так что впервые в жизни я начал ощущать себя частью того мира — того *настоящего* мира, в котором живут и дышат негры. Меня будто в ледяную воду бросили. Вдобавок, мое положение, как я вскоре понял, усугублялось еще и тем, что я был единственным рабом во всем Шайло, маленьком придорожном селении, где обитало человек тридцать — тридцать пять отчаянных фанатиков и ханжей. По большей части мелкие фермеры, они из последних сил цеплялись за свои иссохшие грядки сладкого картофеля и полоски чахлой кукурузы; на эту обочину их выбросил, обобрав дочиста, тот же катастрофический кризис, от которого более зажиточные сограждане, такие, как маса Сэмюэль, устремились на дальний Юг; не

управившиеся управляющие, однорукие рукодельники, проевшиеся мироеды, чудом не вконец пропившиеся пропойцы и лишь на чудо слабо уповающие расслабленные образовали унылое, изнемогающее братство ревностно верующих, ни у кого из которых не было ни любви к ближнему, ни гроша за душой для его спасения, — одна всеобщая душеспасительная вера да надежда на то, что, истовая и безоглядная, она, быть может, и теперь сохранит их от полного сокрушения вместе с их пучеглазыми, зобастыми женщинами и бледненькими, светловолосыми и глистоносными детьми.

Будучи единственным двуногим тяглом в Шайло, я вынужден был гнуть спину не только на его преподобие Эппса: колоть дрова и таскать из родника воду, кормить ледащую кобылу Кралю и лущить кукурузу, ходить за тремя свиньями и разжигать по утрам печи, при этом изображая из себя пародию сразу и на слугу прелата в развалюхе, которую он называл своим пасторатом, и на церковного сторожа в развалюхе, изображавшей Божий храм, — мало того, я должен был прислуживать и остальным членам общины. Как я исподволь выяснил, у пастора прежде никогда не было собственного негра (впоследствии меня очень забавлял тот факт, что я, пусть ненадолго, стал этаким наградой, венцом страстных многолетних молений), и, в восторге от такой роскоши, он, очевидно, первым делом испытал благочестивую, истинно христианскую потребность разделить меня поровну между всеми в своем приходе. В результате всю осень и зиму — одну из самых студеных на моей памяти — я постигал, как быстро тело теряет силу, а душа жизнелюбие, когда твою энергию тащат сразу в три дюжины разных сторон. Казалось, меня ввергли в какой-то кошмар, в котором я напрочь лишился человеческого существования и превратился в особое существо — получеловека-полуму-

ла, вечно усталого, безгласного, всецело ввергнутого в пучину тупого и бессмысленного труда чуть ли не с ночи и вновь до глубокой ночи. В крохотном трехкомнатном “пасторате” я спал в клетушке, называвшейся кухней, на набитом соломой мешке, прикрытом тряпками и брошенном у двери черного хода. Промозглые ветра выли в щелях дома, печь, даже набитая дровами доверху, грела еле-еле; прикрытая на ночь, она не грела вовсе, и, лежа в полумраке на полу, я, дрожа, наблюдал, как содержимое пасторского ночного горшка подергивается ледком. Всю ночь пастор гулко храпел, и надсадные содрогания храпа рокотом мельничного колеса пронизывали мои неспокойные сны. По временам он издавал громкий придушенный всхлип и просыпался, бормоча бессвязные слова из Евангелия. “Не Апостол ли я?..” — вскричал он однажды, а в другой раз вскинулся его белый силуэт в ночной рубаше, и он взвыл: “Асийские Иудеи!.. предстать пред тебя... обвинять меня!..” Кроме того, несмотря на тягостный холод, в доме всегда стоял смрад — воняло, как в курятнике летним полднем.

Боже, что я перенес! Как торопил я дни и месяцы, чтобы быстрее проходили, чтобы скорей кончалась зима; как ждал я, когда же, наконец, меня вытащат из этой дыры, я попаду в Ричмонд и выйду на свободу. Но зима тянулась нескончаемо, мучительно, и никакого облегчения не намечалось. Трижды в месяц мимо проезжал почтовый дилижанс с Юга, но почты он привозил мало, и не было ни одного письма от маса Сэмюэля — во всяком случае, вестей не было ни мне, ни (насколько мне об этом ведомо) его преподобию Эппсу. Так и тянулись месяцы труда и стужи, и единственное, что меня как-то поддерживало, так это невеселые слова Екклесиаста, которые я заучивал в те краткие минуты, что удавалось иногда отвоевать у работы и сна. Черпая дыря-

вым ведром содержимое отхожего места, приятно было сознавать, что все суета; только великий Проповедник приходил мне на помощь во все нескончаемые часы тяжкого труда.

По утрам я горбатил на его преподобие: колол дрова, таскал воду, подметал, белил снаружи бревенчатый сруб дома и церкви — уж этому-то делу конца и края нет, а оттого, что белила частенько замерзали прямо на кисти, задача не делалась проще. После обеда (перед которым мы склоняли головы в благословении: “Ангел за трапезой!” — “Невидимо предстоит!”), а потом молча ели на кухне: он — сидя на единственном стуле, я — на корточках на полу; еда была всякий раз ужасна — шпик с кукурузной лепешкой, вымоченной в черной патоке, — но ее хотя бы хватало: в такую жуткую погоду мой попечитель не мог допустить, чтобы рабочая скотина теряла силу из-за скудной кормежки) раздавалось громохание тележных колес по замерзшей ухабистой дороге, и сразу крик: “Это я, Джордж Данн, пастор! Нынче на ниггера моя очередь!” И я отправлялся за три мили к Данну, который жил у опушки сосняка, там надо было работать еще шесть часов — валить лес, жечь кустарники, чистить сортиры, лущить кукурузу — в общем, выполнять любую из дюжины самых неприятных и изнурительных работ, какие только могут понадобиться обреченному, обмороженному и доведенному до отчаяния крестьянину-баптисту. Случалось и пешком отшагать на такую вечернюю работу мили две с гаком по снежной тропе через лес, чтобы явиться, наконец, чуть не отморожив ноги, в какую-нибудь хибару на недавно расчищенной поляне и тут же, с порога, услышать: “Леандер! Ниггер пришел!” От постоянного унижения я начал растворяться как личность, исчезать, ощущать себя таким першероном, если, конечно, лошадь может как-то

воспринимать себя вчуже: попробуй-ка весь в поту на морозе проработай несколько часов где-нибудь на крыше сарая, потом его преподобию еще и плату за труд неси — редко когда серебряный доллар, чаще измятую, будто куриной лапой нацарапанную на клочке бурой грубой бумаги, записку:

*Преп. Эннсу*

*Я ДОЛЖЕН*

*\$0.50 U.S.*

*Пользовался ниггером 5 час.*

*Ашпеназ Грувер. 12 янв.*

А иногда горшочек маринованных перцев, либо фунт козьего сыра, обернутого фланелькой, или чутунок цукатов из сладкого картофеля — сам-то я это лакомство, кстати, так ни разу в жизни и не удостоился даже попробовать. При этом никто меня не бил, даже ругали редко. В общем и целом со мной обращались учтиво — отдавали должное, как на редкость удобному и производительному устройству.

Мое отчаяние и одиночество все нарастали, пока это существование не стало кошмаром, от которого хотелось проснуться; мной каждодневно помыкали так, что жизнь казалась тяжким бременем, давящей неподъемным гнетом ношей, от которой плечи гнулись, словно на них ярмо. Впервые в жизни я стал подумывать о такой крайности, как побег (а что, славно было бы последовать по босым стопам отца!), однако от действий такого рода меня отвращали не только двести миль бездорожья и мерзлого безлюдья, лежавшие между мной и штатом Пенсильвания, но еще и, конечно же, опасение поплатиться за это той самой свободой, которая, как меня убедили, вскоре мне будет дарована. А пока все оставалось по-прежнему. Коготок в свободе

увяз — всей птичке, извиняюсь, пахать и пахать. Каждый десять дней с Юга приезжал почтовый дилижанс, а потом снова уезжал, не оставив никакого наставления от маса Сэмюэля. Уныние и отчаянье давили меня безжалостными тяжкими дланями. Просыпаясь, я каждое утро молился, чтобы *вот сегодня* меня отвезли в Ричмонд и там передали бы в руки того культурного и просвещенного хозяина, который только и озабочен будет тем, чтобы я постепенно обрел свободу. Этого так никогда и не случилось. Вновь и вновь я молча сидел на корточках в продутой сквозняками кухне перед его преподобием Эппсом, давясь кукурузной лепешкой и черной патокой. Дни безысходно шли за днями, и солнце над головой, едва проглядывая бледною облаткой, высвечивало разве что время суток, ничуть не озаря мерзостно помраченных небес, точь-в-точь таких, какими увиделись они пророку Иеремии.

Сосчитать, что принес я хозяину в сыре и перцах, не возьмусь, но звонкую монету я считал, и оказалось, что с октября по середину февраля я заработал для его преподобия в общей сложности 35 долларов 75 центов.

Что касается служб в ветхой церквушке (необходимость поддерживать огонь в четырех печах весь день и вечер, шуруя туда ореховые поленья, делала воскресенье днем для меня чуть ли не самым тягостным), о них лучше распространяться поменьше, опустив над этими таинствами — как выразился бы сэр Вальтер Скотт — завесу благопристойности. Ибо, хотя я сам в позднейшие годы обрел великую силу проповеди и наставления, и меня глубоко трогало то, как люди воспаляются словом Божиим, как оно их возвышает (иногда до того, что они полностью лишаются чувств), и, хотя в совершенном самозабвении подчас можно достичь близкого общения с Духом Святым, — все же белые прихожане в Шай-

ло это стыд и позор какой-то: вспомнить только, как они вопили и визжали с пеной у рта, когда пастор Эппс своим сухим, надтреснутым голосом живописал перед ними геенну огненную; потные и распаренные, они впадали в дикое неистовство, срывали с себя одежды, раздевались до трусов — причем как мужчины, так и женщины — и, голышом, оседлав друг друга, бегали по проходам. Все это мне казалось блудом вавилонским, святотатством, каждый раз я бывал рад, когда вечерняя служба заканчивалась и можно было убирать устроенный ими бедлам и отправляться спать.

Однажды я возвращался в сумерках усталый после вечерней работы на ферме, располагавшейся далеко в лесу, и остановился передохнуть на поляне. Под ногами и на деревьях лежал глубокий снег, не было слышно ни звука. Быстро опускалась тьма, и я понимал, что, если не поспею в пасторат засветло, непременно заблужусь и столь же непременно замерзну в лесу насмерть. Но почему-то эта мысль меня не пугала; перспектива казалась мне благодной и приятной — заснуть среди снега и сосен и никогда не просыпаться, припасть к груди вечности, навсегда избавившись от гнусного и постыдного труда. Я сознавал, что воображать такое — безбожие и богохульство, но все же думал: ну ладно, Господь меня поймет. И я долго слонялся по морозной тихой поляне, глядя, как густеют серые сумерки, мне даже не терпелось, чтобы пришла ночь и поглотила меня, заключила в свои пускай холодные и безразличные, но благодные объятия.

Но затем я вспомнил о новой жизни, что уготована мне в Ричмонде, о великом будущем, ожидающем на свободе, и меня обуяла паника. Я бросился бежать по снегу, все быстрее и быстрее, и прибежал к церкви, как раз когда с небес исчезли последние проблески света.



21 февраля 1822 года в здании суда поселения Сассекс (штат Виргиния) пастор Эппс продал меня в рабство за 460 долларов. В этой сумме я уверен, потому что наблюдал за Эвансом или Бландингом — не знаю, за кем именно — в общем, за кем-то из компании “АО Эванс и Бландинг, проведение аукционов”, и видел, как он заплатил пастору эту сумму в двадцатидолларовых купюрах, когда мы стояли в сенях загона для негров, в который работоторговцы превратили ветшающее кирпичное здание бывшего табачного склада на задворках села. Дата, я знаю, тоже верна, потому что она была обведена огненно-красным на большом фирменном настенном календаре, а он висел не далее чем в десяти футах от того места, где мы стояли, и еще там была вывеска, кустарно нарисованная неровным печатным шрифтом:

\$ \$ \$  
“Э & Б” работает честно.  
За подходящих негров  
платим наличными.  
Деньги сразу!  
\$ \$ \$

Пятнадцать минут в коляске из Шайло за границу округа, потом сама процедура продажи — все заняло меньше полдня. И произошло прежде, чем я успел вообще что-либо сообразить. Вот, стою в насквозь продуваемом складском ангаре, держу свой узелок, и старый пастор передает меня торговцу.

Помню, я закричал:

— Вы не имеете права! У вас с маса Сэмюэлем соглашение было! Письменное! Вы же должны отвезти меня в *Ричмонд*! Он *говорил* мне!

На это пастор Эппс не проронил ни слова. Послунув палец, он считал банкноты, с каждой драгоценной се-

кундой поднимаясь из нищеты к богатству; щурясь сквозь запотевшие очки, он шевелил губами, проверяя объем несправедной добычи.

— Так *нельзя*! — кричал я. — У меня *ремесло*! Я плотник!

— Кто-нибудь, заткните ниггера! — произнес голос по соседству.

— Этот негритенок, джентльмены, — объяснял пастор, — немного умишком тронумши. Пунктик у него, как грицца. Но до дела дойдет, тут он конь. В работе он как *конь* прямо. Вы не поверите: такой вроде хлипкий, а сила есть, да и голова на месте — некоторые слова знает даже, как пишутся, и нрав богобоязненный, незлобивый. Думаю, и на племя может сгодиться, а почему нет. Господи, ну что за зима нынче? — С этими словами он повернулся и, шагнув в облако морозного тумана, исчез.

Остаток того дня помню смутно. Припоминаю, однако, что вечером, лежа в битком набитом шумном загоне вместе с пятьюдесятью незнакомыми неграми, сперва я никак не мог поверить в происшедшее, чуть не ополоумел от этого, потом до меня дошло, что меня предали, потом я пришел в ярость, какой в жизни не испытывал, и, в конце концов, к своему собственному ужасу, почувствовал ненависть да такую жестокую, что мне стало нехорошо и едва не стошнило на пол. Причем возненавидел я не пастора Эппса — что с него взять, дурак, старый пень, да и только, — а маса Сэмюэля; ярость вздымалась и возросла в моем сердце до такой силы, что я мало того что всерьез пожелал ему смерти, но вообразил картину живейшую, как я душу его собственными руками.

И с того момента (вплоть до начала составления сего отчета о моей жизни) я выкинул маса Сэмюэля из головы, как вымарывают память о запятнавшем себя воине и свергнутом тиране, и больше я никогда о нем дольше трех секунд подряд не думал.

На следующую ночь началась оттепель, пошел дождь. Вода с неба хлестала потоками, бушевал западный ветер. Потом температура принялась падать, дождь перешел в мокрый снег, а к утру вся местность вокруг покрылась блестящей прозрачной коркой льда, будто кто облил ее расплавленным стеклом. Снег, в конце концов, перестал, но свинцовые тучи не расходились, подернутый ледяной коростой лес без перехода сливался со стеклянистым ломким полевым кустарником, и ничто не отбрасывало тени. В тот день меня продали с аукциона мистеру Томасу Муру, и я поехал из Сассекса опять к югу в фургоне, запряженном парой волов; колеса поскрипывали и хрустели ледком на ухабистой дороге, а подкованные железом воловьи копыта тяжело и гулко били в промерзшую, окаменелую землю.

Мур с двоюродным братом, тоже фермером по имени Уоллес, сидели, сгорбившись на козлах, а я, примостившись задом наперед на краю телеги со снятым задним бортом, болтал ногами в воздухе. Было жутко холодно, телега скрипела, и я никак не мог унять дрожь, несмотря на то, что потертая шерстяная шинелька — единственное наследство, доставшееся от его преподобия, — от ветра все же худо-бедно защищала. Но не о холоде были в тот момент мои мысли, а о насилии, по-прежнему для меня непостижимом, в результате которого я безвозвратно утратил львиную долю и без того скудной собственности. Потому что менее часа назад, не успев купить меня, Мур нашел и заграбастал десятидолларовый золотой, когда-то предусмотрительно зашитый мною в запасную пару штанов. Движимый безошибочным первобытным чутьем, будто прожорливый долгоносик или таракан, он мгновенно перешуupal все мои пожитки и в считанные секунды нашел, разорвал шов и извлек золотую монету из пояса; его маленькое, кругленькое,

рябенькое личико деревенского проныры озарилось лукавым безжалостным торжеством:

— Я так и знал! Этот ниггер жил когда-то на лесопилке Тернера и, уж конечно, нашел там чего спереть! — вполголоса пояснил он своему родичу, куснул монету и засунул ее в карман рабочих штанов.

За всю жизнь я не занимал собственности дорожки, ложки, так что тот золотой был для меня настоящим и единственным сокровищем; то, как недолго я им владел и как легко лишился, просто в голове не укладывалось. А я-то хотел приберечь его до времени, когда в Ричмонде открою церковь, но — увы, не тут-то было. Случившееся после того, как я три дня и три ночи просидел в загоне для рабов, промерз там до ломоты в костях и оголодал на одной холодной кукурузной каше, мало того, последовавшее за столь внезапной передачей моего бренного тела мистеру Томасу Муру, это окончательное надругательство повергло меня в немую оторопь; неспособный даже возмущаться, я оцепенел, сидя на заднем краю телеги с узелком на коленях в одной руке и с прижатой к груди Библией в другой. Тупо ныла десна, и я, в забывчивости, удивился, что с ней, а потом вспомнил: проверяя крепость моих зубов, Мур лазил мне в рот почерневшим от грязи мозолистым пальцем.

Разговоры Мура с братцем Уоллесом я слушал вполуха, слова долетали словно издали — то ли с верхушек деревьев, то ли с дальнего края заснеженного поля.

— В Норфолке у меня одна шлюха была знакомая, с Мейн-стрит, Дорой звали, — говорил братец, — так она тебя за полтора доллара тремя способами ублажит — по пятьдесят центов за каждый, да с потягом — мы с ней ажно весь вечер тискались, — тут он, понизив голос, начал хихикать и похрюкивать. — Так на второй раз у тебя будто выводок перепелов в заднице зашебуршится!

— А то! — со знанием дела подтвердил Мур, довольно посмеиваясь. — Ясное дело, у меня тоже такая знакомая шляха была, тоже тремя способами изворачивалась, по имени Долли...

Я пропускал их нечестивую болтовню мимо ушей, глядя на оледенелый, будто глазурью подернутый пустынный лес, безмолвие которого нарушала лишь то тут, то там треснувшая под тяжестью ледяного убранства ветка, да иногда тихой ритмичной побегжкой проносился по насту неведь откуда выскочивший заяц. Вздвигнув очередной раз на лютом морозе, я почувствовал, как у меня сами собой стиснулись зубы. Мы подъехали к дорожной развилке, и, слегка повернув голову, я заметил на торчащем из снега шесте две покрытые прозрачным ледком дощечки с кривыми надписями и стрелками — одна на юго-запад:

СЕВ. КАРОЛИНА через ХИКСФОРД

Вторая на юго-восток:

ОКРУГ САУТГЕМПТОН

До границы 12 миль

Фургон толчком остановился, и, я слышу, Мур говорит:

— Тут, ка-атса, направо надо взять — ну, чтоб на Саутгемптон, правда, Уоллес? Помнится, батяня говорил, чтобы, когда домой из Сассекса поедем, правей взяли. Он ведь так сказал, а, Уоллес?

Уоллес пару секунд посидел молча, потом озадаченно пробормотал:

— Будь оно неладно! Чтоб я помнил, че-н там говорил! — Он опять помолчал, затем добавил более уверен-

но: — Если б мы не ехали сюда по колее через болото, я б точно знал, а так — пожалуй, да, вроде он сказал по дороге назад взять на развилке правее. Да, будь я проклят, он точно сказал правее. Налево поедешь, окажешься в Каролине. Дай-ка мне тот кувшин, я еще хлебну.

— Да, гхм, — утирая рот, проговорил Мур, — теперь я точно помню, конечно, направо надо взять. Батяня нам так и сказал.

Морозную тишину расколол выстрел кнута, и вновь воловьи копыта захрустели по мерзлым ухабам, при этом фургон, свернув направо, покатил в сторону Северной Каролины. Я подумал: “Самое скверное, что, если этих двух балбесов, ни один из которых не умеет читать, не поправить сразу, мы, чего доброго, попадем в большую передрагу. Еще миль двадцать к югу, и точно заблудимся. И уж погреться мне тогда не скоро удастся”.

Я поворачиваюсь и говорю:

— Не надо туда ехать, стойте!

Мур всем телом ко мне развернулся — маленькие злые глазки налиты кровью, недоверчиво выпучены. Запах спиртного разнесся на весь фургон.

— Э, малый, ты че-то там сказал?

— Остановите фургон, — повторил я, — эта дорога ведет в Каролину.

Телега встала, колеса с визгом поехали по льду юзом. Тут и братец поворотился — ни слова не говоря, недоверчиво уставился, облизывая красные шелушащиеся губы, торчащие из чахлой рыжеватой бородачки.

— А ты откуда знаешь, что эта дорога в Каролину? — спросил Мур. — Ну тебе-то откуда знать?

— На знаке было написано, — спокойно ответил я. — Я читать умею.

Мур с братом поглядели друг на друга, потом опять на меня.

— Ты умеешь читать? — переспросил Мур.

— Да, — сказал я, — умею.

Они снова обменялись быстрыми подозрительными взглядами, братец повернулся ко мне и, просияв, говорит:

— А ты проверь его, Том. Проверь его надписью на лопате.

Мур поднял облепленную присохшей землей лопату, которая лежала у них в ногах на полу фургона. Вдоль ясеновой рукояти шла надпись, глубоко и отчетливо выжженная фабричным клеймом.

— Ну, что там написано, читай давай, — сказал Мур.

— Написано “Инструментальный завод Шелтона, Питерсберг, Виргиния”, — прочитал я.

Лопата с лязгом полетела обратно на пол фургона, я отвернулся и вижу — заснеженный лес перед глазами поворачивается, открывая взгляду все новые поблескивающие ледяной инкрустацией кроны деревьев, по мере того как фургон описывает на дороге неуклюжее полукольцо. Быстро преодолев путь до шеста с табличками, мы опять круто повернули и тяжело покатали теперь уже к юго-востоку, в сторону Саутгемптона. Я вспомнил о еде, и живот сразу подвело от голода после трех дней на одной кукурузной каше. Никогда еще не испытывал я такого голода, ни разу в жизни, меня даже удивило это мучительное, болезненное и неотступное ощущение — будто перекручены все кишки.

Мур с братцем о чем-то долго тихо совещались, наконец, слышу, Уоллес говорит:

— Единственный раз я про такое слыхивал — ну, чтобы негр умел читать. Это жил такой в Айл-оф-Уайте вольный ниггер. У него сапожная мастерская была маленькая в Смитфилде, а еще он письма писал и все такое — некоторые даже белые к нему обращались. А как

он дуба дал, ему распилили череп, чтобы на мозги глянуть, ну, и там такие борозды оказались, все равно как у белого. И, знаешь, бают, нашлись какие-то из ниггеров, что взяли, часть мозгов его утащили, и давай их есть — ну то есть в прямом смысле пожирать их: думали, станут от этого тоже шибко умными.

— Ниггеру учеба не нужна ни к черту, — проговорил Мур сумрачно. — Вовсе ему никакого толку от нее нет. Не зря батяня говорит, что ниггер с умной башкой лениво будет мотыгой тяпать. Прямо так он и говорит.

— Конечно, а то как научится да начнет нос задирать, облаглет, поди, — согласился Уоллес.

— Да, ясное дело, вовсе это ниггеру ни к чему.

— Я есть хочу, — сказал я.

Не только голода, но и кнута я прежде не пробовал, и боль, которую я испытал, когда кончик хлыста, как кусачая змейка, обернулся у меня вокруг шеи, огненной вспышкой взорвалась у меня в черепе. Я задохнулся, а боль все длилась, пронизывала шею насквозь, до пищевода, я пытался и не мог вздохнуть; чувствовалось, что от такой боли можно и до смерти задохнуться. Только когда прошли уже секунды, в мозгу запечатлелся звук удара — странно негромкий, словно кто-то тихонько фыркнул себе под нос или серпом быстро взмахнули, и лишь тогда у меня дернулась рука схватить то место, где только что полоска сыромятной кожи вспорола плоть; под кончиками пальцев оказалось сыро и липко от брызнувшей крови.

— Когда у меня будет готова тебе еда, я позову, ты понял? — сказал Мур. — И обращайся ко мне “хозяин”!

Я еще не мог говорить, и тут снова удар кнута, в то же место, он ослепил меня, я словно из кожи вон выскочил и поплыл куда-то на рдяном облаке боли.

— Скажи “хозяин”! — прорычал Мур.

— Хозяин! — в ужасе выкрикнул я. — Хозяин! Хозяин!  
*Хозяин!*

— Так-то лучше, — сказал Мур. — А теперь заткнись.

В один из дней перед самым судом, когда все мысли у меня сводились к моей собственной смерти и всем существом я ощущал отсутствие Бога, помню, мистер Томас Грей спросил меня, что — в прошлом, когда Он еще говорил со мной, — что именно говорил мне Господь. Но я, как ни пытался быть правдивым, так и не смог дать правильный отчет, ведь на вопрос такого рода ответить очень сложно, ибо как облечешь в слова таинство мистического общения? Я сказал ему, что Господь говорил со мной много раз и, несомненно, направлял мою судьбу, но ни разу Он не давал мне каких-либо *определенных* развернутых наставлений или пространных приказов; нет, Он говорил мне только три слова, и всегда только эти слова, с того самого дня, когда я ехал, свесив ноги с телеги Мура, и что из этих слов я и черпал силы, а суждения свои производил, проникаясь их потаенной мудростью, каковая и позволяла мне целенаправленно проводить в жизнь то, что я считал Его волей в любых моих начинаниях, будь то кровопролитие или крещение, проповедь или подаяние. Слова эти окрыляли напутствием, и они же утешали лаской. А еще, как сказал я Грею, у Бога есть много обличий, дабы сокрыть Себя от человеков — в облачном ли столпе, или в огненном, а порой Он и вовсе бежит наших взглядов, так что, бывает, на земле воцаряются долгие времена, когда люди думают, что покинуты Им навсегда. Но я-то знал, все годы своей взрослой жизни я знал твердо: пусть Он до времени не хочет мне явить Себя, Он не бывает слишком далеко, и пусть не каждый раз, но часто, чаще, чем это кажется возможным, я позову, и Он ответит — как Он

ответил мне впервые в тот зимний морозный день: “Я с тобой”.

Я вытер с шеи кровь и, дрожа, завернулся в шинельку. Колеса стучали и хрустели ледком в выбоинах дороги, в этих местах особенно неровной и замусоренной упавшими обледелыми ветками, телега рыскала, раскачивалась и швыряла меня туда и сюда, от борта к борту в непостижимо рваном, замедленном ритме. Мур с двоюродным братцем молчали. Пронизывающий зимний ветер вдруг пронесся по крыше леса.

— Господи, — прошептал я, подымая взгляд, — Господи!

Тут с вершин ледяных деревьев слышался шум, гул и треск, и голос пришел из леса:

*Я с тобой.*

Прижимая к груди Библию, я скорчился на досках фургона, меня бросало и мотало, будто корабль без руля и ветрил несет меня по остекленевшему, окоченевшему морю, хотя и к югу, но опять в самую глушь зимы.



## УЧУСЬ ВОЙНЕ

Взрастить в себе изощренную, отточенную ненависть к белому человеку для негра, конечно же, задача не сложная. Хотя, строго говоря, не в каждой негритянской душе гнездится такая ненависть, но зародиться и расцвести пышным цветом она может в ком угодно, если загадочный скрытый узор, каковые во множестве рисует жизнь, примет нужную форму. Истинная ненависть (а я говорю только о ней), ненависть столь жгучая и ожесточенная, что никакая симпатия, никакая человеческая теплота, никакой проблеск сочувствия не может оставить ни зазубринки, ни щербинки на твердокаменной ее сердцевине — такая ненависть свойственна далеко не всем неграм. Как гранитный цветок с жестокими терниями, она всходит (если всходит), зарождаясь словно бы из капризного семени, брошенного в сомнительную почву. Для полного ее злокачественного произрастания и вызревания требуется много условий, однако ни одно из них по важности не сравнится с тем, чтобы тот или иной период своей жизни негр провел в достаточно тесной близости с белым человеком. Чтобы он обладал знанием объекта своей ненависти, был хорошо осведомлен о коварстве белых, их двуличии, алчности и безмерной порочности.

Ибо, не будучи коротко знакомым с белым человеком, не столкнувшись с безответственностью и заносчивостью, присущими ему даже тогда, когда он творит добро, не нанюхавшись его простыней, грязных трусов и содержимого сортира, не ощутив вызывающих, при всей их мимолетности, прикосновений пальцев белых женщин к твоей черной руке, не насмотревшись, как он предается развлечениям и отдыху, лицемерной молитве и пьяному разгулу, не увидев его похотливых и незаконных игрищ на сеновале, не пронаблюдав в истинном свете все его милые семейные радости, — я думаю, негр может только *разыгрывать* ненависть. Такая ложная ненависть призрачна и умозрительна. Вот вам пример. Работающий в поле негр время от времени получает удар хлыстом от надсмотрщика, восседающего где-то высоко на буланом коне, того же негра можно месяцами держать впроголодь, чтобы он каждый день испытывал муки голода и судороги в желудке, опять же этого негра можно однажды бросить в телегу и продавать как мула, выставив на аукцион под проливным дождем, однако, если этот негр — который с детства плавает в разливанном море такого же черного народа, с мотыгой в руках из года в год с рассвета до заката ковыряется в поле и не знает ни одного белого человека помимо того надсмотрщика, что существует для него лишь в виде окрика издали да хлыста и чье лицо (безымянное, да и меняющееся время от времени) воспринимается как белое пятно на фоне неба, — если этот негр решит возненавидеть белых, рано или поздно он поймет, что его ненависть несовершенна, ей не хватает спокойствия и убежденности, ясности и несгибаемости, то есть она не будет той истинной ненавистью, которая необходима, чтобы убивать. У такого негра, незнакомого с белыми — с их запахом, с телесной реальностью их белизны и бескровно-

сти, с их порочностью, — ненависть будет скорее вялой и бессильной обидой, вроде того беспомощного возмущения, которое испытываешь по отношению к равнодушной природе, когда она очень уж донимает многодневной безжалостной жарой или затяжным, нескончаемым дождем.

В течение последних четырех-пяти лет жажда убивать, охватившая меня сперва как наваждение, переросла в осознание божественного предназначения, священного долга уничтожить всех белых: начать с Сауттемптона, а потом нести свою миссию дальше — настолько далеко, насколько позволит судьба, поэтому в первую голову я принялся за воспитание ненависти: выискивал негров, в которых она уже вовсю пылала, возвращал ее в тех немногих, в ком она лишь едва пустила ростки, присматривался и выведывал, с досадой отбраковывая тех, кому истинную ненависть не привьешь и кому, следовательно, нельзя доверять. Но прежде чем рассказывать о моей жизни у Мура и обстоятельствах, предуготовивших великие события 1831 года, хотелось бы сосредоточиться на некоторых загадочных свойствах ненависти негра к белым и описать один из моментов, когда я сам почувствовал такую ненависть в ее наиболее тяжелой и разрушительной форме.

Должно быть, это произошло летом 1825 года, когда я был собственностью Мура чуть более трех лет и пребывал в состоянии глубокого внутреннего конфликта и смятения, был, что называется, “на грани”: начинал подумывать об убийстве и в какой-то мере уже предчувствовал свою великую миссию, однако под гнетом страха и неуверенности не находил еще в себе достаточно решимости, чтобы придать сколько-нибудь определенную форму своим планам и подготовиться к целенаправленным действиям.

В день, о котором я говорю, мы с Муром доставили в Иерусалим две телеги дров (дело в том, что значительную часть доходов Мур получал от поставки дров в частные дома, а также в суд и тюрьму), а после разгрузки хозяин, по субботнему обыкновению, отправился за какими-то покупками, на пару часов предоставив меня самому себе. В то время я с головой ушел в изучение Пророков — главным образом Иезекииля, Иеремии, Исаии и Даниила, чья значимость в формировании моей личности и будущего еще только начинала угадываться. Поэтому я старался не терять времени на общение с другими неграми, которые собирались кучками, болтали, затевали пыльную возню на пустыре за рынком или спорили из-за какой-нибудь городской черной девчонки — у кого из них больше шансов заманить ее в уголок за сараем. (Бывало, это кончалось групповым соитием, но Господь милостив, я не подвергался подобному искушению.) В таких случаях я брал Библию, садился где-нибудь на солнышке в уголке деревянной галереи, шедшей вдоль фасада рынка, и там, хоть на пару ярдов отделившись от толкотни и сумятицы, часами, привалившись спиной к стене, сидел на корточках и впитывал доброучительные наставления великих.

В то утро меня отвлекло появление белой женщины, которая вынырнула из-за угла галереи и внезапно остановилась, одну ладонь прижимая ко лбу, как бы для защиты глаз от слепящего света. Женщина была удивительно красива — лет сорока, величавая и стройная, одетая в синезеленый, цвета бутылочного стекла, шелк с узором из бледно-розовых завитков, которые кружили, исчезали и вновь появлялись, даже когда она остановилась, явно порываясь опять куда-то двинуться и озираясь с озадаченной гримаской на бледном овальном лице. При ней был цветастый зонт и дорогая парчовая сумочка; когда она, нахмутив-

шись, остановилась на краю галереи, я сразу понял, что эта блистательная утонченность, изящество и необычайная красота могут означать только одно: передо мной та самая, чей приезд в город вызвал столь великое множество всяких толков — негры ведь тоже любят посплетничать, — но на сей раз все эти разговоры отражали одно лишь благоговейное к ней уважение. Недавно объявившаяся в качестве невесты майора Томаса Ридли — одного из самых богатых землевладельцев в Саутгемптоне, даже теперь еще достаточно богатого, чтобы держать пятнадцать негров, — она была родом с севера, откуда-то из Нью-Хейвена, что ли, и, по слухам, состояние, наследницей которого она являлась, было так велико, что по сравнению с ним стоимость всех плантаций в Саутгемптоне, вместе взятых, могла показаться сущим пустяком. Ее выдающаяся красота, ее наряд, ее нездешний облик — все это поражало, так что вряд ли удивительно, что, затесавшись прекрасным солнечным утром в толпу неряшливых негров, она сразу повергла всех в почтительное молчание, всеобщее и полнейшее.

Я видел, как она сошла с галереи, ступила на пыльную дорогу и, принявшись обеспокоенно постукивать медным кончиком зонта, заозиралась, словно не знала, куда идти. В тот же миг ее взгляд упал на негра, слонявшегося неподалеку, как раз под тем местом, где сидел я. Этого негра я знал, то есть я знал, какая о нем идет молва, а молва о нем шла невеселая. Негр был вольный, по имени Арнольд, один из очень немногих в Иерусалиме свободных негров — черный как смоль, тощий, стриженный ежиком седой дуралей и чуть ли не паралитик, который ходил как бы на полусогнутых, будто все время за кем-то крался. Много лет назад его выпустили на волю по завещанию хозяйки, богатой вдовы-плантаторши и одновременно ревностной прихожанки англиканской

церкви; старушка, видимо, слегка рехнулась на почве чувства вины и жажды вечного блаженства. Можно, конечно, хвалить ее за такой высоконравственный жест, но следует добавить, что вряд ли ее выбор был удачен, поскольку Арнольд был тот еще дурень. Вместо того чтобы радостно вкушать благие плоды свободы, он самым своим существованием явил пример абсолютно неразрешимой проблемы.

Ибо что для Арнольда значила свобода? Неграмотный, ремеслу не обученный, неловкий от природы, ребячливый и легковверный, за сорок с лишним лет пребывания в роли инвентаря он совершенно утратил силу духа и, несомненно, еще будучи рабом, влачил жизнь как обременительную ношу. Отправленный на свободу по милости совестливой покойной владелицы, которая оставила ему сотню долларов (в первый же год пущенную им на пропой), но не подумала обучить ремеслу, старый обормот мало-помалу опустился на дно, став и ничтожнее, и жалче, чем был в качестве раба: вселился в невыразимо грязный брошенный сарайчик на окраине и стал предлагать себя в качестве батрака-поденщика, но существовал главным образом за счет собирания тряпок, чистки сортиров, а подчас и просто нищенства — принимал в протянутую ладонь центы и истертые британские фартинги\*, при этом бессмысленно бормоча благодарное “пасиб, хозяин” тем своим согражданам, которые по закону никакими хозяевами ему не являлись, но по сути дела были хозяевами куда более всевластными, нежели те, что у него бывали прежде. Естественно, некоторые горожане жалели Арнольда и его братьев, но другие — и таких было большинство — возмущались, и не потому, что лично он представлял какую-либо угрозу, а

---

\* Старинная английская монета достоинством в четверть пенни.

потому, что, во-первых, он являл собой ходячий символ надлома системы, а во-вторых, что еще важнее, был живым напоминанием о самой возможности свободы черномазых и о существовании таких — тьфу, тьфу, тьфу! — поганных слов, которые и произносить-то не хотелось: эмансипация, равноправие, — вот почему его презирали так, как никогда бы не стали презирать негра подневольного. Что касается рабов, то в их компании он чувствовал себя едва ли лучше: не имея реальной причины презирать его, они все же чувствовали в нем воплощение свободы, а такая свобода — дураку понятно — это сплошная безнадежность, вонь и деградация. Поэтому их так и тянуло безжалостно высмеивать, изводить Арнольда, всячески над ним издеваться и нарочно выказывать неуважение.

Совершенно ясно, что даже прокляженные в Галилее и другие отверженные, кому в те ужасные и величественные времена проповедовал Иисус, жили не хуже такого вольного негра, влачившего дни в Виргинии в годы, о которых я думаю и повествую.

Красавица сделала шаг к Арнольду, и тот сразу же униженно склонился, сдернув с головы нелепый войлочный колпак, который был ему на несколько размеров велик и наполовину съеден молью. Женщина заговорила, и голос у нее оказался чистый и звучный, а речь по-северному торопливая, но с приятными, теплыми интонациями, доброжелательными и учтивыми.

— Похоже, я слегка сбилась с дороги. — В ее тоне звучало некоторое беспокойство. — Майор Ридли сказал, что здание суда неподалеку от рынка. А я здесь вижу с одного конца конюшню, а с другого распивочную. Ты не покажешь мне, где здание суда?

— Да, мэм, — отозвался Арнольд. Его лицо исказилось гримасой нервного подобострастия, губы растянула нелепая ухмылка. — Майор Ридли — а, ну дык он, как грицца,

вон, прям по дороге, ну, по той, туда, стал-быть. — Он произвел необычайно изысканный жест рукой, показывая в противоположную от здания суда сторону, на дорогу, которая вела к западу и вон из города. — Я прожжу вас, ма-ам, я прожжу, есси ням-мням, плюм-блюм позвольте.

Я внимательно слушал. То был поток поистине африканский: густой и медленный, липкий и чавкающий, темный и мутный — речь настоящего, с ухмылкой во все синие десны, негра из южной глубинки, невразумительная до полной непонятности. Бывали случаи, когда в таком потоке городские негры тоже не всё разбирали; неудивительно, что дама с Севера пораженно обмерла, испуганно уставившись на Арнольда, как человек, нос к носу столкнувшийся с душевнобольным. Она абсолютно ничего не поняла, тогда как Богом обиженный Арнольд, уловивший немногим больше, вцепился в фамилию Ридли и решил, что она хочет, чтобы ее проводили к дому упомянутого майора. Он продолжал что-то бубнить, кланяясь, пятясь и униженно подметая перед ней дорожную пыль остатками шляпы.

— Я-м, плюм-блям, жум-пшум-вам, к майору Ридли, мэм!

— Но... но...- Женщина даже заикаться начала. — Мне кажется, я не вполне... — и она смолкла с видом раздосадованным, опечаленным, а может, и того пуще — испуганным, но мне показалось, что яснее всего на ее лице читалась жалость. В итоге все это привело к тому — хотя дело тут не столько в Арнольде и северной леди, сколько во внезапном перевороте, произошедшем во мне самом, — что этот случай врезался мне в сознание навсегда, и я буду о нем помнить, пока у меня не отнимут память. Женщина стояла, ни слова более не говоря, рука у нее разжалась, зонтик со стуком упал на дорогу, и тут она вскинула к лицу стиснутые кулаки, будто сама себя хочет ударить — этаким злым, судорожным жестом, — и разра-

зилась слезами. Весь ее корпус — спина, плечи, грудная клетка, — весь костяк, который мгновение назад поддерживал такую гордую осанку, разом словно провалился внутрь, она съежилась, стала маленькой и беззащитной, стояла на дороге, прижав к глазам кулаки и сотрясаясь от мучительных рыданий. Будто что-то в ней долго копилось, сдерживалось, а тут вдруг хлынуло водопадом. Повсюду — и на галерее рынка, и на улице — толпились негры, человек двадцать, я их и видел, и кожей чувствовал, и все они притихли и смотрели в недоумении, развесив губы и изумленно округлив глаза.

Я тем временем встал и с Библией в руках подошел к перилам галереи, и тут меня ударило, скрутило и обожгло чувством, которого я прежде никогда с такой силой не испытывал — на время я даже оглох. Потому что на лице этой женщины я увидел жалость, жалость надрывала ей душу, и вот при виде этой жалости — глядя на нежное существо, которое состраданием доведено до беспомощных рыданий, до слез, в попытке унять которые она кулачки стиснула так, что побелели костяшки пальцев, — при виде ее жалости я почувствовал прилив непреодолимого, сокрушительного вожделения. И произошло это — вы поймите — только из-за ее жалости, сама по себе женщина, помимо этой жалости, была бы ничто. Ибо один лишь намек на влечение черного мужчины к белой женщине — это уже опасность, а я, как-никак, годы посвятил тому, чтобы заглушить в себе плотское желание, осознавая это как приказ Свыше, так что едва ли я так уж взалкал бы столь неверной, даже губительной отрады: совокупление с белой женщиной при обычном течении жизни для большинства негров штука настолько невероятная и чреватая смертью, что даже смутный намек на такого рода чувственное волнение вытесняется за грань сознания. Но такого я никогда не видывал.

Казалось, сбросив с себя спокойствие, обнажив неприкрытое чувство так, как никогда на моих глазах не делала ни одна белая женщина, она дала мне подсмотреть свою нагую плоть, и я распалился. Я весь горел!

И даже пока я там стоял, пытаюсь унять, пересилить похоть, которая, как я знал, есть мерзость в глазах Господа, я не властвовал над своими мыслями, они неслись во весь опор, и во вспышке фантазии я уже видел себя там, внизу, на дороге, — да, вот я хватаю ее, причем безо всякой нежности, без благодарности за ее жалость, наоборот, действую резко, грубо, нагло и неистово и гляжу, как всякое сочувствие тает на ее мокром от слез лице, а я ее швыряю наземь, мои черные руки рвут воздушный, блистающий шелк, задирают ей платье до шеи, заставляют ее раздвинуть в стороны белые мягкие бедра, выставив напоказ то место — то самое, покрытое темным пушком, и я туда влезаю, такой черный и безжалостный, и вбиваю, вбиваю...

И не подавить мне было это видение, не прогнать. Я стоял у перил галереи, глядел вниз, пот градом струился у меня по лбу, и сердце колотилось, чуть не выскакивая, уже почти что в глотке. Где-то вдали, на задворках рынка затренькало банджо, слышалась дробь и бряцание бубна, накатила негритянский смех. Женщина все еще плакала, закрыв лицо руками; видна была ее шея сзади, гладкая и белая, как лепесток кувшинки, и такая же нежная и ранимая; а я по-прежнему воображал, что лежу в дорожной пыли, мну ее, увлеченный как лис во время гона, и возбуждение черпаю вовсе не в наслаждении, которое, может быть, доставляю ей или себе, но единственно в боли — резкой, мгновенной, которая вот она, сейчас, а не то, что когда-то там еще будет, и я полный хозяин этой боли, ее надсмотрщик, так я плачу ей за ее жалость, вот я вонзаю зубы, кусаю ее рот, чтобы



кровь ручьем потекла по ее щекам, а на ее пушистенькое сострадание я отзываюсь не ласковым бормотанием на ушко, а тем, что просовываю под нее руки и еще крепче стискиваю упругую плоть напрягшихся ягодич, притягиваю, прижимаю ее к себе, к своему черному паху, пока не исторгну из нее крик острой боли, и впрыскиваю, вбрызгиваю, оскверняю ее, дергаясь в горячих развратных спазмах.

— Я не понимаю, не понимаю! — плакала женщина. — Господи, ну не понимаю же я!

Тут она подняла голову, отняла от лица руки, и в тот же миг мое страстное видение насилия над ней растворилось и исчезло. Быстрым, яростным движением она тряхнула головой, не обращая больше внимания на Арнольда; ее бледное красивое лицо все еще было в слезах, но на нем уже не оставалось и следа жалости, оно опять стало горделиво, немного даже зло и светилось подспудным торжеством, а когда она, нагибаясь, чтобы поднять с дороги зонтик, еще раз повторила: “Ах, да что же это, ну не понимаю!” — в ее спокойном голосе слышалась разве что некоторая досада. Потом она развернулась и энергично, но спокойно и царственно зашагала мимо рынка, шелестя и посвистывая шикарным шелком своего платья, и, наконец, прямая и надменная, исчезла за углом. Потом я узнал, что она вскоре покинула город и больше не возвращалась. Но когда я смотрел, как она уходит, я все еще был распален, у меня все торчало и дергалось, хотя, как только женщина совладала с собой, накал похоти начал гаснуть, утихало и яростное сердцебиение. Она ушла как-то очень внезапно. Я оказался брошен — обессиленный и обманутый, остался с перехваченным горлом, будто, попытайся я в тот момент произнести хоть слово, оказалось бы, что я лишился дара речи.

Глянув вниз, я увидел, что Арнольд плетется прочь, что-то себе под нос бормоча и покачивая головой в дурацком недоумении. Негры на галерее загомонили, раздались нервные неуверенные смешки, но потом возобладали обычные шумы и ритмы субботнего утреннего рынка, и все пошло как ни в чем не бывало. Я немного постоял, обзвывая место на дороге, где только что насильовал белую женщину. В воображении это происходило так явственно, что я все искал глазами вытертую, вдавленную плешь в пыли, оставшуюся на месте схватки. Хотя самый мандраж вожделения миновал, но только когда проходивший мимо черный подросток вдруг уставился на меня, а потом фыркнул, я спохватился, что мое возбуждение еще заметно со стороны, и тогда я сконфузился, бочком, бочком отошел в дальний конец галереи и снова уселся там на солнышке. Я потом долго не мог стряхнуть с себя воспоминание об этом, меня очень мучил стыд, я закрывал глаза и шептал молитвы, упрашивая Господа простить мне внезапный приступ сластохотения. *Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное... Нечистый пусть еще сквернится.*

Я молился с самозабвенным раскаянием; молитва шла от души, и я почувствовал, что Господь понял меня и дарует мне прощение за этот промах. Пусть так, но накал страсти весьма меня обеспокоил, и весь остаток утра я рылся в Библии, пытаюсь найти хоть какой-нибудь ключ к этому чувственному выплеску, понять причину, почему у меня были такие дикие мысли в отношении той женщины в час, когда она столь трогательно сорвалась, поддавшись порыву сострадания. Но Библия не предоставила мне ответа, и в тот же день позже, когда Мур забрал меня с рынка и мы ехали обратно на ферму среди увядающих летних полей, пожелтевших и опаленных солнцем, я был во власти мрачной подавленности и

ничего не мог с собой поделать, очень уж меня смущало то, что такую убийственную ненависть разожгла во мне не брань, не издевательства и даже не равнодушие белого человека, а жалость, явленная, может быть, с самой что ни на есть открытой душой.

Годы, проведенные мною у мистера Томаса Мура, растянулись почти на десятилетие, а по мне, так, казалось, и вовсе лет на двадцать, столько было за это время пота и тяжелого однообразного труда. Но должен заметить, что именно эти годы были в некотором смысле самыми для меня плодотворными, поскольку давали много возможностей для раздумий и религиозных медитаций, а кроме того, открыли мне как проповеднику Евангелия такое поле деятельности, которого я не имел в том благостном мирке, где провел начальную пору жизни. По правде говоря, мне просто повезло, ничего этого не было бы, не останься я под небом хотя и бедной, но сравнительно мягкой в отношении негров Виргинии. Ибо в этом дряхлеющем краю с его ветхими мелкими фермами от раба к хозяину все еще тянутся ниточки простых человеческих чувств — пусть грубых, пусть несовершенных, — еще встречается понимание и даже какое-то изломанное приятие; в наших широтах чернокожий не стал еще галочкой в накладной, к чему полным ходом идет дело на ошалелом бесшабашном дальнем Юге, здесь он может сам или с приятелем уйти в лес, повалять дурака, поджарить на костре краденую курицу, помечтать о женщинах или о радостях желудка, побиться над проблемой, где бы достать полпинты виски, да и вообще побаловать себя мыслью о том, что во многом все-таки жизнь хороша.

Конечно, здешние места — не совсем элизийские кущи, но ведь это и не Алабама! Даже самые ребячливые, невеже-

ственные и отсталые негры в Виргинии слышали сие название, и от одного звучания этих милых напевных гласных всех передергивает; точно так же все слышали про Миссисипи и Теннесси, Луизиану и Арканзас и, наслушавшись страшилок, из уст в уста передающихся по всему черному Югу, приучились бояться этих названий пуще смерти. Каюсь, меня и самого никогда полностью не покидал этот страх — ни когда я, казалось бы, прочно осел у Мура, ни позже, когда в качестве раба Тревиса я был в еще большей безопасности. В те годы я частенько поражался загадке провидения Господня, благодаря которому в тот давний ледяной февральский день меня не поглотила гудящая от гнуса и перемалывающая негров сотнями десятилетиями акровая плантация на дальнем Юге, а, наоборот, купленный тощим и рябым сауттемingtonским фермером по фамилии Мур, я аккуратненько угнезвился в обстановке пусть неказистой, но вполне пригодной для жизни.

Что касается Мура, то с тех пор, как он ударил меня кнутом, ни разу больше он не поднял на меня руки. Не потому, что в нем угасла ненависть — нет, он продолжал меня люто ненавидеть вплоть до момента его преждевременной и неоплаканной кончины. Всех негров он ненавидел слепой, безоглядной ненавистью, которая доходила до тихого каждодневного самозабвения, и я, конечно же, не был исключением, особенно в связи с книголюбием. Однако то ли деревенская практичность, то ли природная интуиция, видимо, сдерживала его, он догадывался, что навредил бы сам себе, если бы истязал меня, направляя неразборчивую ненависть на угодливого, во всех отношениях примерного и кроткого, как агнец, раба, каким я предпочел стать с самого начала. И я действительно стал таким — образцово честным, работающим, энергичным, воплощением добронравного спокойствия и безропотного послушания. Я даже очень-то

и не переигрывал, хотя не было ни дня, чтобы самого меня не корежило от противоестественной мерзостности усвоенной роли. Ибо теперь, когда последние огоньки моих надежд угасли и я погрузился в томительную, удушающую ночь неволи, мне казалось, что правильнее всего будет терпеливо сносить уготованное мне зло, стараясь, поелику возможно, думать, дабы заранее получше рассмотреть пути-дорожки, которые способно предоставить мне отдаленное будущее, и вместе с тем все время сверяться с Писанием, в нем искать руководства, как сделать жизнь сносной. Я понимал, что прежде всего не надо паниковать, не надо огрызаться, тщетно пытаться неграмотного, ослепленного злостью нового владельца ставить на место, — напротив, подобно утопающему в болоте, который, чтобы не погружаться глубже, должен сохранять неподвижность, мне следует изо всех сил сжать зубы и хладнокровно принимать все унижения и оскорбления, молча, что называется, отирать плевики — во всяком случае, до поры до времени. Как я говорил уже, бывают положения, когда, чтобы чего-нибудь добиться от белого человека, вместо всяких там “сэр” и “пожалуйста” лучше без лишних слов предстать таким безымянным негром, негром вообще — такая маска скрывает надежнее любой непроницаемой пелены.

Некоторые негры, упиваясь этой своей чернокожестью, рассказывают о самих себе глупые анекдоты, специально ходят, шаркая и подволакивая ноги, на потеху хозяину валяются в пыли, держась за животики, якобы в приступе идиотского смеха, некоторые научаются брякать на банджо и “еврейской арфе”, либо пытаются снискать расположение как белых, так и черных дурацкими нескончаемыми рассказами про привидения, ведьм, колдунов и всякую прочую лесную и болотную мелкую нечисть. Другие, если им присуща сила и решительность,

поступают совершенно наоборот и свою чернокожесть обращают в карикатурное самодовольство и начальственную спесь, которыми способны перещеголять многих белых, — эти становятся черными кучерами, которые скорее выпорют собрата негра, нежели усладятся хозяйской снедью, либо, в лучшем случае, превращаются в деспотичных и капризных, надменных мамаш-кухарок или ключниц, причем их положение пошатнется, если они не будут бесцеремонно — однако, свято соблюдая грань, за которой наглость и дерзость, — поддерживать вокруг себя ауру злобной властности. Что до меня, то я — случай особый и предпочел смирение, тихий голос и собачье послушание. Иначе то, что я умею читать и штудировать Библию, стало бы для Мура (в котором неграмотность сочеталась с неосознанным атеизмом) настолько непереносимо, что он мог лишиться всякого душевного равновесия. А поскольку я не был ни строптив, ни дерзок и держал себя в рамках точно отмеренного смирения, даже такому ярому ненавистнику негров, каким был Мур, приходилось обращаться со мной более-менее прилично и в худшем случае высмеивать перед соседями, как юрода малоумного.

— Вона! Покупал черноноса бобика, а купил богоноса попика! — потешался он в первые дни. — Этот ниггер Библию чуть не всю на память вызубрил. А ну, малый, выдай-ка нам с-под волос про Моисея!

После этого, стоя в кругу воняющих самогоном краснорожих гнилозубых дуболомов, между делом почесывающих в задницах, я должен был с выражением, почтительно и безмятежно декламировать главу, если не больше, из книги Чисел — а я и впрямь ее знал наизусть, — к тому же надо было с непробиваемо набожным видом встречать их взгляды (в которых такого было намешано! — тут тебе и злость, и удивление, и недоверие, и даже

с трудом скрываемое уважение), все время уговаривая себя вытерпеть, вытерпеть, *вытерпеть* до конца. В такие моменты, несмотря на то, что ненависть холодным ртутным шариком так и посверкивала у Мура в его здоровом голубом глазу, я все более утверждался в том, что мое терпение все-таки пересилит. Действительно, прошло время, и его злоба как-то сгладилась; в конце концов, пусть с неохотой, со скрежетом зубным, но ему пришлось-таки признать обоснованность сносного ко мне отношения.

В итоге все долгие годы от двадцати лет до тридцати я был, по крайней мере внешне, самым что ни на есть обыкновенным, очень покладистым и благонравным молодым рабом. Занимали меня на работах тяжелых, неприятных и скучных. Но выдержка и ежедневная молитва не позволяли им стать по-настоящему невыносимыми, а приказания Мура я выполнял со всем возможным смирением, на какое был способен.

Ферма у Мура была небогатая, располагалась в десяти с чем-то милях к юго-востоку от Иерусалима (неподалеку от поселения под названием Кроскизы) и граничила, в частности, с имением мистера Джозефа Тревиса, коего, если помните, я упоминал уже в этом повествовании и в чью собственность перешел после смерти Мура. (Смежность земель Мура и Тревиса, естественно, была чуть ли не главной судьбоносной причиной, по которой вдова Мура, мисс Сара, вышла замуж за Тревиса — их, что называется, межа поженила, — а я, как вскоре будет описано, подружился с Харком.) Помимо ветхого небеленого бревенчатого дома у Мура было двадцать акров под кукурузой и хлопком, плюс огород и еще пятьдесят акров лесных угодий, дававших весомую долю дохода, который иначе был бы, прямо скажем, нищенским. Поскольку я был единственным его негром (правда, подчас приходилось брать негров в арен-

ду, моей мускульной силы хватало не всегда), а ферма была из тех, где хозяин сам, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец, то моим плотницким талантам здесь развернуться было практически негде — разве что кривым гвоздем прищипить иногда доску к загородке для свиней или на живую нитку заколотить разбитое окно, — и оставалось тянуть лямку общих негритянских работ, каковые всего несколько месяцев назад я по глубокому неразумию считал в этой жизни совершенно для себя невозможными. Я был исправным, надежно действующим устройством, и в этом качестве Мур использовал меня для самых разных нужд: весной я с упряжкой мулов подымал пашню, половину лета пропалывал и прореживал хлопок, лущил кукурузу, задавал корм свиньям, заготавливал сено, разбрасывал по полям навоз, а когда все это бывало выполнено или не ладилась погода, помогал мисс Саре по кухне или с мытьем полов, да и с тысячей других дел, которые у хозяйки фермы всегда наготове.

И, разумеется, не существовало даже такого понятия, как “нечего делать”, потому что и после, и превыше всякой другой работы на заднем плане всегда мрачной горой маячил сухостой сосны, эвкалипта, тополя и дуба, который надо было вместе с Муром валить и при помощи воловьей упряжки таскать на ферму, тут разделять на поленья и укладывать в огромный штабель, дровами из которого непрерывно кормились печи и кухонные плиты, камины и кузнечные горны Иерусалима. Пускай нельзя все время пахать или окучивать, зато в любой момент можно пойти поколоть дрова. Бывали дни, когда топор виделся мне как продолжение руки, и, даже когда я стоял, мне казалось, будто какая-то призрачная часть меня непрестанно сгибается, разгибается, заносит и опускает топор, даже во сне у меня в ушах отдавались ритмичные удары и отголосками дрожи расходились по

мышцам рук и спины. Чтобы меня заставляли работать через силу — такого не помню, но это, вне всякого сомнения, потому, что силы свои я распределял очень рационально и добивался такой выработки, какую мой хозяин, находясь в здравом уме, просто не мог не признать достаточной. Тем не менее труд был тупой, отвратный и неблагодарный; я вообще не знаю, как бы я выжил, если бы не обладал способностью в религиозных раздумьях уходить глубоко в себя, даже занимаясь самым тяжким и изнурительным трудом. Эта привычка, которую я выработал еще в детстве, оказалась спасительной. Не знаю, как описать то состояние спокойствия, которого я достигал — восторженного, тайного умиротворения, когда среди кусачих мух и клещей на яростной сентябрьской жаре волок из чащи обвязанное цепью бревно, пропуская мимо ушей понукания и окрики Мура, когда, несмотря на грубые, площадные непристойности, что, вылетая из уст его двоюродного брата Уоллеса, носились в воздухе подобно мелким черным нечестивым жучкам, я слышал лишь доносящееся издали, с засыхающих на солнцепеке осенних лугов, звяканье коровьих колокольцев, словно сама вечность пронзала душу внезапной непереносимостью вечной же неволи, простирающейся передо мной на многие годы вперед; невозможно описать душевное спокойствие, втайне облекавшее меня посреди одуряющей безумной маяты: благословенною прохладной влагой оно омывало меня — обильно, струями и потоками, я мог уйти туда весь, нырнуть и пребывать там, где существуют лишь слова Исаии: *Не будут трудиться напрасно и раждать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа.* Надолго в эти воды погружившись, обретя состояние словно не от мира сего, я мог воображать себя в новом Иерусалиме, в безопасности, свободным от всякого труда, жары и угнетения.

Почти все эти годы я спал на набитом соломой чехле, брошенном на пол в маленьком примыкающем к кухне чуланчике, деля помещение с выводком тощих мышей и несколькими суетливыми пауками, которые относились ко мне с пониманием, а я ловил для них мух и питал к ним самые добрососедские чувства. То, как меня у Мура кормили, лучше всего описывается словами “так себе”, да и по-разному в разные времена года; всегда далеко не так щедро, как на лесопилке Тернера, но несравненно лучше, чем это делал его преподобие Эппс, у которого и собака бы с голоду сдохла. Большую часть зимы существовать приходилось на рационе чисто негритянском — полпека\* кукурузной муки и пять фунтов жирной солонины в неделю, плюс черной патоки от пуза, причем я должен был из этих продуктов сам готовить себе на кухне еду утром и вечером после того, как белые поели. В общем, с ноября по март стол мой был очень скромный, и в желудке все время были волки. Тем, что весь остальной год я питался вполне прилично, я обязан главным образом мисс Саре, которая, хоть и не могла сравниться кулинарным талантом ни с моей матерью, ни с теми, кто на лесопилке сменил ее, все же способна была обеспечивать домочадцам сравнительно неплохое питание — особенно долгими теплыми месяцами, когда овощи в избытке; впрочем, на всякие шкварки и остатки со сковороды она тоже не скупилась.

Толстоватая, глуповатая тетка, мисс Сара была столь же лишена интеллекта, сколь одарена наивной веселостью, которая временами переливалась через край в виде приступов бессмысленного, но живого, заразительного смеха. Читала и писала она с трудом, зато имела некоторые наследственные средства (позднее я узнал, что как

---

\* Пек — мера объема сыпучих тел (7,7 литров).



раз ее-то деньги и позволили Муру купить меня), и была в ней, помимо уютной пухлости, какая-то простодушная доброта, по причине которой, одна из всех домашних она временами проявляла ко мне нечто на первый взгляд похожее на участливое расположение: казалось бы, чем еще можно объяснить, что она то вынесет мне исподтишка лишний кусок постного мяса, то найдет для меня в тряпках добавочное одеяло зимой, а однажды даже связала пару носков, так что мне не хотелось бы походя чернить ее, утверждая, будто это расположение сродни внезапной невольной жалости, бездумно изливаемой на приبلудного пса. Я даже как-то вчуже привязался к ней (правда, в основном то было осторожным собачьим ожиданием случайных подачек) и без всякой издевки хочу сказать, что много позже, когда она стала едва ли не первой жертвой моего мщения, я чувствовал неподдельную боль и тоску при виде крови, красным потоком хлынувшей из ее обезглавленной шеи; я почти жалел, что не уберег ее от такого конца.

Об остальных домочадцах Мура сказать почти нечего. Среди них был юный Патнэм, уже описанный выше; когда я появился в доме, ему было лет шесть — этакий злобненький плакса, унаследовавший от отца ненависть к черной расе; ни разу я не припомню, чтобы он обратился ко мне иначе как “эй, ниггер!” Даже его отец в конце концов стал обращаться ко мне по имени, а значит, этой своей привычкой Патнэм выказывал либо редкостную глупость, либо нарочитое упрямство, а может, то и другое вместе, но, так или иначе, обыкновение сие он сохранил вплоть до тех времен, когда вырос и стал приемным сыном Джозефа Тревиса. Ему, как и матери, суждено было лишиться головы (да, подумали вы, экая укоризна за устоявшийся обычай звать меня “ниггером”!); но, что уж тут душой-то кривить, по по-

воду этой казни я не терзаюсь вовсе. Жили там еще двое белых: отец Мура, которого в семье звали “батяня”, и двоюродный брат Уоллес. Белобородый парализованный старикан, которому перевалило за сто лет, родился еще в Англии, был наполовину глух, слеп и страдал недержанием как мочевого пузыря, так и кишечника, что было несчастьем не столько его, сколько моим, поскольку в первые месяцы моего пребывания на ферме именно мне приходилось убирать за ним всю мерзость, к тому же часто и постоянно. К несказанному моему облегчению, однажды тихим весенним вечером он обильно и окончательно опорожнился в кресло, вздрогнул и преставился.

Уоллес был практически копией Мура телесно и духовно — костистый, узловатый в локтях и коленях невежда, скабресник, богохульник и бездарь даже в тех простейших вещах вроде пахоты, окучивания и лесоповала, которыми Мур заставлял его заниматься в уплату за стол и жилье. Он обращался со мной так же, как и Мур — без особого озлобления, но с настороженной, бдительной и неослабной враждебностью, и (поскольку он по этому делу ни в каком качестве не проходит) чем меньше тут будет сказано об Уоллесе, тем лучше.

Так что годы моей жизни у Мура, в особенности первые, отнюдь не были счастливыми, но давали столько возможностей для размышления и молитвы, что это позволяло как-то терпеть. Во-первых, почти каждую субботу я бывал в Иерусалиме, где у меня выдавалось несколько долгих часов свободного времени. Во-вторых, при любой погоде, чтобы не сидеть тупо в своем чулане, я удираю в лес, причащался там Святого Духа и читал поучения Пророков. Те первые несколько лет были проникнуты ожиданием и неуверенностью, хотя уже тогда я начинал постигать свою богоизбранность, предуготован-

ность к великой миссии. В то странное время моим утешением были слова Пророка Ездры: так же, как он, я чувствовал, что *по малому времени даровано нам помилование от Господа, Бога нашего, и Он... дал нам ожить немного в рабстве нашем.*

Вскоре я нашел в лесу уединенное местечко — замшелый пригорок над мелодично журчащим в тишине ручьем, возвышающийся в окружении шумливых сосен и царственных дубов, причем не так уж далеко от дома. В этом чтилище я с самого начала завел обычай еженедельных бдений, молился и читал, а когда немного освоился у Муров и мои походы в лес участились, соорудил там из сосновых веток шалаш, который стал моей тайной обителью. Если работы бывало немного и предоставлялась такая возможность, я начал иногда напроочь отказываться от пищи и выдерживал по четыре, по пять дней кряду, после того как прочитал глубоко взволновавшие и тронувшие меня строки Исаии: *Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо.* Во время таких постов у меня частенько кружилась голова, дрожали ноги, но посреди приступа немощи вдруг гордость охватывала меня, все вокруг озарялось странным сиянием и возникало ощущение истомного, блаженного умиротворения. Шорох оленя в глубине леса отдавался у меня в ушах громом апокалипсиса, журчащий ручей становился рекой Иордан, и даже в трепете листвы мне чудился тайный шепот, чудное многоголосое откровение. В такие минуты моя душа взмывала высь: я знал, что если буду упорствовать в посте и молитве, если терпеливо буду нести послушание, рано или поздно мне явлено будет знамение, и тогда контуры будущих событий — пусть страшных и сопряженных с опасностью — откроются.

Харку когда-то не повезло так же, как и мне: он оказался малой частью состояния владельца — той, от которой при всяком хозяйственном спаде можно быстро и легко избавиться. За такого могучего негра как Харк всегда можно выручить хорошие деньги. Как и я, он родился и вырос на большой плантации — не в Саутгемптоне, но рядом, в Сассексе, который с Саутгемптоном граничит с севера. Его плантацию ликвидировали примерно в тот же год, что и лесопилку Тернера, и Харк купил Джозеф Тревис, который тогда еще не освоил ремесло колесника, а просто возделывал землю. Прежние хозяева Харка, люди (или нелюди?) по фамилии Барнетт, решили основать новую плантацию где-то в дельте Миссисипи, а там пахари имелись в избытке, зато горничных и кухарок не хватало. И они взяли с собой мать Харка и обеих его сестер, а Харка продали, вырученными за него деньгами оплатив нелегкое и дорогое путешествие посуху на Юг. Бедный Харк. Он не мыслил жизни без матери и сестер — ведь за всю жизнь ни дня они не провели порознь. Но цепь утрат с этого лишь началась: семь или восемь лет спустя Тревис навсегда разлучил его с женой и маленьким сыном.

Трудным негром Харк никогда не был (во всяком случае, пока я не выгнул его по своему лекалу), и почти все то время, что мы были с ним знакомы, я не переставал досадовать, что на нем, как и на большинстве выращенных как полевое тягло молодых рабов — невежественных, бездуховных, неоднократно поротых и совершенно запуганных надсмотрщиками и черными кучерами, — губительно сказалось воспитание на плантации: из его гордого большого тела будто щелочью вытравили чуть не всю природную удаль, достоинство и силу воли, так что перед лицом божественной власти белого человека он стал покорным, как спаниель. Тем не менее где-то в глубине теплился в нем

огонек своенравия, из которого я, конечно же, сумел потом своими проповедями раздуть всепожирающее пламя. Впрочем, этот огонек даже не то что теплился, а горел и, должно быть, очень ярко, потому что вскоре после разлуки с матерью — сам не свой от горя, потрясенный, сбитый с толку, без опоры в религии — он решил удариться в бег.

Однажды Харк рассказал мне, как это случилось. На плантации Барнеттов, где жизнь пахарей-кукурузников была не очень сладкой, тема побегов звучала постоянно и немолчно. Все это, однако, были разговоры, ибо даже самого глупого и безрассудного раба устрасит перспектива сотни миль пробираться по дикому безлюдью, которое тянется от Виргинии к северу, зная к тому же, что, если даже доберешься до свободных штатов, убежище не гарантировано: очень уж многих негров хватают и вновь продают в рабство алчные востроглазые белые северяне. Бегство — затея почти безнадежная, но многие пытались, и некоторым почти удалось. Один из Барнеттовых негров, некий Ганнибал, человек уже в возрасте, после того как его жестоко избил надсмотрщик, поклялся, что больше терпеть не будет. Однажды весенней ночью он “сделал ноги” и через месяц обнаружил себя недалеко от Вашингтона, на окраине городка Александрия, где его взял в плен бдительный гражданин с охотничьим ружьем, который в конце концов возвратил Ганнибала на плантацию и, видимо, получил сто долларов наградных. Советы этого Ганнибала (которого одни рабы почитали с тех пор героем, другие безумцем) и вспоминал Харк, когда сам пустился наутек. Двигайся ночью, отсыпайся днем, иди за полярной звездой, сторонись торных дорог, избегай собак. Целью Ганнибала была река Саскуиханна в Мэриленде. Когда-то невесть откуда взявшийся белый квакерский миссионер\*, странный полубезумный бродяга с бегающим взглядом (вскоре изгнанный с плантации), ухитрил-

ся передать множество ценных сведений отправленной по ягоды ватаге, в которую входил и Ганнибал: после Балтимора иди к северу, держась недалеко от тракта, а на переправе через Саскуиханну спроси, где дом собраний квакеров, там кто-нибудь всегда ждет, и днем, и ночью, он и проводит беглеца несколько миль, оставшихся до Пенсильвании и свободы. Агентурные данные Харк запомнил тщательно, особенно ключ ко всему — название реки (его еще попробуй выговори, язык сломаешь), и Харк повторял его в присутствии Ганнибала до тех пор, пока не научился произносить правильно, в точности, как его учитель: *Сказки-хамма, Сказки-хамма, Сказки-хамма*.

О том, что Тревис в глубине души хозяин куда более мягкий, чем Барнетт, Харк понятия не имел. Знал только, что его разлучили с родными, ближе которых у него нет, и отняли дом, вне которого он не представляет себе жизни. Прожил у Тревиса неделю и почувствовал, что горе, ностальгия и боль утраты становятся нестерпимыми. И в одну прекрасную летнюю ночь решил-таки сбежать — отправился за двести миль в Мэриленд на поиски той квакерской церкви, о которой рассказывал чуть ли не год назад Ганнибал. Поначалу все шло как по нотам, потому что удрать из имения Тревиса дело нехитрое: надо всего лишь дождаться, когда Тревис уйдет спать, затем, не подымая шума, слезть с сеновала, где его на первое время разместили, а потом бери мешок, — в котором бекон, мука, нож-складень и кремь, чтобы разводить огонь (все, конечно, краденое), — кидай его на палке за спину и ступай себе с Богом в лес. Проще не придумаешь.

---

\* Квакеры — члены религиозной христианской общины, основанной в середине 17 в. в Англии ремесленником Дж. Фоксом, считая рабство не богоугодным, квакеры помогали неграм бежать с рабовладельческого Юга США.

В лесу тишина. Там он час-другой переждал — а вдруг Тревис каким-то образом обнаружит его отсутствие и поднимет тревогу, но из дома не доносилось ни звука. Потихонечку прокрался вдоль опушки, вышел на дорогу, ведущую на север, и ровным шагом в прекрасном настроении двинулся, сопровождаемый золотой луной. Ночь упоительна и благоуханна, он отмахал уже черт-те сколько, а единственное за все время происшествие — это собака, которая выскочила с бешеным лаем с какой-то фермы и чуть не вцепилась в пятку. Раз так, значит, прав был Ганнибал насчет собак-то, на будущее надо взять за правило огибать жилые загоды, даже если не один час потеряешь, пока сперва от дороги к лесу идешь, а потом опять из лесу на большак выбираешься. На дороге он никого не встретил, и чем ближе к утру, тем радостнее замирало сердце: оказывается, побег — не такая уж страшная штука. К рассвету оказалось, что пройдено расстояние ого-го! — хотя, какое именно, он сосчитать не мог, поскольку, что такое миля, не имел понятия, и с первыми петухами, заголосившими в дальнем курятнике, он лег на землю и заснул в буковой рощице на добром удалении от дороги.

Еще до полудня его разбудили собаки, тывкающие где-то на юге; лаяли хором, заливисто, с неистовым хрипом и злобными отдельными гавканьями; пружина ужаса подбросила его, он сел. Естественно, это за ним! Первое, что пришло в голову — залезть на дерево, но нет, не для него такие выкрутасы: он ведь боится высоты. Ну что же, заберемся в куст ежевики, будем оттуда за дорогой наблюдать. В облаке пыли показались две тощих гончих, за ними четверо верхами, лица мужчин мрачны, глаза, как синие стальные полосы, так и сверкают мстительностью и жадой насилия; это окончательно утвердило Харка во мнении, что гонятся за ним. Дрожа от страха, он

спрятал голову в колючей чаще, однако, к его изумлению, погоня с залиvistым лаем умчалась по дороге вдаль, цокот копыт понемногу затих, и у него отлегло от сердца. Опять тишина. До наступления вечера Харк сидел скрючившись в гуще ежевики. Когда пали сумерки, он разжег костер, поджарил на нем немного солонины, напек кукурузных лепешек, смешав муку с водой из ручья, и, едва стемнело, возобновил путь на север.

Тут начались трудности с ориентированием, которые потом преследовали его все долгие ночи бегства к свободе. По зарубкам, которые он каждое утро ножом делал на палочке, он подсчитал (вернее, за него подсчитали — те, кто умел считать), что путешествие продлилось шесть недель. В пути у него было два проводника — Полярная звезда и трактовая гать, вымощенная где брусом, где просто бревнами и ведущая через Питерсберг на Ричмонд, Вашингтон и Балтимор. Названия этих городов и их последовательность Харк также постарался запомнить поточнее — согласно учению Ганнибала, каждый населенный пункт должен служить указателем пройденного пути; и потом: заблудишься — как будешь дорогу спрашивать, когда встретишь какого-нибудь негра располагающей внешности! Держась поблизости от большака (с осторожностью, разумеется, стараясь на глаза не попадаться), можно пользоваться им как надежной стрелкой, указующей на север, а города будут как вехи — сколько их там еще осталось до того штата, где рабства нет? В этом учении слабым местом — каковое вскорости и дало о себе знать — было то, что в нем ничего не говорилось о развилках и ответвлениях, оные же встречались во множестве и могли завести сбитого с толку путника черт-те куда, особенно темной ночью. Поправлять положение приходилось с помощью Полярной звезды, и она Харку действительно помогала, но пасмурными вечерами, либо



в полосах тумана, весьма нередких в болотистой местности, от этого небесного маяка толку было не больше, чем от грубо намалеванных указателей, которые он не умел прочесть. Так почти в самом начале тьма заключила его в объятия, и он лишился первого проводника — потерял магистральный тракт. Вторую ночь, как много раз бывало и потом, он никуда не продвигался, сидел в лесу, а с рассветом осторожно отправился на разведку и нашел-таки дорогу — бревенчатую гать, где днем всюду разъезжали фермерские телеги и фургоны, от которых несло, воняло, смердело опасностью.

По пути у Харка было много приключений. Солонина и мука быстро кончились, но из всех его трудностей проблема пропитания была еще самой легкой. Так уж от века повелось, что беглецу приходится жить на подножном корму, а Харк, как большинство негров, выросших на обширной плантации, не гнушался и воровства. Почти всегда поодаль маячило какое-либо жилье, оно в изобилии давало фрукты, овощи, уток, гусей и кур, а однажды преподнесло даже свинью. Два или три раза, оказавшись на задах фермы или плантации, он навязывался в гости к дружественным неграм, невзначай выходил к ним в сумерках из леса, а они — глядь, уже где-то слямзили для него кочан капусты или полную миску овсяной крупы, а то и шмат бекона. Но когда такой здоровенный дядя рыщет по кустам, это все-таки подозрительно. Совершенно правильно опасаясь своим присутствием мозолить глаза кому бы то ни было, будь то белые или черные, он вскоре вообще от людей стал держаться подальше. Бросил даже дорогу у негров спрашивать: чем дальше к северу, тем они явно становились все тупее, и так забили ему уши невразумительными *тудымо-сюдымо*, что он на них, в конце концов, с досадой и отвращением махнул рукой.

Как он однажды на восходе солнца воспарил, когда, что-нибудь через неделю после бегства от Тревиса, обнаружил себя в лесистом городском предместье, — здорово, ведь, по Ганнибалу, это должен быть Питерсберг! В городе он никогда не бывал, не знал его ни с виду, ни по описаниям, и был поражен количеством домов, лавок, красочным столпотворением и мельтешением народа, повозок и колясок на улицах. Пройти по городу так, чтобы тебя не увидели, задача еще та, но он с ней справился: пошел ночью, проспав большую часть дня в ближней сосновой роще. Едва стемнело, пришлось переплыть реку, одной рукой загребая, а в другой держа одежду и мешок. Зато не заметили, и, обойдя город полукольцом, он опять двинулся на север, с некоторым сожалением расставшись с местом, где удалось разжиться галлоном пахты в деревянной баклажке и несколькими чудными персиковыми пирогами, стянув все это с чьей-то открытой веранды. В ту ночь разразилась гроза с проливным дождем, и он безнадежно заблудился, утром с испугом обнаружив, что идет на восток, к восходу, то есть Бог весть куда. Местность кругом лежала открытая, поросшая мелким кустарником, жилья не видать, зато повсюду глаз упирался в безобразные красные промоины. В труху истлевшая гать вдруг оборвалась в чистом поле. Что ж, следующей ночью он пошел той же дорогой назад и вскоре правой рукой через левое ухо забрел в Ричмонд — похожий на Питерсберг милый городишко, куда попадаешь, перейдя по кедровому мосту через реку, а уж народу там — что черного, что белого — кишело больше, чем он способен был вообразить. Таясь в сосняке, он долго глядел на город. Негров там сновало столько — и там, и сям, и на мосту, причем некоторые наверняка вольные, другие, видимо, по делу, с ближних ферм, — что хотелось набраться



смелости, смешаться с ними и посмотреть город: почему бы и нет, разве только какой-нибудь чересчур бдительный белый привяжется. Осмотрительность все-таки взяла верх, и он весь день проспал. С наступлением ночи переплыл реку и, точно как в Питерсберге, тенью проскользнул мимо темных домов с запертыми ставнями, походя сделав и этот город так же, как Питерсберг, на пару пирогов беднее.

Так он и шел ночь за ночью на север, иногда настолько безнадежно сбиваясь с дороги, что приходилось по нескольку дней идти обратно, прежде чем удавалось возвратиться на верный путь. Башмаки износил и выбросил, две ночи шел по обочине босиком. Наконец утром забрался в фермерский дом — дверь была приоткрыта, обитатели в полях — и унес сапоги из шикарной кожи, правда, такие тесные, что пришлось для пальцев спереди делать дыры. В новой обуви лесами темными, ночами лунными двинулся на Вашингтон. К тому времени подоспел август; москиты, мухи, слепни и всякие прочие зудни кишмя кишели. Бывали дни, когда, лежа на подстилке из сосновых игл, Харк почти не мог спать. С запада накатывали грозы, он промокал насквозь, мерз и пугался до полусмерти. Полярную звезду он терял столько раз, что сбился со счета. Путали развилки и ответвления. Когда луны не было, его частенько заносило в чащобу, дорога куда-то терялась, и приходилось блуждать по болотам и зарослям, где ухали совы, трещали ветки и водяные змеи сонно копошились в тухлых бочажинах. В такие ночи горе и одиночество одолевали невыносимо. Дважды его чуть не поймали — первый раз где-то под самым Вашингтоном, когда он, не дождавшись полной темноты, шел краем поля кукурузы и чуть не споткнулся о белого мужчину, который, на беду, присел в кустах по нужде. Харк — дёру, тот натянул штаны, заголосил и за

ним, но Харк оказался проворнее. Той ночью, впрочем, он слышал собачий лай, явно по его душе, тут впервые в жизни он поборол боязнь высоты и не один час провел, примостившись на кленовом суку, пока вой и хрип не затихли в отдалении. В другой раз он еле спасся — где-то, видимо, между Вашингтоном и Балтимором, когда только он заснул под живой изгородью, как сон с него буквально сбили: он оказался посреди лисьей охоты. Лошади огромными тушами перелетали через него, как в кошмаре, колкие ошметки мокрой почвы с их копыт брызгами летели в лицо. Чтобы хоть как-то уцелеть, Харк скорчился на локтях и коленях и уже думал, все, конец пришел! — когда некий всадник в красной куртке, натянув поводья, резко спросил, что делает странный ниггер в такой дурацкой позе; услышав в ответ, что ниггер молится, он ничего не сказал и, бросив коня в галоп, растворился в утреннем тумане, — что это, как не чудо?!

Что в Мэриленде рабство существует, Харку говорили, но когда он утром вышел к городу, который был не иначе как Балтимор, он решился показаться, выполз на край луга, где скрывался в траве, и заговорщицки помянул к себе негра, шагавшего по дороге в город.

— *Сказки-хамма*, — воровато, не разжимая губ, проговорил Харк. — Где тут у вас Сказки-хамма?

Однако негр, желтоватый, какой-то весь расхлюстаный полевой трудяга, лишь вылутился на Харка, как на умалишенного, и продолжал идти, ускоряя шаг. Нимало не утратив присутствия духа, Харк двинулся дальше, все крепче веруя в то, что цель близка. Еще, наверное, ночей пять он шел, пока, наконец, ранним утром не оказалось, что леса кончились. В крепнущем свете утра деревья уступили место травянистой равнине, отлого, очень постепенно уходящей вниз, к островку камыша и осоки, шуршащей под утренним ветерком. В запахе ветра чув-

ствовала соль, это обрадовало Харка, он бросился вперед, в эти похожие на саванну просторы. Он храбро шагал по болоту, по щиколотку в воде и в грязи, и в конце концов с колотящимся сердцем вышел на залитое солнцем взморье, невероятно чистое, покрытое глубоким нежным песком. Дальше было устье реки, такое широкое, что Харк еле видел тот берег: сколько хватало глаз, расстился величавый голубой простор, испещренный белыми гребешками волн, вздымаемых южным ветром. Долгие минуты он стоял, пораженный увиденным, глядя, как волны набегают на прибитый к берегу древесный плавник. Из воды торчали жерди, между ними тянулась сеть, а вдали горделиво уплывало на север судно с раздутыми белыми парусами — впервые в жизни Харк видел парусное судно. В своих шикарных кожаных сапогах, уже разбитых до неузнаваемости, он немного прошел по берегу и тут же высмотрел тщедушного невысокого негра, сидящего на борту вытащенной на берег разошедшей шляпки. Теперь, когда уже так близка свобода, Харк решил, что надо, наконец, рискнуть и спросить прямо, и он уверенно подошел к негру.

— Скажи-ка, брат, — заговорил Харк, лихорадочно припоминая вопрос, который следовало задать. — Где тут кваканий дом собраний?

Негр поглядел на него сквозь овальные очки в проволочной оправе — прежде ни разу Харк не видывал, чтобы на черном красовались очки. У него было мелкое дружелюбное обезьянье личико, все в шрамиках после оспы, и шапка седеющих волос, до блеска напомаженных свиным жиром. Сперва он молчал, время шло, потом говорит:

— Ха! ну ты и верзила, ниггер. Тебе, сынок, лет-то сколько?

— Девятнадцать, — отвечивал Харк.

— Ты вольный, или как?

— Я или как, — сказал Харк. — Ноги сделал. А где, ну, этот — кваканий дом собраний?

Глаза негра все так же дружелюбно помаргивали под очками. Он опять за свое:

— Ну, ты и верзила, ниггер. Как тебя звать, сынок?

— Звать Харком. Был Харк Барнетт. Стал Харк Тревис.

— Знаешь что, Харк, — сказал очкастый, вставая с борта лодки, — ты меня здесь дожись, а я пойду гляну насчет того дома собраний. Ты тут сиди и жди. — Он возложил братскую длань на плечо Харка, понуждая его сесть на борт лодки. — Я вижу, ты натерпелся, но теперь все позади, — участливо проговорил он. — Ты, главное, сиди тут, а я пойду гляну насчет дома собраний. Ты, главное, сиди тут, отдыхай, а я дом собраний тебе устрою.

С этими словами он побежал по песку и скрылся за кустиками чахлого ракитника.

Благодарный и обнадеженный в скором завершении подвига, Харк долго сидел на ребре шляпки, благоговейно созерцая ветреную рябь на голубом просторе реки, ничего грандиознее которой он не видывал в жизни. Вскоре приятная, ленивая усталость его сморила, веки отяжелели, он растянулся на нагретом солнцем, ласковом песке и уснул.

Потом он вдруг услышал голос, проснулся и в ужасе обнаружил, что прямо над ним лицо белого мужчины, который наставил на него ружье — курок взведен, вот-вот выстрелит.

— Одно движение, и я снесу тебе башку, — сказал белый. — Вяжи его, Самсон.

Когда Харк потом вспоминал об этом, ему было горько не оттого даже, что его предал свой брат — тот маленький очкастый негр, — хотя и это тоже было гадко. Главное, он шел за тридевять земель, на край земли, а никуда не дошел. Потому что и трех дней не прошло,

как он оказался опять у Тревиса (который всю округу обклеил объявлениями); все шесть недель он ходил петлями, зигзагами и спиралями, так ни разу и не отойдя дальше, чем на сорок миль от дома. Причина тут была простая: родившийся и воспитанный на плантации, в царящей там непроглядной мучительной тьме, Харк представлял себе ширь окружающего мира не лучше, чем ребенок, гулюкающий в колыбели. Что и откуда мог он знать о городах, когда не видел даже и деревни; неудивительно, что все эти его “Ричмонды”, “Вашингтоны” и “Балтиморы” на поверку оказались чередой мелких захудалых поселков виргинской глубинки — Иерусалимом, Дрюрисвилем и Смитфилдом, — и что впечатляющий водный путь, на берегах которого он встал при море с такою радостью и надеждой, оказался вовсе не “Сказки-хаммой”, а легендарною матерью рабства, рекою Джеймс.

Поскольку в наших местах отдавать негров внаем с одной фермы на другую — обычное дело, всего лишь естественно, что вскоре после того, как меня продали Муру, а Харка возвратили Тревису, наши пути пересеклись. Внаем негров берут для самых разных нужд — вспахать, скосить бурьян, раскорчевать землю, помочь с осушением болота или с постройкой изгороди, да мало ли что понадобится еще, — а Харка, если память мне не изменяет, я в первый раз встретил, когда Мур поместил его вместе со мной в чуланчике, наняв его у Тревиса на несколько недель лесоповала. Так или иначе, мы быстро стали закадычными и даже неразлучными (насколько позволяли условия нашего странного бытия) друзьями. То был период, когда я начал уходить в себя, в яркий и возвышенный мир самосозерцания; причем все чаще задавать тон моим настроениям стало чувство подавленности и протеста, гранича-

щего с почти невыносимой ненавистью к белым (я больше неспособен был смотреть в лица белых людей прямо, мог лишь поглядывать на них искоса, воспринимая, как размытые пятна, будто сквозь какое-то мрачное облако, которое, как вата, глушило голоса, так что я их и не слышал, за исключением случаев, когда то, что они говорили, было уж очень странно или в их словах содержалась команда, обращенная непосредственно ко мне), а так как я был единственным негром Мура и меня окружали сплошь одни белые лица, мне было и тягостно, и тоскливо. Внезапное появление черной физиономии Харка было просто спасением: веселый и добродушный, неунывающий, с юмором воспринимающий абсурд и — нельзя не добавить — ужас нашего положения, он очень утешал меня, избавляя от одиночества. Такое было ощущение, словно я обрел брата. Потом, когда я перешел в собственность Тревиса, мы стали еще более близки, близки настолько, насколько это возможно между двумя друзьями. Но даже и прежде, когда ни я не работал на Тревиса, ни Харк на Мура, соседство наших ферм позволяло нам вместе ходить на рыбалку, вместе ставить капканы на кроликов и ондатру, вместе воскресными вечерами убежать в лес с кувшином сладкого сидра, чтобы на приволье полакомиться краденой курицей, поджаренной на вертеле над костром, сложенным из веток пахучего американского лавра.

В конце 1825 года то, что начиналось как затянувшееся ведро, обернулось жестокой засухой, продлившейся чуть не весь следующий год. Зима не принесла ни дождя, ни снега; за всю весну выпало так мало влаги, что под лемехом плуга земля крошилась и рассыпалась в пыль. Летом много колодцев высохло, и людям приходилось брать питьевую воду из мутных речушек, от которых оставались едва струящиеся ручейки. К началу

августа туго стало с едой: посаженные весной овощи либо не выросли вовсе, либо засыхали на корню; на кукурузных полях, обычно зеленеющих и вздымающих початки выше человеческого роста, не выросло ничего, кроме сухих мелких стеблей, да и их вскоре погрызли кролики. У большинства белых в погребах с прошлого лета были запасы картофеля и яблок, оставались кое-какие соленья и варенья, так что настоящего голода не было — во всяком случае, пока не было, да и запасы корма для нигтеров вроде солонины и кукурузной муки еще далеко не иссякли, в случае совсем крайнем белые могли и на него перейти, чтобы некоторое время продержаться на той грубой пище, с которой рабам приходится мириться всю жизнь. Но положение вольных негров было отчаянным. Еду им было взять негде. Покупать у белых солонину и муку — денег не было, да никто и не продавал, все опасались, берегли припасы для своих негров и для себя, а на огородах, кормивших из года в год, ни сладкого картофеля, ни капусты, ни гороха не выросло. К концу лета среди рабов поползли мрачные слухи, что вольные деревенские негры голодают.

Отсчет событий нынешних я веду с той засухи, а была она ровно пять лет назад, месяц в месяц. Это потому, что тогда мне было явлено первое знамение, первый намек на мою кровавую миссию, и это причудливым образом увязывалось с засухой и пожарами. Долгая сушь привела к тому, что все лето в лесах, болотах и полях заброшенных плантаций бушевали пожары. Горело где-то далеко, лесной участок Мура был в безопасности, но в воздухе постоянно стоял запах дыма. В былые дни, явись угроза жилью, белые со всеми своими рабами брали лопаты и топоры и шли бороться с пожарами — где встречный пал пустят, где просеку прорубят, длинными полосами голой земли защищаясь от наступающего огня. Но теперь в тех

отдаленных местах почти все земли заросли хилым мелко-лесьем, огромные пространства истощенной красной земли превратились в залежи, покрылись бурьяном и кустарниками, и очаги огня тлели там днем и ночью, отравляя воздух дымной кисло-сладкой вонью горелой травы и сосновых головешек. Иногда, если чуть покрапает дождик, дым исчезал, в очистившейся голубизне вновь воцарялось яркое солнце, но не надолго; вскоре опять брала свое засуха, и что с того, что налетали мимолетные грозы! — от них лишь гром и ярость, больше ветра, чем дождя, и туманная хмарь вновь насыщала воздух едкой вонью, вновь звезды по ночам теряли блеск, а солнце день за днем висело в дымном небе мутно-янтарным слепым обмыском. В то лето у меня начались приступы озноба, тошноты, страха и мучительных предчувствий, словно небесные явления предвещали нечто ужасное, несущее в себе опасность большую и опаляющее хуже, чем огонь, ставший их земной причиной. Я часто ходил в лес молиться, непрестанно листал Библию, ища подсказки, и подолгу размышлял над строками пророка Иоила, о том, что *солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой*. Его дух, подобно моему в те дни, был встревожен, пребывал в метаниях и, будто опаленный огненным ветром, трепетал над разгадкой предзнаменований в предчувствии грядущей жестокой войны.

Потом, в конце лета, мне подвернулась возможность предаться пятидневному посту. Вместе с Харком мы нарубили много дров, не на один воз, потому что в полях по причине засухи было делать нечего, и Мур дал нам пять дней отпуска — для августа вполне обычное послабление. А отвезти дрова в Иерусалим не поздно будет и потом. Имея на руках пухленького молочного поросеночка, только что украденного на соседней ферме Френсиса, Харк объявил, дескать, хотя он сам не хочет

иметь ни с каким постом ничего общего, он будет рад сопровождать меня в лес и надеется не соблазнить запахом жареной свинины ни мой дух, ни желудок. Я согласился взять его с собой при условии, если он не будет отвлекать меня от молитвы и медитации, на что Харк радостно согласился: он знал, что в маленьком ерикe, найденном мной среди леса, можно хорошо порыбачить, и сказал, ты, дескать, молись, а я за это время кучу окуней наловлю. Так мы там и жили — я, уединившись в чаще, молился, читал Книгу Исаии и соблюдал пост, пока Харк, тихонько напевая, счастливо плескался в отдалении или уходил и часами собирал дикий виноград и ежевику. Однажды ночью, когда мы лежали, глядя на дымком подернутые звезды, Харк заговорил о том, что его не удовлетворяет в Боге.

— Мне кажется, Нат, — очень серьезным тоном сказал он, — Бог не иначе как белый. Только белый Бог мог устроить, чтобы ниггеры так мучились от одиночества. — Он помолчал, потом говорит: — Хотя нет, он, может, и черный, но тогда он здоровенный такой кучер. И уж если он черный, то такая подлая черная сволочь, каких свет не видывал.

У меня совсем не было сил, я тогда так устал, что даже не попытался спорить.

Наутро пятого дня я проснулся с чувством тошноты и беспокойства, под ложечкой болезненно сосало, в голове пустота и кружение. Прежде никогда еще пост не доводил меня до такой слабости. Становилось невыносимо жарко. От дальних пожаров несло дыма с запахом жженой серы — казалось, будто глазом различаешь мириады частичек сосновой сажи, пляшущих как пылинки, да так густо, что они начисто заслоняли злобно выкаченный, немигающий глаз желтого солнца. Голоса таящихся где-то на дубах и соснах древесных лягушек сливались со свири-

стеньем легионов цикад в общий безумный хор, и у меня от этой какофонии звенело в ушах. Я обессилел, подняться с ложа из хвои не мог, продолжал молиться и читать не вставая. Несмотря на утренний час, донимала жара. Когда подошел вернувшийся от ручья Харк, я велел ему идти домой — хотелось побыть в одиночестве. Он колебался. Пробовал заставить меня поесть, говорил, что я похож на черное привидение, суетился и причитал надо мной; но, в конце концов, удалился с видом угрюмым и встревоженным. Когда он ушел, я, наверное, вновь погрузился в глубокий сон, а проснувшись, обнаружил, что утратил всякое чувство времени; по небу расползлись громадные маслянистые клубы дыма, солнце скрылось за непроницаемой грязно-бурой завесой, так что, который час, было непонятно. Апатия, похожая на близость смерти, сковала все мои члены, их сотрясала неумемная дрожь; душа, казалось, уже ускользнула из моего тела, и брошенная наземь плоть съежилась скомканной ветошью, почти безжизненная, готовая к тому, чтобы ее подняло, понесло и в клочки разметало безжалостным божественным вихрем.

— Господи, — сказал я вслух, — дай мне знак. Дай мне твой первый знак.

Держась за ствол дерева, я с бесконечным трудом начал понемногу вставать на ноги, но не успел приподняться и на фут, как небо закружилось, и перед глазами заплясали огненные точки, будто сверху посыпались тысячи крошечных цветов. Вдруг небо расколол ужасный грохот, и, потрясенный, я в ужасе вновь рухнул на землю. Упав навзничь, я устремил взор в небо и увидел, что в бурлящих над кронами деревьев облаках появилась обширная дыра. Я обливался потом, его капли попадали в глаза, но мне было не отвести взгляда от зияющей в небе громадной бреши, которая, казалось, дышит и пуль-



сирует в том же ритме, что и ревущий, всесокрушительный грохот, заглушивший даже стрекот и крик горластых лесных тварей. Затем из глубины разрыва в облаках внезапно появился облаченный в черную броню черный ангел с черными крылами, простертыми с востока на запад; огромный, он навис надо мной и воззвал оглушительным голосом, громче которого я не слыхивал ничего в жизни: *“Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод”*. Затем в облачном разрыве явился другой ангел, тоже весь черный, тоже в броне и тоже, простерши крылья, объял все небо с востока на запад и возгласил: *“Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков”*.

От ужаса я заплакал, но в этот момент второй ангел как бы опять ушел в облака, растворился и пропал, а на его месте появился новый — на сей раз белый, странный, без лица и непохожий ни на кого из когда-либо виденных мною белых. Молча, стоя в блистающей серебристой броне, он поразил оставшегося черного ангела мечом; однако меч его (я это видел как во сне) бесшумно треснул и преломился надвое, и теперь черный ангел поднял свой щит, чтобы сразиться с белым противником; два духа схватились в небесной битве высоко над лесом. Вдруг солнце померкло, и кровь потоками потекла по клубящемуся небосводу. Долго ли, коротко — ибо что им время! — два ангела бились в вышине меж окровавленных облачных круч, гром их сражения мешался с ревом у меня в ушах, будто вокруг гудит палящий ветер, который вот-вот подхватит меня, полубесчувственного, взовьет, словно пылинку, и унесет к небу. Но белый

ангел был скоро сокрушен — так скоро, что им, воителям горних высей, это показалось одним мгновением, — и его поверженное тело рухнуло вниз под самый дальний край небосвода. А я все смотрел вверх, туда, где победно плыл в облаках черный ангел, и возгласил он, сказав мне: *“Что ты дивишься? Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Сие есть ноша твоя, сие призван увидеть ты, в печали и в радости ты должен ее нести”*.

В тот же миг черный ангел унесся ввысь, а огромная брешь в облаках, подернувшись по краям дымкой, заплыва и исчезла, и небо сделалось, как и прежде, туманным и inferнально пасмурным. Запах горячей сосны сушил и жег мне ноздри, я чувствовал себя в геенне огненной. На четвереньках прополз вперед, и меня стошнило в сосновые иглы, хотя тошнить было нечем; меня сотрясали и корчили болезненные спазмы, исторгающие лишь слюну да зеленые струйки желчи. Бесконечной чередой перед глазами неслись искры, словно от какой-то сатанинской кузницы, — миллионы и миллионы сверкающих точек убийственного света.

— Боже, — прошептал я, — за этим ли Ты призываешь меня?

Ответа не было, не было никакого ответа вообще, кроме того, что прозвучал у меня в мозгу: *Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо*.

Я бы не истолковал такое знамение как мандат на убийство всех белых, если бы вскоре не произошли некие безобразные события, которые еще больше усугубили мое отчуждение от белых и укрепили меня в ненависти, о которой я уже говорил. А воспоминания об этих

событиях начинаются чуть ли не с самого момента, как я вышел из лесу.

После того поста я восстанавливал силы не так легко, как это бывало прежде и потом. Оставалось чувство пустоты и дурноты, не проходила слабость, которую было не превозмочь, даже обильно вкусив остатков Харковой поджаренной на вертеле свиньи; не помогла и банка маринованных слив, которую он тоже где-то стибрил; по-прежнему я пребывал в апатии, не покидало чувство мрачной подавленности, и на следующее утро я вернулся к Муру весь больной, в горячке, а ужасное знамение не шло из головы, угнетая, как неизбывное горе. Несмотря на ранний час, солнечный жар, придавленный одеялом дымки, был почти нестерпимым. Даже цепные собаки чувствовали в воздухе что-то зловещее; шумно принюхивались и подвывали в бесконечной своей тоске; свиньи лежали по самое рыло в вонючей луже, а куры сидели в парном курятнике, нахохлившись, свесив крылья, недвижные, как перьевые веники или грелки, что надевают на чайник. На кучах свежего навоза, жужжа, кормились сонмища сине-зеленых мух. Вся ферма тошнотворно воняла падалью и отбросами. Подходя, я подумал еще, что подобная картина, мерзость запустения вроде этой, неподвластна времени: вспомнить хотя бы жуткие стоянки прокаженных в Иудее. Покосившийся, потрепанный непогодой фермерский дом стоял на самом солнцепеке, а когда из него донесся мальчишеский голос Патнема: “Пап! Из лесу нигер вернулся!”, до меня окончательно дошло, что я и впрямь вернулся.

Харк был в конюшне с мулами — я его там услышал. Когда-то у Мура были волы, но их заменили на мулов, отчасти потому, что мулы — в отличие от волов и особенно лошадей — способны сносить почти любые истязания со стороны негров: известно ведь, что черный на-

род не отличается особой нежностью к домашним животным. (Однажды маса Сэмюэль при мне жаловался какому-то гостившему у него джентльмену: “Не могу понять, почему из моих негров конюхи и пастухи получают просто звери какие-то”. Зато я понимаю: кого еще может мучить негр, утверждая тем самым свое над ним превосходство, кроме бедного неразумного животного?) Даже Харк, при всем его добродушии, бывал жесток со скотиной; вот и сейчас, еще на подходе к изгороди, я услышал из конюшни его яростный громкий голос: “Ах ты, зараза, ах, скотина! Шас я скотское твое говно из тебя вышибу!” Это он запрягал четверней ломовой поезд-двойку — две огромные телеги, соединенные вместе дышлом, — а это значило, что я вернулся как раз вовремя: нам с Харком вместе ехать в Иерусалим, а там предстоят два очень тяжелых дня, пока мы развезем по заказчикам и разгрузим целую гору дров.

Когда мы уже были на пути в город — Мур и Уоллес рядом на козлах передней телеги, Харк и я сзади, раскинувшись на огромной поленнице дров, кишаших муравьями и на жаре густо пахнущих сосной, — Мур принял попытку пошутить на мой счет.

— Слышь, Уоллес, будь я неладен, если скоро не начнется дождь, — сказал он. — Возьму вот, попрошу проповедника, что сзади на дровах валяется, пусть он меня к религии приладит, молиться научит, и всяко-такое. А то это ж черт те что получается: у Сары на участке кукуруза — я сегодня глянул по утранке, так на ней початки с гульки хрен. Слышь, проповедник, — крикнул он мне, — как насчет попросить Боженьку, чтоб вылил на нас побольше водички? А ну, дай присосаться, Уоллес. — Брат протянул ему кувшин, и на короткое время Мур замолчал. — Дык как насчет — а, проповедник? — рыгнув, опять заговорил он. — Чтобы оттарабанить там какую-нибудь

особую молитву, и пускай Боженька затычку-то у себя из жопы выдернет, а то ж ведь урожай надо рóстить.

Уоллес хохотнул, а я откликнулся заискивающим тоном как лицо, сугубо подчиненное — этакий угодливый черномазый шут:

— Да, сэр, маса Том, буз-зделано в лучшем виде. Вознесу отличную молитвочку, чтобы дождик пошел.

Но хотя я сказал это тоном угодливым и добродушным, потребовалось все мое самообладание, чтобы не обрушить на него грубую отповедь, перейдя границу, за которой — опасное нахальство; от ярости у меня даже в глазах потемнело, все потонуло в темно-красной пелене, и какой-то миг я в кулаке уже сжимал полено, примериваясь к расстоянию до Мурова косматого загривка, до его красной, с въевшейся в морщины грязью, шеи; у меня уже и мышцы напряглись, чтобы одним ударом сшибить с козел повозки этого мелкого белого долгоносика. Но ярость сразу улеглась, и я вновь погрузился в размышления, ничего не сказав Харку, а он взял банджо, которое когда-то смастерил из сосновых дощечек и проволоки от забора, и грустными аккордами принялся наигрывать одну из трех имевшихся в его репертуаре мелодий — старинную негритянскую песню под названием “Милая ушла”. Я все еще чувствовал себя больным и вялым, все члены сковывала слабость. Таящаяся в укромном уголке сознания память о знамении, казалось, изменила весь видимый мир или прямо на глазах меняла его: выжженные поля с засохшей растительностью и участки леса по обеим сторонам дороги — все припудрено пылью, недвижно в нынешнем безветрии, все на грани умирания, желтеющие листья безжизненно никнут, а в вышине висят клубы дыма дальних пожаров, горящих там, где над ними нет человеческого присмотра, да к этому вдобавок поганейшее настроение, и в результате

возникло чувство, будто я перенесся в другое место и другое время, — горький вкус пыли на губах навевал мысль о том, сколь странно эта местность напоминает Израиль во дни Илии, а сия пустынная дорога похожа на путь во град Иерусалим. Прикрыв глаза, я задремал на поленьях, покуда Харк тихонько напевал свою песню, и слова об “ушедшей милой”, тоскливые и несказанно печальные, проникали сквозь сон в мое сознание. Вдруг я проснулся, как раз когда с обочины дороги донесся тихий стон, и у меня в мозгу прозвучал мой собственный голос, с болью прошептавший: “Но ты как раз и едешь в Иерусалим”.

Моим открывшимся глазам предстало странное и возмутительное зрелище. Поодаль от дороги стояла развальяха, на которую во время прошлых поездок я не обращал внимания — без единого окна, жалкая, покосившаяся лачуга из нестроганных сосновых бревен, она служила домом семейству нищего вольного негра по имени Ишам. Об этом негре мне было мало что известно, да я и видел-то его лишь однажды — как-то раз Мур его утром нанял, а через каких-нибудь пару часов прогнал ввиду того, что бедняга Ишам одержим каким-то внутренним непреодолимым недугом (несомненно, появившимся у него из-за длительного недоедания), который после пяти минут работы с топором превращал его тощие руки в бессильно дрожащие корявые палочки. Ему приходилось кормить семью из восьми человек — жену и детей, среди которых не было ни одного старше двенадцати, — и, даже когда времена бывали полегче, они едва выживали: помимо его слабых попыток заработать их кормил небольшой огородик, семенами и рассадой для которого из милости снабжали белые соседи, более жалостливые, нежели мой тогдашний хозяин. Нынче же, в столь гибельную засуху, сразу стало ясно, что дела Ишама плохи, потому что вокруг его хижины на всей пропеченной

солнцем прогалине, где когда-то росли кукуруза, горох, капуста и сладкий картофель, все съезжилось и высохло, так что овощи на грядках лежали мертвые, будто опаленные огнем. Трое или четверо детишек, голых и таких тощих, что и ребра, и все кости у них торчали беловатыми, обтянутыми кожей бугорками наперечет, безрадостно возились у сгнившего крылечка. А с обочины слышалось непрестанное жалобное поскуливание: там на корточках сидела жена Ишама, костлявая и изможденная, она нянчила на руках почти бесплотное тельце ребенка, который был, похоже, при смерти.

Да и что это был за ребенок — вялый, бесформенный комочек, вроде пучка хворостинки. Мать обнимала его терпеливо и скорбно, прижимая к ссохшейся груди так, словно этим последним отчаянным усилием она могла ему предоставить поддержку, которой лишила природа. Пока мы проезжали, она не поднимала глаз. Харк перестал играть, я глянул на него, и он тоже бросил взгляд на ребенка; я повернулся, посмотрел на Мура. Тот чуть придержал мулов. Его остренькое сморщенное личико приобрело выражение, какое бывает у человека, который не в силах совладать с отвращением — отвращением и стыдом — и он сразу отвернулся. Он и раньше Ишаму помощи не оказывал, в отличие от одного или двоих других белых соседей, которым хоть и самим приходилось туго, но они, тем не менее, давали Ишаму то кукурузной муки, то немного солений, то фунт сала. Мур не давал ничего, и даже те несколько центов, которые Ишаму причитались после неудачной попытки у него поработать, Мур тоже не заплатил, и теперь вид умирающего ребенка явно заставил даже его каменное сердце дрогнуть от чувства вины.

Мур хлестнул кнутом переднего мула, но в этот самый момент в головах упряжки появилась длинная тощая

фигура негра, который, схватив за ремень дуги, заставил воз прекратить прерывистое, тяжелое продвижение вперед. Негр, которого я увидел, был не кто иной, как Ишам — коричневый, востролицый, горбоносый человек лет сорока с лишним, с лысыми пятнами от лишая на голове и с глазами, пустыми и тусклыми, подернутыми пеленой боли и голода. Я сразу почувствовал, что в его душе кипит бешенство.

— Эй, белый человек! — обратился он к Муру надсаженным, срывающимся голосом. — Ты не дал Ишаму ни кусочка еды! Ни единого кусочка! А теперь у Ишама ребенок помер! Гад ты, сволочь белая! Гад ты и больше никто! Сукин ты сын гребаный! Что теперь делать будешь с мертвым ребенком, скотина белая?!

Оба — и Мур, и его двоюродный братец — устали на Ишама как громом пораженные. Уверен: ни разу в жизни они не слышали такого от негра, будь он хоть раб, хоть вольный, эти слова ударили их как хлыстом, у них дыхание сперло и отвисли челюсти, оба будто оказались вдруг не в силах решить для себя, то ли оскорбиться, то ли не верить собственным ушам. Да и я-то никогда не слыхивал, чтобы такая неприкрытая ненависть прорывалась в речах негра, я поглядел на Харка и увидел, как его глаза изумленно вспыхнули.

— Белому что — он ест! — продолжал Ишам, все еще вцепившись в постромки. — Белый ест! А у негра ребенок с голоду дохнет! Это что же такое делается, сволочь белая? Что это такое, когда белый ест бекон, ест бобы, ест овсянку? Как же это так, если у негра для ребенка нет ни кусочка! Что это такое, я спрашиваю, паскуда ты хренова! — Весь дрожа, негр хотел было плюнуть в Мура, но помешали и расстояние, и высота, а главное — то обстоятельство, что ему не удалось набрать слюны; он произвел ртом чавкающий звук, потом еще раз; на эти



его бесплодные попытки было тяжело смотреть. — Где те двадцать пять центов, что ты мне должен? — наконец выкрикнул он в ярости и отчаянии.

И тут Мур повел себя странно. Он не сделал того, чего ждал от него я, наученный несколькими годами жизни у этого страстного ненавистника негров — он не ударил Ишама кнутом, не выкрикнул в ответ какое-нибудь непотребство и не пнул сапогом по голове. Вместо этого он сделался бледным как поганка и в панике изо всех сил отчаянно хватил кнутом головного мула, отчего сцепленные телеги, дернувшись, с громом покатали вперед, вырвав из рук у Ишама ремень, за который тот хватался. Когда Мур это сделал и мы покатали вперед со всею скоростью, каковую позволил нам набрать тяжеловесный груз, я понял, что невероятные речи Ишама впервые вбросили Мура в новый незнакомый мир, заставили осознать нечто, чему не было названия, почувствовать такое, что потребовалось время, чтобы над жалким провалом его сознания зазвучали, заматались голоса и звуки, так что в конце концов измыслилось, возникло слово: ужас. Яростно он нахлестывал мулов, пока мучимый болью пегий коренник не выкрикнул свое *ии-ааа*, и этот его крик вернулся эхом от придорожных сосен, будто надсадный хохот сумасшедшего.

Позднее, когда через пару месяцев засуха кончилась, я узнал, что Ишам и его семья как-то выжили, перешли из состояния голода к хронической нищете, то есть к обычной для них жизненной доле. Но это уже из другой, как говорится, оперы. Случившееся на дороге тем зловещим утром, к тому же по-особому воспринятое моим уже истерзанным умом, заставило меня осознать с силой и ясностью, которых у меня прежде не было, что черный, будь он раб или вольный, никогда не получит истинной свободы — *никогда* люди с черной кожей не будут свободны,

пока такие, как Мур, топчут Божью землю. Но я заметил ужас Мура, то, как он судорожно, по-тараканьи задержался, то, как этот рябой белый коротышка ударился в панику при виде изнуренного голодом негра, который настолько лишен был всех жизненных соков, что даже слюны, чтобы плюнуть, у него не нашлось. Во мгновение ока этот ужас запечатлелся у меня в мозгу так же неколебимо, как воцарился в душе образ Ишама с его безнадежной, гордой и непреодолимой яростью, — как он выкрикивал ругательства, когда наш воз уносился от него сквозь пыль и дымку, выкрикивал, и его голос затихал вдали:

— *Говно свинячье!* Когда-нибудь ниггер будет есть мясо, а белый — говно свинячье! — и долговязым силуэтом, исполненным величия, он напоминал Иоанна Крестителя, бранящегося в пустыне.

*Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?*

Думаю, теперь уже видно, насколько различны моральные свойства белых, владеющих рабами, какими разными могут быть хозяева по их строгости или добросердечию. По этим качествам они могут быть чуть не святыми (как Сэмюэль Тернер), вполне пристойными (как Мур), едва переносимыми (его преподобие Эппс), но некоторые бывают и совершенные изверги. Из таких извергов по чудовищности и кровожадности, насколько мне известно, не было равных Натаниэлю Френсису. Старший брат мисс Сары, по внешности он был на нее несколько похож, но сходство на том кончалось, ибо к жестокости он имел предрасположенность такую же, как она — к искренней, хотя и неразборчивой доброте. Грубый лысый мужлан со свинячьими прищуренными глазками, он хозяйствовал на ферме, расположенной в нескольких милях к северо-востоку от усадьбы Мура. Там,



на второсортных землях, коих было у него семьдесят акров, он зарабатывал себе на жиденькую жизнь при помощи шести полевых рабов: Билла с Сэмом (которых я упоминал уже в этом повествовании), негодника и полоумного балбеса по имени Дред и троих совсем юных парнишек лет по пятнадцать-шестнадцать. Была у него и парочка женщин, служивших домашней прислугой — Истер и Шарлота, обеим под шестьдесят, так что для возбуждения романтических волнений среди всех этих юношей обе уже не годились.

Своих детей у Френсиса не было, но он воспитывал двоих племянников, мальчиков лет семи-восьми, а вот жена у него была, по имени Лавиния — грубая мордастая баба с огромным зобом и едва различимыми женскими формами, которые она к тому же скрывала под мешковатыми мужскими рабочими одеждами. В общем, парочка всем на зависть. Может быть, в отместку жене, а может (что куда более вероятно), под ее влиянием, воспринимаемым то ли после, то ли до, то ли во время тех трудно вообразимых сцен, что происходили на их продавленной кровати, с некоторых пор Френсис стал особенное удовольствие получать от того, чтобы более-менее регулярно напиваться и безжалостно избивать своих негров гибкой деревянной тростью, обтянутой крокодиловой кожей. Я тут обмолвился: “своих негров” — все верно, но должен пояснить, что имеются в виду исключительно Билл и Сэм. Почему жертвами своей жестокости он сделал именно этих двоих, я не могу сказать, если дело тут не просто в бережливости: трое юношей помладше, может быть, просто не вынесли бы такого убийственного надругательства, так же, как и обе женщины, которых неприкосновенными делал их почтенный возраст.

Что до бедняги Дреда, то у него в мозгах все путалось, он еле говорил. Не исключено, что Френсис, подобно

охотнику на медведя, вместо которого ему подсовывают выхухоль, в лишенном всякого достоинства Дреде просто не видел дичи, достойной его свирепости. Тем более, что для Дреда он не преминул изобрести другие меры воздействия. В свои девятнадцать Дред был таким безмозглым, что удивительно, как он в уборную ходил без посторонней помощи. А Френсис состояние мозгов Дреда смог оценить лишь, когда уже купил его вслепую у такого же беспардонного, как и сам он, торговца. Дред был наглядным, явственным, ходячим воплощением обмана, и одним этим приводил хозяина в неистовство. Взвалив на себя ответственность за Дреда и не имея возможности его перепродать, от убийства Френсис воздерживался не столько из страха перед законом, сколько из-за того, что убить раба просто так, ни с того ни с сего — значило навлечь на себя позор в глазах общества, с чем даже Френсис не мог не считаться, а потому за обман он мстил не просто грубой и примитивной жестокостью, он не порол и не сек Дреда, но мучил его, выделявая над ним разные неудобь сказуемые кунштюки, например, однажды (это я знаю со слов Сэма, и у меня нет причин ему на верить) заставил его посреди толпы местного белого сброда совокупляться с собакой.

Билла и Сэма Френсис купил в Питерсберге на аукционе, им тогда обоим было лет по пятнадцать, и к тому времени, когда я с ними стал часто видаться (то Мур их возьмет внаем на какое-то время, то в Иерусалиме нам в базарный день выпадет пара часов свободного времени), они терпели от хозяина побои уже лет пять или шесть. От такого обращения оба столько раз пытались сбежать, что сами сбились со счета, а Френсисова трость в крокодиловой оправе набила на их плечах, руках и спинах множество шишек величиной с орех. Другой на месте Френсиса, без этой его всепожирающей жажды истязать

негров, мог стать вполне преуспевающим землевладельцем, всего лишь послушавшись простейшей логики: ну хоть чуть-чуть получше обращайся с ними, и оба, пусть с неохотой, но будут дома и при деле; ведь, действительно, каждый раз, когда у того или у другого терпенье лопалось и он устремлялся в леса, Френсис терял деньги точно так же, как если бы швырял серебряные доллары в колодезь. Потому что Билл и Сэм из его полевых негров были старшими, самыми сильными и умелыми. Чтобы затыкать брешь, вызываемую их отсутствием, ему приходилось брать других негров внаем и платить за них немалые деньги, которые сохранились бы, сумей он в очередной раз сдержать свою неразумную жестокость.

К тому же многие, если не большинство соседей-фермеров, знали о диком норове Френсиса. (В их числе был и Тревис, его же собственный зять, который Харка, например, к ферме Френсиса и близко не подпускал.) Пусть не всегда по соображениям чисто гуманным (хотя подчас, должен признать, и такие мотивы имели место), но отпустить к этому негодю своих полевых работников хозяева не очень-то спешили, ведь орудие стоимостью в пятьсот долларов он мог вернуть безнадежно испорченным. В результате, когда Сэм или Билл ударялись в бег, заменить их Френсису частенько не удавалось вовсе, и от этого он впадал в еще худший раж. Взгромоздив свое бочкообразное, топорно вытесанное туловище верхом на гнедую кобылу, он с бутылкой виски в руке — трюх, трюх — отправлялся обшаривать окрестности и через несколько дней находил беглеца (или его возвращал на ферму какой-нибудь доброхот из белой бедноты, заинтересованный обычным в таких случаях вознаграждением), и опять он избивал его в кровь и до бесчувствия, а потом запирал в овине на срок, пока не затянутся раны, и тогда, в шрамах и коросте, тот вновь отправлялся работать. Так в который

раз печально замыкался порочный круг. И, понятно, наиболее злокачественным образом такое обращение угнетало, скорее, не телесно, а духовно.

Из них двоих Сэм пострадал меньше. В том смысле, что, хотя рубцы от ран, избородивших самые глубины его существа, сделали его грубым, связи с реальностью он все-таки не терял и, несмотря на некоторую злобность нрава, побуждавшую его бессмысленно бросаться иногда на других рабов, чаще он демонстрировал обычную для молодых негров бесшабашную и бездумную веселость, которая для многих, как я заметил, служит непрременной маской, скрывающей почти невыносимое страдание. С Биллом вышло иначе. Багровый шрам лоснящейся змейкой прочертил ему щеку из-под правого глаза и до середины подбородка. Другой удар, нанесенный в ходе того же избиения, сделал его нос похожим на черную вдавленную ложку. Он постоянно что-то бормотал тихо сквозь зубы. Истязания, которым он подвергся, заставили его возненавидеть не только Френсиса и не только белых, но всех людей вообще, все живое и неживое, и, поскольку сам я только начинал тогда формировать вокруг себя вселенную такой ненависти, я не мог понемногу не прийти к тому, чтобы утраститься его так, как никогда в жизни я не страшился никого — ни белого, ни черного...

Весь день после дорожного столкновения с Ишамом мы разгружали дрова в разных концах Иерусалима. С каждым домохозяином, а также с судом и с тюрьмой у Мура была договоренность, что дрова будут доставлены “с раскладом”. Это означало, что нам с Харком надо не просто сбрасывать дрова беспорядочной грудой где-нибудь на заднем дворе, но обязательно складывать их аккуратно поленицей, где укажет “маса Боб” или “маса Джим”. Это был труд монотонный и изматывающий.

От усталости, на которую наслаивалась удушающая, тяжелая городская жара, я часто спотыкался, тем более, что не совсем еще оправился от слабости, голова кружилась, и один раз я упал со всего маху, но мне помог подняться Харк со словами:

— Не бери в голову, Нат, отдохни, предоставь чуток повкалывать Харку.

Но я не прервался, продолжал держать рабочий ритм; по обыкновению уйдя в себя, я стал грезить наяву, и в этих грезах грубый тяжкий труд смягчался и облагораживался под волшебным воздействием тихих заклинаний, которые я про себя твердил: *Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне... да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего; услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня...*

В полдень мы с Харком забрались под одну из телег и, перекусив холодным “хоппинджоном” (кашей из риса с коровьим горохом на мясной подливке), вяло там в теничке прохлаждались, пока Мур с Уоллесом пропадали у городской проститутки — двухсотфунтовой вольной мулатки по имени Джозефина. Пища слегка оживила меня, но все равно я был слаб и чувствовал себя неважнецки: знамение, явленное мне в лесу, поразительной своей загадочностью угнетало не только ум, но все мое существо до глубины души, подобно тени облака, которое набегит невесть откуда, и яркого сияния чудного дня как не бывало. Я трепетал, загадка не давала мне покоя, было такое чувство, будто огромные пальцы, каждый величиной с бревно, легонечко подпихивают меня в спину. Когда мы вернулись к работе, у меня совсем испортилось настроение, и забрезжили какие-то недобрые предчувствия. Весь остаток дня, пока мы работали, я никак не мог стряхнуть с себя это состояние. Вечером возвратилась слабость и

лихорадка, меня трясло и ломило кости, а когда мы с Харком спали, лежа под телегой, поставленной на лугу, пахнущем полевой горчицей и золотарником, меня мучили сны, в которых огромные черные ангелы шагали по беспредельным искрящимся звездным просторам.

Сутки спустя, перед самым полуднем, все утро в поте лица проработав, мы отвезли, наконец, на рынок последние остатки дров. Была суббота, базарный день, и, как всегда, на галерее толпились деревенские негры, которых принято на часик-другой отпускать, чтобы они насладились бездельем, пока хозяева довершают дела в городе. Пронаблюдав за разгрузкой последних поленьев, Мур и Уоллес куда-то ушли, и мы с Харком забрались — он со своим самодельным банджо, я с Библией — в самый укромный угол галереи, где я мог сосредоточиться над очередным заинтересовавшим меня высказыванием Иова. Харк тихонько побрякивал струнами, мурлыча себе под нос. Довольно многих болтавшихся вокруг негров я к тому времени уже знал, главным образом благодаря таким же базарным дням. Дэниэль, Джо, Джек, Генри, Кромвель, Марк Аврелий, Нельсон, с полдюжины других — они приезжали с хозяевами со всех концов округа, помогали грузить и разгружать хозяйские товары, а теперь слонялись без дела, занятые единственно тем, что пялились на попки и сиськи молодых городских негритянок да громко меж собой гомонили, скабрезничая и затеявая шуточные потасовки в пыли. То один, то другой, глядишь, подцепит девицу и тихой сапой уводит ее в поля люцерны. Другие играют ржавыми краденными складными ножами в “ножички” либо просто дремлют на солнце, а проснувшись, затевают азартный обмен жалкими пожитками: соломенную шляпу на самодельную “еврейскую арфу”, счастливый шарик шерсти из коровьего желудка — на зубок краденого табаку. Я коротко на них

глянул и опять погрузился в мучительные, бессвязные пророчества Иова. Однако сосредоточиться оказалось трудно: хотя горячка у меня практически прошла, я не мог отделаться от ощущения, что полностью изменился и пребываю как бы вне себя, от себя самого на расстоянии, в новом, обособленном мире. Пробило полдень, и Харк протянул мне крекер, которых он целый противень спер с кухни у кого-то из клиентов Мура, но еда мне не лезла в рот.

И даже здесь, посреди города, в воздухе стояла дымка с запахом дальних пожаров.

Внезапно я услышал какой-то шум — смех и крики, исходившие от кучки белых мужчин, собравшихся у стойла позади кузницы футах в пятидесяти через дорогу. Голая земляная плешь за кузницей служила местом субботних сборищ местной белой бедноты так же, как рыночная галерея стала точкой, где сходились пути всех негров. В этой толпе белых большинство было, естественно, бездельники, жулье и всякие подонки: пропившиеся забуддыги, калеки, завсегдатаи помойных куч, безработные батраки, лишившиеся места надсмотрщики, пришедшие шалоброды из Северной Каролины, мелькали какие-то дикие личности с заячьей губой, косматые самовольные поселенцы с брошенных пустошей, неисправимые попрошайки, дебилы, мошенники и дурни всех мастей — в общем, такой сброд, по сравнению с которым мой хозяин представлял исполненным благородства мудрецом под стать царю Соломону. Там, у стойла за кузницей, в своих соломенных шляпах и дешевых бумажных комбинезонах они по субботам собирались бестолковой гудящей толпой, выклянчивали друг у друга кто зубок жевательного табака, кто глоток самогонного виски и безостановочно (совсем как негры) чесали языками про письки и сиськи, изыскивали, где бы по-легко-

му разжиться долларом-другим, мучили бесхозных собак и кошек, давая возможность рабам с их рыночного возвышения наблюдать бодрящее зрелище множества белых, которые — по крайности в некоторых немаловажных аспектах — устроены в жизни хуже них самих. Я поглядел, что за ерунда там происходит? — вижу, они встали в неровный круг. В центре верхом на лошади высилась кургузая, сутулая фигура Натаниэля Френсиса, вдрызг пьяного и с дурацким восторгом на опухшей физиономии любующегося чем-то происходящим на земле. Мне было лишь слегка любопытно — думал, там у них борцовский поединок между белыми или пьяная драка: редко какая суббота проходила без чего-нибудь в таком духе. Однако за мешковатыми штанинами кого-то из зевак взгляду открылось нечто вроде двух негров, которые передвигались, занятые непонятно чем. В толпе раздавались смешки и улюлюканье, дикие выкрики и радостные междометия. Похоже, там подбадривали негров, стравливали их, а пьяный Френсис гарцевал и выплясывал на своей кобыле, объезжая толпу по внутреннему кругу, и поднимал при этом тучи пыли. Харк даже привстал в изумлении, и я ему сказал, что лучше бы он пошел да выяснил, что происходит; с некоторою неохотой он отправился туда.

Через пару минут Харк возвратился на галерею со сконфуженной полуулыбкой — никогда не забуду этого выражения на его лице, этой смеси насмешки и недоумения; я на него только глянул и сразу заподозрил неладное, как будто знал заранее, секундой раньше, чем он открыл рот, уже чувствовал, что он скажет.

— Опять этот Френсис — он там для белой швали развлечение устроил, — объявил Харк довольно громко, так что услышали и другие собравшиеся негры. — Пьян до поросычьего визга и желает, чтобы Билл с Сэмом пере-



дрались. Ни тот, ни другой драться не хотят, но только один отступит, не ударит другого, Френсис его бац кнутом! Так что нигерам, хошь не хошь, приходится лупцевать друг друга, и вот Сэм Биллу уже фонарь с кровяной поставил, а Билл ему, по-моему, вышиб передний зуб. Ей Богу, петушиный бой, да и только!

Среди окружающих нас негров слышались смешки — действительно, было что-то странно комичное в том, как Харк об этом рассказывал, а у меня сердце замерло, и все внутри заледенело. Это был конец. *Всё!* Все гонения, все унижения, которые претерпевают негры — то, что ими помыкают, истязают их непосильным трудом и неволей, заковывают в цепи, подвергают надругательствам, побоям и разлучают с близкими — это, конечно, гнусно, но чтобы такое! Как загнанных в угол зверей заставлять драться с таким же, как ты, на потеху... — Господи, да если бы хоть людям на потеху, а то этим — падшим, опустившимся, никчемным и презренным созданиям, в устройстве мира стоящим лишь на волосок повыше, и то единственно в силу того, что у них светлее кожа. С того самого дня, когда меня впервые продали, не пылал я такой яростью, таким неуголимимым гневом. Он всколыхнул во мне воспоминание о ярости Ишама, наоравшего на Мура, и разжег давно тлевшее, глубоко спрятанное чувство жгучего бессилия, впервые появившееся в далеком, смутном детстве, когда из мирных господских бесед на веранде я впервые понял, что я раб и останусь рабом навсегда. Сердце, как я сказал уже, сжалось во мне, умерло, исчезло, и, как нерожденное дитя, разрослась и заполнила пустоту внутри ярость; именно в тот момент я понял: будь что будет, ни сомнения, ни опасности не отвратят меня от задуманного, и настанет время, когда ни юную нежную деву, безмятежно срезающую сейчас цветочки в родительском саду, ни хозяйку

дома, устроившуюся с вязанием в руках в прохладе гостиной своей сельской усадьбы, ни безвинного мальчишку, что присел, обозревая затянутый паутиной дальний угол сортирчика, торчащего на краю цветущего поля — никого из белых не минует мое возмездие, весь их мир падет и рухнет по моему мановению, расколется и погибнет от моей руки. У меня даже подкатило к горлу, и я чуть не сблевал себе под ноги.

Тут шум через дорогу стал стихать, выкрики прекратились, и распался круг белых мужчин, обративших свой интерес уже к другим радостям жизни. Кренясь и пошатываясь в седле, Френсис поехал прочь, выходка утомила его, он удовлетворенно и победительно ухмылялся. Моим глазам предстали Билл и Сэм — избитые, в пыли и в синяках, они пробирались сквозь толпу к рынку. Билл что-то бормотал себе под нос, поглаживая распухшую скулу, Сэма на ходу била дрожь боли и унижения, он еще не отошел от пережитого мучительного стыда — невысокий жилистый мулат, еще не настолько взрослый и не настолько закаленный страданиями, чтобы удержаться и, утирая кровь с рассеченной губы, не плакать с горькими, детскими всхлипами. По-прежнему ничего не соображая, все еще во власти комических ужимок, с которыми рассказывал о поединке Харк, негры на галерее со смехом наблюдали приближение Сэма с Биллом. И тогда я встал и обратился к ним.

— Братья! — вскричал я. — Хватит ржать, меня послушайте! Кончайте ваш гогот, братья, послушайте проповедника слова Божия!

Среди негров воцарилось молчание, они лишь неугомонно ерзали, переминались, повернувшись ко мне с озадаченным и удивленным видом.

— Ближе! — скомандовал я. — Не время сейчас для веселия и зубоскальства! Время плача великого! Время *гне-*



ва! Вы *люди*, братья мои — *люди*, а не скоты, не быдло полевое! Не псы четвероногие! Говорю вам, люди вы! Где же достоинство ваше, куда подевалось?

Медленно, по одному, негры подтягивались ближе, в их числе и Билл с Сэмом — они уже поднялись с дороги на галерею, стояли и глядели на меня, утирая лица серыми грязными комьями бракованного сырого хлопка. Подходили и еще люди — в основном молодые, рабов постарше раз, два и обчелся; парни нервно почесывались, кое-кто опасливо поглядывал на ту сторону дороги. Но гогот стих, все молчали, и я ощутил сладостный озноб, заметив, что они принимают ярость моих слов, словно листья осоки, что гнутся под порывом внезапно налетевшего ветра. В каком-то дальнем уголке сознания у меня пронеслось: это ведь первая моя проповедь! Все замерли. Вопрошающе, недвижимо негры смотрели на меня с настороженным и вдумчивым вниманием, некоторые даже затаили дыхание. Мой язык был и их языком тоже, я говорил на нем как на втором родном. Мой гнев захватил их полностью, я чувствовал, как токи власти исходят от меня и охватывают их, соединяя всех нас в единое целое.

— Братья мои, — заговорил я вновь, но несколько мягче. — Многие из вас бывали с хозяевами в храме, посещали церковь — кто церковь Уайтхеда, кто в Шайло или, может, в Нибо или в Мон-Мория. В большинстве своем вы далеки от религии. Это не страшно. Религия белых не учит чернокожих ничему, кроме как слушаться хозяина и помалкивать в тряпочку — работай больше, болтай меньше. Но это тоже ладно. Зато те из вас, кто помнит, чему учит Библия, знают об угнетении Израиля в Египте — помните, как держали там народ в рабстве? Те люди были евреями, а звали их точно так же, как нас с вами — вот как тебя, Натан, или тебя, Джо (Джозеф — это ведь

Иосиф, тоже библейское имя), или вот как тебя, Дэниел. Эти евреи были точь-в-точь как черные. Им приходилось до седьмого пота горбатить на ихнего египетского фараона. Белый начальник заставлял евреев катать бревна, таскать камни, молотить зерно и лепить кирпичи, пока они уже чуть вымирать не начали, а денег он им не платил ни цента — еще чего! — в общем, точно как и мы, евреи были *рабами*. Еды им тоже вдоволь не давали, держали на одной поганой кукурузной муке с долгоносиками да заплесневелой простокваше, а уж когда солонину дадут, так небось такую протухшую, что от нее и собаку стошнит. Засухой и голодом поражены были земли те, точь-в-точь как у нас сейчас. Да, братья мои, тяжело приходилось евреям в Египте! То было время плача и сетования, время труда и голода, время страданий! Фараон так лупил этих своих евреев, что они у него все в синяках ходили с головы до ног и спать каждый вечер ложились, плача и зывая: “Господи, Господи, ну когда же этот белый начальник нас отпустит?”

Среди негров произошла какая-то возня, и я услышал, как кто-то в толпе выдохнул: “Да-аа”, а другой голос тихо и печально произнес: “Ты смотри-ка, и верно!”

Я медленно протянул руку, словно пытаюсь дотянуться до них, и часть толпы придвинулась еще ближе.

— Оглянитесь вокруг, братья, — говорил я, — что вы видите? Что носится в воздухе? Что вокруг вас такое витает?

Негры крутили головами, оборачивались к городу, возводили очи горé: подсвеченный янтарными лучами солнца воздух туманился, дым дальних пожаров плыл по улицам и подымался к галерее; даже и в тот момент, когда я говорил, едкий, яблочно-сладкий вкус горелой древесины щекотал носоглотку, чуть отзывая душком тлена.

— Сей дым есть смерть гибельная, братья мои, — продолжил я, — зараза, опустошающая в полдень и язва, что ходит во мраке. Это тот самый дым, что висел над евреями, когда они были рабами в земле египетской. То самое поветрие язвы гибельной, поветрие смерти, что веяло над евреями в Египте, веет и над черным народом, над всеми, у кого черная кожа, как у тебя и у меня. А гнет над нами еще сильнее и необузданней, чем был над еврейским народом. Иосифа хотя бы за человека считали, не собакою он был четвероногой. Братья мои, смех — это хорошо, смех это хлеб, соль и пахта, смех — это бальзам на раны. Но всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время смеяться, и время плакать, а как же! А еще есть и время гнева! В рабстве черные вроде вас и меня должны плакать от гнева. *Воздерживайтесь* от такого глупого смеха, каким вы смеялись давеча! — Я возвысил голос почти до крика. — Когда белый человек поднимает руку на одного из нас, мы не должны смеяться, мы должны рыдать от ярости! *“При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе!”* Не так ли? (“Хм-мм, правильно!” — снова раздался тот же голос, да теперь даже и не один.) *“На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселия: “пропойте нам из песней Сионских”.* Как нам петь песнь Господню на земле чужой?” Не так ли? — горько и с нажимом повторил я. — Белый человек заставляет вас петь и плясать, топтаться в пыли и бить чечетку, бренчать на банджо и выводить на скрипке песенки про черномазого пройдоху. “Пленившие нас требовали от нас слов песней”, так бросайте вы эту чечетку! Всему свое время. Сейчас не время петь, не время смеяться. Оглядитесь вокруг, братья мои, загляните друг другу в глаза! Только что вы видели, как белый человек натравливал брата на брата! Вы же не животные, кото-

рых можно стравливать друг с другом, как блохастых дворянжек. Вы люди! Вы люди, братья мои дорогие, гляньте на себя, где ваше *достоинство*!

Говоря это, я заметил позади толпы двоих черных мужчин постарше, один из которых другому что-то про-бормотал, и они покачали головами. На их лицах отразилось удивление и беспокойство, и они потихонечку отошли и исчезли. Остальные по-прежнему стояли почти неподвижно и слушали вдумчиво и внимательно. До меня донесся глухой вздох и тихое “аминь”\*. Я воздел обе руки вверх и вытянул пальцы, разведя ладони, как в благословении. Пот струйками тек у меня по лицу.

— В ночном видении, братья, — продолжал я, — Бог говорил с Иаковом; Он сказал: “Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет; ибо там произведу от тебя народ великий”. Иаков пошел в Египет, и умножился народ Израилев, и рожден был Моисей. В тростнике родился Моисей и вывел евреев из Египта в землю обетованную. Что ж, там они тоже хлебнули горяшка. Зато в земле обетованной евреи смогли выпрямиться, стать во весь рост и жить как *люди*. Они сделались великой нацией. Хватит солонины, долой кукурузную кашу, хватит жрать соль вместо мяса: всему этому евреи положили конец — всем этим надсмотрщикам и невольничьим аукционам; и не слышно стало по утрам трубы, что будит на работу. И появились у них на обед цыплята в бульоне и оладьи, и сладкий сидр, чтобы попивать в теничке. Им стали платить их трудовой доллар. Евреи стали *людьми*. Но, увы, братья мои, увы, сыны матерей наших, черный народ никто не выведет из рабства, пока он не обретет *достоинство*! Черные не будут свободными, не получают они оладий со сладким сидром, покуда не научатся любить *себя*.

---

\* Подлинно, верно (*греч.*)

Только тогда первые станут последними, а последние первыми. Черный народ никогда не станет великой нацией, пока не научится он любить свою черноту, любить красоту своей черной кожи, красоту своих черных натруженных рук и черных ног, что устало бредут по белу свету. А когда белые в злобе и лютом ожесточении вынуждают нас проливать кровь, когда поруганию подвергают они красоту нашей черной кожи, тогда — увы, братья, не время тогда для смеха, но время плача и сетований лютых!.. *Достоинство!* — вскричал я после паузы и дал рукам опуститься. — Только достоинство, *несгибаемое во веки веков*, только достоинство сделает вас свободными!

Я замолчал, глядя на восторженные черные лица. Потом я медленно и тихо закончил:

— Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Аминь.

Негры застыли в молчании. Далеко в городе церковный колокол дал двоянный удар, отмерив полчаса. После этого негры один за другим стали разбредаться по галерее; некоторые смотрели хмуро, у многих вид был тупой и непонимающий, были такие, кто глядел испуганно. Другие, радостно сияя, подошли ко мне; Генри, который был глух и читал по губам, подошел вплотную и пожал мне руку. Нельсон со словами “Это ты верно говорил” тоже подошел ближе. И я почувствовал их теплоту, почувствовал братскую с ними связь и надежду, и ощутил то, что, видимо, ощущал Христос, когда сказал близ моря Галилейского: *“Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”*.

Другой знаменательный мой приезд в Иерусалим был около месяца спустя. В тот день случилось странное происшествие, и хотя на великие события, которые мне придется вскоре описывать, оно повлияло лишь косвенно, но на меня оказало довольно значительное впечатление, и я чувствую, что должен рассказать о нем.

В прошедшие недели я собрал субботний класс изучения Библии, в который вошли семь или восемь негров, в том числе Дэниель, Сэм, Генри и Нельсон. Харк возвратился к Тревису, так что мы уже не ездили в город вместе. Свой класс я собирал в тени раскидистого клена на задах рынка. Там я сидел на прохладной земле, окруженный полукольцом негров, — кто сидел на корточках, кто полулежал, опершись на локоть, — и я был счастлив тем, что кого-то, может быть впервые в его жизни, я введу в мир Святого слова Божьего. Лишь немногие из них имели качества, благодаря которым могли приобрести то, что называют набожностью; ни один не спешил отказываться от сквернословия, ни один не считал зазорным при первом удобном случае стянуть с телеги у какого-нибудь белого бутылку виски. (Один Генри, состоящий при доме у благочестивого хозяина и отгороженный от внешнего мира глухотой, обладал чем-то вроде зачаточной духовности.) Однако со скуки — рабам ведь просто нечем голову забить, кроме бабушкиных страшилок про колдовство, привидения и нечисть — они с удовольствием слушали мое изложение событий Бытия и Исхода: рассказы об Иосифе и его братьях, о переходе через Чермное море, и как Моисей жезлом исторг воду из скалы Хорив, — в общем, каждое субботнее утро я с гордостью и удовольствием замечал, как они, приветствуя меня, светятся, как всем своим видом показывают, что с моим прибытием для них наступает час самый сладостный. После занятия, которое порой затягивалось далеко за полдень, я дружески с ними со всеми прощался и уходил, укрываясь в тени под телегой Мура, где подкреплялся беконом с кукурузной лепешкой. Уже в те дни я стал напускать на себя вид недоступный и загадочный, полагая, что такая отстраненность в поведении послужит мне на пользу, когда придет, наконец, время открыть последователям великие планы на будущее.

И вот, в ту субботу, что была месяц спустя, я как раз отошел от учеников, когда незнакомый белый мужчина украдкой приблизился ко мне и слегка тронул за локоть.

— Если можно, ваше преподобие, — заговорил он с дрожью в голосе, — позвольте вас на пару слов — можно?

Он был очень вежлив; прежде только от Мура с его саркастическими выпадами слышал я в свой адрес титул “преподобие”, и я в испуге опустил глаза, приготовившись слушать этого белого сутулого мужичонку, который представился мне как Этельред Т. Brentли.

— Я слышал, как в прошлую субботу вы читали неграм проповедь, — понизив голос, забормотал он нервно и просительно. По его тону чувствовалось, что он доведен до крайности. — Понимаете, такие, как вы, ну то есть проповедники — вы такие добрые! — продолжал он. — Посоветуйте, что мне делать, чтобы спастись?

Этельред Т. Brentли был кругленьким женоподобным мужичонкой лет пятидесяти, чьи пухлые белые щечки пестрели гроздьями мелких гнойничков и прыщиков, которых не скрывала редкая поросль мягких рыжеватых волос. Одетый в драную серую бумазейную куртку и штаны, он непрестанно вяло шевелил широкими бедрами, а его бледные грязные пальцы при разговоре тряслись. Он настоял, чтобы я зашел с ним за угол; его глаза нервно бегали, словно он опасался, как бы нас не застigli вместе. Там, среди бурьяна, торопясь и сбиваясь, он поведал мне о себе, его скрипучий, жалобный голос, казалось, вот-вот сорвется, и тогда он разразится рыданиями. В настоящий момент он без денег и постоянной работы, но до прошлого года служил третьим помощником управляющего на разорившейся плантации в округе Бофорт, что в Каролине. Потеряв место, вернулся в Иерусалим и поселился в лачуге у старшей сестры, умирающей от чахотки; сестра его и содержит на свой жалкий пенси-

он. Он перебивается случайными заработками, но толком с мертвой точки сдвинуться все не выходит. У него у самого жуткий кашель — астма? или тоже чахотка? — неизвестно. Он надеется, что астма. От астмы хотя бы не умирают. Высыпания на щеках не проходят со времен, когда он был мальчишкой. Еще его мучит какая-то болезнь кишечника, из-за которой он бегаёт в сортир по десять раз на дню, а случается, и в штаны наложит. Однажды в Каролине попал в тюрьму. И теперь вот опять опасается. Потому что... Так получилось, что он одну женщину... *Ах, нет!*... Он заколебался, глаза заморгали, забегали, покрытые гнойничками щеки загорелись густым румянцем. Все не так. Нет, он... Он кое-что плохое вчера сделал с мальчиком. С сыном местного судьи. Мальчишке он дал десять центов. А тот проговорился. То есть наверное проговорился. Он не уверен. Очень боится. “*О Боже, Господи*”, — все повторял он. С жалобным писком он пустил ветры, и какое-то время дух из его нутра наполнял мои ноздри вонью гнилого болота.

— Ниггеров я завсегда жалел, оказывал им всякое попечение, — заверил меня Brentли. — А бить ниггеров — ни-ни! Ах, вы такой хороший проповедник! Я слушал, да. Как я боюсь, как боюсь! О, я несчастный! Ну как же, как мне спастись?

— Очиститься надо, — сказал я резко. — Очиститься Духом Святым.

— Хоша бы я читать умел! — посетовал он. — Я бы тогда, может, тоже в религии понимал, как вы. Только я ни читать, ни писать не умею, ни полсловечка. Ай, какой я несчастный! Просто вот взять бы да помереть! Однако боязно помирать-то. Ой, грех, ой, грех какой! Только ведь, говорят, любой грех искупить можно, а?

— Да, — сказал я. — Кто угодно может исправиться. И любой грех можно искупить — очиститься Духом Свя-



тым. — Тут я вдруг так и обмер: не ловушка ли это, может, белые шутку какую удумали на мой счет, ковы мне строят? — А насчет того, что вы слушали мою проповедь... — начал я и осекся. — То, что вы в тот день слышали в моей проповеди — многое там не для белых ушей было сказано. — Все более во власти своих подозрений, я уже сделал было шаг от него в сторону. — Я только неграм, чтобы им было понятно, проповедовал, — с металлом в голосе сказал я.

— Ах, нет, нет, проповедник! — взмолился он, ухватив меня за рукав. — Мне очень нужно, помогите, пожалуйста!

— Почему бы вам не пойти в свою церковь? — упирался я. — Почему вы не обратитесь к нормальному белому священнику?

Он помялся и, в конце концов, говорит:

— Не могу. То есть, я, конечно, бывал в Нибо. Туда моя сестра молиться ходит. Только преподобный Энтвисл, проповедник тамошний, он, это... — запнувшись, Этельред Брентли, казалось, совсем потерял дар речи.

— Он — что? — добивался ясности я.

— Ах, ну, в общем, он меня вышвырнул, — все-таки выговорил он сдавленным голосом. — Он сказал, что я... — Он снова смолк и со вздохом опустил голову. — Он сказал...

— Ну-ну, *что* он сказал? — не унимался я.

— Сказал, что содомлянину нет хода в дом Божий. Мол, в Библии так прописано. Прямо так и сказал, я каждое его слово помню. Сказал, что я содомлянин. А содомляне злы и весьма грешны пред Господом. Так что я не могу пойти в церковь в Нибо. Да и нигде не могу. — Он с болью поглядел на меня, в его глазах стояли слезы. — Скажите, проповедник, чем искупить мне это?

Жалость и отвращение вскипели во мне; я потом много раз спрашивал себя: почему я сказал ему то, что сказал,

но так никогда и не нашел ответа. Может быть, дело в том, что Брентли в тот момент мне показался таким ничемным и таким отверженным — хуже любого негра; все ж хоть и белый, но он так же заслуживал Божьей милости, как другие Его гнева, и отмахнуться от Брентли значило предать свое обетование служить Слову. Кроме того, мне приятно было сознавать, что, показав Брентли путь к спасению, я сделаю то, чего не сумел белый священник. Так что...

— Слушай, сын мой, — сказал ему я. — Восемь дней будешь поститься, до следующего воскресенья. Есть нельзя ничего, только раз в два дня по куску кукурузной лепешки, такому, чтоб помещался на ладони. Потом, в следующее воскресенье, я очищу тебя в Духе Святом, и будешь тогда спасен.

— Боже, свят путь твой и велико милосердие, как я рад, проповедник! — гнусаво заголосил Брентли. — Вы спасаете мне жизнь! Какое счастье! — Он стал ловить мою руку, пытаясь поцеловать, я прятал ее, отстранялся.

— Постись, как велено, — повторил я, — и зайдешь за мной к мистеру Томасу Муру через неделю в воскресенье. Вместе очистимся Святым Духом.

Назавтра было воскресенье, день, когда негры обычно отдыхают, получив выходной с утра и дотемна. Под вечер я вышел на дорогу и, пройдя четыре мили, постучал в дверь к миссис Кэтрин Уайтхед. Построенный в нескольких сотнях ярдов от дороги, дом был удобным, хотя и беспорядочно составленным из разновеликих пристроек сооружением, обшитым гладко оструганной вагонкой (в отличие от дома Мура, рубленного из грубых бревен); он блистал свежей побелкой — красивые ставни открыты, а перед домом живописная клеверная лужайка, над которой гудят пчелы. Поодаль до самого леса огромное пыльное поле созревающего хлопка. Во



дворе, поблескивая позолотой и полированным вишневым деревом, стоял английский экипаж “брогам”; выезжая, в него запрягали чистокровную молодую кобылку — откормленная, с красиво расчесанной гривой, она мирно паслась теперь в высоких травах, нарушая жаркую послеполуденную тишину сочным хрумканьем. В аккуратных красных ящиках на веранде цвели циннии, шпалерами вдоль фасада были высажены розы, я сразу почувствовал их теплый запах. Миссис Уайтхед была дама не из простых, да и богатая к тому же. Ничего необычайного в ее усадьбе не было, но ферме Мура было с ней не сравниться; я знал, что у миссис Уайтхед водятся даже книги. Со времен моей жизни на лесопилке Тернера к богатым людям мне приближаться не приходилось, и, стоя на крыльце в ожидании ответа на мой стук, я вдруг с горечью ощутил, как низко я опустился в жизни, мне показалось даже, что от меня несет навозом. Интересно, — думал я, — как посреди засухи тут сохранили такую чудную зелень, цветы и все это благолепие, и тут мне бросился в глаза ветряк, служивший для подъема воды из колодца — на много миль единственный, диво дивное, ему поражалась вся округа. Потемневшие лопасти производили тихий печальный гул, в послеполуденной тиши слышалось постукивание механизма.

Ко мне вышла Маргарет, внучка хозяйки; то была наша первая встреча, и столько должно было бы мне в тот раз запомниться, столько было в тот день памятного, столько важнейших деталей, безмятежных интонаций, спокойных модуляций голоса, взглядов и созвучий, линий и выгибов, чудесных мерцаний и отблесков такого света, какой бывает лишь в августе. Но запомнилось только лицо в тени, прелестное личико бледной девочки, она была тогда лет тринадцати, и мой приход восприняла так естественно, словно у меня кожа была мраморно-

белой — спокойно нежным голоском ответила: “Да, да, он здесь” (на мой вопрос, могу ли я поговорить с ее братом священником).

У появившегося Ричарда Уайтхеда губы были все еще в крошках полуденного десерта; недолго думая, он сразу приказал мне здесь не маячить, а подойти к дому со стороны кухонной двери. Там мне пришлось его минут пятнадцать подождать, наконец появился — моложавый мужчина, стройный, даже, пожалуй, хрупкий, со строго поджатыми губами и теми же мертвыми глазами, что много лет назад я видел на портрете в хрестоматии из библиотеки Тернера — там они смотрели на меня со страницы, где изображался адским пламенем выжженный лик Жана Кальвина\*. Заговорил он голосом тонким, визгливым и проникнутым всею глухой и истомной меланхолией святого дня отдохновения. Я сразу понял, что пришел зря. Стало неловко, меня обуял приступ застарелого негритянского страха, и я волей-неволей отвел глаза.

— Ну, говори, зачем пришел! — потребовал он.

Секунду помявшись (давай, давай, быстрее кончай с этим, торопил себя я), я сказал:

— Прошу вас, маса, выслушайте. Я проповедую Евангелие. У меня просьба: нельзя ли мне в следующее воскресенье, когда все разойдутся, провести в вашей церкви очищение белого джентльмена.

Его лицо стало испуганным, потом побледнело.

— Ты кто? — спросил он.

— Я Нат Тернер, — ответил я. — Мой хозяин Томас Мур — который с Камышового Болота.

— А, да, я слышал о тебе, — не слишком-то смягчился он. — И все-таки, что тебе надо?

---

\* Кальвин Жан (1509–1564) Один из основных деятелей Реформации, основатель кальвинизма.

Я вновь повторил сказанное. Пристально поглядев мне в глаза, он сказал:

— Твоя просьба нелепа. Как может цветной утверждать, что он рукоположен в священнический сан? Скажи пожалуйста, где ты изучал теологию? В Вашингтоне? В колледже Вильгельма и Марии? Может быть, в Чепел-Хилле? То, что ты просишь...

— Мне не нужно, чтобы меня кто-то рукополагал, маса, — перебил его я. — В глазах Господа я священник — проповедник Слова Божия.

Он так сжал губы, что мне стало ясно: его удивление мало-помалу превращается в гнев.

— Никогда в жизни я не слыхивал, чтобы черномазый нес такую ахинею, — воскликнул он. — Ты что, вообще, такое затеял? Какого такого белого джентльмена ты собираешься подвергать очищению в церкви?

— Мистера Этельреда Т. Брентли, — сказал я.

— А, Брентли! — Проговорив это имя, он даже посерел от возмущения. — Тоже мне, джентльмен! Знаю я этого подонка. Сидел в Каролине в тюрьме за гадкое, противоестественное преступление против природы! В этом округе один приход его уже отринул, а теперь, значит, он будет поганить алтарь методистского храма, да еще и с горе-священником вроде тебя! Сколько он заплатил тебе, чтобы ты подбивал меня на этакое богохульство?

— Брентли бедный человек, — ответил я. — У него и десяти центов нет. Он очень болен. И растерян. Разве не сказано в Библии, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее?

— Вон отсюда! — вскричал Ричард Уайтхед, у него даже голос сорвался. Я прыгнул в сторону, едва избежав пинка ногой через дверную щель. — Пошел прочь, да впредь держи свою дьявольскую черную морду подальше от

этого дома! И скажи своему Брентли, что у меня есть дела поважнее, я не хочу, чтобы меня дурачил дегенерат на пару с зарвавшимся ниггером! А твоему хозяину я сообщу об этом, уж это будь уверен!

Что ж, так я и ушел несолоно хлебавши, и его пронзительные вопли, истерические и визгливые, преследовали меня на всем обратном пути, претерпевая в моем воображении всевозможные метаморфозы: то это был плач молодой женщины, то нечто животное — визг пойманного кролика, крик птицы, и, в конце концов, стон, который в последний миг испускает человек, которому через миг на голову обрушится дубина, чтобы уничтожить крик вместе с источающими его спесиво поджатыми губами.

Неделю я думал и решил, что мы с Брентли очистимся в мельничном пруду Парсонса, на брошенной плантации в нескольких милях от фермы Мура. Брентли я сообщил об этом через негра, ходившего в Иерусалим, и в следующее воскресенье под вечер встретил его у пруда, придя туда заранее вместе с Харком, Сэмом и Нельсоном. Хотя и слабый после поста, Брентли выглядел вроде бы даже поздоровевшим; на лице у него горел румянец предвкушения, и он признался мне, что впервые за много лет внутренности удивительным образом не выходили из-под его власти. “Как я счастлив!” — прошептал он, когда мы впятером шли вдоль пруда по лесной дорожке. Слух о предстоящем очищении разнесся, конечно, по всему округу, и, когда мы пришли на место, целая толпа белой бедноты — человек сорок или пятьдесят (в том числе и востроглазые теткы в чепцах) — в ожидании представления уже заполонила берег напротив. Едва мы подошли к воде, они принялись вопить и улюлюкать, но ближе не подступали. Брентли дрожал от воодушевления.

— Ой, Боженька, — вновь и вновь шептал он, — неужто я буду спасен!

Покуда мои ученики наблюдали с ближнего берега, мы с Брентли во всей одежде вошли в воду и направились туда, где пруд был глубиной по грудь. Там я зачитал строки Иезекииля, где повествуется о том, как оживлены были сухие кости. *“И обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей и введу в вас дух, — и оживете, и узнаете, что Я — Господь...”*

Я пихнул Брентли под воду. Он погрузился, как мокрый мешок с бобами; вынырнул, плюясь и задыхаясь и являя собой вид такого блаженства, какое я вряд ли когда наблюдал у кого угодно, какой бы ни был у него оттенок цвета кожи.

— Я очищаю тебя, — сказал я, — во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

— О, Господь всемогущий! — вскричал Брентли. — Наконец-то спасен.

Тут что-то стукнуло меня по затылку. Из толпы белых на том берегу в нас начали швырять камнями и палками, ломая сучья поваленных деревьев. От шеи Брентли отскочило толстое полено, но он и глазом не моргнул, глухой ко всему, кроме своей радости.

— Господи, Боже! — задышался он. — Я и впрямь спасен! Аллилуйя!

В меня ударил еще один камень. Я с молитвою погрузился, потом встал. Над белыми лицами, что смутно маячили на дальнем берегу, слабыми зеленоватыми отсветами промелькнула зарница. Тенью огромного крыла на местность набежали сумерки. Я ощутил острое предчувствие смерти.

— Брентли, — сказал я, когда мы брели по воде к берегу, где ждали нас мои ученики. — Брентли, советую тебе поскорей покинуть здешние места, потому что белое население здесь будет уничтожено.

Впрочем, Брентли вряд ли меня расслышал.

— Боженька! Боженька! — вскрикивал он. — Я спасен, наконец-то спасен!

К концу десятилетия, когда мне подкатывало под тридцать, стало заметно, что в наши места понемногу возвращается кое-какое благополучие. Не процветание, нет, никоим образом. Не роскошь, не изобилие, но чувство безопасности, спокойной уверенности, что голод людям больше не грозит. С одной стороны, кончилась долгая засуха, и, благодаря затяжным дождям, к земле в какой-то мере вернулось плодородие. С другой — бревенчатую гать, что вела в Питерсберг и Ричмонд, наконец, отремонтировали, тем самым открыв доступ к золотой жиле, которую местные заправила удивительным образом не замечали у себя под носом. Речь идет о здешнем очень пристойном виски, которое гнали из яблок, а они у нас растут во множестве и повсеместно. Ибо, если почва в Сауттемптоне, совершенно изможденная и загубленная табаком, годилась для выращивания разве что хлопка, да и то в количествах, едва позволявших сводить концы с концами, то яблок была тьма тьмущая — они висели гроздьями на каждой ветке, в садах и рощах, на одичавших, заросших ежевикой старых посадках посреди мертвых плантаций и на каждой аллее вдоль всех полей и дорог. Всевозможных размеров, цветов и сортности, раньше они гнили на земле червивыми кучами, теперь же их целыми возами стаскивали к бродильным чанам винокурен, сделавшихся ценнейшим имуществом каждого фермера. Волшебное превращенные в высококачественный яблочный спирт, сии плоды вожделенные бочками отправлялись в Иерусалим, где ими загружали скрипящие от натуги фуры, влекомые мулами и волами, на коих они ехали дальше к северу, в Питерсберг и Ричмонд — сообщества суетные, самонадеянные и сластолюбивые,

полные граждан с тугими кошельками и жаждою неутолимой. Обратным ходом в округ потекли весьма значительные доходы, так что, хотя ясно было, что с библейской Ниневией Саутгемптон никогда богатством не сравняется, но места наши стали весьма, я бы сказал, зажиточны, и прямо посреди этого благополучия я начал строить ковы, замышляя уничтожение и исход.

Меня все это набухающее почкование достатка коснулось, в частности, тем боком, что профессиональные навыки, полученные мной еще на лесопилке Тернера и столь долго таившиеся втуне, начали очень даже интересоваться некоторых владетельных соседей, особенно из числа тех, кто по лестнице финансового успеха не промедлил подняться на ступеньку-две выше других. Благополучие поощряет расширение, а расширение порождает строительство — овинов, винокурен, конюшен, заборов, складов. Заметив: эка! что за шустрая вокруг закипела деятельность! я, не медля, начал всем набиваться в плотники. И вдруг оказалось, что на меня большой спрос. Мур, со своей стороны, не мог нарадоваться: в роли устройства, сдаваемого напрокат, я оказался его главной статьей дохода, и счастливее его от этого был только я сам, поскольку теперь мне не грозил ни лесоповал, ни помойные ведра, ни хлопковое поле. Настало время вполне сносной жизни. Следуя этою новой стезей, я помог превратить хлев Тревиса в колесную мастерскую (а было это всего лишь за год до того, как тогдашний мой хозяин умер, и по брачному соглашению, о котором я уже говорил, я стал собственностью Тревиса). Кроме того, в окрестностях Кроскизов я приложил руку к возведению по меньшей мере трех амбаров и двух винокурен; под Иерусалимом спланировал и построил для майора Ридли замысловатое приспособление из деревянных шлюзов и каналов, подводивших от запруженного ручья к

его уборной воду, под напором которой результаты посещения сего заведения, стоило дернуть за цепочку, весело уносились куда-то вниз и в другое водное русло, — получился истинный водопроводный шедевр, за который я удостоился от майора неумеренных похвал и пары вполне еще пригодных к носке щегольских козловых сапожек с барской ноги; я же соучаствовал и при постройке в Иерусалиме нового арсенала местного ополчения (по чистой случайности визнавав таким образом секрет доступа в это помещение и получив сведения о том, где хранится каждое ружье и каждый ящик с боеприпасами); да и у Кэтрин Уайтхед, таким же образом арендованный, провел я невесть сколько дней, несмотря на неутрахающую неприязнь ее сына Ричарда, возмущенного моими притязаниями на священство. Зато его мать ценила мои дарования столь высоко, что готова была Муру, а затем и Тревису приплачивать за мою работу еще и сверх положенного. Для нее я спроектировал новый хлев для породистых коров (я помогал его также и ставить), потом еще конюшню и смыв для уборной, который я устроил на том же принципе, что и славный механизм, собранный для майора Ридли, но на сей раз воду я провел от ветряного насоса. Частенько выступал я там и в роли камердинера, и кучера.

Миссис Уайтхед была женщиной строгой, держалась холодно и отчужденно, и любимый ее архитектор редко когда удостоивался ласкового слова. При всем при этом она была неукоснительно справедлива и честна, и не терпела дурного обращения с неграми. Несколько раз она похлопала меня по руке, выдавив из себя слабую, отстраненную улыбку — так она выражала похвалу. Под конец я даже перестал чувствовать к ней враждебность — начал смотреть на нее с безразличием, как смотрят на пень, который предстоит выкорчевать.

И все же тот период моей жизни прошел как бы под знаком раздвоения мира; внутренне, в умственном и духовном смысле, я будто сидел на двух стульях — одна часть меня обитала в суетливой повседневности, в руках сменяли друг друга молоток, пила, тесло и рубанок, язык твердил “Да сэр!”, с наивозможнейшим добродушием и готовностью одинаково приемля хулу и похвалу белого начальника; неустанно я изображал из себя безобидного малого, ниггера, слегка тронувшегося умишком на почве религиозности, но при том *настоящего виртуоза*, коснись дело всяческих деревяшек и гвоздей; другой же своей частью я весь был во власти того лесного знамения, каковое, отходя в прошлое, нисколько не теряло значимости, наоборот, все больше наливалось грозной пророческой силой. Этой второй своей ипостасью я предавался посту и молитве, неустанно и горячо просил Господа об откровении, о водительстве, о следующем знамении. Я ждал как на иголках. Уверенный, что Бог надоумил меня, *что* я должен делать, я совершенно не представлял себе ни *как* выполнить это уготованное мне кровавое служение, ни где, ни в какой срок.

Потом, однажды утром в конце зимы 1829 года, без всякого знамения, просто в приливе вдохновения столь восхитительного, что оно явно было ниспослано свыше, я определился с тем, *как* и *где*, так что только вопрос о том, *когда*, остался неясен.

В тот день, якобы занятый починкой стола в библиотеке миссис Уайтхед, я наткнулся на топографическую карту округа Саутгемптон и местности, примыкающей с востока. Времени изучить карту у меня было вдоволь, и несколько часов спустя я изыскал возможность сесть и заняться ее копированием, для чего воспользовался огромным чистым листом пергамента и лучшим гусиным пером из тех, что миссис Уайтхед держала для письма.

Первый я украл, второе позаимствовал. Карта прояснила мне то, что прежде витало в мозгу лишь как благая надежда, как предположение, которое теперь подтверждалось: прорыв к свободе, в смысле, по крайней мере, чисто географическом, был вполне возможен. При благоприятном разрешении прочих привходящих проблем такой прорыв должен осуществиться вполне успешно. Не так уж все будет просто, конечно... Я понимал, что от меня потребуется напряжение всех умственных и душевных сил, чтобы выполнить то, к чему я столь очевидным образом призван Богом и судьбой.

Конец дня я провел запершись в библиотеке. Ричард уехал на совместную с паствой верховую прогулку, но миссис Уайтхед была дома. Это опасно. Если бы она заметила, что я заперся, последовала бы сцена малоприятная: “Что это ты там делал взаперти?” — “Дык, мисс Кати, это не я, это замок, он сам, того-этого, взял да и защелкнулся!” — но тут уж ничего не попишешь, пришлось идти на риск. По мере того, как копия карты становилась подробнее, детали моего грандиозного плана тоже стали обретать четкость удивительную. Я не мог дожидаться, скорей бы уйти восвояси и все записать.

Лихорадочно покончив с картой, я сунул оригинал в ту книгу, где нашел его, затем сложил копию так, чтобы вынести ее на животе, и, сунув под рубашку, прихватил ремнем. В довершение дела я немного постоял у окна на коленях, помолился, возблагодарив Господа за откровение; наконец встал, отпер дверь и вышел вон.

Я уже шел по двору к комнатке конюха при конюшне (то было вполне приличное помещение с очагом и тюфяком, набитым соломой; Уайтхеды его обычно предоставляли мне на время моей работы в их хозяйстве), как вдруг услышал, что с бокового крыльца меня зовет мисс Кати. Стояла типичная для перехода от зимы к весне



серая, противная туманная погода — сыро, голо, промозгло и зябко. Мисс Кати стояла, кутаясь в шаль — сухопарая, со следами былой красоты, очень белая женская особь средних лет; она слегка поеживалась, устремив на меня хмурый взгляд вдовьих безжизненных глаз. Волосы, расчесанные на пробор посередине, седеющими завитками падали ей на плечи. Все еще увлеченный мыслями о карте и о своих планах, я даже рассердился, увидев женщину: какое право она имеет в такой напряженный момент сбивать меня с мысли!

— Да, мэм? — пробормотал я.

— Ты уже починил там столик? — спросила она.

— Да, мэм.

— Любимый столик был капитана Уайтхеда. Бывало, он писал за ним. Уж сколько раз я пыталась его чинить, а он все ломается. Ты уверен, что он снова не развалится? За него, вообще-то ведь, хорошую цену должны дать.

— Да, мэм.

— Как ты его починил?

— Я в него три дубовых штыря вставил. Тот, кто чинил его до меня, просто клеил столярным клеем и обматывал тонкой проволокой, неудивительно, что все ломалось. Такой славный ореховый стол — тут штыри нужны, да покрепче. Больше он не сломается, это я вам обещаю, мисс Кати.

Никоим образом не принадлежала она к числу худших белых, но почему-то — быть может, всего лишь потому, что сбивала меня с мысли, — в тот момент у меня к ней такое было чувство ненависти, будто я острый камень проглотил. Еле я заставил себя на нее глянуть — подумалось: вдруг она разглядит во мне эту ненависть, которая так просится наружу, что даже на лбу выступила в виде крошечных воддыриков пота.

— А со стулом как, ты приступил к нему?

— Нет, мэм, все время ушло на столик.

— Ну что ж, завтра тогда не ходи с Джеком и Эндрю ворота ставить, а лучше ножки к стулу приделай. Кстати, Джек все равно болеет. Этот черномазый половину зимы проболел. — Досада тенью пробежала по ее лицу, губы сжались. — А еще завтра...

— Мисс Кати, — вклинился я, — завтра мне пора возвращаться к мистеру Муру. Срок аренды кончился.

— Истек срок твоей аренды? — всполошилась она. — Как, не может быть! Я же брала тебя до восемнадцатого.

— Да, мэм, — ответил я, — но сегодня как раз оно и есть — восемнадцатое число.

— Да ну, разве... — в замешательстве она было вскинулась, хотела возражать, но спохватилась и вздохнула. — Н-да, ты, кажется, прав. Сегодня восемнадцатое. А ты... — Она снова примолкла и, спустя несколько секунд, говорит: — Жаль, что тебе надо возвращаться. Таких мастеровитых ниггеров больше и нет нигде. А на тебя, наверное, как всегда, кто-нибудь уже в очередь записался?

— Да, мэм, — сказал я, — маса Том сказал, что майор Ридли хочет большой луг для нового стада огородить и ждет, чтобы взять меня на две недели заборы ставить. Пока зелени нет. — Все трудней становилось мне следить, чтобы от ненависти у меня не дрогнул голос. Ну что она лезет ко мне, только думать мешает!

— Что ж, — вздохнула она, — лучше бы, конечно, если бы ты полностью был моим. Мистеру Тому Муру я предлагала за тебя большие деньги, однако он, похоже, знает, на какую золотую жилу попал. Обычно-то черномазых работать не заставишь, а тут такой мастер, да и дневной урок выполняешь честно, просто чудо какое-то.

— Стараюсь, мисс Кати, — ответил я. — Апостол Павел сказал, что каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога. Я в это верю.

— Да ну тебя! — отмахнулась она. — Ты мне зубы-то Писанием не заговаривай. Хотя ты, конечно, прав, кто же спорит! И как это я все дни спутала? — твердила она свое. — Мне так хотелось, чтобы ты стул починил, а потом взял под вечер экипаж да съездил в Иерусалим за маленькой мисс Пег. У нее ведь каникулы начинаются. На перекладных едет из Лоренсвиля. Я-то надеялась, ты съездишь, подберешь ее. Другим неграм я ни за что лошадей не доверю.

— Да, мэм, — сказал я. — Очень жаль.

— Но я скоро опять тебя добуду, можешь не сомневаться. — Она выдавила из себя одну из своих отчужденных, мертвенных улыбок. — Полагаю, тебя здесь кормят гораздо лучше, чем у мистера Мура, не правда ли?

— Да, мэм, — нисколько не кривя душой, согласился я.

— Да и — чем у майора Ридли, могу поклясться!

— Да, мэм, — снова подтвердил я. — Это правда.

— Ах, какая жалость, что я так запуталась в датах. — Ты уверен, что сегодня восемнадцатое?

— Да, мэм — у вас же календарь висит в библиотечной.

— Кроме тебя, я никому бы не доверила везти мисс Маргарет или мисс Харриет, или мисс Гвен, или кого-либо из внучат. Дрожь берет, как представляю себе экипаж, где сидят мои милые детки — как он несется по колдобинам да буеракам, когда на козлах какой-нибудь Эндрю или Джек. — Сделав паузу, она пристально на меня посмотрела; я отвел глаза. Потом продолжила: — А мистер Том Мур — он ведь из чистого упрямства отказывается продать тебя мне! Ты согласен со мной?

Тут пришлось над ответом задуматься.

— Наверное, мисс Кати, — сказал я, — маса Том все же так больше зарабатывает, в аренду меня сдавая. Ну, то есть в конечном счете.

— Что ж, думаю, в конечном счете ему придется смириться с неизбежностью и продать тебя человеку с деньгами и положением — если не мне, то кому-то еще. Не дело столь одаренному черномазому жить в такой берлоге, при всем моем уважении к твоему хозяину. Тебе сколько сейчас? Лет двадцать пять?

— Двадцать восемь, мисс Кати, — ответил я.

— Ну, в таком случае ты должен очень благодарить судьбу. Представь, сколько молодых негров лишены твоих способностей и ничего не умеют, кроме как орудовать мотыгой или метлой, да и то кое-как. Полагаю, ты далеко пойдешь. Ну хоть в том плане, что ты, например, понимаешь все, что я тебе говорю. Даже если тебя не продадут кому-нибудь вроде меня, тебя будут сдавать внаем людям моего уровня — тем, кто может оценить тебя по достоинству, хорошо кормить, тепло одевать и о тебе заботиться. Нет никаких причин опасаться, что тебя продадут на юг — даже сейчас, когда в Алабаме и Миссисипи на черных такой спрос, а здесь лишние рты совершенно ненадобны...

Она все болтала, а я смотрел, как ее негры Эндрю и Том бредут через поле, как они, взявшись с двух сторон, тащат козлы, тяжело нагруженные громоздкими дубовыми брусьями, сложенными штабелем, который покосился, и груз вот-вот свалится наземь. *On-na!* Один за другим брусья с глухим стуком попадали. Косорукие бедняги мало-помалу вновь возвели штабель на козлах, взялись и понесли; опять они, ссутулившись, спотыкаясь, плетутся через поле — два неказистых силуэта на фоне фриза из полоски леса под зимним небом, идут, будто куда-то за край земли, черные и безликие, как древние символы абсурдности и тщеты. Коротко вздрогнув от холода, я подумал: зачем вообще люди живут? Зачем люди быются всю жизнь, держась за воздух, раз-

махивая руками в пустоте? На миг меня даже боль пронзила.

Верхом на жирном, неповоротливом буланом мерине на скотный двор въехал Ричард Уайтхед и, помахав рукой, манерно, поставленным пасторским дискантом протянул:

— Ма-маа! Доброго утречка!

— Приве-ет, приве-ет, мальчик! — отозвалась она. На какое-то время задержавшись на сыне взглядом, она перевела его на меня и говорит: — А ты знаешь, я ведь за тебя мистеру Тому Муру тысячу долларов предлагала! *Тысячу долларов.*

Как ни странно, эта женщина говорила со мной по-своему уважительно, даже с намеком на нежность. Таким елеиным голосом, что ее вкрадчивую благосклонность в иных обстоятельствах можно было бы принять за выражение материнского чувства. Чуть не подлизывалась к черножопому. В глубине души я не желал ей зла. Однако ни разу не вышла она за пределы грессбуха, не заговорила ни о чем, кроме смет, товарных квитанций, накладных, балансовых отчетов, расходов, приходов и денег как таковых, — как будто существо, к которому она адресовалась и вокруг кого сплела такой кокон намерений, было не созданием Божиим с губами, ногтями, бровями и гландами, а какой-то волшебной тягловачительной машиной. Молча вглядывался я в ее любезное удлиненное лицо, белое, как сало. Вдруг вспомнил о документе, спрятанном под рубашкой, и вновь накатила ненависть. Внезапным холодом обдала мысль: *Надо же, эта белая плоть скоро будет мертва.*

— Надеюсь, ты понимаешь, какие большие деньги тысяча долларов, — продолжала бубнить она. — Таких денег не платят, если не считают, что берут вещь стоящую, вещь драгоценную. Ты ведь понимаешь это, Нат, не правда ли?

— Да, мэм, — отозвался я.

— Нет, — проговорила она после паузы, — я знаю точно, для черномазого ты далеко пойдешь.

*§ 1. Одна из первых целей — миссис К. Уайтхед. Дар Божий. Захват ее дома обозначит конец первой фазы кампании. Оружейная комната рядом с библиотекой. Память о покойном муже: 15 мушкетов, фузей и охотничьих ружей, 6 кремневых пистолетов; кроме того: 4 шпаги, 2 палаши, 4 малых кинжала, много пороха и свинца. Взяв дом и уничтожив обитателей, с захваченным оружием мы сможем противостоять неприятелю.*

*Если начать дело в полночь в Кроскизах (у Мура? у Тревиса?), то до миссис У. можно добраться на следующий день к полудню. В усадьбах по дороге насчет оружия и пр. пожить почти нечем, но их надо захватить, а обитателей уничтожить. А то забьют тревогу. Полученное вооружение позволит к полудню 2-го дня двинуться маршем в сев.-вост. направлении на Иерусалим. А также, конечно, 8 Моргановских скакунов у миссис У. в конюшне плюс 2 лошади тягловых. Буде позволит время, волов и остальную домашнюю скотину уничтожить.*

*Убив обитателей, жечь дома или нет? По трезвом размышлении, ответ — НЕТ. Хорошо бы, конечно, но огонь и дым нарушат скрытность. А убивать надо всех. Всех неопустительно.*

*§ 2. После миссис У. следующая главная цель — Иерусалим. Арсенал. Старый негр Тим, который там на подхвате, сказал, что 2 мес. назад получили больше 100 мушкетов и фузей, 800 фунтов пороха, неизвестно сколько картечи в холщовых мешках, но кол-во значительное. Также 4 малокалиберные пушки, способные стрелять прямо с телеги. Могут понадобиться позже для обороны — отстреливаться картечью.*

*Вместе с оружием хранится много пил, топоров и др. шанцевого инструмента. Позже пригодится.*

Дальше конюшня ополчения — 10 лошадей, в т.ч. 6 гнедых берберских скакунов; для авангардного разезда лучше не придумаешь: послать в разведку на вост. от Иерусалима. Войти в арсенал нетрудно — двери на замках, а косяки слабые. Часового убить, двери с косяков срывать ломом. Город обречь огню. Так обращаю я лице свое и обнаженную правую руку свою на осаду Иерусалима, и буду пророчествовать против него.

§ 3. Цель окончательная — “Гиблое болото”. У Иисуса Навина было больше войска, но не выступал он в сокрушительный поход, не имея убежища для ретирады. Действовать, как Иисус Навин, когда он напал на объединенные силы пяти царей — Лахисского, Еглонского и пр. — можно только если есть стан крепкий, каким был Галгал. Засим:

“Гиблое болото”. Лежит к востоку—юго-востоку от Иер. 35 миль, т.е. 2 дня пути или меньше, если передовой разезд на лошадях. Дорога от Иер. до ближ. края болота, согласно карте, хорошая, крм. того, это подтверждают негры, скот. я говорил, бывалые той дорогой в Саффолке и Норфолке. Один, зато единственный, препон — переправа через речку Блэкуотер мжд. округами Саутгемптон и Айл-оф-Уайт; в августе брод должен быть мелок. Выяснить, нет ли парома.

Дождусь ли знамения Господня в августе? Какого года?

Для ретирады моего войска “Гиблое болото” местность весьма способная. Пустыня нехоженная. Обширностию такова, что пределы уму непостижимы. По карте 30 — 35 миль длины на сев.-вост. и 20 миль наиб. ширины. В незнакомой местности у обороны все преимущества. Получше вспомнить лекцию, которую прочел маса Сэмюэлю тот полковник Персонс или Парсонс о войне 1812 года, когда бились в болотах под Вашингтоном. Уйдя в болота, мое войско, экипированное ружьями, боеприпасами и пр., сможет бесконечно долго расстреливать усилия неприятеля, ищущего и нападающего. Другие негры штатов Виргиния и Сев.Каролина, может быть, даже Юж.Каролина к нам присоединятся?!

Негры из Иерусалима, бывалые там на охоте с хозяевами — Долговязый Джим наприм., который из дворовых доктора Массенберга — все в один голос говорят, что Болото это чудо что такое. То же говорили Чарли и Эдвард после медвежьей охоты с полковником Бойсом. Еще поговорить с Эдвардом. Вроде, там довольно есть высоких сухих мест, хотя по большей части болотисто и саванна. Много ручьев с хорошей водой и знатное множество дичи — оленей, медведей, боровых вепрей, индеек, уток, гусей, бурундуков, зайцев, енотов и т.п. Рыба кишмя кишит. Форель, окунь, лещ, зубатка, угорь. Есть земли, пригодные для огородов. Естественно, бесконечные запасы леса для укывищ, палисадов и т.д. От “Гиблого болота” рукой подать до Атлантики. Может, я все-таки увижу океан!

Много змей, особенно водяных гадюк. Не говорить этого Харку!!!

§ 4. Наипаче важна полная неожиданность, поэтому сподвижникам планы не открывать до последнего момента. Надеюсь, к августу Господь даст знак.

§ 5. Проблема пополнения. Будет ли приток к нам? Недавняя заметка в “Саутсайд Репортере”: там сказано, что черные в С-гемптоне по численности превосходят белых в отношении 6/4; я еще удивился, думал наоборот. Это к лучшему.

§ 6. Бесконечное терпение и вера в Бога.

§ 7. Терпеливо ждать Его последнего знамения.

§ 8. Ни в коем случае не допускать надругательства над женщинами. Не следует нам делать с их женами того, что они делали с нашими. Кроме того, нам дорого время.

§ 9. Убивать всех. В плен не брать, пощады не давать, жалости не поддаваться. Всех. Иначе нельзя никак.

§ 10. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе. Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся! Аминь. Господи, когда?



Число моих последователей — тех, кто пришел ко мне через библейский класс, собиравшийся на задах рынка, — достигло человек двадцати. Многим неграм почти совсем или даже вовсе не было дела до учебы, они меня едва слушали — эти быстро отпадали, сливаясь с шумливой толпой на галерее. Но другие оставались, и, когда я говорю “последователи”, я понимаю тех негров (в том числе трех-четырех свободных), которые показали, что верят в меня и тяготеют ко мне — показали либо тем, что внимательно и вдумчиво слушали мои рассказы (где я излагал то священную историю, то события истории новейшей, сколько я был о них наслышан еще со времен лесопилки Тернера), либо жадной, неуемной готовностью учиться азам географии (мало кто из них знал даже, что они живут в стране под названием Виргиния, и большинство считало землю плоской как стол), радостным любопытством к устройству небес (кое-кто думал, что звезды так близко, что их можно сшибить зарядом дроби), либо тем, как они замирали, когда я рассказывал им о Наполеоне Бонапарте, чьи подвиги, нескончаемо прославлявшиеся старшими Тернерами и их гостями, явились частью моего каждодневного обучения в детстве и кого я хитроумышленно превратил в трехаршинного черного гиганта, грозу всех белых. Боже, как силился я вложить в их невежественные головы образ черного Наполеона! Естественно, я старался сеять также и семена негритянской воинственности, и был вознагражден, видя, как под моим мудрым водительством они начинают сочувствовать этому кровавому завоевателю. Подобно Иисусу Навину и Давиду (которые в моих коварных устах тоже превратились в негров), он селл разгром в мире белых, что твой ангел Апокалипсиса. Я рисовал Наполеона в виде африканца, восставшего, чтобы уничтожить и смести с лица земли белые племена Севера. Пусть по-детски, но они поверили

в этого черного полубога; когда я рассказывал о его завоеваниях, их глаза блестели, и мне казалось, что в обращенных на меня взглядах я вижу нарождающееся мужество — первые искорки, едва заметные проблески кровожадного пламени, и когда-нибудь оно вырвется и взорвется по одному лишь мановению моей руки. Впрочем, от того, чтобы учить этих простых и неграмотных негров чтению и письму, я воздерживался. Кому за двадцать, кому за тридцать — староваты для таких изысков; кроме того, ну какой им с этого прок, в конце-то концов? И, разумеется, ни словом, ни знаком не намекал я им на истинные мои великие цели. Теперь, когда близился роковой час, довольно было, чтобы они преклонялись передо мною, беспечерь не жились в моем сиянии — а я знал, что изливаю на них свет непреборимой мудрости и мощи.

Моя “четверка верных”, как я их называл — тех, в чьей надежности я крепче всего был уверен, и кто, когда пробьет час, сможет стать командирами в моем войске, — состояла из Харка, Нельсона, Генри и Сэма. Из них двое, Нельсон и Генри, были самыми старшими среди моих адептов, и я ценил в них не только опыт прожитых лет, но и природный ум, полученный, видимо, от рождения. Я чувствовал, что они признают за мной полное интеллектуальное превосходство и право увлекать и водить, но они не трепетали передо мной, как некоторые другие. Язык у них в моем присутствии не отнимался, и между нами происходили ничем не стесненные, свободные беседы, причем у меня хватало мудрости, чтобы иногда помолчать и послушать, извлекая из их советов немалую пользу. Нельсон, которому перевалило за пятьдесят, при всей своей ненависти к белым и неводержанности на язык, был медлителен и невозмутим, двигался неторопливо, говорил серьезно и умно, а надежен был, как колода из мореного дуба. Я чувствовал, что могу



доверять ему: любой приказ он выполнит без колебаний. То же самое с Генри, который, несмотря на глухоту, а может быть благодаря ей, ориентировался в окружающей обстановке с чуткостью, поистине звериной, лучше всех негров, кого я когда-либо знал. Приземистый и коренастый, черный как смолокуренная яма, он был моложе — лет сорока. Кто-то из негров уверял, будто Генри чует, где копят грудинку, за пять миль, способен по следу опоссума идти не хуже гончей, а там, куда он укажет корявым пальцем ноги, можно копать смело: в земле обязательно окажется тайное гнездо, где черви для наживки кишмя кишат. Чуть ли не единственный в этом плане из моих учеников, он ревностно относился к религии, так что его внутренний мир, несмотря на кладбищенскую тишь, лучился светом и кипел работой ума и фантазии. Когда я говорил, его губы двигались и трепетали, к тому уху, что получше, взлетала ладонь ковшиком, а когда я рассказывал о какой-нибудь битве в древнем Израиле, он не сводил с меня горящих, восторженных глаз; я чувствовал, что из всей моей негритянской компании никто так не предан мне, как Генри, за исключением, разве что, Харка. Но было нечто поважнее их опыта и способностей, что заставляло дорожить Нельсоном и Генри и позволяло безоговорочно доверять им. Дело в том, что они оба (подобно Сэму, желтокожему цветному, младшему из четверки верных, отчаянному смельчаку и опытному беглецу, который у меня был самый предприимчивый, самый способный из всех), оба так упивались своей ненавистью и гневом, что готовы были из любого белого вырезать печень, угрызений совести при этом испытывая не больше, чем если бы потрошили кролика или хряка.

Спроси среднего негра, готов ли он убивать белых. Если он скажет да, будь уверен: перед тобою беззастен-

чивый хвастун. Однако с моей четверкой верных дело обстояло иначе, у каждого были причины для самой свирепой ненависти. Нельсона неволя довела почти до безумия. По чистому невезению складывалось так, что его без конца продавали — чуть ли не десять раз; дети росли неизвестно где, а то, что сам он в уже не юном возрасте оказался в собственности у зловредного и глупого лесоруба (который однажды ударил его по лицу, а Нельсон возьми да и дай сдачи), он ощущал как бедствие совсем несносное; изнывая от боли и отчаяния, он только и ждал от меня сигнала к решительным действиям. Гнев Генри был иным — более спокойным и терпеливым (если гнев может обуздываться терпением), но не менее неукротимым; Генри вынашивал его в почти безмолвном мире своей глухоты. Потеряв слух в детстве после того, как его ударил по голове пьяный надсмотрщик, он с тех пор слышал лишь шорохи и стуки, и память того давнего несчастья каждодневно разжигала его тихую ярость. Каждый еле воспринимаемый им крик птицы, неслышимый детский голос, каждое пустое беззвучие на берегу звонкого ручья напоминало ему о том тридцатилетней давности неотмщенном надругательстве: наверное, ему казалось, что в момент, когда он прольет кровь белого человека, к нему почтовым голубем вернется звуковая палитра Божьего мира.

Ненависть Сэма была самой простодушной: подобно посаженному в клетку зверю, он знал только одно: сквозь прутья на него время от времени падает мрачная тень существа, которое не приносит ему ничего, кроме бессмысленных мучений, и надо сделать так, чтобы это существо, то есть Натаниэль Френсис, исчезло из его жизни. Вырвавшись, он прямиком вцепится мучителю в горло и убьет его, а потом станет рвать в клочья всех, кто на него похож. Что касается Харка с *его* ненавистью,

то, конечно, было и у него свое: его жену и ребенка продали на юг; именно этим обстоятельством я воспользовался, чтобы перебороть его застарелую покорность, подорвать в нем детский страх перед белыми и трепет в их присутствии. Сделать из Харка добровольного убийцу было не так легко, не сразу удалось мне вселить в его великодушное сердце истинную ненависть. Не заставляй я его непрестанно думать о том, как продали его жену и ребенка, может, у меня бы ничего и не получилось. Зато Харка я держал в руках крепче всех других.

Все пятеро мы часто собирались вместе, главным образом воскресными вечерами, которые почти круглый год бывали у нас свободны. Сэм, Генри и Нельсон жили в окружности четырех-пяти миль от Мура, так что нам нетрудно было собираться на моем потайном пригорке в лесу. За эти годы мое укрытие претерпело большие переделки. То, что вначале было простым шалашом из соснового лапника, обрело крышу из бросовых досок, проконопаченных со смоляным варом, который я выпрашивал или крал у своих нанимателей, и превратилось в уютную обитель, вместительное и теплое пристанище, в нем даже окна появились со стеклами (их Харк натаскал от Тревиса), был гладко выструганный дощатый пол и стояла ржавая, треснутая, но вполне пригодная чугунная печь — ее однажды в воскресенье Нельсон уволок у кого-то из дома, пока хозяин ходил в церковь. Оборудование убежища довершала яма для барбекю в неглубокой ложине по соседству; с таким поставщиком, как Харк, мы (точнее, все кроме меня — я предпочитал соблюдать умеренность и воздержание) не переставали объедаться краденой свиной. В эти долгие вечера, едва мы там расположимся и потечет беседа, я сразу ловко и невзначай вводил разговор к теме группового побега. Уже тогда я подумывал о Гиблом Болоте; еще до того, как ко мне в руки попала карта,

оно представлялось мне отличным убежищем для небольшой компании решительных и привычных к лесной жизни негров: обширное и пустынное (насколько обширное, я тогда понятия не имел), нехоженое и труднодоступное, безлюдное, как в первый день творения, при всем том оно изобилует дичью, рыбой и ручьями с отличной питьевой водой, а значит, вполне способно дать приют компании смелых, предприимчивых и выносливых беглецов, которых может навсегда укрыть своей буйной зеленью, точно крепость защитив от преследования белых. Сперва беглецы пересидят в чащобах, потом, когда о них, в конце концов, забудут, покинут болото и после короткого похода на север выйдут к Норфолку, где поодиночке или все вместе постараются тайком проникнуть на торговое судно, направляющееся в северные штаты. Сложноватая схема, нет слов, — полно нерешенных проблем, скрытых опасностей и невыясненных деталей. Но я был уверен, что с Божьей помощью побег возможен.

Вот, стало быть, как все начиналось. Когда тем немногим, кто составлял ядро компании, я изложил этот план, они премного воодушевились. Одержимые ненавистью, мятущиеся, до полусмерти замученные опостылевшей неволей, они были готовы связать судьбу с кем угодно, будь он хоть леший, хоть кикимора болотная, лишь бы порвать с миром белых людей. Терять им было более нечего. Вне себя от радости, они горели нетерпением пойти за мной куда угодно и когда угодно. “Скорей бы!” — говорили их глаза, когда я рассказывал о своем замысле.

— Говори, когда! — прямо спросил Нельсон, а Беглый Сэм дико сверкнул глазами и проговорил с нажимом:

— Ч-черт! Да чего ждать-то!

Пришлось мне их успокаивать, взывать к осмотрительности и терпению, так что неумное рвение решено было до времени умерять.

— Я должен дождаться последнего знамения, — объяснил я. И добавил: — Время у нас есть. *Спешишь некуда.*

Эту фразу мне приходилось потом повторять из месяца в месяц.

Ибо не знали они, что за всеми разговорами о простом побеге скрывался у меня куда более емкий замысел, включающий в себя смерти, погромы, резню. Они не знали о моем лесном видении, не знали и того, что настоящий исход к свободе не под силу горстке негров, потребуется войско, и земля Саутгемптона должна пропитаться кровью белых. Не могли они знать этого, потому что на моих устах была печать. Но Господь скоро снимет ее, и они узнают — в этом я был уверен.

(Фрагмент воспоминаний.) Больше года прошло с того серого зимнего дня, когда я обнаружил карту. Опять я в библиотеке. Июнь. Вот и лето пришло. Вечереет. Опять я арендован миссис Уайтхед и занимаюсь установкой новых книжных стеллажей вдоль той стены, что до сих пор оставалась голой. Работа мне нравится — вырезаю паз, подгоняю к нему шип, соединяю, потом коловоротом сверлю обе детали и фиксирую железными скрепами. Вот и полка, а вот над ней и вторая. Несмотря на сумерки, работу не прерываю, тружусь в своем обычном неторопливом ритме. Вечер ласковый, на дворе тепло, в воздухе дымкой висит цветень, залиvisto щебечут птицы. Острый запах стружек, который я так люблю, настолько густ, будто вдыхаешь мелкие опилки, и от этого во рту сладковатый привкус. Почему-то мысли, которые обычно во время такой работы целиком обращены у меня к планам на будущее, сейчас совсем не о том. Я с удовольствием предвкушаю общий поход в лес на барбекю, сговоренный на воскресенье. Кроме четверки моих верных, там будут еще трое негров, которых Нельсон и

Сэм соблазнили бежать с нами на Гиблое Болото. Нельсон считает, что эти новобранцы будут нам полезны. Один, немолодой уже дядька по имени Джо, сказал, что хочет принять от меня крещение, и я с удовольствием думаю о предстоящем обряде. (Все же нечасто встретишь негра с духовными запросами, а такого, кто при этом, того и гляди, сделается убийцей — и подавно.) Погруженный в эти приятные размышления, я вдруг роняю коловорот, и сверло втыкается в мякоть левой ладони у большого пальца. У меня даже дух перехватило от боли. Но когда я извлек кончик сверла, почти сразу выяснилось, что рана пустяковая. Болит тоже не сильно, но вот кровь так и хлещет. Что ж, впервой мне, что ли? Не моргнув глазом я принимаюсь бинтовать руку тряпочкой, которую ношу на всякий случай в ящике с инструментами.

И вот, занимаясь перевязкой, я слышу голос из прихожей — это миссис Уайтхед:

— Дорогая, ну как же я пущу тебя куда-то кататься без манти! — В ее тоне нежная укоризна. — Настоящее лето еще впереди, вечера очень даже прохладные! А кто проводит тебя?

— Томми Барроу, — откликается мисс Маргарет, она где-то в коридоре, совсем рядом со мной. — Ах, ну должна же я отыскать это стихотворение! Надо ведь доказать ей! Где, говоришь, книжка лежит? Ну мама!

— На дальней полке, девочка моя! — слышится ответ. — Рядом с этой, как ее... маленькая такая, у самого окна.

В библиотеку влетает Маргарет. По большей части ее дома не бывает, она учится в гимназии, там и живет, так что прежде я видел ее лишь несколько раз. Занятый своей рукой, я все же не могу удержаться и во все глаза гляжу на прямую, грациозную спину семнадцатилетней отроковицы. Но не шелковистая копна лоснящихся русых волос так привлекает мое внимание и не веснушча-

тые девчоночьи плечи, даже не стан, туго стянутый первым корсетом, который я принужден увидеть, а тот факт, что она без юбки, в одних белых кружавчатых панталончиках по щиколотку, тех, что обычно бывают скрыты под подолом, и не будь я негром (а значит, существом предположительно невосприимчивым к столь откровенному зрелищу), никогда бы она не позволила себе разгуливать у меня перед носом в столь нескромном наряде. Она вся одета, до самых щиколоток, никакой наготы в помине нет, и все же эти белые панталоны создают впечатление распутной обнаженности. Внезапно меня охватывает неловкость, обдает горячей волной паники: куда глаза девать — смотреть как ни в чем не бывало или отвести взгляд? Я отвожу, но прежде, как ни старался я не смотреть, все же утыкаюсь глазами в смутное теневое раздвоение меж двух округлостей, туго натянувших ткань на юном упругом заду.

— Я просто знаю, там слово *упорна*, — громко говорит она, обращаясь то ли опять к матери, то ли в пространство. — Надо же доказать ей! — Хватает книгу с полки и, поворачиваясь туда, где я все еще сижу на корточках, лихорадочно листает. Неразборчиво что-то себе под нос нашептывает.

— Что, девочка моя? — откуда-то издалека спрашивает миссис Уайтхед.

На сей раз Маргарет не отвечает. Ее лицо триумфально вспыхивает, она тихо пищит от радости.

— *Упорна!* Я так и знала. Вовсе не *проворна!* Я Анне Элизе Воган двадцать раз говорила, что там за слово на самом деле, а она не верит, и все тут. Теперь могу доказать.

— Что-что, дорогая? — доносится дальний выкрик матери. — Я не слышу!

— *Я говорю...* — выкрикивает было Маргарет, но спохватывается и раздраженно передергивает плечами. —

А, ничего, — говорит она в пустоту и, вновь став естественной и спокойной, не в силах не похвастать победой, продолжает, обращаясь к единственному слушателю, который имеется в наличии, то есть ко мне: — Слушай! — говорит она. — Ты только послушай!

Теперь суетны пелены  
От глаз моих удалены,  
И стал способен видеть я  
Основы сущности ея:  
Ум ясен, мягок нрав, крепка,  
Упорна и легка рука —  
Сей совершенный образец,  
Провидел в Женщине Творец,  
Назначив тешить и царить,  
И светом ангельским дарить.

— Это Вордсворт\*, — поясняет она для меня. — Так-то вот: получается, десять центов я таки у Анны Элизы Воган выиграла! Ведь говорила же дурочке, что рука там *упорна*, а не *проворна*, а она не верит, да и все тут. А что если мне и еще десять центов выиграть?

Оторвавшись от тряпки, которой я старательно обматывал руку, исподволь быстро взглядываю вверх, вновь глазами упираюсь в панталоны и отворачиваюсь. Весь в поту. На виске бьется, чуть не лопается вена. Меня охватывает внезапная дикая ярость. Ишь еще святая невинность тут выискалась! Как она смеет так бездумно меня провоцировать? Безбожная белая дрянь.

— И знаешь что, Нат, может быть, ты мне с этим как раз поможешь. А выигрыш поделим! Правда — почему бы нам не поделить его пополам? Мама говорит, ты так хорошо подкован по Библии, наверное, ты знаешь. Мы

---

\* Вордсворт Уильям (1770–1850), англ. поэт-романтик.

с Анной Элизой поспорили насчет одного места, где про виноградники, которые в цвету, она говорит, будто бы это из “Ромео и Джульетты”. Ну скажи, Нат, правда же это из Библии? Ну *правда же?*

Едва держась, чтобы не глянуть вверх, я не отрываю глаз от правой руки, которой сжимаю левую. Ярость куда-то отступает. Стараясь, чтобы голос не выдал меня, после долгого колебания говорю:

— Вы правы, молодая хозяйка. Это место из Песни Песней. Там так: *“Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями”*. Так там сказано. Десять центов ваши, мисси.

— Ой, Нат! — вдруг вскрикивает она. — Твоя рука! У тебя *кровь идет!*

— Да ну, пустяки, мисси, — отзывается я. — Всего-то царапина. Немножко крови — ничего страшного.

Она подходит, она совсем близко, а я сижу на корточках, и эти белые панталоны я прямо чувствую (вижу? осязаю?), а она еще и тянется ко мне быстрыми нежными пальцами, берет меня за здоровую правую руку. Ее осторожная ласка отзывается во мне, как ожог, словно кипятком брызнуло, и я резко отдергиваю руку.

— Да не надо! — протестую я. — Это ничего, мисси, я *клянусь* вам!

Убрав руку, она неподвижно стоит со мной рядом. Я слышу ее дыхание. После паузы раздается тихий голос:

— Что ж, ладно, Нат, но руку тебе надо полечить. Обязательно. И спасибо за консультацию по Библии. Как только Анна Элиза Воган со мной рассчитается, я непременно дам тебе пять центов.

— Да, мисси, — говорю я.

— Так ты смотри, обязательно лечи, не запускай руку.

— Да, мисси.

— Иначе не отдам тебе пять центов, так и знай!

— Ты что там копаешься, мисс Пег? — слышу я голос ее матери. — Семь часов уже! Они сейчас приедут! Опоздываешь! Поторопись!

— Иду-иду, мама! — отзывается она. — Пока, Нат! — И голосок такой веселый-веселый.

Подхватила и упорхнула в этих своих панталончиках, под которыми упругая юная плоть так и проглядывает, розовым силуэтом светит из-под тонкой, чуть ли не марлевой, ничего не скрывающей, возмутительной вуали. Витает аромат духов, слабеет, пропадает. Я с пола не встаю, сижу на корточках в ласковых, пахнущих стружкой сумерках. Снаружи по-весеннему одурело чирикают, поют птицы. Я чувствую, как у меня по венам запястий бешеным горным потоком мчит кровь. Снова придя в ярость, я не понимаю, почему у меня так часто бьется сердце, и почему моя ненависть к Маргарет острее, чем к ее матери.

— *Черт ее побери*, — шепотом произношу я, но не как ругательство, а как просьбу, как мольбу. — *Черт побери ее душу!* — вновь говорю я и ненавижу ее при этом даже больше, чем пару секунд назад, а может, и меньше — перед глазами опять эти кружавчатые белые панталончики, и я уже не знаю, больше или меньше.

Однажды Мур, помогая корове разродиться, изо всех сил тащил теленка у нее из чрева, и тут произошел дурацкий и трагический несчастный случай: веревка вдруг порвалась, и мой хозяин — шарах спиной вперед, да с маху головой о столб, и череп у него лопнул, как арбуз. Естественно, в момент трагедии он был в стельку пьян. Полдня он продержался, да и преставился, погрузив меня после минутной скорби в сильнейший испуг. Мало что таит в себе больше опасностей для негра, нежели смерть



в семье хозяев, особенно смерть кормильца. Слишком часто между алчными наследниками разгораются настоящие войны — каждый кусок собственности все норуют друг у друга изо рта вырвать, и ко дню, когда подходит срок оглашать завещание, многие одушевленные предметы утвари оказываются прикованными к телеге, чуть не вскачь несущейся, например, в Арканзас: их уже продал на рисовую или хлопковую плантацию какой-нибудь родич, у которого бедняге и пробыть-то пришлось, может, подня, прежде чем тот сдал его перекупщику, а уж те вокруг так и роятся — стервятники, да и только. Какое-то время я тоже был по этой причине сам не свой от страха, который шел об руку с несносной думой о том, что, если меня продадут, мне не удастся выполнить великое служение, возложенное на меня Господом; в продолжение нескольких недель меня обуревало беспокойство и уныние, почти нестерпимое. Однако почти сразу к мисс Саре начал свататься Джозеф Тревис и вскоре получил согласие. Тем самым воплощенная в моем лице собственность, первоначально предназначавшаяся наследникам Мура (точнее, наследнику — сопляку Патнему), сделалась приданым и по заключении брака отошла к Тревису. И замурзанные домочадцы, среди которых я провел девять лет жизни, тоже переселились в несколько более благостную обитель по соседству, где, подселенный к Харку в его уютную комнатку за колесной мастерской, я и провел тот переломный и критический период жизни, который описал несколько ранее.

Эта последняя пара лет, как я отмечал уже, была для меня временем свободы и довольства наибольших с тех пор, как мне пришлось покинуть лесопилку Тернера. Не хочу сказать, что я пребывал в полной праздности. Работой в колесной мастерской Тревис меня, разумеется, обеспечивал, но у него, к счастью, мне приходилось больше

напрягать изобретательность, нежели надирать спину. Естественно, мне и прежде несколько раз случалось поработать у Тревиса, и уже тогда я почувствовал, как высоко он ценит меня в качестве мастерового. Рискую показаться весьма нескромным, но скажу: мысль домогаться руки мисс Сары, как я подозреваю, пришла ему в голову в первую очередь по причине того, что в ее приданое входил и я. Я смастерил ему множество замысловатых приспособлений для мастерской: циркульную пилу с ножным приводом, новые мехи для горна и красивый ясеневый стеллаж для инструментов, которым Тревис гордился больше всего остального оборудования и который исторгал из его обычно молчаливых уст самые безудержные похвалы. Получив в свое распоряжение местного гения, новый хозяин, в отличие от Мура, не очень-то спешил сдавать внаем мое брэнное тело, и за исключением нескольких случаев, когда миссис Уайтхед все же удавалось уговорить его временно со мной расстаться (да еще пару раз ему ее редкостно могучие волы понадобились, чтобы корчевать пни), я оставался в тихом и спокойном услужении у Тревиса и все время считал дни. Внутренне я весь горел. Пылал как факел! Не правда ли, странный парадокс: чем легче становилась моя жизнь, тем больше я горел желанием освободиться! Чем более пристойно и гуманно обращались со мною белые, тем острее становилось мое желание с ними разделаться!

Подспудно Джозеф Тревис был добронравным и приятным человеком; я это вынужден признать, несмотря на сомнения, которые возникали у меня во время тех периодов в недавнем прошлом, когда он брал меня напрокат у Мура. Уроженцем Саутгемптона Тревис не был. Вопреки всеобщей склонности переселяться с востока на запад, он, как ни странно, явился в округ с суровых склонов хребта Блю-Ридж. Морщинистый, светловоло-

сый, с резким лицом и впалыми щеками, он выглядел таким одиноким волком, которого пустыня воспитала так, что он может того и гляди наброситься: безумие проведенных наедине с самим собой месяцев и лет в его лице нет-нет да и проглядывало; он показался мне капризным, непредсказуемым, злобным брюзгой, из тех, что недовольство жизнью срывают на неграх, донимая их плохой едой, тяжелой работой и дикими переменами настроения. Первые годы жизнь Харка у него была весьма неприглядна. Кроме того, в те времена он совершил непростительную вещь — продал на юг жену Харка Кроху и их сынишку, предпочтя укоризненные взгляды, мрачность и печаль Харка пусть сопряженной с расходами, но вряд ли вконец разорительной перспективе кормить два лишних рта. Почему он сделал то, чего никогда бы себе не позволил ни один уважающий себя местный рабовладелец, сказать трудно — то ли еще не совсем отделился от привычек, укоренившихся во время жизни в горах, то ли просто не знал здешних обычаев. Мне и раньше было известно, что самые бессердечные надсмотрщики получают из тех белых, что выросли за пределами территорий, где рабство в традиции: как услышишь, что какой-нибудь новый управляющий жуткая сволочь и подонок, так непременно он из Коннектикута или Нью-Джерси! Сие, опять-таки, неведомо, но, может быть, и Тревисова жесткая мораль сказала тут свое слово: по его представлениям, раз Харк с подругой всего лишь “проскакали вокруг деревяшки”, и их “брак” никакого законного подтверждения не имеет, то и он никаких этических норм не нарушил, продав “жену” и отпрыска, который, если на то пошло, всего лишь малолетний черномазый ублюдок. Такими самооправданиями и до него пользовались многие, без зазрения совести и несчетное число раз. Как бы то ни было, по глупости ли, по недо-

мыслию, незнанию или Бог знает еще почему, но Тревис это сделал, и сделанного не воротишь.

Однако, повторяю, он изменился самым разительным образом. Вновь посетивший наши края достаток позволил ему вернуться к ремеслу, которому он обучался в детстве. И на склоне лет он стал вдруг процветать (или, лучше сказать, перестал чахнуть). При мне он был не только добрым, но и щедрым: принял меры к тому, чтобы у нас с Харком в холостяцком нашем жилище за мастерской было уютно, следил, чтобы нам вдоволь доставалось остатков с господской кухни, и никому из домочадцев не позволял нас оскорблять (во всяком случае, действием) — в общем, проявил себя как хозяин, о котором каждому рабу только мечтать. Сперва я удивлялся, но загадка его перерождения была понятна без того, чтобы долго над ней думать. После стольких лет неблагоприятного крестьянского труда, нищеты и одиночества (он был бездетным вдовцом), в пятьдесят пять лет, то есть почти в расцвете сил, он оказался вдруг в совершенном порядке: удачно женился на полненькой хохотушке, которая приятно скрашивала его дни, прекрасно зарабатывал квалифицированным трудом, только что родил сына и наследника, и даже негр у него был самый толковый во всем округе Сауттемpton.

Поздней осенью, за год до того, как я начал трудиться над сим отчетом, произошло мое знакомство с судьей Джеремией Коббом, но о нем я уже поведал во всех подробностях. Если помните, это было в день, когда Патнэм и мисс Мария Поуп загнали Харка на дерево. А через несколько месяцев, на исходе зимы рокового 1831 года, я, наконец, получил тот намек, то решительное соизволение, которого давно жаждал, после чего незамедлительно перешел к окончательной доработке и детализации планов, что наметились в общих чертах еще тогда, в уединении и тиши библиотеки миссис Уайтхед.

А вышло все так:

Зима стояла такая мягкая, что ее почти что и не было — ни снега не было, ни льда, и Тревис со своей колесной мастерской имел массу заказов. Теплая погода позволяла работать на дворе; в мастерской стало тесно. День за днем не только в мастерской, но и на всем утрамбованном, голом земляном дворе дым стоял коромыслом. Тревис, Харк и я при содействии двоих мальцов подмастерьев — Патнэма и Вестбрука — носились как заведенные в чаду и в пару, грели в горне огромные металлические обода, калили, пока железо не станет темно-красным, а потом двадцатифунтовыми кувалдами насаживали обручи на колеса. Шум, гром, пар, колеса, когда их гасишь в воде, шипят, кувалды грохочут, Харк что-то орет, дерево возмущенно трещит и скрипит под резко сжавшейся при охлаждении железной шиной. То была честная, здоровая, радостная работа — не сравнишь с каторгой в поле, где сплошь одна грязь и мерзость, так что, если бы не капризы и нытье Патнэма, не постоянные его издевательские приставания к Харку, мне бы и впрямь все в этой работе нравилось — ведь действительно, когда из грубых бревен и полос черного железного проката получаются аккуратные, с симметричными лучами спиц, идеально круглые, блистающие полировкой и шеллаком колеса, это как-то согревает душу. Работали подолгу, зато какое удовольствие доставляли получасовые перерывы ближе к полудню и вечером, когда мисс Сара выносила нам из дома на тарелке печенье и в кувшине сладкий сидр с палочками корицы! После такой паузы работа приносила еще больше удовольствия, и, как хозяин, Тревис начинал казаться мне еще более приемлемым.

Заказы шли со всего округа и даже из такой дали, как Саффолк и низинные районы Каролины; справляться с ними Тревису стало нелегко. Незадолго перед тем как

заполучить меня, он приобрел недавно запатентованное приспособление, позволяющее избежать трудоемкого обстукивания молотками раскаленного металла: вставляешь железную полосу, крутишь рукоять, и полоса гнется прямо в холодном виде. Появление этого устройства породило нужду в другом — чтобы быстрее распиливать дубовые и эвкалиптовые бревна из огромного штабеля на заготовки заданной длины. В конце декабря (это после Рождества уже было) Тревис в общих чертах обрисовал мне задание, и я принялся за работу над самым грандиозным своим сооружением: стал делать пилораму с ножным приводом, этакую потогонную машину, способную выжать все соки не только из дюжего негра, но и из среднего мула. Мне интересно стало показать, на что я способен, и я с жаром принялся за дело, обосновавшись рядом с мастерской под высоким навесом, где то Харк, то мальчишка Мозес помогали мне воздвигать сложную конструкцию. Одно за другим я вытачивал зубчатые колеса, собирал трансмиссии и предусмотрел даже такие изыски, как система противовесов, чтобы поменьше клинило пилу. Ничто не доставляло мне столько удовольствия, как уверенный профессионализм, с которым продвигался я в работе над этим проектом. Прикинув, что постройка пилорамы к концу февраля будет завершена, я спросил Тревиса, нельзя ли мне, когда все сделаю, получить несколько дней отдыха. Я сам не мог сказать толком, зачем мне это нужно, просто хотелось посидеть в своем лесном укрышкице и какое-то время уделить посту и молитве — за последние несколько дней работы над пилорамой я почувствовал, что дух Божий витает уже где-то поблизости.

В общем, мне разрешили. Я сказал хозяину, что хочу разведать новые места, где ставить силки на кроликов — на старой тропе уловы упали, кролики там стали осто-

рожнее. Тревис согласился: мои кролики — это его доход, какие тут могут быть возражения! Кроме того, в его сердце гнездились хотя и примитивное, но незыблемое понятие справедливости, и он знал, что отпуск я заслужил. Однажды в конце февраля, наложив к вечеру последний слой лака, я закончил работу над пилорамой. Встал на колени, вознес хвалу Господу за ниспосланную мне сноровку, как всегда я делал по окончании трудной работы, и без долгих проволочек отправился в лес, взяв с собой только Библию, карту, уже изрядно потертую, и несколько шведских спичек, чтобы разводить огонь.

Через три дня моего пребывания в лесу, на той же неделе в субботу после полудня началось полное солнечное затмение. С первого дня я постился, сидел у печки в своей обители, погруженный в Библию и молитву, пищи не принимал вовсе и только пил понемногу воду из ручья да жевал лавровый корень, чтобы унять спазмы, которыми сводило желудок. Обычно пост помогал мне гнать от себя искушения плоти. Не знаю, то ли завершение работы на меня на сей раз так подействовало, то ли еще что, но все первые дни меня донимали демоны и суккубы. Я то сидел внутри, то выходил, садился среди сосен, напрасно пытаясь гнать от себя грубое любострастие. Видения женской плоти преследовали, не отступали, с редкою силой разжигая во мне желание. От похоти я горел как в лихорадке. Никак не мог отрешиться от мыслей о негритянской девчонке, которую частенько встречал на улицах Иерусалима — пухленькой шлюшке, что каждую субботу становилась добычей очередного чернокожего парня: кожа почти светленькая, глаза круглые, нахальные, и попка на ходу подрагивает и играет. Грудастая, крутозадая, так и стоит перед глазами нагишом, толчками выпячиваясь ко мне коричневатым лоснящимся животиком, будто протягивая мне чуть высту-

пающий холмик лобка с комом спутанных черных волос. Хотя тресни, я не мог от нее избавиться, как-то отвести от себя; никакая Библия не помогала. *Что, птеничик, хочешь сладенького, ну-ка клювиком потыкайся в бутончик!* — нараспев произносит она слова, которыми, видимо, соблазняла и других, и вертит, вертит бедрами у меня перед носом, а когда принимается тонкими смуглыми пальцами поглаживать между ногами розовые оттопыренные складки, у меня неудержимо встает. В распаленном воображении руки тянутся погладить, обхватить ее гладкие ляжки и налитой зад, рот погружается во влажную промежность, и безбожные, безумные слова рвутся с языка: *Лизнуть. Дай. Пососу.*

— О, Боже мой! — вслух простонал я и поднялся на ноги, но и теперь желание не исчезало и даже не утихало нисколечко. Обливаясь потом, я целовал и обнимал холодный шершавый ствол сосны. — Хотя бы знать, *как это!* — вырвалось у меня что-то вроде мольбы к небесам.

Яростная жажда проникновения в женскую плоть (на сей раз виделась плоть белой девушки, какой-нибудь велеречивой русоволосой “мисси”, ее сахарно-белый светящийся живот; в ушах стоял ее крик — крик боли и наслаждения в момент, когда я прорываюсь в нее, а она судорожно охватывает меня сметанно-белыми ногами и руками), — этот раж, гон достиг напряжения внезапной дикой судороги, болезненного приступа, скрутившего все чувства в один узел с силой удивительной, невероятной. Мне все равно было, в кого, во что, лишь бы вонзаться — в пень, в землю, в оленя, в зверя, в птицу, в парня, в дерево, в камень, лишь бы пустить все, что есть во мне, горячими млечными сгустками в холодное синее сердце неба.

— Помоги мне, Господи, — еще раз громко простонал я, — хотя бы знать, *как это!*

Тут семя брызнуло, теплой струей потекло по пальцам, закапало; веки упали, скрыв от меня око дня. Дрожая и обдирая руки о шершавую, равнодушную грудь сосны, я сполз наземь.

Когда я открыл глаза, мысль, крутившаяся в голове, была лишь отчасти молитвой: *Господи, когда я выполню назначенное, мне придется завести жену.*

Конец дня и всю ночь я проспал. На следующий день, в субботу, я проснулся, чувствуя слабость и головокружение. Попил воды, пожевал корень лавра, а через какое-то время заставил себя выйти и сел с книгой, опершись о дерево. И вот тогда-то, работая над Иеремией (почему, предаваясь посту, я так любил читать Иеремию? — видимо, он, с его сухим и желчным нравом, хороший спутник голодному), — короче, вчитываясь в его главы, я и заметил перемену в небе. Свет померк, резкие тени позимнему голых деревьев стали расплываться, потеряли четкость контуров; стая вьюрков-оборвышей, прилетевших с недолгим визитом в конце зимы, прекратила чириканье и затихла в ложных сумерках. Серые безлистные деревья вокруг, мрачные как скелеты, погрузились в сумерки. Глянув вверх, я увидел, как, медленно угасая, солнце пожрало черный силуэт луны. В сердце у меня не возникло ни удивления, ни страха, лишь чувство открытия, окончательной всеподчиняющей ясности, и я встал на колени, закрыл глаза и принялся молиться, вдыхая сладковатый древесный дымок и, словно в омут, погружаясь во внезапное молчание леса. Минуту за минутой стоял я на коленях в этой мрачной загробной тиши; не видя ничего, я чувствовал, как тьма, напоенная кладбищенской мшистой сыростью, призрачным холодным облаком окружает меня.

— *Боже отмищений, Господи*, — зашептал я, — *Боже отмищений, яви Себя! Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым...*

Издадека сигналом донесся выстрел — одиночный негромкий гул стал взад-вперед прокатываться эхом по оголенным зимним лесным лощинам, делаясь все тише, тише, и сошел на нет. Что это: кто-то одинокий охотился в лесу, тоже увидел потемневшее солнце и выпалил со страху в окаймленный светом черный диск, летящий в небесах? Открыв глаза, я увидел, как солнце, казалось, отрывает луну с той же величавой неспешностью, с какой прежде заглатывало. Свет мало-помалу возвращался, изножем леса убегала тень, и на ковре палой листвы появлялись желтые солнечные вспышки. Повеяло теплом, вьюрки на деревьях вновь разразились криками, на голубизне неба победно и безмятежно воцарилось солнце. Вдруг меня охватило дикое предвкушение и возбуждение.

— Благодарю, Господи, — вслух сказал я, — что удалил Ты печать с уст моих.

Тем же вечером перед самым закатом навестить меня пришел Харк, принес миску овсянки с беконом, но я был еще чересчур взволнован и неспособен есть. Все, что я смог, это отправить его назад, чтобы он связался с Генри, Нельсоном и Сэмом и сказал им, чтобы завтра, то есть в воскресенье, в полдень они собрались здесь, у моего чтилища. Посопротивлявшись (он был обеспокоен моим состоянием: “Нат, — сказал он, — ты скоро так исхудашь, что тебя сдует ветром, да и все тут”), он повиновался. На следующий день Харк с остальными пришел, как было велено. Я предложил им сесть со мной у огня. Затем после молитвы перешел к делу. Сказал, что печать с моих уст удалена и получено последнее знамение. Дух явился мне в виде солнечного затмения, которое они и сами наблюдали. Он сообщил, что Змей ослабел, а Христос возложил узы и ярмо свое на грехи люд-



ские. Затем я стал терпеливо объяснять, что Дух повелел мне взять на себя это ярмо, выйти и сразиться со Змеем, поскольку близится время, когда “будут первые последними, и последние первыми”.

Потом, все так же сидя с ними в зябких сумерках, я изложил свои великие планы. Раскрыл ученикам глаза на то, что и неумно, и недостаточно будет всего лишь бежать и затеряться в Гиблом Болоте в составе группы из пяти человек (плюс еще двадцать с чем-нибудь негров, насчет которых я уверен, что они присоединятся). Во-первых, указывал я, нет никакой возможности, чтобы человек двадцать с лишним негров прошли толпой — даже и ночью — через два округа и часть третьего тридцать пять миль, и их бы не задержали. Куда там, даже и не такая большая группа, скорее всего, обречена.

— Если мы пятеро, — убеждал я, — бросимся вместе к болоту, белые схватят нас за задницы, не успеем мы от Иерусалима десяти миль отойти. Сбежит один или два негра, и они спускают собак. Сбегут трое — они пустят по следу армию.

Кроме того, как прикажете даже неграм долго выживать на болотах без оружия и припасов? И еще: негров нынче у нас всюю распродают, и по всему округу во множестве орудуют работоторговцы; я-то — ладно, за себя я спокоен, меня не продадут, но про других, включая присутствующих, такого сказать нельзя: боюсь, это только вопрос времени, когда какая-нибудь насущная нужда или алчность владельца побудит его отправить любого из них в Миссисипи или Алабаму.

— Верные последователи, дорогие братья, — дошел я, наконец, до главного, — я знаю, никто из вас как прежде жить больше не может. А значит, остается одно — ...

Тут я смолк и на время прервался, давая возможность этим последним моим словам дойти до их сознания.

Шли минуты, они молчали, потом тишину прервал голос Генри, его хриплое, надтреснутое карканье глухого прорвало тишину как гром среди ясного неба:

— Нам, значиц-ца, придется их *поубивать* — всю эту белую сволочь. Не это ли тебе Господь сказал? Я правильно говорю, а, Нат?

И все! Эти слова связали нас воедино. *Придется их поубивать...*

Я стал говорить дальше, раскладывая все по полочкам. Показал карту. Хотя они и не умели ее читать, но в предложенном маршруте разобрались. Потом я задавал вопросы, и выяснилось, что ни одного из моих адептов идея убийства не смутила; я объяснил, и они поняли, что убийство есть необходимый акт защиты собственной свободы; они приняли эту истину с готовностью и спокойствием людей, которым терять нечего. Так я говорил с ними весь день, до вечера. В охватившем меня воодушевлении исчезла и слабость из-за долгого поста, и сонливость, и головокружение, — все словно растворилось в зимнем бодрящем воздухе. Я был в восторге, меня переполняло ощущение власти, могущества и уверенности в себе; по всему моему существу разносились токи радости. Думалось об Иисусе Навине и о Гедеоне: даже они, наверное, не испытывали такого порыва и самозабвения, да и не было у них знания, которое набатом звучало и гудело у меня в мозгу: “будут первые последними”.

— А последние первыми, — звучал ответ. Эти слова стали теперь нашим паролем, нашим приветствием и благословением.

В тот вечер, распустив последователей (каждый из которых, уходя в обратный путь через лес, дал клятву молчания), я заснул у печки, и снились мне самые безмятежные сны в моей жизни. Когда на следующий день я проснулся, неподалеку я нашел ужа — только что про-

бужденный от спячки, он грелся в лучах солнца на моей поляне. Именем Господа я благословил его присутствие, сочтя его добрым предзнаменованием.

Однако же во рту завелся мерзкий привкус смерти — зловещий кисловато-сладкий душок, отдававший в ноздри, будто я подпорченной свинины наелся — такого со мной никогда раньше не бывало; избавиться от него я так и не смог, он держался во время всех событий следующего лета, до самого конца восстания. Более того, у меня произошел какой-то странный вывих сознания, и ни стряхнуть его, ни как-нибудь еще от него избавиться не получалось. Вкратце, дело в том, что, встречая впоследствии кого-нибудь из белых — мужчину, женщину или ребенка, — не всегда, но частенько в какой-то момент я вдруг переставал видеть его живым, он представлял мне в странной позе, в странном виде, словно мертвый. К примеру, на следующее утро после того как я открылся последователям, я направился назад к Тревису, и этот обман зрения поразил меня на выходе из леса. Время шло к полудню, вновь охваченный слабостью из-за поста, я двигался на восток, в направлении фермы. Нетвердо ступая, брел по тропе, и когда она вырвалась из-за последних сосен на простор, вижу, на ферме кипит работа. Уже издали я заметил двоих подростков, Патнэма и Джоэла Вестбрука — вдвоем тащат к мастерской пачку железных полос. Чуть дальше, на веранде дома, вздымая тучи пыли, поперевадку снует с метлой мисс Сара. Еще дальше, на скотном дворе угловатая сутулая фигура в фартуке — это мисс Мария Поуп пригоршнями разбрасывает зерна кукурузы столпившимся вокруг курам. Построенная мною пилорама стоит рядом с мастерской, гудит, погромыхивает, и по всем полям вокруг слышно, как металл с протяжным звоном вгрызается в древесину. Рядом с пилорамой на корточках Тревис с молотком и стамеской, а над ним,

в полулежачем положении, огромный и голый по пояс, в облаке пара прямо к небу шагает Харк, двигая могучими ногами, будто вершит нескончаемое паломничество на недостижимую, все время отступающую родину.

На подходе к ферме я заметил, что Тревис обернулся и увидел меня; он что-то крикнул, но слова отнесло ветром, потом указал на пилораму и приглашающе, дружелюбно помахал рукой. Снова крикнул, и теперь я разобрал слова:

— Здорово получилось! — услышал я, но тут же остановился как вкопанный и опять ощутил под языком сладковатый пакостный привкус смерти — тут-то впервые и посетила меня эта галлюцинация. Ибо точь-в-точь как в отдаленном детстве на лесопилке Тернера, когда однажды мне попала детская книжонка, где в переплетении ветвей и стеблей травы полагалось угадать контуры человечков, а подписи понуждали отыскать “Где Джеки?” или “Где Джейн?”, так и теперь человечки, снующие вдали, вдруг выпали из мирной благодатной сцены, и в тот же миг я обнаружил их на ложе смерти, в виде исковерканных и окровавленных жертв насилия: двое мальчишек валялись с проломленными головами, мисс Сара на веранде лежала со вспоротым животом, мисс Мария Поуп, зарубленная, простерлась среди своих кур, а сам Тревис, пронзенный пикой, глядел застывшими в недоумении глазами, тогда как на самом деле он в тот момент поднимал руку для радужного приветствия.

Один Харк стойко держался — крутил и крутил педали пилорамы — *Эй, Харк!* — он был над схваткой, прекрасным черным лебедем плыл, неустанно загребая лапами, к небесным прериям.

— Ну, в общем, да, Нат, — однажды в конце весны сказал мне Харк. — Думаю, я смогу убить. Белого я *смогу*

убить, да, пожалуй, щас я это уже знаю. Я говорил тебе, не так-то просто мне это далось — как подумаешь, что начнем заварушку и придется убивать. Никогда в жизни я не убивал никого. Бывалоча, по ночам даже — проснусь весь в поту, дрожу, а в голове еще сны, да такие жуткие, насчет того, как мне придется белых убивать.

Ну, а потом почну думать про Кроху и Лукаса да про то, как маса Джо взял да и продал их и плевать хотел на то, как я без них останусь, — ну, тут я сразу чувствую: да, могу. Тут вроде как сам Бог велит убить, потому что дураку понятно, какой это большой грех — как ты говорил? — разлúчить сёмью.

Бог ты мой, Нат, я же ведь просто сам не свой был, так пусто у меня стало в сердце после того, как Кроху и Лукаса увезли. Да, вот насчет Лукаса — я к тому, что это вроде как смешно даже, как я способы разные выдумывал, чтобы заставить себя *не* горевать о мальчонке. Когда их с Крохой у меня забрали, мне от одиночества так скверно было, даже не знаю, как перенес. И начал я вспоминать все те *плохие* вещи, которые делал Лукас. Вспоминал, сколько раз было, что он орал и верещал, и не давал мне спать, и как однажды взбесился и огрел меня ручкой мотыги, а еще однажды полный рот каши выплюнул Крохе прямо в лицо. И вот я про это подумаю-подумаю и говорю себе: все равно он дрянной мальчишка, это и хорошо, что его увезли к чертям собачьим. Тут мне немножечко как будто бы и полегчает. А потом, Господи, вспомню, как я другой раз *его* обижал, и опять все перевернется, и снова мне скверно. Как ни стараюсь, не могу — все равно тоскую по мальчугану, и все равно опять думаю про то, как он хохочет, а я его катаю на спине, или как мы за сараем вместе играли, и опять такое горе, так одиноко, что помереть хочется...

Нет, Нат, ты прав. Так с людьми поступать — это грех великий. Так что, если хочешь знать, смогу ли я убить, думаю — смогу, и даже запросто. Без Крохи и Лукаса мне тут болтаться одному уже без никакого толку, так что все едино...

То, что я выбрал для решительного выступления День Независимости — это я, конечно, сделал специально, в насмешку. Мне казалось совершенно ясным, что, когда наше восстание победит — когда Иерусалим будет захвачен и разрушен и наши силы, недосыгаемые для неприятеля, сосредоточатся в Гиблом Болоте, а по всей Виргинии и ближайшим областям южного побережья разойдется весть о нашей победе, это станет сигналом для негров повсюду, чтобы они присоединялись к восстанию, причем тот факт, что все началось Четвертого июля, будет вдохновлять наиболее осведомленных рабов не только в наших краях, но и в самых отдаленных местностях Юга: может быть, их тоже воспламенит огонь моего великого дела, и они выступят к нам на подмогу либо сами взбунтуются. Однако экстравагантный выбор сей патриотической даты, который я сделал еще весной, диктовался и кое-какими практическими соображениями. Много лет уже Четвертое июля — наиболее масштабный, шумный и самый популярный народный праздник в стране. Торжества традиционно проводятся на открытом воздухе, у нас для этого отведен специальный майдан — поле в нескольких милях от Иерусалима, и там собирается почти все белое население округа, за исключением разве что увечных, больных да еще тех, кто успел уже напиться до упаду. Как вы уже знаете, моей целью было неопустительное уничтожение каждого белого мужчины, женщины и ребенка, оказавшегося на моем пути. Излишне напоминать, впрочем, о моей уверенности в

том, что Господь желал бы, чтобы взятие Иерусалима прошло как можно более гладко, следовательно, если существует возможность войти в город скрытно и овладеть арсеналом в момент, когда большинство жителей ушли праздновать — тем лучше, особенно в том плане, что я не только обрету посредством такого внезапного удара полезную инерцию наступления, но это, естественно, уменьшит и мои потери в живой силе. Иисус Навин тоже ведь сперва устраивал засады, выманивая жителей за городские стены, — подобным манером он захватил города Гай и Вефиль, в результате чего окончательно пал Гаваон и дети Израилевы получили в наследие земли Ханаана. Да и вообще этот ход — приурочить удар ко дню Четвертого июля — в то время казался мне боговдохновенным стратегическим решением.

Однако же в начале мая мои планы в отношении даты пошли прахом. В одну из суббот, совещаясь на рынке в Иерусалиме с “четверкой верных”, я узнал от Нельсона, что впервые за всю историю здешних мест решено ближайший День Независимости праздновать не там, где всегда, не в открытом поле, а в самом городе. Это, конечно же, делало атаку на Иерусалим Четвертого июля еще опаснее, чем в обычный день, так что я в ужасе отменил свое решение. Со страхом и недоумением я подумал, что Господь играет со мной, дразнит, испытывает меня, и вскоре после той субботы я заболел — целую неделю меня донимал кровавый понос и мучительная горячка. Все это время я был сам не свой от беспокойства. Отчаявшись, я уже усомнился, действительно ли Господь призвал меня выполнить столь великую миссию. Потом моя болезнь прошла так же внезапно, как и напала. На несколько фунтов похудев, но чувствуя себя каким-то образом сильнее, я встал с постели и вышел из пристроенной к мастерской комнаты, где за мной ухаживали и кормили попере-

менно то Харк, то неумная мисс Сара, которой уж недолго оставалось суетиться, — вышел и вскоре узнал о новом повороте событий, которые, к вящей моей радости пополам со стыдом за маловерие, убедили меня, что Господь меня не отринул, наоборот, в бесконечной Своей мудрости Он предоставил возможность дожидаться еще более благоприятного момента и составить план куда изощренней прежнего.

Эта новость пришла однажды утром уже в июне, когда в очередной раз Тревис отдал меня внаем к миссис Уайтхед. Или, скорее, выменял — на два месяца отдал вчистую в обмен на упряжку волов, в которой весьма нуждался, чтобы раскорчевать выжженный участок земли, где собирался сажать яблони. Миссис Уайтхед была, как обычно, вне себя от радости, что вновь меня заполучила: я нужен был как кучер и как плотник — ей понадобилось пристроить к коровнику дополнительные помещения. Так или иначе, но именно когда я был на ее дворе, я краем уха услышал, как проезжий баптистский пастор сообщил коллеге, Ричарду Уайтхеду, что его секта собирает в конце лета всю братию на циклопический съезд в округе Гейтс, что сразу за границей, в Северной Каролине. Сотни, если не тысячи, баптистов из Саутгемптона уже выразили свою радость и готовность присутствовать, — сказал Ричарду этот пастор, пышущий здоровьем краснолицый дядька, и, подмигнув, добавил, дескать, он на чужие территории вторгаться не намерен, но если приедут и методисты, то очень хорошо — им ведь тоже не помешает сбросить груз грехов. Все мы братья во Христе, пояснил он; а что касается платы за участие, то она в этом году всего по полдоллара с человека, а чернокожим слугам и детям до десяти лет вход вообще бесплатный. Затем он отпустил какую-то плоскую шутку про методистов и их традиционную трезвость. Что отве-

тил Ричард, я точно не припомню, вроде бы он поблагодарил коллегу-пастора (как всегда сурово, холодно и сухо), не преминув сделать оговорку, мол, вряд ли приедет много методистов — они и в родном приходе получают должное духовное окормление, но он будет иметь в виду, и невзначай осведомился о дате. Когда же второй пастор ответил: “С пятницы девятнадцатого августа по вторник — это у нас, стало быть, двадцать третье будет”, я, стоя рядом и держа под уздцы лошадь пастора, понял, что дата моего великого свершения, произнесенная этими священническими устами, открылась теперь столь же явственно, как огонь Господень, ниспавший к ногам Илии. Это же просто подарок! Захватить и разрушить Иерусалим, когда там не будет нескольких сотен грешников-баптистов, то есть половины населения! — да это же детская игра! Я молча, про себя, вознес благодарственную молитву. Так я получил последнее знамение.

На окончательные приготовления оставалось всего два месяца, однако со дня затмения сделано было очень много, и это меня радовало. Главное, мы замечательно продвинулись по линии вербовки — а я-то еще сомневался, думал, крайняя степень секретности и сомнения в надежности кандидатов создадут препоны непроходимые, но успехи превзошли все ожидания — в основном благодаря сноровке, такту и силе убеждения, которыми как Сэм, так и Нельсон были наделены весьма щедро (Генри тоже завербовал двоих или троих, но глухота не давала ему как следует развернуться.) Свои плоды принес и научный подход, который я применял, набирая личный состав. Первым делом я руководствовался картой, на которой много месяцев назад наметил направление похода на Иерусалим. Я не собирался идти на город банальным прямым путем — дорогой длиной в семь миль из Кроскизов к кедровому мосту через реку Ноттоуэй.

Этот путь, хоть и прямой как стрела, и весьма короткий, заставил бы нас немилосердно оголить фланги. Я вычертил другой маршрут в виде неправильной, кособокой буквы S — огромную двойную петлю общей длиной почти в тридцать пять миль; она обходила все оживленные торговые тракты и в то же время как нельзя лучше задействовала безлюдные лесные дороги и коровьи тропы, змеиным зигзагом устремляясь по сельской местности на северо-восток. Я подсчитал, что на этом пути нашему войску встретится более двадцати плантаций, ферм и хуторов — то есть двадцать три, если быть точным, — и все это, за редкими исключениями, земли самых зажиточных в нашем округе хозяев, а значит, там найдется то, что так необходимо для военного успеха: негры, лошади, провиант, оружие.

Вот-вот, именно негры. Сверяясь с картой, я выяснял, где чьи угодья, и тщательно разбирался, кто из негров при них пребывает — задача не очень трудная, поскольку минимум один или даже двое негров от каждого такого поселения в базарный день обязательно оказывались в Иерусалиме, и тут уж мне или кому-то из моих ближайших подручных никакого труда не составляло как бы случайно оказаться рядом и, задав несколько невинных (а то и не совсем невинных) вопросов, выяснить состав чернокожей братии в каждом поселении поименно. Потом полезно было втихую выведать, нет ли среди них тех, кто бывал в бегах. Эти, как правило, парни горячие. Бывало, подступит Нельсон к какому-нибудь молодому негру с плантации Бенджамина Бланта, перекинется парой слов ни о чем, угостит парня куском сахара или жевательного табака, а уж потом и свой вопрос с ухмылочкой запустит: “А нет ли там среди ваших негров такого, кто бывал в бегах?” Ну, нет так нет, но чаще вопрошаемый сперва поскребет немного в затылке, побе-



гает по сторонам глазами, похмыкает неопределенно да и признает — дескать, да, есть такой один парнишка, не так давно действительно, что называется, бегал. Натан его звать. Три недели в нетчиках был. Потом-то хозяин поймал его.

И вот уже в следующую субботу или через одну Нельсон подкатывается к Натану — здоровенному коричневому бугаю с непокорным и злобноватым блеском строптивых глаз, — отзывает его в сторонку, за рынок, где бурьян, и начинает расспрашивать про то, как коротал он в бегах дни и ночи, лениво поддакивает и направляет разговор к теме свободы, и осторожно, но решительно нащупывает то трепещущее, жаркое, кипучее, ту боль, за которой проступает Натанова ненависть. И, наконец, Нельсон произносит два жестких, необратимых слова, которые ему предстоит еще много раз повторить: “*Убить сможешь?*” И тут Натана прорывает, его речь несется бурным потоком, в путанице, пузырях и брызгах ярости: “Черт, *убить!* Дай только топор мне в руки, я бы их так! Яйца бы всем поотрубал сперва со всеми причиндалами, а не то что просто *убить!*” И с этого момента — как было с Дэниелем и Дэви, Кертисом и Стивеном, Джо, Джеком и Френком да и со многими другими — к моему великому делу присоединялся новый рекрут.

Но как ни необходимо на тот момент было привлекать к делу молодых нетерпеливых негров, столь же важно было защищаться от предательства. Что до убийц, горячих, истинных адептов — таких я к середине лета насчитывал две дюжины: неколебимых, жестоковыйных, отчаянных молодых людей, вокруг которых сплотятся другие негры, когда мы пойдем прочесывать окрестности. Под страхом смерти каждый из них поклялся строго блюсти тайну. У меня была возможность переговорить с каждым

из них с глазу на глаз — то за рынком, то в лесном укрытии, куда по воскресеньям иногда приводил их Сэм или Нельсон. Рвение этих пахарей, свиная и лесорубов меня поражало: идея свободы захватывала и воспламеняла их сердца, а ожидание долгого опасного путешествия вызывало дрожь нетерпения. Для них угроза смерти за предательство казалась ненужной фигурой речи, настолько радостна им была перспектива скорой кровавой страды; никогда и никому они и так не выдали бы тайну своего счастья (вот разве что ненароком, чего я как раз и боялся). С этими было все в порядке: свои люди, и надежно повязаны. В постоянной надсадной тревоге меня главным образом держала не боязнь предательства среди верных, а тревожное ожидание: как бы случайное словцо, нечаянная оговорка не навела на мое великое лукавоухищрение взгляд какого-нибудь хорька-лизолюбда из дворовых негров, который тут же, заламывая руки и обливаясь потом страстного рвения, побежит с ябедой к “старому маса” или “старой мисси”. И в результате как бы ни был я до глубины души тронут тем, что были ведь все же негры, оказывается, настолько гордые и непокорные, чтобы душу и тело поставить на кон в азарте схватки за свободу, в моей гордости за них была и примесь горечи — как оттого, что не один я такой бестрепетный, так и потому, что я понимал, сколь много имеется негров другого сорта — тех, кто за зубок табаку, за пару рыболовных крючков или фунт вареного мяса готовы все выболтать, продать собственную мамашу. Тем летом я жил с одним из таких в комнатке при конюшне миссис Уайтхед бок о бок — то был некто Хаббард, толстый, коричневый и слащавый, как жаба в шоколаде; едва протискивая в двери свои жирные ляжки, языком он был в каждой бочке затычка, и при легчайшем намеке, малейшем сполохе не благопристойности событий он, конечно же, сразу побе-

жал бы докладывать мисс Кати. Подобные этому Хаббарду негры попадались в нашем округе повсюду, соседствуя и создавая ближайшее окружение моим людям, вот почему я не мог ни спать спокойно, ни чувствовать под ногами твердую почву — *погряз я в глубоком болоте, и не на чем стоять; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.*

Однако, по мере того, как теплые деньки в запахах скошенной травы и сохнущего сена катились один за другим и лето близилось к зениту, я все более уверялся в успехе. Насколько можно было судить об этом, тайну никто не выдавал; и белые, и негры вели себя как обычно: строили сараи, косили, убирали кукурузу и хлопок, заготавливали лес, мастерили колеса и делали деньги. В конце срока моего найма у миссис Уайтхед — в то “мисионерское воскресенье”, что я успел уже описать, — я ухитрился собрать ближайших своих подручных в церкви на службе, которую вел Ричард Уайтхед. После службы мы устроили совещание, расположившись у ручья, покуда белые занимались на кладбище похоронами (хоронили какого-то умершего от оспы ребенка; из тех последних счастливых, подумалось мне в тот момент, кого Господь избавил от грядущих ужасов), и там у меня появилась, наконец, возможность поделиться с окружением окончательными планами кампании.

Я долго обдумывал тактику выступления и пришел к выводу, что собирать все силы в одном месте было бы не только невыгодно, но и совершенно невозможно: внезапно скопившиеся вместе в таком количестве негры, разумеется, сразу же привлекут к себе внимание и возбудят тревогу. Нет, моя атака должна прирастать в мощи и инерции по ходу продвижения, должна как снежный ком набирать живую силу по мере того, как к ударной головной группе (то есть ко мне и моей четверке вер-

ных) станут по одному присоединяться бойцы, которые наготове там и сям будут ждать в разных усадьбах, по которым пройдет наш извилистый путь на Иерусалим. Стало быть, каждый из более четырех десятков негров, что очертя голову решились пойти за мной, “проклянется” при нашем появлении в усадьбе — ожидая там, где ему и без того положено находиться, — и тут же обратит оружие против своего хозяина; затем этот мой новый чудный черный соковник, приняв участие в кровопролитии, отправится с нами к следующей нашей цели, где ждет еще один черный убийца, а то и несколько таковых. Описанная схема требовала согласования по времени и тесного взаимодействия; с этой целью я обязал каждого из четверки верных часто сообщаться и подробно инструктировать “эскадрон” из пяти или шести подопечных, — он должен все время держать связь со своим малым войском в течение остающихся до судьбоносного понедельника в августе нескольких недель и непрестанно требовать от подчиненных, во-первых, секретности, а во-вторых — того, чтобы они сидели по местам наготове. Я рассчитал, что если все пойдет хорошо, то с момента первого полночного удара у Тревиса и до захвата арсенала в Иерусалиме должно пройти не более тридцати шести часов.

А я *чувствовал*, что все пойдет как надо.

В то воскресенье, распустив после молитвы соковников, я заметил, что дух мой полон странного восторга и предвкушения неминуемой славной победы. Я знал, что дело мое правое и, как таковое, должно преодолеть на своем пути все препятствия, все тяготы, все суровые перемены фортуны. Я знал также, что благородство целей моего служения не останется незамеченным среди самых робких и забитых из негров, и предвидел легионы черных воинов, повсюду поднимающихся, чтобы при-

соединиться ко мне. Черное ополчение по всему Югу, по всей Америке! Святое черное Господне воинство!

*Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве  
и персты мои — брани,  
Милость моя и ограждение мое, прибежище мое  
и Избавитель мой, щит мой...*

Тут, правда, как раз когда я должен был уже уходить от миссис Уайтхед и возвращаться к Тревису, произошел пугающий и, надо сказать, совершенно неожиданный случай, который по всем признакам должен был возбудить в массе белого населения такую враждебность и недоверие к неграм, что я испугался за всю свою миссию, сочтя ее поставленной под угрозу, если уже не рухнувшей загодя.

Происшествие имело касательство к Биллу, напарнику Сэма по рабскому жительству в имении Натаниэля Френсиса. Подвергаясь очередному избиению со стороны хозяина, Билл вдруг сорвался и сделал то, что для негра считается серьезнейшим преступлением: дал Френсису сдачи. Более того, он так сильно ударил Френсиса (какой-то палкой, выдернутой из кучи хвороста в сарае), что сломал хозяину левую руку в двух местах. Засим Билл удрал в лес, и его стали искать. Эпизод этот, едва я о нем услышал, возбудил во мне смешанные чувства. Я чувствовал определенное облегчение оттого, что Билл сбежал. Я опасался его безумия, его маниакальной, на всех и каждого направленной ненависти, и я вовсе не хотел, чтобы он имел что-либо общее с моим истребительным походом, — я чувствовал, что не смогу с ним совладать, не смогу направлять его. Знал я и то, что он одержим мечтой насиловать белых женщин, а этого позволить я никак не мог. То, что он напал на Френсиса и

сбежал — ох, хоть бы уж навсегда! — решало пусть второстепенную, но застарелую и мучительную для меня проблему. Но вместе с тем я испугался. Ибо выплески насилия вроде этого — пусть понятного и самим хозяином спровоцированного, да и нельзя сказать чтобы неслыханного по масштабам — все же случались редко, а когда происходили, то порождали в народе такую оторопь, что на всех негров сразу падала черная тень подозрения. Сразу начинал распространяться один и тот же слух: *Эти чертovsky ниггеры уже распускают руки!* Я очень боялся, что, если такого рода настроения возобладают, в атмосфере всеобщего недоверия мои негры могут пасть духом и утратить решимость или — еще того хуже — под напором этого нового давления каким-нибудь образом выдадут нашу тайну.

Как и в других домах по соседству, в усадьбе миссис Уайтхед, когда там узнали о выходе Билла, поднялась страшная суматоха. В пятницу около полудня я как раз запрягал коляску, чтобы везти мисс Маргарет к ее подруге, жившей ближе к городу (там она должна была провести уикенд), как вдруг с некоторой торжественностью прибыли двое белых верхами, все увешанные саблями и ружьями. Они собирали народ в погоню за черным мерзавцем, и один из верховых, не покидая седла, позвал Ричарда:

— К оружию, пастырь, — вскричал он, — труба зовет!

На дворе от потных, топчущихся лошадей поднялись тучи пыли; другой всадник сидел уже как-то косо и глядел с застывшей ухмылкой, прежде времени пьяный от виски и предвкушения погони.

— А если что, — подал голос он, — так ведь того ниггера не грех и пристрелить!

Гляжу, Ричард пошел в дом. Что-то было несуразное в том, чтобы этот нервный и утонченный Божий человек

преследовал по болотам придурковатого, безоружного чернокожего беглеца, но тем не менее вскоре он вышел на крыльцо с фузеей и пистолетом, в лихо, по-мальчишески заломленной кожаной охотничьей кепи; его губы были мстительно сжаты. Один из негров подвел ему оседланного жирного мерина. Провожая сына нежным встревоженным взглядом, мисс Кати сжимала рукою руку, и в ее голосе звучала мольба:

— Ради всего святого, будь осторожен, мой мальчик! Чернокожий в таком состоянии — все равно что бешеная собака!

И вот уже трое замужних сестер мисс Маргарет, только что прибывших с летним визитом, выбежали из дому в легких клетчатых юбках, с которыми сразу начал резвиться ветер; они тоже принялись уговаривать братца беречь себя, а когда он вскарабкался на свое быкоподобное боевое тягло, они подняли вокруг него настоящий писк и визг.

— Смотри, осторожнее, мальчик мой! — не унималась мисс Кати, повиснув у него на руке.

Тут еще трое внучат мал мала меньше высыпали из кухонной двери помахать на прощанье дяде, и в тот же миг воплощенной нелепостью, а может быть, предвестием окончательного охолощения черного народа, виляя женскими покатыми бедрами, выкатился чудовищный дворовый негр Хаббард, чтобы добавить и своих благословений в общий хор напутствий и пожеланий успеха.

— Вы уж, уф-уф, осторожнее там, маса Ричард, — раздалось его неразборчивое, но явно лстивое бормотанье, хриплым эхом повторяющее прощальные слова самой мисс Кати. — Этот Билл — сволочь первостатейная, уж я-то знаю! Чисто бешеная собака, что верно, то верно!

Больше всего Хаббард похож был в тот момент на жирную старую дуру, у меня руки чесались придушить

его на месте. Одна Маргарет оставалась от всего этого в стороне. Я заметил, как она мелькнула в дверном проеме и тут же пропала в тени с видом досадливого раздражения на невозмутимом красивом лице. Затем, когда Ричард, пробормотав “Да ладно тебе, мам”, запечатлел решительный поцелуй на маминых протянутых ему костяшках пальцев, развернулся и поехал вслед за пришельцами, досада Маргарет усилилась: она скорчила гримаску отвращения и вновь без лишних слов исчезла из виду.

Потом-то — да, потом она высказалась:

— Глупость; глупость и фанфаронство! — определяла она происшедшее спустя совсем короткое время, когда мы ехали к югу, направляясь к Воганам. — Ружьями и всем прочим увешаются и ну гоняться за бедным чернокожим Биллом, который, скорее всего, от страха еле жив в этих своих болотах. И ведь они, наверное, застрелят его! Нет, это просто ужасно!

На секунду она прервалась; краем глаза я видел, как она отерла нос от приставшей к нему пылинки. Опуская взгляд, я мельком задержал его на ткани ее юбки, туго натянутой на коленях, подпрыгивающих в такт коляске, но еще ближе ко мне была ее рука, белая, как молочный стакан, вся в голубоватых прожилках, и костяная ручка зонтика в неугомонных пальцах.

— То есть ему, конечно, не следовало так делать, — продолжила она. — Бить мистера Френсиса, пусть даже и в отместку. Но вот честно, Нат! Нет в этом округе ни единой живой души, кто не знал бы про мистера Френсиса — про то, как он обращается со своими неграми. Все понимают, что он ведет себя ужасно. И мама тоже понимает. А тут — пожалуйста, погляди на нее! По мне, так и вовсе нет на этом Билле вины за то, что он дал сдачи хозяину. Что, ты не ударил бы Натаниэля Френсиса, когда бы он тебя так извел? Ну вот скажи честно, а, Нат?

Стараясь на нее не смотреть, я чувствовал на себе ее взгляд, лихорадочно примериваясь в мыслях, как бы так ответить на вопрос, задать который из всех белых ей одной могло хватить простодушия. Ставить негра в положение, когда он должен отвечать на такой вопрос — это вообще нечестно, а та аура невинности и сочувствия, каковою она облекла его, будила во мне почему-то еще большее негодование и обиду. Не сумев сдержаться, украдкой я снова бросил взгляд на два мягко проступающих скругления, где юбка обтягивала ее бедра, на складки тафты в углублении между, на круглую костяную рукоять, которую она непрестанно вертела фарфоровыми пальчиками. Вновь я почувствовал на себе ее взор; не глядя, видел ее дерзко задранный подбородок с ямочкой, требовательный поворот лица, уверенного, ждущего. И все никак не мог найти с ответом.

— Я хочу сказать *на его месте*, а, Нат? — не отступала она, и ее девчоночий голосок щебетал так близко! — В смысле, я всего лишь женщина, это верно — однако, если б я была *мужчиной* да темнокожим к тому же, и меня бы так измучил этот ужасный Натаниэль Френсис, я бы, конечно, дала ему сдачи. А ты нет?

— Понимаете, мисси, — отвечал я, избрав тональность смирения, — по правде говоря, я не знаю, как бы я поступил. Но ведь на этом пути и до смерти доиграться недолго. — Помолчал и добавил: — Но, думаю, Биллу выпало больше, чем он мог вынести. А когда тебе выпадает больше, чем можешь вынести, ты постепенно сходишь с ума и вдруг можешь ударить, когда сам не ожидаешь этого. Я думаю, это как раз и произошло между Биллом и мистером Френсисом. А что касается меня, то я бы очень серьезно задумался, прежде чем дать сдачи белому хозяину, это уж точно, мисси.

Сразу она на это ничего не сказала, а когда в конце концов заговорила, ее голос был серьезен, задумчив, полон неподдельной боли и горечи, каких я никогда даже краем уха не слышал от человека с белой кожей, да еще и в столь юном возрасте.

— Что ж это, прямо я не знаю! — выдохнула она, и этот возглас шел из самых глубин ее существа. — Прямо и не знаю, Нат! Почему темнокожие люди остаются в таком положении — то есть в невежестве и так далее, и бьют их, как этого Билла, а у многих такие хозяева, что как следует их не кормят и не одевают, чтобы им было тепло. Я к тому, что многие вообще живут по-скотски. Как мне хотелось бы, чтобы черные могли жить прилично, работать на себя и иметь к себе — ну, настоящее уважение. А, кстати, Нат, вот что я тебе еще хотела сказать! — Ее тон внезапно изменился, и хотя в нем не затихли еще жалобные отголоски, но звучало уже и подлинное возмущение:

— Я тут здорово поссорилась с той девочкой в гимназии, помнишь, по имени Шарлота Тайлер Сондерс. Она была одной из лучших моих подруг, да и сейчас остается, но мы ужасно с ней перессорились — в мае, как раз перед концом занятий. А повздорили мы из-за темнокожих. Потому что, понимаешь, у этой Шарлоты Тайлер Сондерс отец владеет — как сказать? — ну, просто квинтильонами чернокожих на плантации в округе Флуванна и заседает в законодательном собрании в Ричмонде, и как только встает вопрос об освобождении рабов, он произносит длинные скучные речи, которые потом Шарлота отыскивает в *“Газетт”* и зачитывает другим девочкам. То есть он решительно против освобождения и говорит, что у чернокожих нет ответственности и морали, что они ленивые, что они животные и их нельзя ничему научить, и прочую чушь в том же духе. Ну, а в этот раз, о котором я рассказываю, она как раз кончила читать папашину речь, и — я



прямо не знаю, Нат, — я вроде как не выдержала и взорвалась. Я говорю: “Послушай-ка, Шарлота Тайлер Сондерс, ты не подумай, что я твоего отца не уважаю, но это же полная белиберда, потому что это просто не так!” Ну, а она рассердилась на меня и говорит: “Любой, — говорит, — любой, у кого есть глаза и хоть капля здравого смысла, *видит*, что это так!” А я уже чуть не плачу, я так разозлилась на нее, сорвалась, наверное, почти что на крик. Я говорю: “Так послушай тогда меня, уважаемая *мисс* Шарлота Тайлер Сондерс! Случилось так, что там, где я живу в Сауттемптоне, моя мать нанимает темнокожего раба, который почти так же умен и воспитан, чистоплотен и религиозен, и обладает почти таким же всеобъемлющим знанием Библии, как доктор Симпсон (доктор Симпсон у нас директор гимназии, Нат), и вот что я тебе еще скажу, моя *бывшая* подруга, (ужас, я почти кричала на нее!), если хочешь знать мое скромное мнение, то пусть я даже *уверена*, что я одна во всей гимназии так думаю, но мнение мое состоит в том, что чернокожие в Виргинии должны быть *освобождены*!”

Помолчав, Маргарет сказала:

— О, как я на нее рассердилась! А самое смешное, Нат, что *au fond*, в основе своей она ведь очень добрая, милая, серьезная девочка. *Au fond* по-французски значит “в глубине”. Просто-напросто некоторые люди... — со вздохом она прервалась, а потом говорит: — Ах, даже не знаю. Иногда жизнь так сложна, не правда ли? Во всяком случае, — закончила она раздумчиво, — тот чернокожий, о котором я говорила, — это ты. То есть я действительно насчет тебя так думаю.

Я ничего не ответил. Такое близкое ее присутствие мешало дышать, и даже сейчас, когда в лицо мне дул летний ветер, до меня все равно доносился ее аромат — тревожащий запахок девчоночьего пота, смешанный с

чуть заметным ароматом лаванды. Я пытался от нее отодвинуться, отстраниться, но это оказалось невозможно, наоборот, я обнаружил, что не могу не прикасаться к ней, а она ко мне — мы словно исподволь целовались локтями. Меня бросило в жар, от которого взмокли подмышки, я ждал, скорей бы кончилось наше путешествие, но знал, что ехать еще полчаса. Сидел, смотрел, как машет и подрагивает хвост лошади, и блестит ее лоснящийся круп. На изрытой засохшими колеями дороге колеса постукивали, непрерывно пересчитывая железными ободами закаменевшие колдобины и комья. Мы ехали по пустынной части округа, где раскинулись вересковые пустоши, там и сям поросшие раkitником и осокой пополам с желтой дикой горчицей, иногда они перемежались участками испещренного солнечными пятнами леса. Местность я хорошо знал. Жилья никакого, и никаких людей: встречались лишь полусгнившие изгороди да изредка где-нибудь посреди пустынного луга попадался силуэт покосившегося старого сарая. Небо было ясно, воздух прозрачен, и солнце ярко сияло; грандиозные нагромождения и горы летних облаков отбрасывали тени, словно ласковыми ладонями оббегающие поля. Вновь я почувствовал теплое девчоночье присутствие, все эти запахи: ее кожи, мыла, волос, лаванды. Помимо воли вдруг закралась крамольная мысль: ведь я могу остановиться прямо сейчас, прямо вот здесь, на этом поле и сделать с ней что захочу. На много миль вокруг ни души. Могу бросить наземь, раздвинуть ее юные белые бедра и вонзить, чтобы живот с животом сошелся, и в судорогах вбрызнуть в нее теплую млечную оскверняющую струю. И пусть себе кричит — одно лишь эхо побежит по сосновым рощам, никто ни о чем не узнает, разве что ворон или канюк... По бокам у меня под рубашкой тек пот. Я молча принялся молиться, изо всех сил стараясь выки-

нуть из головы эту мысль, как стараются отбросить, отринуть от себя тело и дух Сатаны. Как смею я позволять себе столь гибельные мысли, когда исполнение великой миссии так близко? Но все равно я ничего не мог поделаться с тем, как распух, как торчит и дергается у меня член в штанах. И сердце билось дикими толчками. Я хлестнул вожжами лошадь, чтоб шла живее.

Снова щебечущий голос мне чуть не на ухо:

— Понимаешь, Шарлота Тайлер действительно старается быть религиозной, вот ведь дело-то в чем. А я не могу понять, как по-настоящему религиозные люди могут исповедовать такие взгляды. Ну взять хоть маму! А Ричард — это Боже ж ты мой! А сестры — ведь все как одна! А эта Шарлота Тайлер Сондерс — *au fond* она претендует на то, чтобы верить в любовь, тогда как я, честно говоря, не верю, что она хоть чуточку понимает, что о любви говорит Писание. Я имею в виду прекрасные поучения Иоанна про любовь и почему не надо ее бояться. О страхе и муках. Нат, Нат, ты ведь помнишь тот стих, где говорится о *муках*. Как там?

— Да, мисси, — спустя секунду отвечал я, — наверное, вы говорите о строках первого послания; там так: *В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви*. Так там сказано.

— Да! Да! — воскликнула она. — А еще он сказал: *Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога*. Ах, ведь это же так просто, проще некуда, правда, Нат? — совершенно, по-христиански возлюбить Бога и ближнего, а как много людей лишены этой любви и живут в страхе и мучении? *Бог есть любовь*, — говорит Иоанн, — *и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем...* Ведь нет на свете ничего проще, яснее и легче?

Она лепетала без умолку, щебетала тихим, тающим голосом, такая одержимая любовью, такая неземная, вся во Христе, бездумным эхом повторяя весь затхлый, плоский вздор, что ничтоже сумняшеся несет каждый набожный кастрашишка, каждая кликушествовавшая старая дева, все своекорыстные банальности, каковых она наслушалась вдоволь с тех пор как, едва научившись самостоятельно сидеть, с восторгом и слезами на глазах и, кстати, с мокрыми от рвения панталончиками стала ревностно внимать проповедям в церкви своего брата. Она нагоняла на меня скуку. Скуку и похоть, поэтому, чтобы надежнее унять хотя бы последнее из этих чувств, я предоставил нескончаемому словесному потоку плыть сквозь меня — из уха в ухо, — направив взгляд на лошадиный лоснящийся круп и сосредоточившись на хотя и второстепенной, но животрепещущей проблеме, с которой мне предстояло столкнуться при самом начале кампании. (Она касалась Тревиса, точнее, мисс Сары. Когда дело дойдет до того, чтобы убивать белых, я решил действовать безжалостно и непреклонно, чтобы ни одна душа, в каких бы дружеских отношениях мы с ней ни были, не избежала топора или пули. Любой другой подход к этой проблеме мог стать гибельным, ибо, позволю я сердцу смягчиться по отношению к кому-нибудь одному, слишком легко мне будет поддаться недопустимой мягкости с другим, третьим, и так далее, и так далее. Только для одного из всех планировал я сделать исключение — для Джереми Кобба, этого страдающего, стойкого человека, чья встреча со мной не будет забыта. Но пока что, как ни силился я пресекать в себе сердечное к ней расположение, я ничего не мог с собой поделать и хотел, чтобы мисс Сара, чье отношение ко мне было всегда только добрым, — вспомнить хотя бы, как она ходила за мной во время последней моей болезни, нянчила, как

мать, как сестра, причитала надо мной и кудахтала, — чтобы она избежала клинка нашей ярости. Что касается других домочадцев, включая Тревиса, у меня не было ни сомнений, ни колебаний: Тревис, при всей своей доброте и прекрасном ко мне отношении, не пробуждал во мне никаких братских чувств; других же, особенно Патнэма, я всей душой хотел бы поскорее освободить от бремени бытия. А вот насчет мисс Сары меня заранее мучили одновременно угрызения вины и дурные предчувствия: мне хотелось какой-то хитростью или иначе как-нибудь — пастырским увещеванием, что ли — сделать так, чтобы она, богобоязненная баптистка, во что бы то ни стало в ночь нападения с младенцем вместе оказалась на церковном съезде в Каролине, выкрикивала бы там в нужных местах “аллилуйя” и не подверглась пагубе... Но в этом ли решение? Ведь тогда ей придется, возвратившись, застать сцену ужасного погрома и разорения...) Я обдумывал эту сложную проблему, был очень обеспокоен и пришел уже в полное уныние, когда Маргарет Уайтхед вдруг с кратким непонятным восклицанием схватила меня за рукав и говорит:

— Нат, стой! Пожалуйста, останови!

Какой-то фургон или телега, проезжавшая много часов назад, переехала и раздавила черепаху. Маргарет углядела ее со своей стороны коляски и настаивала (снова она потянула меня за рукав), чтобы мы слезли и помогли ей; она утверждала, что черепаха еще жива.

— Ах, бедняжка, — шептала Маргарет, когда мы осматривали животное. Черный с коричневым мозаичный панцирь был расколот от края до края, из щели и из мелких трещинок, покрывавших поверхность панциря, сочилась кровь и выступала какая-то бледная масса. Но черепаха, действительно, была еще жива: она слабо и безнадежно шевелила вытянутыми лапками, вытягивала

длинную кожистую шею и болезненно замирала, разинув челюсти и прикрыв пленкой глаза в непостижимом для нас черепашьем страдании. Я легонько коснулся ее носком сапога.

— Ах, бедняжка, — вновь повторила Маргарет.

— Мисси, это всего лишь черепаха, — сказал я.

— Ах, но ведь она, должно быть, так страдает!

— Я помогу ей, — предложил я.

Мгновение она помешкала, потом тихо сказала:

— Да, сделай это, Нат.

На обочине дороги я нашел ореховую палку и одним резким, сильным ударом размозжил черепахе голову; ее лапы и хвост потрепетали немного и расслабились, медленно распрямившись, хвост отвис; она была мертва. Когда я зашвырнул палку в поле и вернулся к Маргарет, я заметил, что у нее дрожат губы.

— Это же всего лишь черепаха, не больше, мисси, — попытался я утешить ее. — Черепахи ничего не чувствуют. Они слишком глупые. Есть старая негритянская поговорка насчет животных: “Кто не кричит, тому не больно”.

— Ах, да я сама знаю, что это глупо, — проговорила она, совладав с собой. — Просто это как-то... все это страдание... — Вдруг она прижала ко лбу ладонь. — Что-то мне нехорошо. Так жарко. Хоть бы глоток воды. Пить очень хочется.

Я спихнул черепаху в канаву.

— Тут за деревьями ерик, — сказал я. — Тот самый, что проходит и за вашей усадьбой. Из него можно пить, я точно знаю, мисси. Я бы принес вам воды, но мне не в чем.

— Да пустяки, сходим вместе, — отозвалась она.

Настроение у нее вновь улучшилось, и она весело шагала за мной через поросший чахлыми кустиками луг к ерику.

— Все-таки жаль, что я так накричала на Шарлоту Тайлер Сондерс, — донесся ее бодрый голосок сзади. — Она ведь очень милая девочка. И такая талантливая. Да, я тебе не рассказывала про сцены маскарада, которые мы написали с ней вместе, а, Нат?

— Нет, мисси, — отвечаю, — по-моему, нет.

— В общем, маскарад — это такая пьеса в стихах (пишется мас-ка-рад — все три раза “а”), она короткая и затрагивает возвышенные темы — ну, то есть про вещи духовные, философические, поэтические и в таком роде. Короче говоря, мы вместе написали маскарад, и прошлой весной его в гимназии поставили. Это был *такой* успех, я тебе скажу! После спектакля, представляешь, доктор Симпсон сказал нам с Шарлотой, что получилось прямо как те постановки, что он видел на Севере, в театрах Филадельфии и Нью-Йорка. А миссис Симпсон — это его жена — сказала, что вряд ли когда ей доводилось видеть постановку столь трогательную и являющую собой проповедь таких высоких идеалов. Это ее собственные слова. А этот маскарад, что мы написали, назывался “Грустная пастушка”. Действие там происходит в Риме первого века. С одной стороны, там очень много языческого, но в то же время показаны примеры высоководохновенной христианской веры. В общем, там пять персонажей. В гимназии их всех, естественно, изображали девочки. Главная героиня — юная пастушка, она живет в предместье Рима, ее зовут Цилия. Она очень ревностная христианка. А герой — юный хозяин поместья по имени Филимон. Он красив и все такое прочее — ну, понимаешь? — и *au fond* он очень хороший и добрый, но в религии он еще совсем язычник. Обожествляет животных и всякое такое...

Когда с пересохшего поля мы зашли в лесную полосу, слышался плеск воды. Под сенью деревьев жар солнца

сделался мягче; папоротники окружили нас прохладой, хвоя под ногами мягко пружинила, и донесся острый горьковатый запах смолы. Тишина, близость и уединение вновь пробудили чувственное волнение у меня в крови. Я обернулся, чтобы глазами показать ей дорогу, и на миг ее взгляд решительно встретился с моим — не то чтобы кокетливо, но настойчиво и упорно, будто смело приглашая меня, почти повелевая, чтобы я глядел ей прямо в глаза, пока она продолжает свою блаженную болтовню. Все это длилось всего лишь миг, но я не могу припомнить, чтобы еще когда-нибудь я так долго смотрел в глаза белому человеку. По непонятной причине сердце у меня вдруг распухло и в страхе затрепетало где-то в горле. Я отвернулся, вновь весь во власти похоти пополам с ненавистью, причем ее сбивчивый девчоночий монолог, этот тихий тающий голос, который я уже не трудился ни слушать, ни понимать, доводил меня до полного помрачения рассудка. За годы и десятилетия сосновая хвоя слежалась в мягкий пахучий ковер, шуршащий у нас под ногами. Приостановившись убрать сосновый сук, преграждавший путь, я выпрямился, вызвав ее удивленный тихий возглас, когда мякоть ее груди легонько толкнулась и скользнула по моему локтю. Словно не заметив, она все говорила и говорила без умолку, пока мы спускались к руслу. До слов мне дела не было. То место на руке, куда толкнулась ее грудь, горело, как обожженное; опять я задыхался от беспощадного желания. Обезумев, я уже что-то рассчитывал, примерялся к риску. *Возьми ее*, — звучал во мне голос. — *Прямо здесь, на этом тихом берегу ручья — возьми ее. Потрать на нее остаток дня, и пусть это заменит тебе целую жизнь, полную любовной страсти. Безжалостно наслались ее невинным пухленьким телом, и пусть она сходит с ума от страха и боли. Забудь свою великую миссию. Брось все ради этих двух, трех*

*часов ужаса и улады...* Я чувствовал, как снова напряглось в штанах мое мужское естество, и вот уже я неожиданно, абсурдно разрываюсь между страхом, что она заметит мое состояние, и позывом к тому, чтобы сделать его заметным ей, — о, Господи, забыть! забыть об этом! Сколько помню себя, никогда не был я в такой сумятице, в таком расстройстве чувств, не метался так между желанием и ненавистью. Пытаясь унять себя, я сказал дрогнувшим, слишком громким голосом:

— А вот и вода!

— О, как же я хочу пить! — воскликнула она. Из-за поваленных деревьев в этом месте образовалось что-то вроде небольших порогов, и через стволы, вспениваясь, переливалась прохладная зеленоватая вода. Я смотрел, как Маргарет, встав у ручья на колени и сделав ладони ковшиком, подносит ко рту воду горстями. *Давай, — говорил голос, — прямо сейчас, возьми ее.*

— Ну вот, так-то лучше! — сказала она, подымаясь. — А ты разве не хочешь, Нат? — И, не ожидая ответа, заговорила снова: — Ну, а потом, Нат, после того как злобная Фидесса в раскаянии себя убивает, Филимон берет меч и закалывает Пактолуса, вредного старого прорицателя. Филимона в нашем представлении изображала я, и это было так потешно — то есть деревянный меч и все прочее. Потом Цилия обращает Филимона в христианство, а в самой последней сцене они обручены и клянутся друг другу в верности. А потом еще звучат последние слова — то, что в театре называется монолог под занавес. При этом Филимон держит перед Цилией меч, как крест, и говорит ей: “Друг друга любить поклянемся мы светом, идущим с небес...”

Встав с колен, Маргарет повернулась и замерла у самой воды с простертыми в стороны руками — торжественная, с полузакрытыми глазами, будто на нее глядит толпа народу.

— И тут Цилия восклицает: “Свершилось, в радостном экстазе я растворяюсь в бесконечности любви!” — Занавес! Все! — выкрикнула она, гордо и весело глядя на меня. — Правда же замечательная сцена? В смысле — ну, тут и поэзия, и в религиозном плане тоже кое-что есть, хоть я, правда, сама это говорю...

Я не ответил, но в тот момент она как раз сделала шаг от берега, поскользнулась и, тихонько вскрикнув, на мгновение прильнула ко мне, схватив меня за руку все еще мокрыми ладонями. Я обхватил ее плечи — словно бы только удерживая от падения — и быстро отпустил, хотя и не настолько быстро, чтобы я не успел вдохнуть запах ее кожи, почувствовать ее близость и ощутить на щеке дразнящий промельк пряди русых волос. В тот момент послышался ее выдох, и наши глаза вдруг обменялись искрой света, которая сияла дольше, куда дольше, чем если обменяются взглядами просто двое чужих друг другу путников, что вместе едут летним вечером куда-то в глушь, в чье-то дремотное жилье.

Более того — может ли быть? — но я также почувствовал, как она вся расслабилась, обмякла, прильнув ко мне! Может — не может, теперь уж не поймешь, да и отпрянули мы друг от друга очень быстро; какая-то тучка затмила день, пробежала тенью и ветерком по распушенным и — сказать ли? — распутным кончикам ее волос. Тут на какую-то долю мгновенья, не более, она вдруг застыла в позе, напоминающей оцепенение, окончательность смерти. На поднявшемся ветру в кронах деревьев что-то зашуршало, застучало, будто пошел страшный раздор, и я внезапно, без всякой на то причины почувствовал тоску и опустошенность, какой никогда не знал прежде.

Потом она вздрогнула, будто озябла, и сказала очень тихо:



— Пора возвращаться, Нат. — А я, шагая теперь рядом с ней, ответил:

— Да, мисси, — и это оказался последний раз, когда мы были лицом к лицу, за исключением того, окончательного.

Мы были готовы. Я знал, что исход множества баптистов из округа на съезд в Каролину произойдет в четверг восемнадцатого августа и они не вернутся до следующей среды. Так что чуть не неделю в Саутемптоне не будет значительной части белого населения, и мы встретим гораздо меньше вооруженного сопротивления как в Иерусалиме, так и в окружающей сельской местности. Моментом для первоначального выступления я выбрал воскресный вечер — во многом по совету Нельсона, который со свойственной ему хитростью отметил, что в воскресенье вечером негры ходят охотиться на енота и опоссума, во всяком случае в августе, когда работы в полях замирают; в такие ночи обычно с вечера до рассвета в лесу стоит шум, гам, треск, лай собак, так что и у нас, если подыметься какой-то шум, его не так уж сразу-то и заметят. Более того, воскресным вечером будет просто легче собраться — когда же еще, как не в обычный негритянский выходной. Убьем всех у Тревиса, и сразу почин будет наш; вооружившись его несколькими ружьями и двумя лошадьми, сможем идти дальше по нижней кривой огромной буквы “S”, что я начертил на карте (вторгаясь в имения и убивая всех, кто там окажется), а на следующий день будем уже в середине этой “S”, то есть в усадьбе, которую я давно уже звал про себя не иначе как “своей первейшей целью” — у миссис Уайтхед, где полным-полно лошадей, ружей и боеприпасов. К тому времени у меня уже и войско будет изрядное. Я подсчитал, что с теми неграми, что должны будут “проклянуть-

ся” в усадьбах по пути (плюс двое ребят мисс Кати — Том и Эндрю, которых я с легкостью завербовал во время последнего моего пребывания в ее усадьбе), по выходе оттуда у меня будет больше двадцати человек, — и это не считая еще четверых или пятерых, кого я поостерегся заранее посвящать в свои планы, но очень ожидал, что и они пойдут за мной, когда начнется смута. Приняв всяческие меры к тому, чтобы никто от нас не ускользнул и не поднял бы тревоги, мы железной метлой пройдемся по остальной части намеченного маршрута и к полудню следующего дня с победой войдем в Иерусалим, по дороге прибавив в живой силе до многих сотен сабель.

В намеченное воскресенье поздним утром четверка верных сошлась на окончательный сбор за барбекю в укромной лесной лощине позади моего укрывища. Предыдущим вечером я в последний момент послал Харка на ферму Риза, чтобы он велел Джеку (одному из тамошних негров) прибыть к нам на барбекю и тем самым влиться в головное подразделение. Я чувствовал, что надо добавить еще пару крепких рук для усиления первого удара, а Джек подходил по всем статьям — весил более двух сотен фунтов и очень кстати весь кипел возмущением и гневом: всего неделю назад его любимую женщину, красотку с кожей как персик и глазами как миндаль, продали торговцу из Теннесси, который рыскал по градам и весям в поисках “справной девки для одного высокого чина из Нэшвила”, как сам он в присутствии Джека поведал плантатору Ризу. Джек теперь пойдет за мной на край света и, конечно же, с Ризом он покончит, не задумываясь.

Все утро и почти весь день я сторонился соратников, сидел в укрывище, листал Библию и молил Господа о покровительстве в бою. Становилось все более жарко и

душно, я молился, а какая-то единственная цикада все свистела и свистела где-то на дереве, елозила по ушам, как будто кто специально мучил, скреб палкой скрипичную струну. После долгих молитв я поджег свою обитель и стоял на поляне, глядя со стороны, как сосновые доски, которые вот уже столько лет давали мне кров, исчезают, исходя синеватым дымком, в гудящем трескучем пламени. Потом, когда зола остыла, я встал среди пожарища на колени и вознес последнюю молитву, прося Господа о сохранении нас на поле брани. *Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?*

И вот, едва я поднялся с колен, сзади раздалось шуршание кустов, я обернулся и увидел злобное, безумное, искаженное ненавистью и изуродованное побоями лицо Билла. Он ничего не говорил, лишь смотрел на меня выпученными глазами да чесал голый живот, ниже которого лохмотьями висели серые рабочие штаны. Меня охватил беспричинный страх.

— Тебе что тут надо, парень? — выпалил я.

— Вижу дым. Потом гляжу, ниггеры в канаве сидят, — спокойно отозвался Билл. — Они меня и мясом угостили. И что-то говорят такое, будто вы драчку затеваете, белых будете убивать. Спросил Сэма, спросил Нельсона, я, мол, тоже с вами хочу, а они говорят, тебя надо спросить.

— Ты где пропадал-то все эти недели? — тянул время я. — Нат Френсис тебя увидит, застрелит сразу.

— Да пошел ты с твоим Натом Френсисом, — отмахнулся Билл. — Теперь я его застрелю.

— Где ты был? — повторил вопрос я.

— Да болтался тут, — отвечает, — по соседству. — Он пожал плечами. В его глазах зажглись кружочки злобного огня, и я вновь испытал приступ застарелого страха,

который всегда пробуждало во мне его присутствие; я как муха влип в густую вязкую ненависть, что накопилась у него ко всему человечеству, ко всему живому. Вся его курчавая голова была в репьях. На черной щеке поблескивал шрам, лоснящийся, как угорь, выброшенный на глинистый берег. Чувствовалось — протяни руку, и коснешься шевелящейся ненависти, тронешь косматое чудовище, ворочающееся под панцирем покрытой струпьями черной кожи. Я отвернулся.

— Давай-ка двигай отсюда, — сказал я. — У нас людей довольно.

Одним броском он мгновенно вымахнул из кустов и стоял уже передо мной. Под нос мне он сунул узловатый кулак.

— Ты мне не груби, проповедник! — сказал он. В его голосе слышалось шипенье загнанного в угол кота. — Будешь мне грубить, огребешь большие неприятности. Зря я, что ли, по лесам все это время бегал? Мне тут гонобобель всякая *во как* надоела. Мясца теперь хочу — *белого* мясца. И я его себе добуду... и белую пизду тоже.

Много недель он прятался в лесах, кормился ягодами, орехами, личинками и червями, даже падалью; когда погоня с собаками отступала, случалось, воровал кур; жил словно дикий зверь — да и впрямь, заляпанный грязью, вонючий, скалящий клыки и шмыгающий носом, который когда-то ему раздробили, сделав плоским как ложка, он показался мне настоящим зверем, злобной куницей или разъяренной лисой; у меня стыла кровь в жилах. Чувствовалось, он в любой момент может вцепиться в глотку.

— Ты погруби мне еще, проповедник, — хрипло проговорил он, — и я тебя так разуделаю! Ноги из жопы твоей обосранной выдергаю! Больше я гонобобель по болотам выискивать не собираюсь. Мясца хочу. Хочу *кро-*

ви. Так что тебе, проповедник, лучше принять Билла в свою компанию! Ты, может, и большой говорун, но отговорить Билла тебе не удастся!

*(После сего видел я в ночных видениях, и вот — зверь страшный и ужасный и весьма сильный; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами...)*

Он не кончил еще говорить, а я знал уже, что вот-вот сдамся, пойду на попятную. Конечно же, я боялся его, страшился того, что не смогу с ним управиться, привести его к своей воле, да и вообще я к нему испытывал инстинктивное недоверие, из-за которого много месяцев назад я вычеркнул его, выбросил из своих планов. В то же самое время было ясно, что, если я смогу направить его дикую энергию в нужное русло и как-то удерживать в рамках, он много добавит к моей ударной силе. Лишения, выпавшие ему в лесах, не ослабили его, наоборот, влили в его жилистое тело какой-то добавочный кураж, исполнили новых сил; мышцы его иссиня-черных рук трепетали, готовые напрячься с убийственной мощью. Я поглядел на жуткие шрамы — ими испещрил его бока хлыст Френсиса — и, в общем-то, без радости, безо всякого на то желания, решил согласиться.

*(Тогда пожелал я точного объяснения об этом звере, который был отличен от всех...)*

— Ладно, — сказал я, — можешь присоединяться. Но позволь и я тебе кое-что скажу, ниггер. Главный тут я. Я тут всем командую. Когда я говорю марш туда, значит, марш *туда*, а не на винокурню, не в погреб и не на сеновал. И, пока ты с нами, белых баб за задницы хватать ты не будешь — не будешь, понял? Мы отправляемся в долгий путь, по дороге надо многое сделать, а если негры начнут прыгать на каждую белую девку, мы на полмили отсюда не сдвинемся. Так что виски и бабы под запретом. А теперь пошли.

В лощине мои адепты за компанию с новым рекрутом Джеком уже покончили с последними остатками жареного мяса. Повсюду на земле валялись свиные кости, костер догорел, хотя еще курился. Пятеро мужчин возлежали в прохладных папоротниках, росших по склонам; они тихо меж собой переговаривались (я слышал голоса, когда шел туда по тропинке с Биллом), но при моем появлении все встали и смолкли. С самой весны, когда я обнародовал свои планы, я стал требовать, чтобы мне оказывали подобные знаки уважения, при этом я терпеливо объяснял, что поклонения мне не нужно, а только лишь абсолютное послушание; то, как быстро и с какой готовностью они подчинились, меня нисколько не удивило — многолетняя разлагающаяся привычка к покорности возымела свое действие. День клонился к закату, в удлинившихся предвечерних тенях все стояли, ждали меня, я с приветственно поднятой рукой подошел и произнес:

— Первые будут последними.

— А последние первыми, — ответили мне более или менее слаженным хором.

— Рапорт первого эскадрона! — скомандовал я. Эту команду я перенял у конного ополчения, я не раз видел и слышал, как они проходили строевую подготовку во дворе арсенала в Иерусалиме. За первый эскадрон отвечал Генри. Из-за его глухоты я вынужден был повторить команду, после чего он выступил вперед и доложил:

— Первый эскадрон готов, чего ж нет-то! Натан и Уилбур оба ждут в имении Блантов. Дэви у миссис Уотерс. Джо тоже вроде как готов, сидит у Питера Эдвардса. У него, правда, жуткая ангина, но он замотал горло шарфом и говорит, что к тому времени, когда мы туда доберемся, будет как огурчик.

— Рапорт второго эскадрона! — приказал я.

Вторым эскадронам, численностью в шесть человек, командовал Нельсон.

— Мои ниггеры все готовы и рвутся в бой, — доложил он. — Остин сказал, что, может, ему удастся вечером сбежать от де-Брайантов и присоединиться к нам у Тревиса что-нибудь около полуночи. Если сумеет, прихватит с собой хозяйского коня.

— Хорошо, — сказал я, — чем больше нас будет с самого начала, тем лучше. — Затем: — Рапорт третьего эскадрона!

Едва я произнес эту команду, кто-то оглушительно рыкнул, потом еще раз, я быстро обернулся и обнаружил, что эти звуки издает Джек. Прижав к черной груди бутылку виски, он покачивался, описывая верхней половиной тела круги — не очень, впрочем, большие; толстые губы он развесил в самоуглубленной ухмылке и глядел на меня туманным, мечтательным взором, в котором читалось бы усердие бесконечное, не будь он на поверку совершенно пуст. В приливе раздражения я вышиб бутылку у него из рук.

— Чтоб я этого больше не видел, ниггер! — прикрикнул я. — Всякий алкоголь под запретом, ты слышишь меня или нет? Еще раз застану тебя с бутылкой — кишки выпущу! А сейчас марш в кусты, и чтоб я тебя не видел!

Джек, покачиваясь, пристыженно удалился, а я отозвал Нельсона в небольшую рощицу болотной сосны — место темное, под ногами мох, вокруг тучи комарья.

— Послушай-ка, — сердито сказал я приглушенным голосом. — Что с тобой такое, а, Нельсон? Ты же вроде бы моя правая рука, а тут вона как, здрасьте-пожалуйста! Сам же всю дорогу твердил, мол, держать надо ниггеров, изо всех сил держать, чтобы не лезли на винокурни да в погреба! Сам предупреждал насчет пьянства, и сам же этому черному клоуну прямо у тебя под носом позволил напиться до поросычьего визга! И что я теперь, по-твоему, должен делать? Если я не могу на тебя поло-

житься даже в такой простейшей ерунде, тогда мы войну проиграли, еще не начав ее!

— Прости, — облизнув губы, сказал он. Его круглое флегматичное немолодое лицо с пробивающейся седой щетиной и всегдашним выражением бесконечной подавленности стало совсем удрученным, обиженным и виноватым. — Прости, Нат, — повторил он, — у меня это как-то просто из головы вылетело.

— А это ты, братец, не можешь себе позволить, чтобы у тебя там что-то влетало, что-то вылетало, — напирал я, нисколько не удовлетворенный объяснением. — Ты мой первый помощник, сам знаешь, ты да еще Генри. — Если негры у вас не будут ходить по струнке, то можно прямо сейчас вывешивать белый флаг.

— Прости, — опять униженно повторил он.

— Ладно, — снизошел я. — Забудем. Но чтоб с этой минуты выпивки у негров не было! И последнее. Как будем действовать у Тревиса, помнишь? Чтоб все было без сучка без задоринки. Повторяю: никакого шума. Оружие только холодное — тесак и топор. Никакой стрельбы, пока я не дам команду. Начнем стрелять — до нас еще затемно доберутся. Давай план докладывай.

— Это ты прав, конечно, — одобрил он. — В общем, так... — и я в который раз — впрочем, теперь уже в последний — не без удовольствия выслушал подробное перечисление предполагаемых действий по захвату усадьбы Тревиса: — ...Потом вы с Генри заходите внутрь и кончаете с Тревисом и мисс Сарой, правильно? Сэм врывается к мисс Марии Поуп...

— Ну да, только ее дома нет, — вставляю я.

— Как так?

— Уехала в гости в Питерсберг только что, — пояснил я не без сожаления. Что верно, то верно, паршивой старой курице везения было не занимать.

— Хмм, — удивился Нельсон, — вот это жаль. Этой старой суке Сэм с радостью чердачишко-то снес бы.

— Ну, это — если бы да кабы, — сказал я. — Что дальше?

— Ну, тогда, стало быть, — продолжал он, — Сэму лучше оставаться с тобой, правильно? А я с Харком и Джеком лезу на чердак за Патнэмом и тем другим парнем. Это, пока ты занят с Тревисом. Остин тем временем на конюшне седлает лошадей. А Билла куда, а, Нат? Его-то куда присобачим?

— Насчет Билла не переживай, — отозвался я. — На страже стоять будет или еще там что-нибудь. Не волнуйся насчет Билла.

— А с младенцем как? — спросил он. — Ты говорил, потом распорядишься, как быть с ребенком. Ну так как?

Я почувствовал, что внутри у меня все куда-то ухнуло.

— Про это ты тоже не волнуйся, — ответил я Нельсону. — Придет время, получишь указания. Не знаю, может, мы и не тронем ребенка. — Я вдруг пришел в необъяснимое раздражение. — Все, давай, двигай, — стал я торопить его, — и возвращайся уже с людьми. А я к вам потом сойду, когда стемнеет.

Нельсон ушел, исчез за деревьями, а я уселся жевать кусок свинины, который мне оставили от праздничной трапезы, и тут мне в душу закралось какое-то беспокойство, да так, что даже начали неметь конечности, разыгралось сердцебиение и возникла резь в животе. Меня бросило в пот, и я отложил в сторону недоеденный шмат свинины. Много раз молил я Господа избавить меня от этой боязни, однако теперь стало ясно, что Он не услышал и собирается дать мне полной мерой испытать и эти болезненные колики, и липкий страх. День иссякал, стоячий воздух был влажен. В ушах стоял звон комаров, и я ничего, кроме них, не слышал, разве что иногда долетали обрывки разговоров из лощины. Вдруг поду-

малось: неужто Господь и Саула с Гедеоном и Давидом заставлял испытывать страх накануне сражения; неужели и они познали этот всепроникающий ужас, эту до костей пробирающую дрожь, холод неминуемо нависшей смерти? Может ли быть, что и они ощутили, как пересыхает рот при мысли о грядущей бойне, и их плоть тряслась предательскою дрожью, когда они представляли себе множество обезглавленных кровавых тел, отрубленных конечностей, выколотых глаз, когда мысленным взором видели они задушенными людей, которых знали — врагов ли, друзей, неважно, — как те лежат в вечном сне с разинутыми ртами? Неужто Саул, Гедеон и Давид, препоясавшись мечами и ожидая битвы, тоже в непреоборимом ужасе чувствовали, как кровь у них обращается в воду, и лишь об одном думали: куда бы деть меч да как бы убежать подале от поля брани. На мгновение я впал в панику. Вскочил, готовый броситься сквозь чащу, мчаться куда глаза глядят, убежать в дальние леса, чтобы они скрыли меня навсегда от помышлений людских и промысла Божьего. *Отмени, отмени, отмени войну*, — надрывалось во мне мое сердце. *Беги, беги*, — рыдала душа. На тот момент страх был так велик во мне, что я чувствовал — нет, никакое учительное известие Божье не достигнет меня. В это время из лощины донесся хохот Харка, и ужас стал отступать. Я трепетал как осиновый лист. Сидя на земле, я заставлял себя молиться, молиться и вслушиваться в себя, а вечерние тени делались тусклыми, сливались с темнотою...

Что-нибудь через час после наступления ночи (было часов десять) я сошел в лощину к своему войску. На востоке всходила полная луна — много месяцев я предвкушал это в мечтах, почти включил в планы. Будучи уверенным, что всю первую ночь мы будем наступать (а при удачном течении дел и вторую), я полагал луну со-



юзницей скорее нашей, чем неприятеля. Для добавочно-го освещения у нас были факелы из шестов, обмотанных тряпками, вымоченными в камфине — скипидаре пополам со спиртом; бочонок этой смеси Харк выкрал из колесной мастерской. Факелами предполагалось пользоваться в помещении, а иногда, с осторожностью, и на марше, если луны вдруг станет не хватать. Оружие первоначального нападения было простым — три топора и два тесака, хорошенько наточенных у Тревиса на шлифовальном круге. Как и объяснял я Нельсону, чтобы застать врага врасплох, я полагал полезным воздерживаться от ружейной пальбы по меньшей мере в первую ночь до утра, пока наше наступление не наберет достаточную силу. Что до оружия более серьезного — ружей и сабель, — в усадьбах по дороге предполагалось понемногу вооружаться, а уж потом, когда доберемся до миссис Уайтхед с ее оружейной комнатой, тут у нас и этого добра будет хоть отбавляй. Всем необходимым для уничтожения врага он же нас и снабдил: Сэм чиркнул шведской спичкой, целую горсть которых он стащил у Натаниэля Френсиса, и в лощинке загорелся факел. Яркий свет пробежался по серьезным черным лицам и сразу был по моей команде потушен, после того как я возгласил последние слова проклятия врагам: *“Ангел Господень да прогоняет их, и да будут они, как прах пред лицом ветра”*. Затем, когда в лунном свете фигуры людей вновь превратились в нечеткие тени, я сказал:

— Ладно. Пошли. Начинаем битву.

В молчании мы двинулись гуськом — впереди Нельсон, я следом вышли из лесу и оказались на хлопковой полосе позади колесной мастерской Тревиса. Во тьме за мной кто-то кашлянул, и в тот же миг обе дворняжки Тревиса подняли во дворе истошный лай и вой. Шепотом я призвал к тишине, и мы замерли. Затем (я ведь и это предви-

дел) я жестом показал Харку, чтобы он шел вперед и унял собак: они хорошо его знали, и успокоить их ему было нетрудно. Мы подождали: вот Харк крадучись переходит поле, вот он зашел на двор, а вот собаки узнали его и после нескольких приветственных поскуливаний затихли. Тут во вновь наставшей тишине нас матовым сиянием накрыла луна, будто сверху высыпали мешок светящейся пыли; стало светло, как сумрачным, хмурым днем, от конюшни и сараев даже протянулись длинные тени и ярко обозначились силуэты: крыша, фронтоны, конек, дверь. Жара. Безветрие. Из леса не доносилось ни звука, кроме стрекотания *чир-чир-чир-чир* каких-то сверчков и потрескивания кузнечиков в траве. Вдруг Нельсон положил ладонь мне на локоть и прошептал:

— Смотри-кося!

Я увидел, как огромный силуэт Харка отделился от тени конюшни, а рядом возник второй, угловатый и длинный — по всей видимости, Остин, последний, кто должен был присоединиться к ударной группе. Ему было около двадцати пяти, и против своего нынешнего владельца, благожелательного и добродушного Генри Брайанта, он ничего не имел, но ничего не имел и за, поэтому поклялся, что с удовольствием убьет его. Когда-то, впрочем, он затеял в Иерусалиме жестокую драку с Сэмом из-за какой-то цветной девки, и я очень опасался, как бы их вражда не вспыхнула с новой силой.

Я дал знак остальным, чтобы шли за мной, после чего мы, след в след, пересекли хлопковый надел, тихо перелезли с приступочки через забор и встретились с Харком и Остином у теневой стены колесной мастерской, с той стороны, которую из дому не видно. Теперь мы были ввосьмером. Я передал ключи Нельсону, шепотом объяснил ему и Сэму где что, а в это время прямо у меня над ухом, за стеной сонно хрюкали в хлеву Тревисовы сви-

нии. Сэм и Нельсон проскользнули в мастерскую — нужна была приставная лестница, — а Остину я велел идти в конюшню и седлать хозяйских лошадей, стараясь делать это как можно тише. Остин был долговязый верзила с весьма противной черной рожей, напоминавшей череп; несмотря на высокий рост, он был проворен и ловок, и очень силен. От усадьбы Брайанта он ехал через лес, его лошадь вспугнула скунса, и теперь от него жутко воняло. В конюшню он не уходил до тех пор, пока Сэм и Нельсон не вернулись с лестницей. Вместе с ними я через двор направился к торцу дома, тогда как другие четверо бесшумно прошли перед нами к парадной веранде, чтобы занять вокруг нее позиции в кустах. Вонь скунсовой струи все не рассеивалась, жгла ноздри. Обе дворняжки, сопровождая нас, семенили под лестницей; их тощие бока рельефно обрисовывались в резком лунном свете, одна волочила покалеченную лапу. Задул слабенький ветерок, и запах скунса исчез. Взамен принесло роскошное благоухание мимозы. На миг у меня перехватило дух — вспомнились давние времена, когда на благоухающих мимозой лужайках лесопилки Тернера я играл с мальчиком по имени Уош. Но греза эта рассыпалась сразу и вдребезги: донеслось тихое *тук-тук* — это лестницу приставили к стене дома. На пробу я слегка шатнул ее, крепко схватился на уровне груди за перекладину и быстро полез наверх мимо свежепобеленных досок обшивки, которые в хрустально-матовом сиянии луны сверкали так, что становилось больно глазам. Не успел я добраться до открытого окна верхнего коридора, где дрожали и колыхались занавески, как уже слышал доносящиеся из хозяйской спальни полузадушенные хрипы со стонами, то писклявые, то басовитые, и догадался, что это храп Тревиса. (Вспомнилась фраза мисс Сары: “Когда мистер Джо спит, гром стоит — спасайся, кто может,

но с этим свыкаешься, и довольно быстро”). Я тихо перевалился через подоконник в темный коридор, оказавшись в самом средоточии гулкового храпа, заглушившего стук, с которым мои ноги ударили в скрипучий пол. Под рубашкой я был в липком поту, а во рту пересохло и стояла горечь, будто я желуди жевал. Вдруг подумалось: это не я — тот, кто делает такое, это кто-то другой. Я попытался сплюнуть, но язык заскреб о небо, будто это штукатурка или гипс. Нашупал ступеньки.

Спустившись на первый этаж, я зажег шведской спичкой свечу, и она тут же выхватила из мрака пораженную черную физиономию дворового слуги подростка Мозеса, который вылез из своей клетушки под лестницей, услышав мои шаги. В испуге он вращал выпученными белками глаз. Стоял совершенно голый.

— Ты чего тут, Нат? — прошептал он.

— Не твое дело, — прошептал я в ответ. — Иди, спи себе.

— А времени-то сколько? — не унимался он.

— Заткнись, — отвечал я, — иди спать.

Со специальной стойки, оказавшейся у меня под локтем, я снял два ружья и саблю, пошел к парадной двери и откинул щеколду, после чего с веранды по одному вошли остальные. Билл шел последним. Я упер ладонь ему в грудь.

— Оставайся здесь, у двери, — приказал я. — Будь на страже, чтобы никто не вошел. Или не попытался выйти. — Потом, повернувшись к остальным, я тихо проговорил: — Нельсон, Харк и Джек — на чердак, где двое мальчишек. Сэм и Генри со мной.

Вшестером мы опять поднялись наверх.

За многие недели, что прошли с той ночи, я не раз задумывался о том, какие мысли пронеслись в затуманенном со сна сознании Тревиса, когда мы грубо и жестоко ввалились к нему и набросились, ясно обозна-

чив намерения, о кошмарной возможности коих даже он, снисходительный и мягкий хозяин, все-таки, наверное, подчас подозревал, но давным-давно выкинул из головы всякую мысль об этом, как отбрасываешь беспокойство из-за опасности отдаленной и маловероятной. Ибо, конечно же, как все белые, бессонными ночами наверняка он время от времени со стоном вскидывался, когда при мысли о покорных существах, веселящихся где-то там, на опушке леса, в безумном и ужасном озарении вдруг возникал вопрос: а что будет, *если...* если, подобно ласковым домашним питомцам, превратившимся в буйное зверье, они внезапно возжаждут уничтожить тебя, а вместе с тобой и всех тех, кого ты любишь и кем дорожишь. *Если* чей-то предательский навет превратит этих забавных простачков, известных своей детской привязанностью к хозяину, таких трогательных, несмотря на все их лукавство, на всю косность в грехе и слабости, если он превратит их, доселе никогда не проявлявших своеволия, мужества и упорства, в нечто совсем иное, сделает безжалостными изводчиками, дикими и бешеными псами (да простится мне такое сравнение), жестокими катами, облекшимися в ризы мщения, — что тогда станется с нашей бедной брэнной плотью? Наверняка Тревиса, как и других белых, нет-нет да и пронзали исподволь тревожные фантазии вроде этой, заставляя содрогаться в постели. И опять-таки наверняка жалкая его вера в историю в конце концов размывала, уносила эти страхи и предчувствия, которые чаще всего уступали место благостному спокойствию и приятным снам — ну, сами посудите, ведь такого же никогда не случалось! Ведь всем вплоть до последнего деревенщины известно, вплоть до последнего скваттера и бродяги, что в этих черномазых есть изначальная порча, что-то низменное, какой-то изначальный страх, лень и бессилие, и это всегда удержит

их от любого опасного, смелого и необратимого шага, ведь больше двух веков уже они покорствуют и повинуются! Конечно же, Тревис возлагал полнейшее доверие на хрупкое постоянство прошлого, вместе с другими белыми считая, что, поелику народец сей, по всем хроникам и летописям судя, в смутах замечен не был, стало быть, *никогда* не восстанет, — он верил в это, на свою веру надеясь как на каменную стену, опираясь на нее как банкир на доллары, и — чудо! — способен был, отбросив страхи и сомнения, спать сном праведных. А значит, его дремотный разум просто не мог теперь ничего взять в толк, он неспособен был поверить собственным глазам, и ничто не всколыхнуло в нем тех забытых, прошлых страхов, когда нынче он резко сел в постели рядом с мисс Сарой, в растерянности уставился недоуменным взглядом на мой топор и говорит:

— Вы это что себе вообразили, собрались тут!

Резкий сосновый дух камфина щекотал ноздри. В воздухе висел жирный дым. При свете факела, который Генри поднял высоко вверх, я увидел, что мисс Сара тоже привстала на постели, но на ее лице было не замешательство, как у ее супруга, а неприкрытый ужас. Она сразу заныла, застонала, причем даже забыв набрать воздуха в легкие, бессмысленно и еле слышно. Но тут я повернулся к Тревису, по ходу дела с удивлением осознав: ведь за все годы, что я был с ним рядом, первый раз настал момент, когда я смотрю ему прямо в глаза. Да, разумеется, я слышал его голос, ощущал его присутствие, можно сказать даже родственное; мои глаза тысячу раз скользили по его губам, щеке или подбородку, но ни разу я не встречался с ним взглядом. Виноват в этом был один я, точнее, мой изначальный страх, но — тем не менее. Теперь сквозь его наполовину еще сонное замешательство я увидел, что глаза у него карие, взгляд пе-

чальный, усталый от тяжелого труда, может быть, отчужденный, несколько жесткий, но вовсе не злой, и я почувствовал, что, наконец, понял его, узнал — возможно, и сейчас узнал не очень хорошо, но уж куда лучше, чем можно узнать человека, постоянно глядя на одни лишь его замызганные штаны, ладони и локти да слыша его развоплощенный голос. Казалось, встретив взгляд этих глаз, я отыскал оторванный и давно утраченный кусок портрета этого чуждого, непонятного существа, владевшего моим телом; его лицо обрело завершенность, и я, наконец, краем глаза увидел, кто он в действительности такой. Кто бы он ни был еще, он был человек.

Ну, человек так человек, — подумал я.

Обретя это новое знание, я поднял над головой топор, почувствовав, как оружие закачалось, заплесало, будто камыш на ветру.

— *Да будешь ты избит мечем моим!* — вскричал я, и топор со свистом обрушился, но промахнулся аж на полфута и рассек не череп Тревиса, а изголовье кровати меж ним и его женой. В этот момент тихий стон мисс Сары превратился в пронзительный крик.

Вот, значит, как положил я начало своей великой миссии! *Боже!* — я, тот, кто должен был нанести первый удар! Казалось, все силы вдруг покинули меня, члены стали как ватные, и никакими силами я не мог вытащить застрявшее в доске изголовья лезвие. Бормоча молитву, боролся я с топорищем. Между тем, Тревис с придушенным воплем вскочил с кровати и, внезапно осознав ужас положения, безоружный и со всех сторон запертый тремя неграми и кроватью, в чистой панике стал искать выход, пытаясь пройти сквозь стену.

— Сара! Сара! — выкрикивал он. Но она не могла ему помочь. Она вопила как умалишенная. *О, Господи*, досадовал я, трудясь над топорищем; в помрачении бессоз-

нательного педантизма я принялся про себя составлять реестр множества домашних мелочей и безделушек, которые, благодаря факелу, мельтешили в поле моего зрения: золотые карманные часы, голубая лента для волос, кувшин, линялое грифельно-серое зеркало, гребень, Библия, ночной горшок, бабушкин портрет, писчее перо, полстакана ячменного отвара.

— Черт, — слышался позади меня голос Сэма. — Черт! Да *кончай* же ты этого хренова ублюдка!

Со скрипом расщепленного дерева я вынул, наконец, лопасть из дубовой доски, опять занес топор, бросился с ним на Тревиса, все еще царапающего ногтями стену, и — невероятно, невозможно! — еще раз промахнулся. Лопасть плашмя, вскользь ударила его по плечу, отскочила, топорище с вывертом дернулось у меня в ладони, вырвалось, и оружие, не причинив никому вреда, упало на пол. Полуоглохший от криков мисс Сары, я потянулся за топором; нагнувшись, увидел, что Тревис, придя в себя, развернулся и стоит теперь спиной к стене, сжимая в руке оловянную кружку, готовый защищаться. Его костистое, с печатью нескончаемых трудов лицо было того же цвета, что и белая ночная рубашка, но сколько же он обнаружил, в конце концов, мужества! Готовый ко всему, он вступил в битву. В его сильных руках мастерового жалкая кружка казалась холодным оружием, не хуже дубины. Головой он медленно, настороженно поводил из стороны в сторону, опасный как рысь, — мне довелось однажды видеть рысь, когда собаки загнали ее в угол, в том же ритме она поводила головой.

— *Кончай* с ним, — взревел у меня над ухом Сэм.

Но я все еще не был готов.

В полном смятении от собственной нерешительности и неловкости, трясаясь так, что зуб на зуб не попадал, я вновь сомкнул пальцы на топорище, но в этот момент

произошло нечто незапланированное, что будет жить в моей памяти столько, сколько ей отпущено сопровождать меня в этом мире. Едва увидев, я уже знал, что происходящее станет неотъемлемой частью всего моего существа, куда бы ни пошел я и кем бы ни стал во все дни бренного бытия, вплоть до тихой обители преклонных лет. Потому что, словно из какого-то иного мрака, будто из ниоткуда, двигаясь с беззвучием, которое само по себе было загадочно, в узкое пространство между мной и Тревисом вклинился Билл, и черный силуэт его не Бог весть какой крупной фигуры, казалось, стал огромным, и как-то чуть ли не влюбленно он охватил собою Тревиса в его ночной рубаше, бегло заключил в объятия, словно слившись с ним в сладострастном танце. Когда Билл и Тревис сошлись под факелом, ни слова сказано не было; звучал лишь крик мисс Сары, иступленный и пронзительный, на грани безумия, лишь он один напоминал мне об истинной природе этого душенадрывного сочетания. Так быстро, что я с задержкою сообразил, откуда вспышка света, мелькнул один из тесаков, отточенных до остроты бритвы; рука Билла черной неодолимой пружиной взметнулась вверх и вернулась, опять вверх — и вниз, вверх — и опять вниз, и тут он прыгнул назад и в сторону, расставшись со своим партнером, которого до этого так страстно сжимал, и сразу голова Тревиса в потоках крови, хлещущей из мякотных глубин темно-красного мяса, скатилась с шеи, стукнула об пол и замерла. Безглавое тело в ночной рубаше с тихим, свистящим шорохом скользнуло по стене и опало, превратившись в бесформенную кучу тощих лодыжек, локтей, узловатых коленей. Кровь пенной евхаристией затопила комнату.

— *Вот так, проповедник!* — проорал мне Билл. — Сам не можешь, дык я сделаю! Вот так мы расхерачим белую сволочь! А ты заткнись, пиздюлина белая! — это он уже

мисс Саре, потом опять мне: — Что, проповедник, будешь сам ее или опять мне?

Я совсем лишился дара речи — хоть и пытался шевелить губами, — но это было уже неважно. Билл только начал, его алчба лишь разгоралась, безудержная, ненасытимая. Не успел я и глазом моргнуть, как он все решил за меня. Почин совсем перешел в его руки.

— А ну отзынь, проповедник! — скомандовал он; не помня себя, я подчинился, и одним прыжком он уже был в кровати, верхом на бьющейся, визжащей толстой женщине, добрейшей душе, которая так и не сумела нынче выбраться на религиозный съезд. Вновь дело было сделано с изумительным напором и быстротой; вновь рвение и непреодолимость натиска этого маленького, истерзанного, испещренного шрамами черного человека были таковы, словно в этом объятии он изживал, наконец, память о тех десяти тысячах моментов в прошлом, когда вспухало бешеное и неуголимое вождение. Между голых бьющихся бедер мисс Сары, застыв в непреходящей своей устремленности, он лежал как любовник; ищущими под собою руками и головой он скрывал лицо женщины почти полностью — за исключением спутанных прядей ее волос да зрачка одного глаза, дико прыгающего из стороны в сторону, и уже чудилась в нем пустота безумия еще до того, как тесак заработал снова: вверх — и вниз, и ее крик оборвался. Затем изверглось невообразимое море крови, и я услышал, как обитавшая в ней душа покидает тело: мотыльком она пролетела мимо моего уха. Я отвернулся, а тесак сделал окончательное *чинк-чонк* и остановился. Оттолкнув в стороны Генри и Сэма (может ли быть, неужто я пытался бежать?), я бросился в открытую дверь. Уже на пороге увидел Моисея — держа свечу, черный мальчишка стоял разинув рот, с искаженным лицом, словно в каком-то



лунатическом кошмаре. Странный, похожий на музыку, на песнь рожка, что-то выкрикнул сверху голос — да, то был голос Харка, — в нем слышалось торжество; раздался грубый топот и шарканье, тащили что-то тяжелое, проскрипели доски чердачного настила, и по крутым ступеням — шарах-бах-трах — вниз вместе полетели бледные, изрубленные, кровавые тела Патнема и Вестбрука, будто огромные бескостно-податливые куклы, брошенные рассерженным ребенком, и сразу босые ноги Моисея вымокли и окрасились алым. Струи крови неописуемым узором пролегли по всем стенам, по доскам потолка; крови стало столько, будто хляби всех океанов накрыли нас кровавым валом.

*Господи, Боже мой!* — подумал я чуть ли не вслух. — *Войстину, ужели к этому Ты призывал меня?*

Вдруг гром, топот — это по чердачной лестнице спустился Харк, в свете факела его глаза сияли, на лице безмятежная радость. Одним прыжком он перескочил через оба трупа. Уже не тот был Харк — не раб рабов, теперь он познал вкус крови. Растерянный, горящий отец стал человекоубийцей.

— Фу т-ты ну ты! — проговорил он.

— Уходим отсюда! — выкрикнул я, стараясь, чтобы голос не подвел. — Вперед, вперед!

Еще пока я говорил, почувствовал, как запястье пронзило сильнейшей болью. И в тот же миг, глянув вниз, принялся разжимать челюсти Моисея, который, совершенно ополоумев от увиденного, хватил зубами первую попавшуюся плоть.

Однажды вечером незадолго до суда, сидя в камере, я вспомнил, как мистер Томас Грей сказал мне тем то ли растерянным, то ли задышленным тоном, что появлялся у него, когда он ни за что не мог поверить услышанному:

— Но ведь бойня же, бойня, Преподобный, бессмысленная резня! Кровь столь многих *безвинных*! Чем это оправдаешь? Об этом людям хотелось бы знать в первую голову. Да и мне, видит Бог, хотелось бы знать это! Мне тоже!

Пронзительный ноябрьский ветер гулял по камере. Щиколотки застыли и онемели от кандалов. Когда я сразу не сумел ответить, он опять принялся за свое, хлопывая бумагами с черновиком моих признаний себя по толстой лямке.

— Я вот к чему, Преподобный: *Боже ж ты мой*, в некоторые мелочи просто никак невозможно поверить, они не укладываются в голове. Хм. Мелочи. Вот, послушай. Это ты сам свидетельствуешь под присягой. Покинув дом Тревиса и четверых убитых, ты вдруг вспоминаешь о младенце — ребенку нет еще и двух лет, спит себе в колыбели. Говоришь, собирался оставить дитя в живых, но вдруг передумал. И вот, во всеуслышанье провозгласив, что “вши выводятся из гнид” — изящное замечание, Преподобный, не правда ли, особенно для лица духовного звания! — ты отправляешь Генри с Биллом обратно в дом, и там они берут бедное ни в чем не повинное дитя за ноги и вышибают ему мозги ударом о стену. Это такая мелочь, в которую нормальному человеку поверить просто никак невозможно! Тем не менее чистая правда. Согласно твоему собственному признанию. И ты по-прежнему упрямо твердишь, что и по поводу этой жутчайшей сцены ты никаких угрызений не испытываешь. Никаких мук совести, никакого раскаяния, так?

Опять я долго колебался, тщательно подбирая слова, потом говорю:

— Все правильно, мистер Грей. Боюсь, я не смогу признать себя виновным, потому что я не чувствую за со-

бой вины. При всем желании вам потрафить, мне просто непонятно, о каких вы, сэр, говорите муках совести.

— *Еще мелочь.* Насчет тех мальчишек, что вы убили у мистера Уильяма Уильямса на покосе, в первый день вечером. Двоих маленьких мальчиков, ни одному из них десяти лет не было. Ты хочешь сказать, что у тебя и по этому поводу нет никакого раскаяния?

— Нет, сэр, — спокойно ответил я. — Нет, я не чувствую раскаяния.

— А вот еще мелочь — и ведь вот, черт побери, *мелочь-то*, опять таки! Десять невинных школьников, убитых в усадьбе Уоллерса, позднее в тот же день. *Десять* маленьких детишек! Ты хочешь мне сказать, что даже и сейчас, когда уже не один месяц прошел, твое сердце все еще никак не отзывается на это горе? И ты не чувствуешь вины, что вы зарезали беспомощных и беззащитных детей?

— Нет, сэр, — сказал я. — Ничего я не чувствую. Хотелось бы, если можно, пояснить, кстати, что в усадьбе Уоллерса народ был не такой уж беззащитный. Там не одни дети были. Мужчины там с нами будь здоров какую драку затеяли. Отстреливались. Там у меня двоих впервые ранило. — Я помолчал, потом добавил: — Но даже если бы этого и не было, все равно я бы вины не чувствовал.

Говоря, я наблюдал за Греем, видел, как пристально он смотрит на меня, а про себя прикидывал, много ли из того, что я так откровенно ему рассказываю, окажется в тех признаниях, которые он собирается напечатать. И решил, что, скорей всего, не очень много, но мне это было уже неважно. Меня так замучила усталость — болезненная, пронзительная, как этот ноябрьский ветер, который так задувал в щели, что промораживал меня до костей, да еще и с ледяными железными кандалами на ногах. Я напомнил ему случай на плантации Гарриса —

тогда же, в первый день под вечер, когда мы видели, как девчонка лет четырнадцати с визгом убежала в лес; образно говоря, я ткнул его носом в то, что он мне сам рассказал: как эта отважная дева, запыхавшаяся, вся в слезах прибежала в имение Джека Уильямса, отстоящее мили на две к северу, и предупредила тамошний народ. Ее побег привел к тому, что Уильямс не только сам избежал нашего мщения (в особенности зуб на него имел Нельсон, который был его рабом и ох, как хотел свести счеты), но еще и получил возможность, вовремя ускакав, предупредить белых по всей округе, особенно в больших хозяйствах, таких, как у Бланта и у майора Ридли. Там-то мы и встретили потом самое отчаянное сопротивление. Да ведь и сборная конница трех округов — она тоже из-за нее появилась, та, что вскоре после этого отрезала нас от Иерусалима с его арсеналом, когда мы уже последнюю милю разменяли, были у самого моста на въезде в столицу округа!

Какое-то время Грей молчал. Потом он набрал побольше воздуха и со свистом выдохнул, изобразив тяжелый вздох.

— Что ж, Преподобный, приходится отдать тебе должное, — произнес он угрюмо, — ибо то, чего ты добивался, если ты и впрямь хотел устроить бойню, ты выполнил и в деле своем весьма преуспел. Ну, до известного предела, конечно. Полагаю, даже ты толком не знаешь, каковы истинные цифры потерь, тем более бежал до сих пор, прятался. Но за те три дня и три ночи, что длились твои бесчинства, ты ухитрился существенно ускорить переход в мир иной пятидесяти пяти белым, не считая еще человек двадцати, получивших ранения и увечья и, что называется, выведенных, как говорят французы, *hors de combat*\*

---

\* Из строя (*фр.*)

по гроб жизни. К тому же один Бог знает, сколько бедных душ исковеркано горем и ужасными воспоминаниями так, что им до смерти не оправиться. Нет, — продолжал он, отламывая темный ком от плитки жевательного табака, — нет, надо отдать тебе должное, во многих отношениях ты поработал крепко. Мечом, топором и ружьем ты такую просеку проложил в нашем округе — ее надолго запомнят. Ты правильно говоришь, действительно ты чуть не вошел со своим войском в этот город. Вдобавок — впрочем, это я тебе уже говорил — ты на весь Юг нагнал страху, у всех аж поджилки трясутся. Такого ни одному ниггеру не удавалось.

На это у меня ответа не нашлось.

— Н-да, успех тебе сопутствовал, что верно, то верно. До известного предела. Уверяю тебя, — он ткнул в меня испачканным в табаке желтым пальцем, — именно что *до предела*. Потому что, строго говоря, Преподобный, по самому большому счету, ты с начала и до конца был обречен на провал, в действительности ничего, кроме фиаско, тебе не светило. Правильно? Потому что, как ты сам мне вчера рассказал, ни одной из больших подвижек, которые ты ожидал спровоцировать своим бунтом, просто не произошло. Правильно? Все какая-то мелкая ерунда, которую даже если в кучу собрать, и то она выведенного яйца не будет стоить. Правильно?

Трясаясь от холода, я глядел вниз, между колен, на дощатый пол, где холодное железо лежало звеньями, будто ржавая якорная цепь, уходящая в мутные промозглые глубины. Внезапно я ощутил приближение собственной смерти, по коже головы пробежали мурашки, и я обдумал это ощущение с ужасом, смешанным с нетерпением. Мои руки тряслись, кости болели, и голос Грея доносился до меня, словно через поле — зимнее, неоглядное, занесенное снегом.

— Еще деталь, — не отступал Грей. — Согласно прошлой переписи населения США, в нашем округе было восемь тысяч ниггеров — тех, что при хозяевах, не считая полутора тысяч свободных. Из этого количества — грубо говоря, в десять тысяч, плюс-минус там, неважно, — ты уверенно ждал, что весомая доля, по крайней мере, мужского населения восстанет и присоединится к тебе. Во всяком случае, ты сам так говорил, и этот твой Харк, да и другой ниггер, Нельсон, когда мы его еще не повесили, тоже признавал, что ты так говорил. Давай прикинем, где-то... ну, чуть меньше половины негритянского населения округа живет как раз вдоль того пути, которым ты шел на Иерусалим. В пределах слышимости твоей, как говорится, боевой трубы. Если считать только взрослых мужского пола, получается, ты мог рассчитывать на тысячу человек — что они пойдут под твоим знаменем, чтобы жить и умереть за Негритянство, и это, если мы договоримся, что пойдут всего лишь пятьдесят процентов взрослых мужчин. Никаких старых дедушек и негритят — это ни-ни. По твоим расчетам, ты должен был собрать тысячу ниггеров. Тысячу — эка! А сколько собрал? Семьдесят пять самое большее! *Семьдесят пять!* Можно спросить тебя, Преподобный, это сколько же будет жалких процентиков?

Я не ответил.

— Еще мелочь, — вновь заговорил он. — Пьянство и нарушения воинской дисциплины среди твоих так называемых солдат. Этого ты отрицать не сможешь, как бы ни хотелось тебе представить миру благостную картину с величавым воинством в сверкающих доспехах, где вымуштрованные, щеголеватые солдаты стоят по стойке “смирно” в стройных шеренгах и колоннах. На поверку у нас слишком много свидетельств *au contraire*\*. То, что

---

\* Обратного (*фр.*)

ты собрал, оказалось не армией, а разгильдяйской толпой пьяных черных головорезов, которых не оттащить от бочек с сидром и виски, и очень по-негритянски они этим внесли весомую лепту в твой разгром. Да вот и майор Клэйборн, который командовал ополчением округа Айл-оф-Уайт, рассказывает, что, когда он разбил тебя у Паркера на выгоне, до трети твоих солдат валялись с ног, пьяные в стельку, причем некоторые были так нахерачимшись, что не понимали, где у ружья дуло, а где приклад. Я тебя спрашиваю, Преподобный, так революцию разве сделаешь?

— Нет, — сказал я, — с этим дело дрянь было, признаю. Это было самое скверное из всего, что пошло наперекос. Я приказывал, запрещал, но когда войско разрослось — когда вместо нескольких человек у нас стало вдруг много народу, — я как-то перестал с ними справляться. Просто невозможно было держать в поле зрения всех сразу, и я...

Но тут я смолк. Зачем теперь пытаться что-то объяснить? Грей прав. Несмотря на некоторые успехи, несмотря на то, что до цели нам оставалось меньше мили (близость Иерусалима так волновала, так раззадоривала, я до сих пор чувствую во всем теле тогдашний трепет предвкушения победы), несмотря на то, что мы почти добились всего, в конце концов мы потерпели полную и безнадежную неудачу. Как я и сказал Грею, я оказался не в состоянии совладать с разбушевавшимися черными мерзавцами, слишком многие из которых были как дети малые; ни я, ни Нельсон, ни Генри, ни кто бы то ни было другой не мог удержать этих неоперившихся рекрутов, этих неумех с кроличьими мозгами, от разграбления винных погребов, точно так же, как нельзя было не давать им лазить по чердакам в поисках пестрых нарядов или обшаривать коптильни с окороками; а то еще вдруг возьмут да как припустят верхом во весь опор не

в ту сторону, или — что, кстати, имело место неоднократно — по причине полного незнакомства их черных пальцев с оружием, сами себе чуть руки-ноги не отстреляют. Но, мистер Грей, — хотелось мне ему сказать, — *чего еще могли вы ожидать от мужчин, по большей части юношей, почти подростков — глухих, немых, слепых, искалеченных, замороченных, безруких и безногих еще с того момента, когда испустили они свой первый младенческий крик на голом глиняном полу? Это еще поразительно, что мы сделали то, что сделали, что мы едва не взяли Иерусалим...* Но я ничего не сказал, а в памяти всплыл тот момент ближе к полудню второго дня, когда перед разграбленной руиной какой-то усадьбы в дальнем захолустье я увидел прежде незнакомого молодого негра, причудливо разодетого: в перьевом боа и кителе армейского полковника; он был пьян настолько, что, едва держась на ногах и дико хохоча, мочился в открытый рот мертвой седовласой старушки — распростертая на цветочной клумбе, она все еще сжимала в объятиях ребенка, — и я ничего тогда не сказал этому негру, только развернул коня и подумал: это из-за тебя, бабка, мы не научены воинской доблести...

— А вот еще мелочь, — сказал Грей. — Последняя, но вовсе не по значению. Чертовски важная мелочь, Преподобный, причем удостоверенная свидетельствами как белых, так и черных и доказанная столь многократно, что уже не является предметом обсуждения. А состоит она в том, что выявилось не только множество ниггеров, которые к вам не присоединились, но было, оказывается, и неисчислимое множество таких, кто выступал в качестве ваших непримиримых врагов. Если говорить простыми словами, Преподобный, то это попросту значит, что с той поры, как по округу забили тревогу, *повсюду* нашлись ниггеры, которые столь же упорно старались защитить и спасти своих хозяев, сколь упорно вы стара-

лись их убить. Они просто *жили слишком хорошо!* Все то время, что ты лелеял в фанатичной твоей башке фантазию, будто бы ниггеры спят и видят прилепиться к этой твоей “великой миссии”, как ты ее называешь, чтобы идти за тобой на какое-то там вонючее болото, в действительности девять из десяти твоих родственников черножопых напрочь отказались жрать такого рода хлёбово. Так что, Преподобный, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что люди твоей же собственной расы внесли в твой разгром лепту бóльшую, чем кто бы то ни было еще. Твоя раса — она не для революций создана, вот же в чем дело. И в этом еще одна причина того, что рабовладение простоят еще тысячу лет.

Он поднялся со скамьи напротив.

— Ладно, мне надо идти, Преподобный. Зайду к тебе завтра. Между прочим, в своих показаниях, которые будут судом рассмотрены прежде твоих признаний, я отмечу, что подсудимый не выказывает раскаяния в содеянном, и, поскольку *не чувствует вины*, то будет настаивать на признании его невиновным. Ну, и последний раз: ты *уверен*, что совсем не чувствуешь вины? Иначе говоря, если бы тебе представился случай, ты снова бы все это сделал? Еще есть время передумать. Жизнь тебе это не спасет, но выглядеть в суде ты будешь всяко лучше. Ну, давай громче, Проповедник!

Когда я ничего на это не ответил, он, не говоря ни слова, ушел. Я слышал, как хлопнула дверь камеры, прошуршал по направляющим и с лязгом задвинулся засов. Опять за окном почти ночь. Я слушал, как шуршат и скребут по земле сухие листья, влекомые холодным ветром. Потянувшись растереть затекшие и распухшие щиколотки, я подумал, дрожа на сквозняке: раскаяние... Правда ли, что во мне действительно нет раскаяния, нет угрызений, нет чувства вины за то, что я сделал? И не в

этом ли отсутствии раскаяния причина того, почему я не могу молиться и почему я чувствую себя таким далеким от Господа, лишенным Божеского призрения? Я сидел, вспоминал месяц август и не находил никакой возможности, чтобы хоть вскользь коснулось моей души это чувство. Все, что я ощущал, при ближайшем рассмотрении оказывалось глубоко спрятанной, тщетной, бессильной яростью, злостью и гневом на белых людей, которых мы убили, и на тех, кого убить не смогли, гневом на живых и на мертвых, а пуще всего гневом на тех негров, кто не пошел за нами, кто сбежал от нас или стал в ряды неприятеля — на этих бездуховных, бесхребетных мерзавцев, пошедших против своих. Гневом даже на собственную крошечную рать, оказавшуюся настолько меньше тех легионов, что я провидел! Ибо, хоть сердце у меня и надрывалось, не желая признавать это, я понимал, что Грей недалек от истины: к моему поражению черные приложили руку не меньше белых. Так было и в тот последний вечер в среду, когда уже усадеб сорок мы опустошили и силою в пятьдесят сабель группировались в лесу перед набегом на дом майора Ридли. Тогда впервые я заметил на укрепленной веранде большое количество негров с мушкетами и фузеями; они палили в нас с таким же воодушевлением, яростью и даже сноровкой, как и белые их хозяева и надсмотрщики, собравшиеся там, чтобы не дать нам пройти на Иерусалим. (Тревогу забили более чем за сутки до этого, утром во вторник, и расписание у нас уже гибельно сбилось, потому что много часов подряд нам приходилось повсюду одолевая упорное сопротивление. Усадьба Ридли, господствующая над дорогой в город, превратилась в неприступную крепость, но ее надо было взять и взять быстро — то был наш последний шанс: чтобы захватить Иерусалим, нам во что бы то ни стало надо было про-



рваться с ходу и последнюю милю скакать во весь опор, иначе город к нашему приходу успеет превратиться в укрепленный лагерь.) Перед нами было громадное старое кирпичное здание, окруженное баррикадами из повозок, поленниц, бочек, штабелей бревен и досок, за которыми засели двадцать пять или тридцать негров из наиболее богатых пригородных имений — кучера, повара, кто-то, возможно, был и из полевых работников, но, по одежде судя, главным образом то были садовники и прочая дворовая челядь, несколько было там даже довольно светлокожих кухонных девок в платочках — они подавали боеприпасы. Над нескончаемым громом пальбы слышался голос майора Ридли:

— Молодцы, ребята! — кричал он обороняющимся, вместе и черным, и белым. — Веселей! Готовсь, ребята, огонь! Заряжай! Прогоним супостата! — и залп за залпом в нас палили из ружей с таким грохотом, будто непрерывно били молнии, сшибая на нас с деревьев ветки и зелень.

Еще помню, присели мы с Харком за толстый ствол поваленного дуба, и Харк кричит сквозь гром уже нашей собственной пальбы:

— Ты только глянь-кося на этих черных засранцев, они же в нас стреляют!

А я, пытаясь обмануть себя, подумал: да, они черные, и они стреляют, но их заставили, им под угрозой смерти все эти ружья всучили белые. По собственной воле не стали бы негры так упорно отстреливаться, во всяком случае, не в таком количестве. Все это я отчаянно додумывал уже после того, как по моему сигналу мы бросились на дом в атаку. Но в глубине души я знал правду: мало, слишком мало кто к нам присоединился — что это меньше сотни человек! Тогда как рассчитывал я на многие сотни! И разве я не видел собственными глазами, как еще

человек пятьдесят негров при нашем приближении бежали и прятались в лесу! Теперь мои люди, спешившись, шли неровной стрелковой цепью, приседая под пронизанными солнцем кустами самшита и прячась за стволы кленов. Мы были все на виду, как на ладони у противника, который, не превышая нас числом, превосходил качеством позиции и огневой мощью, — ведь нам-то на их редут надо было снизу вверх наступать, да и драться приходилось уже не с белыми, а с кошмарной ордой таких же черных, как мы сами — дворовых и всяких прочих возвышенных над другими черномазыми негров, которые хладнокровно целились и били из ружей в нашу черную цепь. В конце концов нам пришлось отступить и рассеяться по лесу. Я видел, как повсюду мои люди в панике бегут. Лошади без седоков умчались в луга. Вся моя миссия рассыпалась вдребезги, разлетелась, как порох с ружейной полки на сильном ветру. Да потом еще этот ужасный, смертельный удар. Двое моих людей подобрались к веранде ярдов на двадцать, и тут на моих глазах их обоих убили: одним из них оказался Билл, в ком до самого конца кипела благородная ярость, которая исполняла его отваги беспредельной, почти безумной; другим был мой замечательный, чудный Генри, которому из-за отсутствия слуха трудно было судить о направлении, откуда грозит опасность, и ему мушкетной пулей перебило горло. Он упал, как подрубленное дерево.

Когда мы отходили, бежали вниз по склону холма, далеко позади меня пал, получив ранение, и Харк. Споткнувшись, я свалился, тут же вскочил, хотел броситься к нему, но он был слишком близко к веранде; зажав ладонью рану, он силился подняться, но тут из дома под прикрытием ружейного огня выскочили трое голых по пояс негров в кучерских бриджах и сапогах и ногами опять сшибли его наземь. Харк бешено вертелся, извора-

чивался, но они вновь и вновь пинали его, избивая с таким усердием, какое не могло быть вызвано принуждением, угрозами или увещеваниями со стороны белых, они явно отводили на нем душу, били его так, что я видел, как из его огромной рваной раны вылетают струйки крови. Потом они потащили его мимо одной из превращенных в заграждение повозок и куда-то под веранду, причем даже когда он уже исчез из виду, можно было заметить, что двое негров наперебой пытаются достать его сапогом по раненому плечу. Я тогда убежал и спасся. Помню, как тошно мне было от ярости и осознания разгрома, а позже, вечером, когда мое войско навсегда исчезло (те последние двадцать человек, что все же вышли в сумерках из мокрого леса на последний огневой контакт с дюжиной конных ополченцев округа Айл-оф-Уайт, были кто без сил от усталости, кто деморализован или пьян — *да, прав был Грей*, — и, конечно же, они не могли не попытаться вчистую раствориться среди деревьев, чтобы потом, крадучись, отправиться по домам в нелепой надежде, что из-за суматохи их преступная выходка останется незамеченной), да, когда войско исчезло, я тоже попытался в одиночку скрыться, вопреки здравому смыслу продолжая надеяться, что, может быть, найду еще Нельсона или Остина, или Джека, мы соберемся с силами, переплывем через реку и втроем-вчетвером тихой сапой взломаем арсенал, но не успела еще и ночь настать, я понимал уже — слышал в ночной переключке белых, в стуке копыт кавалерии по темным дорогам, что эта моя надежда — чистое безумие, и тут в бесплодной черной глубине моего сознания поднялся рев обид и обвинений: *Это негры тебя побили! Ты чуть не взял усадьбу Ридли. И взял бы Иерусалим, если бы не черная сволочь, не проклятые раболепствующие жополизы-негры!*

На следующее утро, когда впервые за последние дни я выспался и впервые был один, едва лишь первые лучи солнца заиграли в туманной прохладе на верхушках сосен, в поисках пищи я вышел из лесу и вскоре набрел на усадьбу Вогана, где эскадрон Нельсона убил четверых. С позавчерашнего дня печи в кухне еще курились, в просторном белом доме было тихо и пустынно. Пробираясь мимо курятника к хлеву, я услышал пыхтение и хрюканье — оказалось, два диких кабана пожирают труп мужчины. Должно быть он служил управляющим. Тело было без головы, и я понял, что последнее человеческое лицо, которое этот человек видел, было рожей Билла. Какое-то время я наблюдал, как кабаны роются в человеческих внутренностях, и никаких чувств при этом не испытывал; заляпанные грязью мерзкие твари могли бы с тем же успехом жрать помои или бросовую требуху. Но когда я набрал уже кое-каких продуктов на разграбленной, замусоренной кухне и приготовил себе на первое время мешок с мукой и солониной, страх и смущение овладели мною. За многие годы у меня выработалась привычка — я говорил уже — проводить этот утренний час в молитве и размышлении, но когда я возвратился к лесу и стал там на колени, дабы молить о Божьем водительстве в грядущие времена уединения и вопрошать Его о путях спасения (ныне, когда мое дело, Ему посвященное, безвозвратно погибло), к неописуемому своему ужасу, я обнаружил, что впервые в жизни я даже думать, и то неспособен! Как ни пытался, я не мог исторгнуть из своих уст молитву. Понятный и знакомый мне Господь ускользал от меня. Тем ранним утром я все ждал, все мешкал, чувствуя себя одиноким и брошенным, как не было ни разу с тех самых пор, когда выучил я имя Божие.

Так я сидел и вспоминал, дрожа на ноябрьском ветру и слушая накатывающие из города вечерние звуки, и

ярость во мне иссохла и понемногу замерла. Вернулись пустота и безысходность, да к тому же острое, мучительное одиночество, каковое, по правде говоря, с того самого раннего утра на опушке леса ни на миг и не покидало меня все долгие недели, когда я прятался в берлоге на краю болота, — одиночество, происходящее от невозможности молиться. И я подумал: может быть, этим страданием Господь пытается мне что-то внушить? Может быть, как раз этим кажущимся Своим отсутствием Он и ведет меня к тому, чтобы я поразмыслил над чем-то, о чем я прежде не задумывался или чего не знал вовсе. Как это можно, чтобы человек пребывал в такой пустоте и безнадежности? Ведь не мог же Господь в бесконечной благодати своей и величии сперва избрать меня для столь значительной миссии, а потом, когда я потерпел поражение, позволить мне претерпевать такую богооставленность, будто мою душу бросили в бездонную яму, как какой-нибудь никчемный клуб дыма или пара. Несомненно, этим Своим молчанием и отсутствием Он являет мне знамение куда важнее всех прежних...

Я нехотя поднялся с кедровой скамьи и, вытянув цепь на всю длину, подтащился к окну. Выглянул в сгущающиеся сумерки. Откуда-то с берега реки, где кончается изрытая ухабами дорога, доносились аккорды то ли мандолины, то ли гитары и молоденький девичий голос. В хрупком горле какой-то девчонки, скорей всего белой (я-то никогда уж ее не увижу), рождалась мелодичная и нежная песнь и плыла себе, несомая ветром, над притихшей рекой. В сумраке вспыхивали яркие белые точки снежинок, и музыка сливалась в моей душе с утраченным и забытым ароматом лаванды.

“Там, в далеком краю, где мой милый уснул...”

Голос мягко вздымался и опадал, а потом и вовсе сгинул, и другой девичий голос тихо позвал: “Джинни, ты

где?” — а сладостный запах лаванды все разносился по полям моих воспоминаний, так что я даже поежился от тоски и желания. Обхватив голову руками, я уперся в холодные прутья решетки, про себя думая: нет, мистер Грей, нет во мне никакого раскаяния. Я бы все повторил сызнова. Но и тому, в ком даже перед лицом смерти нет раскаяния, подчас приходится спасти одного из заложников — во искупление собственной души, поэтому я говорю: да, я бы их всех убил сызнова, всех, кроме...

Почти сразу, еще в первый час после происшедшего в доме Тревиса, я начал опасаться, что Билл отберет у меня бразды правления, и вся моя великая миссия пойдет прахом. Не то чтобы я тут же вообразил, будто он у меня отобьет моих самых верных вроде Генри, Нельсона или Харка — они были полностью под моим влиянием, да и сами стали командирами собственных подразделений. Однако, по мере того как близилось утро и наши ряды пополнялись новыми людьми (ведь было захвачено уже с поддюжины имений, лежавших на кривом и окольном пути от Тревиса к миссис Уайтхед), дикое, безоглядное, сумасшедшее стремление Билла главенствовать становилось настолько явным, что я не мог на него не обращать внимания, равно как не мог побороть в себе панику, вызванную моей неспособностью убивать. Взять хоть Иисуса Навина — разве не собственным мечом поразил он царя Македского? А Ииуй! Не своей ли рукою натянул он лук и поразил Иорама между плеч его? Предвестия беды витали в воздухе. Я понимал: нельзя ждать, что люди сплотятся вокруг меня и будут храбро биться, если сам я чужаюсь крови.

Дело в том, что после позорного провала моей попытки расправиться с Тревисом и мисс Сарой, еще дважды я имел возможность оправдаться, вновь на глазах у всех

своих адептов и соковников пытался пустить в ход меч, дважды заносил грозный клинок над посеревшим лицом белого, но в первый раз мой клинок лишь вскользь задел жертву, отскочив с бессильным тупым стуком, а во второй — удар пришелся так далеко от цели, что, изумившись этому, я подумал даже, не отвела ли его чья-то могучая, невидимая, эфирная рука. И оба раза именно Билл с ядовито-насмешливым видом: “Ну-ка, ну-ка отыди-ка, милейший проповедник, в стороночку!” — плечом оттирал меня и с выражением свирепой похоти, сноровисто и беспощадно наведя на топор кровавый глянец, приводил очередную казнь в исполнение. Никоим образом не мог я ни обуздать его, ни преследовать укоризнами. На ненасытимую его жажду крови другие тоже взирали с ужасом и недоумением, но избавиться от Билла, буде я даже мог осуществить это, было бы все равно что отрубить себе правую руку. Все, что я мог сделать, когда он предлагал мне отойти, это в точности его приказ выполнить, то есть отступить в сторону — в надежде, что остальные, может быть, не заметят в моих глазах промельк гаденького унижения или хотя бы не увидят, как я тайком убегаю в лес, где меня долго выворачивает наизнанку, — такое, правда, случилось всего лишь раз, после того как на моих глазах топор Билла разрубил надвое череп молодого плантатора по имени Уильям Риз.

С рассвета над окрестностями повис жемчужного цвета туман, он не рассеивался уже несколько часов, когда наш отряд из двенадцати сабель остановился в лесу на подходе к имению миссис Уайтхед, чтобы позавтракать беконом и фруктами. Солнце понемногу выжигало дымку, обрекая день на удушливую, спертую жару. За ночь мы разнесли в пух и прах шесть имений с плантациями и убили семнадцать человек. Из них у Билла на счету было семеро; остальных делили между собою Харк, Ген-

ри, Сэм и Джек. Ни один не избежал топора или сабли и никто не выжил, чтобы поднять тревогу. Внезапность действовала ошеломляюще, оглушительно. Наш поход совершался в полной тишине и сеял смерть. Я знал, что, если нам достанет удачи справиться с верхним выгибом нашей буквы “S” с той же тихой и безупречной, лихою четкостью, с каковою мы ухитрялись действовать до сих пор, нам, может быть, и вовсе не придется идти на такой риск, как ружейная пальба, пока мы не окажемся совсем близко от Иерусалима. Личный состав наш вырос, как я и ожидал, до восемнадцати сабель; у девятих теперь были лошади, в том числе четыре арабских скакуна, взятых нами с плантации Риза. Мы были до зубов вооружены саблями, топорами и ружьями. Двое молодых негров, присоединившихся к нам в имении Ньюсома, были пьяны и явно тряслись от страха, но остальных новых рекрутов, разминающихся и горделиво расхаживающих среди деревьев, боевой дух так и распирает. А я в тревоге не находил себе места. Доведенный до крайности, я сам себе поражаюсь: да было ли такое в истории, чтобы командующий оказался в столь затруднительном положении, что не только власть, но жизнь его оказалась под угрозой из-за наглой, граничащей с бунтом дерзости фельдфебеля, которого он не может позволить себе ни убить, ни, тем более, прогнать. Отчасти с целью хотя бы на время освободиться от действующего на нервы мельтешения Билла (но также и в соответствии с первоначальным планом — не настолько уж он свел меня с ума) незадолго перед рассветом я послал Билла и еще четверых под командой Сэма громить усадьбу Брайанта, которая лежала милях в трех к востоку. В самом-то деле: Сэм вырос с Биллом вместе у Натаниэля Френсиса, пару раз они вместе пускались в бега, и я решил, что, во всяком случае, какое-то время



Сэму, возможно, удастся управляться с ним и несколько его утихомиривать. В усадьбе Брайанта было человек шесть, подлежащих смерти, несколько ожидающих нас рекрутов и несколько красавцев-скакунов, которые могут стать бесценными, когда дело дойдет до внезапных набегов. Усадьба была на отшибе, и я разрешил Сэму использовать ружья. Трудностей там никаких не ожидалось. В притихшем жарком лесу мы ждали, когда эта группа вернется, чтобы уже нерасчлененною силой ударить по следующей цели.

Чувствовал я себя из рук вон плохо: затянувшийся приступ рвоты, который мучил меня в имении Риза, оставил после себя потливую слабость и тошноту, да еще и желудочные колики не прекращались. Где-то над ухом в кустах скрежетал, трещал и тараторил дрозд. *Заткнись!* — мысленно кричал я на него. Уже стало нестерпимо жарко — сверху злобно пялилось солнце сквозь полог дымки, но уже не млечно-чистой, а свинцовой, давящей, враждебной. Пытаясь скрыть от своего войска дрожь, которая, не унимаясь, сотрясала все мое тело, я не стал есть вместе со всеми ни бекон, ни персики, а удалился один с картой и бумагами под сень отдельно стоящей купы деревьев. Следить за войском я оставил Нельсона и Генри. Поблизости протекал ручей, и, помечая на карте путь нашего продвижения, я слышал, как люди моют коней, поливая их водой из медных ведер, которые были частью нашей добычи. Среди негров царило возбуждение и веселье. Слышался смех, и пусть некоторые из них были пьяны, мне было жаль, что я не разделяю их самодовольства и буйной радости, что не могу унять грызущее меня изнутри беспокойство, замедлить бешеное биение сердца. В конце концов я попробовал молиться, вызывая к Господу с просьбой даровать мне решимость, подобную той, что снизошла на Давида; это помогло:

тошнота и головная боль несколько отступили. Когда примерно в половине девятого между деревьями замаячил эскадрон Сэма, я почти воспрял к новой жизни, поэтому поднялся и пошел встречать ребят. Вместо шестерых возвращалось десятеро, и некоторые уже сидели на резвых беговых лошадках Брайанта, а по шикарным новым кожаным сапогам на ногах у Сэма можно было понять, что поручение они выполнили успешно не только по части лошадей. Тому, чтобы в сражениях брали трофеи, я не очень противился: было ясно как день, что пытаться не позволить кому-либо из этой армии обездоленных и отверженных брать себе понравившиеся цацки и побрякушки — все равно что запрещать голубю летать, предварительно открыв перед ним дверцу клетки. В то же время я был полон решимости ограничить безобразие какими-то рамками: нельзя, чтобы добыча нас обременила, лишила легкости маневра, поэтому, когда я увидел, что Билл вывез из усадьбы Брайанта огромное настенное зеркало в золоченой раме, я понял: сейчас или никогда — я должен призвать его к порядку.

Еще на подходе к их компании я понял, что Билл возвращается героем, подлинной звездой похода. Лицо и руки перепачканы кровью, вертится в седле как на иголках, на плечах внакидку флотская тужурка с золотыми эполетами армейского полковника, на голове, вся в галунах, лихо, на пиратский манер заломленная офицерская фуражка, — уж он ее и поправит, и прихлопнет, без перерыва при этом радостно поучая рекрутов-новичков из полевых пахарей, что-то им бессвязно и нечленораздельно вкручивая.

— А топор у меня востер — поэт, нет? — бахвалился он. — Востер, как блошиный хвостер, так-то вот! А был бы не востер, хрен бы я их всех на тот свет перепер! Эт-то уж я вам говорю! А тут, гля-кося, зеркалом, понимаашь ли,



обарахлился — буду смотреть, шибко ли востер мой *собственный* хвостер!

В ответ и стар, и млад вокруг так и зашлись, так и взвыли от смеха. У всех штаны и башмаки забрызганы запекшейся кровью, кровь на голых локтях и запястьях. К нему их так и тянуло: сидя верхом, подавались вперед и вбок, чтобы быть ближе, спешившись, взирали с обожанием, ни на миг не переставая радостно скалиться, совершенно зачарованные этой его безумной песнью, гимном его торжества. Негры Брайанта, троих из которых я никогда прежде не видел, были радостно и безмятежно пьяны, каждый в открытую обнимался с полугаллонной бутылкой виски. Да и без этого они бы все равно сейчас витали в облаках в полном беспамятстве и помрачении рассудка, впервые отведав крови и свободы; их истерический хохот вороньей стаей взмывал и разлетался по кронам деревьев. Для них вовсе не я, а Билл был черным избавителем, мечтою во плоти. Один из этих мальчишек, довольно светлокожий паренек лет восемнадцати с черными гнилыми зубами, от смеха настолько забылся, что в собственных штанах устроил настоящий потоп.

— Теперь поняли, кто тут главный? — кричал Билл. — Я — тот, в чьих руках топор кому хошь споеет колыбельную! Билл теперь енерал от блинфантерии! — Он пришпорил коня — одного из тех, породистых, арабских, при этом натянул повод, и огромный, изрыгающий пену могучий зверь с истошным воплем так и взвился ввысь. — Билл теперь енерал! — опять вскричал он, когда конь ударил в землю передними копытами, а чертово зеркало, швырнув в глаза ослепительный ломоть солнца, вдруг отразило схваченный сикось-накось вид неба, листьев, земли и черных и коричневых физиономий, уловленных блистательной быстротечной бездной, и вновь как сгнуло. — Тпру, Громобой! — крикнул Билл прямо в ухо

коню, стараясь унять его пляску. — Этой заварушкой я командую, а не ты, коняга! Я тут буду править бал!

— Нет, Билл, править бал буду я! — вклинился, наконец-то, и мой голос. Негры смолкли. — Давай-ка с этим сразу разберемся. Ничем ты тут не командуешь. А зеркало брось на землю. Белые его за две мили увидят. Ты слышал, что я сказал?

Сверху, с коня, он надменно и уничижительно оглядел меня. Не в силах с самим собой ничего поделаться, я чувствовал, как колотится у меня сердце, да и голос сорвался, обнаружив страх. Напрасно старался я унять дрожь, явственно сотрясавшую плечи и руки. Шло время, Билл молчал, устремив на меня презрительный взгляд. Потом он высунул язык, красный, как ломтик арбуза, и долго, медленно, вкруговую облизывал им губы, после чего потрепетал в воздухе его кончиком — жест издевательский, шутовской, грубый, жест насмешки дебила. Некоторые из бойцов принялись хихикать, от удовольствия пошаркивая ногами.

— Я вовсе не обязан отдавать тебе зеркало, — сказал он угрожающим, мрачным тоном. — И не отдам. И пошел ты в задницу, Проповедник!

— Брось зеркало на землю! — приказал я вновь. В ответ он с неприкрытой угрозой лишь крепче сжал ладонью рукоять топора, и меня накрыло ледяной волной страха. Воочию я видел, как горит огнем дело моей жизни — горит и рассыпается в прах, сжигаемое пламенем, исходящим из мертвенных глаз безумца. — Бросай, — повторил я.

— Слышь, ты, Проповедник! — насмешливо протянул он и комически повращал глазами, обернувшись к новичкам. — Мастер книги и пера, ты б лучше отошел в сторонку, а командовать предоставил мастеру ножа и топора. Потому как, проповедник ты наш, с армией управляться потрудней будет, чем с топором, а ты и с

ним не справляешься. — И он со зловещим намеком поддернул вверх густо заляпанное кровью топорище, а зеркало, поставив на луку седла, по-хозяйски заботливо прижал к себе. — Слышь, человек Божий, — вновь заговорил он уже откровенно угрожающим тоном, — либо ты научишь свой топор песни петь, либо тебе конец.

Не знаю, чем бы это кончилось, не вмешайся в этот момент Нельсон, на время прервавший противостояние, которое чуть не погубило меня. Возможно, другие мои верные последователи выступили бы в мою поддержку, и мы продолжили бы поход в том же духе, что замышлялось. А может, Билл прикончил бы меня на месте, и все войско под командованием безумца устремилось бы в тартарары; вне сомнения, без учета стратегического плана, который целиком был у меня в голове, далеко бы оно не продвинулось, так что дело ограничилось бы “беспорядками местного масштаба”, а участвовали бы в них “немногие озлобленные цветные”; не было бы и намека на катастрофу, настоящее землетрясение, которое мы устроили белым. Но Нельсон спас положение, в критический момент облекшись в мантию власти, которой — в глазах Билла, по крайней мере — мне то ли недоставало, то ли я владел ею не по праву. Понять не могу, как у него это получилось, как он околдовал Билла. Может быть, дело в возрасте Нельсона, в его манере вести себя — говорить лаконично, весомо и обстоятельно, с видом совершенной уверенности, полнейшего самообладания и умудренности жизненным опытом; он держал себя с нами отчасти по-отцовски и каким-то алхимическим соединением всех своих черт снискал, должно быть, у безумца Билла уважение, если не страх. Не успел я понять, что между нами встал Нельсон, как слышался знакомый голос, и вот Нельсон уже держит его коня под уздцы.

— Уймись, уймись, дорогой, — довольно резко произнес он. — Нат у нас первый заводила, ему и править! А ты уймись и брось это зеркало наземь!

Он говорил примерно так, как увещевают любимое, но очень уж упрямое дитя — тоном беззлобным, но сердитым и обеспокоенным, суровым и никоим образом не допускающим возражений. На Билла его слова подействовали, как удар палкой: “Брось, я сказал”, — прозвучало еще раз, и пальцы Билла разжались, зеркало выскользнуло и, не разбившись, упало под ноги.

— Все ж таки Нат пока что наш генерал, — сердито проскрипел Нельсон, устремив нахмуренный взгляд вверх. А тебе следует зарубить это у себя на носу, дорогой мой, а не то у нас с тобой и впрямь получится *заварушка*! И остынь, наконец уже, остынь, горячая голова!

Засим он отвернулся и вперевалку заковылял под деревья, к костру, оставив Билла должным образом вразумленным, помрачневшим и сконфуженным.

Однако, несмотря на то, что опасное обострение миновало, я не мог чувствовать себя в безопасности. Я был уверен, что пугающая нацеленность Билла на захват власти никуда из-за такой ничтожной неудачи не денется, просто, наткнувшись на преграду, он дал мне передышку, зато во мне его жесткие, презрительные слова — по сути дела брошенный мне вызов — посеяли настоящую панику, поскольку я-то убедился уже, что и впрямь убить неспособен. Из остальных моих бойцов один лишь Нельсон до сих пор не проливал крови, но не потому, что уклонялся от этого, а просто ему пока не представился случай. Что до других ближайших сподвижников — Генри, Сэма, Остина и Джека, то тут воображение стало надо мной подшучивать: мне начало казаться, будто последние несколько часов в их общении со мной сквозит холодность, в обращенных ко мне словах зазвучали

нотки подозрительности, недоверия и отчужденности, как будто не сумев — хотя бы ритуально — ступить за тот рубеж, который перешел каждый из них, я начал утрачивать их уважение, да, кстати, и право командовать ими. Никогда — ни день, ни неделю назад, я не говорил, что мне позволено будет увилить от выполнения общего долга. Не я ли многожды поучал их: *Пролитие крови белого человека — святое дело в глазах Господа!* Теперь же из-за своего бессилия и нерешительности я должен был не только терпеть бесстыжие колкости и угрозы Билла, но и опасаться, как бы даже они, эти самые преданные мне люди, не утратили веру в мое главенство, если я по-прежнему, как последняя баба, неспособен буду смертельно поражать белую плоть.

На поляну опустился палящий жар; еще один дрозд заверещал в изобилующем живностью лесу. С разламывающейся от боли головой я незаметно отошел, чтобы в кустах предаться бесполезным попыткам что-нибудь из себя выbleвать. Я чувствовал себя смертельно больным, к тому же казалось, будто кто-то другой, засев внутри меня, обмирает и трясется в горячке. Но часов в девять или около того я вернулся и присоединился к войску. В таком вот состоянии — дрожащий, больной, разрываемый на части опасениями и предчувствиями, от которых, вопреки всем надеждам, Господь не берег меня, — я оказался без промедления брошен судьбой навстречу Маргарет Уайтхед... на последнюю нашу встречу.

Ричарду Уайтхеду, застигнутому нами на пути в курятник и одиноко застывшему под жарким утренним солнцем на зеленой хлопковой полосе, наше приближение показалось, должно быть, чем-то вроде явления всадников Апокалипсиса. Двадцать с лишним негров нагрянули со всех сторон, конные, сверкая топорами, саблями и ружьями, вылетели из лесу в туче пыли, которая, скры-

вая нас самих, обнаруживала жестокую нашу устремленность и замысел, а ему, наверное, казалась дьявольским извержением земной клоаки; конечно же, это зрелище явилось воплощением всех его страхов, всех тревожных видений — от черных дьяволов до языческих орд, угрожающих его методистскому священству. Ну так и он тоже, подобно Тревису, да и всем остальным, усыпленным самой историей, тем, что прежде она не знала ничего подобного, без сомнения, просто не верил своим глазам, когда другою частью сознания уже боролся с ужасом, и кто знает, не в этом ли причина, почему он стоял, будто вращая ногами в землю на хлопковой полосе и в замешательстве подняв при нашем приближении благостное лицо к небесам в надежде, может быть, что демонические призраки, привидения или кто бы они там ни были — возникшие в результате несварения из-за плохого бекона или вследствие дурного сна на августовской жаре, или того и другого вместе — растворятся и исчезнут. Уж воистину, дивился он удивлением великим. А какой стоял гром: бьют копыта, бряцает сталь, пыхтят, задыхаются кони, гиканье, крики, и все ближе и ближе черные ухмыляющиеся рожи! Господь все милостивый! Такой гром не производят привидения; да уже и переносить его еле возможно! Он поднял руки как бы затем, чтобы прикрыть уши ладонями, куда-то дернулся, переступил было ногами и, не делая других движений, в ошеломлении стал неподвижно, меж тем как двое всадников, Харк и Генри, заслонили его с двух сторон и, замедлив бег лошадей лишь настолько, чтобы ловчей ударить, двумя взмахами сабель разнесли в куски ему череп. Из дома послышался женский крик.

— Первый эскадрон! — крикнул я. — В лес не пускать! — Только что я заметил, как из винокурни выскочил новый управляющий по фамилии Претлов и двое его молодых

белых помощников; все они кинулись к лесу — мальчишки бегом, а Претлов верхом на увечном старом муле с брюхом, похожим на бочку. — За ними! — приказал я Генри с его подчиненными. — Не дайте им уйти! — И тут же развернулся, заорал другим: — Второй и Третий эскадроны: оружейная комната! С ходу берем дом!

И — *Боже ты мой!* — сейчас же на меня опять напала головная боль, да такая, что я остановил коня, спешил и встал на горячем поле, прижав лоб к седлу. Закрыв глаза; на черном фоне плыли светящиеся красные точки, а легкие, казалось, полностью забило пылью. Когда конь переступал ногами, меня качало, будто я в лодке. Через поле из дома доносились крики ужаса; один страшный женский крик, срывающийся, долгий, оборвался с пугающей внезапностью. Поблизости я услышал чей-то голос, это был Остин, и, глянув вверх, я увидел его верхом на неоседланном жеребце, а один из негров Брайанта сидел у него сзади. Этому второму я велел сесть на моего коня и послал их обоих на опушку леса ловить Претлова с помощниками. Я пошатнулся, упал на колени, торопливо вскочил.

— Нат, что с тобой, ты заболел? — уставился на меня Остин.

— Вперед, — отозвался я, — и ходу, ходу!

Они умчались.

Оставшись пеши, я обошел труп Ричарда Уайтхеда, лежавший вниз лицом между двумя рядами кустиков хлопка. Я еле ковылял, держась за бревенчатый частокол, разделяющий поле и скотный двор, — забор был знакомый, я его сам и ставил. Мои люди в доме, на конюшне и в хлеву производили варварский грохот. Из окон снова слышались крики; я вспомнил, что приезжающие к матери на лето дочки миссис Уайтхед как раз дома. Я полез через забор, чуть не упал. Хватаясь за кол забора, мель-

ком увидел, как Генри с кем-то еще, тыча ружьем в спину, силком ведут толстого дворового негра Хаббарда к фургону: пленный евнух ни за что не пошел бы с нами добровольно, но, связанный и посаженный в фургон к другим таким же верным домашним псам, никуда он не денется.

— Боже мой, Господи, Боже, — причитал он, когда его впили в повозку, при этом хныкая так, будто у него сердце сейчас разорвется.

Выйдя к тому времени из-за угла воловьего хлева, я посмотрел в сторону веранды. Там никого не было, только двое, занятые в последней между ними драме — угольно-черный мужчина да женщина, фарфорово-белая и так же фарфорово, кукольно, окостенело застывшая в несказанном ужасе; у двери они рьяно припали друг к другу, якобы в поцелуе и расставании непосильном, и тут на миг веранду будто залило светом, излившимся из истока моего собственного бытия. Затем я увидел, как Билл отпрянул, словно после поцелуя, и быстрым махом руки вбок разом почти что обезглавил миссис Уайтхед.

Тут он увидел меня.

— Вон там она, Проповедник, там, последняя осталась! — завопил он. — Сам разберись с ней! Рядом с погребом, ну! Давай, как раз тебе оставили! — И даже в такой момент он не забыл поддеть меня: — Юшку пустить не сможешь, считай — все, *откомандовался!*

Беззвучно, не говоря ни слова, Маргарет Уайтхед поднялась на ноги, выйдя из своего убежища между стеной дома и приподнятым на уровень фундамента наклонным люком, ведущим в погреб, и бросилась от меня бежать — бежать изо всех сил. Быстрая и легкая, она бежала, как бегут дети — расставив в стороны напряженные голые руки, русые волосы с бантиком мотались из

стороны в сторону над голубеньким платьем, взмокшим от пота и прилипшим к ее лопаткам продолговатым пятном более темного цвета. Ее лица я сразу не разглядел; что это она, я осознал лишь, когда, поворачивая за угол, она потеряла ленточку, которую я уже видел у нее — шелковая, невесомая, прежде чем упасть наземь, она долго порхала в воздухе.

— Эй! Эй! Уходит! — орал Билл, топором показывая на нее другим неграм, к тому времени появившимся на противоположной стороне двора. — Что, проповедник, тебе ее отдать, или ты ее не хочешь?

*О, как же я хочу ее,* — подумал я, вынимая из ножен шпагу. Она выбежала на покос, и когда я тоже обогнул угол дома, сперва я подумал, что она ускользнула — нигде никого не было видно. Но она просто упала в высокой, по грудь, траве, и, не успев я остановиться, как она вновь поднялась — маленькая стройная фигурка в отдалении — и опять побежала к покосившемуся дальнему забору. Я опрометью бросился в траву. В воздухе мельтешили кузнечики — то быстро, то будто повисая перед носом, проносились передо мной, иногда натыкались на меня, легонько царапая щеку. Пот заливал глаза. Правая рука со шпагой висела, словно несла тяжесть всей земли. Но я быстро настигал Маргарет, так как она скоро устала, и догнал ее, когда она пыталась перелезть через гнилой часток. Она не издала ни звука, не вымолвила ни слова, не повернулась ни с мольбой, ни с увещанием, ни с попыткой сопротивления, ни даже просто взглянуть на меня. Я тоже молчал; наше последнее свидание вышло, быть может, молчаливейшим на свете. Один из колец у нее под ногой вдруг треснул и с пылью и хрустом подломился, и она упала вперед, все так же расставив голые руки, будто готовясь обнять кого-то любимого, по ком она долго скучала. Когда она падала, а потом вставала, я впер-

вые услышал ее судорожное, сбившееся дыхание; именно этот звук стоял у меня в ушах, когда я сунул шпагу ей в бок, куда-то пониже груди, только сзади. Тут она, наконец, вскрикнула. Гибкость, грация, проворная радость движения — все это разом отлетело от нее, как сонм теней. Скомканной кучей тряпок она повалилась на землю, и, пока она падала, я еще раз пырнул ее в то же место или рядом с ним, где кровь уже окрасила красным голубенькую тафту ее платья. На сей раз вскрика не последовало, но эхо того первого звучало в моих ушах, как дальний зов ангела. Отвернувшись от ее простертого тела, я вдруг услышал некий постоянный звук, свистящий наподобие шквалистого ветра в сосновой роще, но сразу понял, что это шум моего собственного дыхания, со стонами вырывающегося у меня из груди.

Шатаясь, я побрел от нее по полю прочь, что-то сам себе под нос выкрикивая, как умалишенный. Но не успел я сделать дюжины шагов, послышался ее голос, слабый, ломкий, почти бездыханный, не голос, а воспоминание — он был еле слышен, звучал как будто издали, с какой-то полузабытой лужайки детства: *Ох, Нат, как мне больно. Пожалуйста, Нат, убей меня, о, как больно.*

Я остановился и оглянулся.

— Умирай, Господи, ну умирай же, отдавай пустую свою белую душу, — плакал я. — Умирай!

*Ох, Нат, пожалуйста, убей меня, как мне больно.*

— Умирай! Умирай! Умирай! Умирай!

Шпагу я давно выронил. Вернулся, посмотрел на девушку. Ее голова лежала на внутренней стороне предплечья, словно она, успокоившись, собиралась поспать, а все русое струящееся великолепие ее волос переплелось и перепуталось с подсыхающей, местами пожелтевшей уже зеленью некошеного луга. Кузнечики неумно и неумолчно скакали и шевелились в траве, прыгая у самого ее лица.



— Как больно, — донесся до меня ее шепот.

— Закрой глаза, — сказал я. Нагнувшись, я поискал в траве какой-нибудь прочный дыр от забора, и тут опять почувствовал ее девчоночий запах и аромат лаванды, горьковатый на мой вкус, но приятный. — Закрой глаза, — еще раз приказал я. И, когда я уже занес над ее головой кол, она поглядела на меня, как будто отрешившись от немыслимого своего страдания, и ее несколько сонный взгляд выражал такую нежность, какой я и представить себе не мог; она что-то пробормотала так тихо, что я не расслышал, и, умолкнув, закрыла глаза, чтобы больше никогда не видеть безумия, иллюзий, заблуждений, грез и раздоров. Кол опустился на ее голову, и она сразу умерла, а я забросил окаянную треснувшую дубину далеко в бурьян.

Как долго я бесцельно кружил возле ее тела, вслепую неизвестно что искал, подобно псу бродячему рыская по углам покоса, — как долго это продолжалось, я не помню. Солнце поднялось еще выше и нещадно палило; все тело у меня раскалилось, и тут с фермы послышались голоса моих ратников, которые звали меня, но их выкрики доносились откуда-то из невероятной дали. Когда я пришел в себя, я сидел на бревне у опушки леса и, обхватив голову руками, безотчетно думал о давних мгновениях прошедшего детства — теплом дожде, листе дерева, крике козодоя, рокоте мельничного колеса, треньканье “еврейской арфы” — обо всем том, что было сто веков назад. Потом я встал и снова предался бессмысленному, но зачем-то обязательному кружению около ее тела на расстоянии, но в пределах видимости, как будто этот смятый голубой комок — центр орбиты, по которой я должен совершать нескончаемое паломничество. Во время этого кружения был момент, когда мне показалось, что я вновь слышу ее щебечущий голос, вижу,

как она встает с опаленного, чуть не пылающего поля, раскидывает руки, будто перед полным залом невидимых зрителей, и, стоя с развевающимися по ветру русыми волосами и затрапезным школьным платишком, восклицает: “Свершилось, в радостном экстазе я растворяюсь в бесконечности любви!” Но тут же прямо на моих глазах она исчезла — растаяла, как тает образ, сотканный из воздуха и света; тогда я, наконец, отвернулся и пошел к своему войску.

Весь день после этого мы шли на север, считая все на своем пути. За исключением кое-каких недолгих непредвиденных остановок и задержек, нашему продвижению всюду сопутствовал успех. У Портера, у Натаниэля Френсиса, у Барроу, у Эдвардса, у Харриса, у Дойла — везде мы все перевернули, и каждая усадьба после нас являла собою сцену всеобщего безжалостного истребления. Самого Натаниэля Френсиса мы упустили (значительно позже я узнал, что в это время он как раз отлучился в Сассекс), так что тут судьба над нами немножко посмеялась, а Сэм с Биллом были горько разочарованы — в самом деле: почти единственный белый в округе, действительно прославленный своим жестоким обращением с неграми, и его-то как раз обошел клинок нашего мщения! Его, которому готовился особый, исключительный конец. Вот уж, действительно, превратности войны!

После полудня я постепенно вновь обрел твердость и хладнокровие; ко мне вернулись силы, я почувствовал себя неизмеримо лучше, быстрое наше продвижение придавало мне мужества и решительности. Под влиянием Нельсона — но также и вследствие моих действий в имени миссис Уайтхед — Билл в какой-то мере смирился; в конце концов я все-таки обрел некое подобие власти над ним. К наступлению вечера на пути нашего

двадцатимильного продвижения ни одного белого не осталось в живых.

При всем том смертельная прополка, которой мы занимались, идеальной, без пропуска, не получилась, и я теряюсь в догадках, не это ли погубило дело всей моей жизни: одной живой души оказалось достаточно, чтобы поднять тревогу. Мало того, за самим собой я вынужден признать упущение, возможно, как раз и приведшее к тому, что сопротивление, которое мы начали встречать на следующий день, роковым образом сказалось на скорости нашего продвижения. Я Грею рассказывал: в тот вечер, как раз перед наступлением сумерек, на ферме Харриса мы заметили белую девчонку лет четырнадцати, которая, визжа от ужаса, бежала к лесу, нацелившись на спасительный его выступ в виде обширной купы можжевельных деревьев. Потом Грей уже сам установил: девчонка это была та самая, что к ночи добежала до усадьбы Уильямса, и в результате счастливиц, спрятав семью и рабов, укачал на север, по дороге всех призывая к оружию. В свою очередь, может быть, его призывы, но, может быть, и не они (на сей счет у меня нет уверенности) дали неприятелю то преимущество, которое и склонило чашу весов на его сторону. Единственное, в чем я не признался Грею, так это в том, что вовсе не “мы” заметили ее, а я один, когда шагом, устало покачиваясь в седле, ехал по вечеряющему полю в то время, как мои ратники всех убивали, обыскивали дом и грабили усадьбу Харриса. Я услышал ее сдавленный жалобный крик и увидел мелькнувшее цветное пятнышко, когда она исчезла в темнеющей чаще.

В мгновение ока я мог догнать ее — за полминуты, не более, — но тут меня вдруг обуяла вялость, я обессилен, словно сраженный какой-то смутной, но очень горестной печалью. Сознание тщетности всех усилий застави-

ло меня вздрогнуть. Подумал о смерти — нехорошо как-то, трусовато подумал, — обо всех этих заляпанных стенах, о полях, обогранных кровью, и во рту появился отвратный кисловатый привкус. Смотрел, как девчонка уходит, исчезает, и некому ее остановить. Кто знает, может, чтобы нас разбили, было угодно судьбе. Ничего я уже не понимаю. Ничего. Неужели я действительно хотел удостоить кого-то спасением, одарить жизнью взамен той, другой, которую отнял?

“СОВЕРШИЛОСЬ...”

*Ей, гряди скоро...*

С ясного неба на меня изливается солнечный свет, не выявляя при этом ни времени дня, ни времени года, обнимает теплом колыбели, а река все несет, несет меня к устью; лодку чуть качает, и вместе мы в приятном удовольствии вершим сплав к морю. Леса на безлюдных берегах стоят тихие, молчаливые, как в снегопад. Ни одна птица не крикнет; в безветрии шеренги зеленых деревьев стоят вдоль берега, будто задумавшись, поникшие и недвижные. Эти равнины, похоже, не подвержены воздействию человека — ни прошлому, ни будущему. Нет, ветерок все же есть: не приподымаясь, можно повернуть голову, и становится заметным медленный ход лодки ему навстречу — кружась, мимо проплывают клоуны пены, веточки, листья, пучки травы, принесенные к месту встречи реки и моря безмятежным неспешным приливом. Вот еле-еле начинает доноситься шум океана, совпадающий ритмом с дыханием солнечной водной глади — вверх... вниз... — а вот забелели пенные барашки, и показался неровный край песчаной косы, где море и река соединяются в бурном слиянии вихрящихся вод. Но ничто не тревожит меня, я дремлю, объятый неколе-

бимым, безграничным покоем. Щекочет ноздри соль. Вот барственно и пышно вал накатил на берег и вот уже бежит назад под кобальтовым небом, пологой аркой нисходящим на восток, туда, в сторону Африки. Неторопливый ритмичный гром навевает на меня не страх, но лишь умиротворение и дремотное предвкушение покоя вечного, как эти скалы, опутанные гирляндами морских трав, извергнутых ревущими волнами.

Приближаясь к краю земли, я в последний раз бросаю взгляд вверх, дабы обозреть белое здание, стоящее на утесе высоко над берегом. Снова я не могу понять, ни для чего оно, ни что оно значит. Кипенно-белое, блистающее, чистое как алебастр, оно стоит над пропастью, нетронутое бурями и непогодой — не храм, не монумент, не мавзолей, но воплощение времени как прошлого, так и будущего, белый, непостижимый образец тайны, превозносящейся паче глагола, паче изумления. Невозмутимые его мраморные стены залиты солнцем, солнце на его фасаде без единой двери, на арочных нишах, оббегающих здание кругом, не обнаруживая ни окна, ни входа; должно быть, внутри там темно, как в склепе. Но я неспособен думать об этом долго, ибо опять, как всегда, знаю, что начнешь приоткрывать сию тайну, пойдут за нею мистерии куда глубочайшие, присносущественно и бесконечно, поколе не затеряешься в отдаленнейших коридорах времени и мысли. И я отворачиваюсь. Опять устремляю взор к океану, смотрю на синие волны, на близящееся сверкание пенных гребней, слушаю, как гул прибоя становится ближе, и, погруженный в размышление над великой тайной, медленно выплываю в море...

Просыпаюсь рывком, сразу почувствовав спиной холод кедровой скамьи под собой, и еще худший холод кандалов — лодыжки будто льдом обернуты. Тьма крошечная, ничего не вижу. Приподнимаюсь на локтях, и

сон истончается, блекнет, — в последний раз и навсегда покидает сознание. В утренней черной тиши звякает ножная цепь. Холод свирепый, но ветер утих, и я уже не так сильно дрожу; остатками драной рубахи пытаюсь прикрыть голую грудь. Потом костяшками пальцев стучу в стену, отделяющую меня от Харка. Он крепко спит, воздух при каждом выдохе сипит и булькает, выходя сквозь рану. *Тук-тук*. Молчание. *Тук-тук* еще раз, громче. Харк просыпается.

— Ты, что ли, Нат?

— Я, — отвечаю. — Недолго нам тут еще.

Какое-то время молчит. Потом говорит, зевая:

— Да знаю, чё там. По мне, так уж скорей бы. Как думаешь, сколько времени, а, Нат?

— Не знаю, — говорю, — может, еще пару часов осталось.

Слышу, как тяжело стукнули в пол его ноги, и сразу звон цепей, потом он скрежещет по полу ведром. И тихонько хихикает:

— Бог ты мой, Нат, двигаться совсем не могу. А лежать и днем-то трудно, а уж ночью вообще нипочем в ведро не попасть. — Я слышу плеск и шум струи, и опять Харк сам над собой смеется приглушенным, горловым, басовитым смехом. — Нет ничего никчемней, чем черный верзила, который еле двигается. Ты как думаешь, Нат, они правда меня повесят *привязанным к креслу*? По крайности, этот Грей — он сказал так. Ничего себе — с удобствами на тот свет поеду!

Я не отзываюсь, звук плещущей струи перестает, и голос Харка тоже умолкает. Где-то далеко в городе воет и воет собака, безостановочно, неумолчно, протяжным хриплым воем, раздающимся, словно из чрева этого темного утра; меня даже ужасом обдает. *Господи*, — пронзаемый болью, шепчу я себе под нос. — *Господи!* Пальцами

давлю себе на веки, судорожно сдвигаю их к переносице, надеясь, что увижу что-нибудь — слово, знак, какое-то просветление в кромешной тьме сознания, но опять нет ответа. Придется умирать без Него, — проносится в сознании, — придется умирать без Него, потому что Он оставил меня, ничего даже понять не дав напоследок. Может, совершенное мною — зло в очах Господа? А если зло, возможно ли искупление?

— А Бог-то твой — вона, во пса вселился! — слышится голос Харка. — Слышишь его, Нат? Это ж точно глас Божий. Господи, этот вой я сквозь все мои сны слышал. Мне снилось, что я опять у Барнетта, в давние времена, а я еще маленький, воробью по колено. И мы с сестрой Джейми вместе идем на болотину рыбачить. Идем это мы рядышком, а над нами дикие вишни, и мы счастливые такие, и все про рыбу говорим меж собой, которую собираемся поймать. Да только нас собака какая-то преследует, идет за нами по лесу и воет, и воет. А Джейми меня и спрашивает: “Харк, чего это собака там все надывается?” А я ей отвечаю: да плюнь ты, говорю, на собаку, Джейми, не обращай внимания. И тут ты в стенку постучал, а собака — *та же самая* — все воет и воет на улице, а я, значиц-ца, тут, и сегодня меня повесят.

*Воистину, гряду скоро...*

Какое-то время я проспал без снов, потом внезапно проснулся и вижу: утро близится — появился бледненький морозный проблеск, втекает в зарешеченное окошко, едва заметно подкрашивает кедровые стены, будто под пеплом живы уголья умирающего костра. Где-то в полях за рекой, в низинах, схваченных морозцем, слышится грустный зов рожка — побудка, неграм пора за работу. Поближе — бряканье и еле слышный шорох: город просыпается. Одиночная лошадь — тракатитак — пе-

реходит деревянный мост, а где-то вдалеке поет петух, потом другой, вдруг замолкают; на время опять все тихо и сонно. Харк снова дрыхнет, воздух посвистывает в раненой груди. Я подымаюсь и, натягивая цепь, боком, боком подбираюсь к окошку. Склоняюсь, облакачиваюсь на ледяной подоконник, недвижно стою в пока еще всеохватной тьме. По краю неба, далеко-далеко за рекою, над темной стеной кипарисов и сосен проглядывает первой нежной голубизной рассвет. Я подымаю взгляд горé. Там в одиночестве на синем — стойкая, неподвижная, удивительно, несказанно яркая, сверкает утренняя звезда. Похоже, никогда не была она так лучезарна, и я стою, смотрю на нее не двигаясь, хотя холод от сырого пола охватывает и пронзает ступни ледяными иглами.

*Ей, гряди скоро...*

Минуту за минутой я стою у окна, глядя на нарождающийся, новый, еще не просветленный день. Позади, в коридорчике, раздается шум, Кухарь звенит ключами, и сквозь щелястую стену я вижу оранжевый свет фонаря. Шаги шуршат, хрустят песочком. Я медленно поворачиваюсь, вижу Грея. На сей раз в камеру он не идет, стоит в дверном проеме, смотрит внутрь, потом пальцем манит меня, мол, подойди. Я неловко, с усилием ковыляю, цепь тащится у меня между ног. Под фонарем я вижу, он что-то держит в руке; подойдя ближе, разглядел: Библия. В кои-то веки Грей выглядит смиренным, подавленным.

— Вот, принес то, что ты просил, Преподобный, — тихо произносит он. И так он владеет собой, так спокоен, так сдержан, говорит с такой мягкостью, что можно подумать, будто передо мною другой человек. — Я сделал это против воли суда. На свой страх и риск. Но ты был со мной честен, не юлил... отдать тебе должное. Имеешь право на утешение, которого просишь.

И протягивает мне Библию через дверную решетку. Мы долго смотрим друг на друга, и в этом дрожащем, мерцающем свете фонаря у меня возникает странное чувство, тут же исчезнувшее, будто этого человека я вижу впервые в жизни. Я ничего не говорю ему в ответ. Наконец он тянется сквозь прутья и жмет мне руку; по какой-то странной неуверенности этого торопливого жатия я чувствую, что он в первый раз жмет руку черному и, уж конечно, в последний.

— Прощай, Преподобный, — говорит он.

— Прощайте, мистер Грей, — отвечаю я.

Засим он уходит, огонь фонаря меркнет и угасает; опять камера полна тьмы. Поворачиваюсь, аккуратно кладу Библию на кедровую скамью. Я знаю, что теперь не стал бы открывать ее, если бы даже у меня был свет, чтобы читать. И все-таки ее присутствие согревает камеру; впервые с тех пор, как я в тюрьме, с тех пор, как я вижу перед собой его докучливое лицо, я чувствую сердечную жалость к Грею — как же скучны, как нескончаемы дни предстоящей ему жизни. Снова иду к окну, глубоко вдыхаю зимний морозный воздух. Он отдает дымком, горелым яблоневым деревом, и меня переполняют мимолетные, сменяющие друг друга воспоминания, такие скоротечные, что не поймать, — и все о дальнем детстве, о старых временах. Я облакачиваюсь о подоконник, гляжу на утреннюю звезду. *Ей, гряди скоро...*

*Воистину, гряди скоро...*

Когда я думаю о ней, меня переполняет желание, терзает тоска по ней столь великая, что сердцу, кажется, не вместить ее, как не поймать и тех воспоминаний — о давних временах, забытых голосах, протекших водах и вздохах ветра. *Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога*



*и знает Бога.* Такой знакомый, ее голос близок, реален, на миг я принимаю слабое дуновение ветра на моем ухе за ее дыхание и поворачиваюсь, взыскав во тьме. И не смотря на холод, ужас и пустоту, в чресла мои вливается тепло, и по ногам — мурашки желаний. Трепеща, я собираю в памяти черты ее лица, пресотворяю юное тело, и с такой вдруг яростью жажду ее, что мука превыше всякой боли охватывает меня; нежно поглаживая, я достигаю излияния своей любви в нее, выплеск за выплеском; она льнет ко мне, выгибается, вскрикивает и соединяется — белая с черным — воедино. Медленно я погружаюсь в забытие. Голова клонится на подоконник, дыхание тяжело. Перед глазами тот луг, июнь и тихий тающий голос: *Разве не так, Нат? Разве не говорит Он: “Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя”.*

*Ей, гряди скоро...*

Шаги за дверью разом выбрасывают меня из моей грезы, слышатся голоса белых. Вновь цветок света от фонаря распускается по камере, но человек шесть мужчин идут, грохоча сапогами, мимо, к двери Харка. Слышится бряк ключей, со стуком сдвигают засов. Повернувшись, вижу силуэты еще двух человек — тащат туда же кресло. Его ножки стучат, утыкаются в щели дощатого пола, а когда подлокотник уперся в ручку двери камеры Харка, раздается тяжкий удар.

— Приподымись, — говорит один из пришедших Харку. — Подыми задницу, надо пропустить веревку. — Затем тишина, и какой-то скрип. Слышу, Харк стонет от боли.

— Йо! — задохнувшись, вскрикивает он. — *Осторожнее!*

— Передвинь ему ноги, — раздается приказ одного белого другому.

— Под руки его возьми, — говорит кто-то еще.

Голос Харка становится воплем боли и страдания. Стуки, тяжелое шарканье.

— *Потише, ты!* — со всхлипом восклицает Харк.

— Ниже его пригни! — слышится голос.

Я уже у стены, в ярости барабаню.

— *Не мучайте его!* Не мучьте его, сволочи белые! Он и так от вас натерпелся! Всю жизнь терпит! И, черт возьми, хватит его мучить!

Воцаряется тишина, все смолкает. Протяжный, на выдохе, стон Харка замирает тоже. Теперь слышится шорох и постукивание веревок, которыми они привязывают его к креслу. Потом белые, что-то бормоча и крикая под тяжестью ноши, поднимают Харка и с явной натугой выносят в коридор. Мечутся и трепещут тени в медных отсветах фонаря. Мужчины топчутся, шаркают, с усилием, хакая, выдыхают. Обмотанный веревками силуэт Харка, подобно сидячей фигуре сказочного черного владыки, которого величаяя процессия несет к его трону, медленно проплывает мимо моей двери. Рукой тянусь — я уж не знаю, может, чтобы коснуться его? — но нет, одна лишь пустота, воздух в горсти.

— Ничего так, с удобствами съезжаю, — слышу я его голос. — Прощай, дружище Нат!

— Прощай, Харк, — шепчу я севшим голосом, — прощай, прощай.

— Все нормально, Нат, — кричит он мне, а голос слышится все дальше, дальше. — Все будет хорошо! Эт все пустяки, Нат, чепуха все это! Прощай, дружище Нат, прощай!

*Прощай, Харк, прощай!*

По краешку горизонта рассвет крепчает, обретает краски; мерцающая, звезды гаснут, будто улетающие искры, и ночь вянет, на дальнем склоне неба пыльными прожил-

ками намечается восход. Но утренняя звезда упорно продолжает сиять, чистая и блистающая, как кристалл, окруженный недвижными водами вечности. Над ухаби-стыми улицами Иерусалима тихо расцветает утро; вытье собаки и крики петухов, наконец, смолкают. Где-то поза-ди себя, в тюрьме, я слышу гул голосов; чувствую, за спиной кто-то есть, ощущаю приближение исполинских, неумолимых шагов. Повернувшись, беру со скамьи Библию и в последний раз встаю у окна, глубоко вдыхая отдающий яблоком, сладостный воздух. Он пахнет дым-ком, и я содрогаюсь от холодной новорожденной красо-ты мира. Шаги звучат ближе и вдруг смолкают. Грохот ключей, засова. Голос:

— Нат! — и, когда я не отвечаю, тот же голос приказыв-ает: — Пойдем!

*Мы будем любить друг друга, — кажется, слышу я ее го-лос, утешающий и совсем уже близкий, — будем любить друг друга во благословении небесном.* Чувствую близость те-кучих вод, бурных волн, свирепых ветров. Голос слы-шится снова:

— Пойдем!

*Да, — думаю я, прежде чем повернуться ему навстре-чу, — да, я бы все это сделал снова. Я бы всех опять истребил. Но одну пощадил бы. Я пощадил бы ту, что показала мне Его, Того, чье присутствие я не мог постигнуть, да даже и вовсе не воспринимал. И сейчас-то, Господи, ведь едва-едва! А до сих пор так и вообще — святого имени Его почти не помнил.*

— Пойдем! — грохочет голос, но теперь призывая ина-че: — *Пойдем, сын мой!* — и я повинуюсь.

Ей, гряди скоро! аминь.

Ей, гряди, Господи Иисусе!

О, как ярко и прекрасна утренняя звезда...

Все тела казненных, кроме одного, были погребены достойно, якоже подобает. Труп Ната Тернера передали врачам, они освеживали его и вытопили сало. Отец мис-тера Р. С. Барроу еще пользовался кошельком, сделан-ным из его шкуры. А скелет многие годы находился в собственности доктора Массенберга, но впоследствии был утрачен.

(Дрюри, “Саутгемптонский мятеж”)

\* \* \*

И сказал мне: совершилось!  
Я есмь Алфа и Омега, начало и конец;  
жаждущему дам даром  
от источника воды живой;  
Побеждающий наследует все,  
и буду ему Богом,  
и он будет Мне сыном.

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Часть первая*

СУДНЫЙ ДЕНЬ ..... 11

### *Часть вторая*

БЫЛО И ПРОШЛО. ГОЛОСА, СНЫ,  
ВОСПОМИНАНИЯ ..... 150

### *Часть третья*

УЧУСЬ ВОЙНЕ ..... 312

### *Часть четвертая*

“СОВЕРШИЛОСЬ ” ..... 506

## **У. Стайрон** **ПРИЗНАНИЕ НАТА ТЕРНЕРА**

Редактор С. Коровин. Художественный редактор А. Веселов. Корректор Е. Коваленко. Компьютерная верстка Л. Корольковой.

Лицензия ИД № 05808 от 10.09.01. Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953900 – художественная литература.

Подписано в печать 10.06.05. Формат 60 х 88  $\frac{1}{16}$ . Бумага офсетная “Архбум”. Гарнитура Garamond. Печать офсетная. Усл. печ. л. 33. Тираж 5000 экз. Заказ .

ООО “Издательство “Лимбус Пресс”. 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14. Тел. 712-67-06. Отдел маркетинга: тел. 575-09-63, факс 112-67-06. Тел./факс в Москве: (095) 291-96-05.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО “Типография Правда 1906” 195299 Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2.